ISSN 0130 – 6545

10. 1982

Иностранная литература

Леонель Виларде (Перу). Школа

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

10 октябрь 1982

Содержание

ЭЛИСЕО ДИЕГО — Стихи последних лет *(Перевод с испанского Павла Грушко)* 3

КЕЙТ УОТЕРХАУС — Конторские будни *(Роман. Перевод с английского Андрея Кистяковского. Послесловие Георгия Анджапаридзе)* 9

Из венгерской поэзии

МИКЛОШ ВЕРЕШ. ЙОЖЕФ РАТКО. ЙОЖЕФ УТАШИ *(Переводы с венгерского Льва Беринского, Марка Сергеева)* 127

АРАГОН — Рассказы разных лет *(К 85-летию Луи Арагона. Предисловие В. Седых. Перевод с французского Н. Дубининой)* 132

Литературное наследие

АКУТАГАВА РЮНОСКЭ — Миниатюры *(К 90-летию со дня рождения писателя. Вступление и перевод с японского В. Гривнина)* 152

Литературные иллюстрации

Дж. Д. СЭЛИНДЖЕР — Тедди *(Рассказ. Перевод с английского С. Таска. Послесловие А. Зверева)* 160

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Хулио Кортасар, Джойс Кэрол Оутс, Юлиан Кавалец, Радован Зогович, Мануэль Кофиньо, Ясуси Иноуэ, Джованни Джудичи, Любомир Левчев)* 175

Дм. ЛИХАЧЕВ — Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и мир 180

Литературные портреты

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Мятежное сердце Жоржи Амаду 184

Наш календарь

ЛАСЛО КЕРИ: «Быть причастным к благородному и нужному делу...» *(25 лет журналу «Надьвилаг». Интервью подготовила И. Зорина)* 191

Наши интервью

А. Веселицкий — МАРИЯ КОРТИ 194

Культура и современность

Ю. Ванников — Культура в изгнании ◆ Е. Померанцева — «Факел» ◆ А. З. — «Панорама» 197

Публицистика

ТАКЭСИ ИТО — 6 августа 1945 года — Хиросима обвиняет *(Фрагменты книги. Перевод с японского Б. Раскина)* 205

Чем жив писатель. Французские зарисовки:
интервью нашего специального корреспондента
ЕВГЕНИИ СТОЯНОВСКОЙ *(Арман Лану, Владимир Познер, Робер Андре, Андре Ремакль)* 214

Антирубрика

ЛЕН ГРЕЙ — Милая старушка из Крикет Крик *(Перевод с английского Виктора Вебера)* ◆ РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА — Грегерии *(Перевод с испанского Натальи Малиновской)* ◆ ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ — Охота на Змеря *(Перевод с английского и вступление Владимира Орла)* 228

Наши гости

Г. Вержховская. — Нуно Браганса, Жоао де Мело (Португалия) 235

Среди книг

Издано в СССР

Мишель Гёльдлин — Федор Михайлович в Вене ◆ Виктор Топоров — По ту сторону дерева 238

Издано за рубежом

Т. Мотылева — Эстетика Сопротивления ◆ Иоаким Бэр — Будь щедрым ◆ Е. Солонович — Слова, предназначенные всем 242

Из месяца в месяц 250

На 1-й странице обложки — картина Кристиана Хейнце (ГДР). За детей Палестины.
На 4-й странице — картина Сумана Диссанаяке (Шри Ланка). Играющие дети.

© «Иностранная литература», 1982.

ЭЛИСЕО ДИЕГО

Стихи последних лет

■

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

К читателю журнала

Nombres y verbos, tal es la materia casi intangible para el trabajo que nos tocó en suerte a los poetas. Los mismos nombres y verbos que usamos de la mañana a la noche para saludarnos, entendernos, halagarnos, ofendernos y los mismos con que las comadres se cuentan unas a otras sus historias y sus penas. ¿Habrá materia más frágil, más huidiza, más ingobernable? Y cuando traducimos, habrá otra vez que apresarla y domarla.

. . . . . .

Имена и глаголы — вот и весь едва осязаемый материал для работы, выпавшей на долю нам, поэтам. Те же имена и глаголы, которыми мы пользуемся с утра до ночи, чтобы здороваться, изъясняться, восхвалять, обижаться, те же, которыми кумушки излагают свои истории и свои печали. Найдется ли более хрупкий, более ускользающий, более неуправляемый материал? И когда мы переводим — опять приходится его ловить и обуздывать.

Чем была бы поэзия, если бы она не содержала изначальный совместный опыт всего человеческого рода — опыт, предполагающий необходимость принадлежать другим? И тут я спрашиваю: опыт — чего? Невероятного явления — быть живым существом в определенном месте, которое мы называем родиной.

А люди, с которыми мы так хотим поделиться своим опытом,— разве не те, кого мы любим? Я горячо люблю советский народ, и ничто не может доставить мне большего удовольствия, чем возможность поделиться с его мужчинами и женщинами моим опытом кубинца. Сейчас я и передаю его вам. Мне необходимо было сделать это. Вот он — здесь.

И все это — благодаря терпению и бережности, с которыми поэт Павел Грушко переместил его из одного материала в другой, с испанского языка на русский.

ЭЛИСЕО ДИЕГО — ELISEO DIEGO (род. в 1920 г.). Кубинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Его первая книга поэтической прозы «В сумрачных ладонях забытья» ("En las oscuras manos del olvido") появилась в 1942 г. Затем вышли книги «Дивертисменты» ("Divertismentos", 1946), «Версии» ("Versiones", 1967), сборники стихов «По диковинным селениям» ("Por los extraños pueblos", 1958), «Скупое сияние» ("El oscuro esplendor", 1966), «Образцы мира, или Книга чудес Болоньи» ("Muestrario del mundo o libro de las maravillas de Boloña", 1968, подборка стихотворений из этого сборника напечатана в «ИЛ», 1971, № 1) и другие. Стихи и рассказы Элисео Диего неоднократно публиковались в нашей периодической печати и разных сборниках. За переводы на испанский язык произведений А. С. Пушкина Э. Диего удостоен премии им. М. Горького.

Публикуемые стихи взяты из его книг последних лет «Дни твоей жизни» ("Los dias de tu vida", 1977), «Сквозь мое зеркало» ("A traves de mi espejo", 1981), «Перечень удивлений» ("Inventario de asombros", 1982).

Из книги «ДНИ ТВОЕЙ ЖИЗНИ» (1977)

Мастера

Скоблишь, скоблишь зеленый скол, пока
не выявится грань. Ну что ж, похоже
на лепесток,— ты так хотел. (Чуть позже
подметит кто-то: форму лепестка

имеет и топор.)
А ты свой камень
скоблишь в осенних сумерках, в тиши,
пока улыбка яшмовой души
не озарит день радости.
Он канет

в день завтрашний, чтобы застыть потом
в твоем вчера последнем.
Но не тает
улыбка яшмовой души — витает
над нынешним, от века вечным днем.

Старой луне

Конечный провал, немая
изнанка света,
всего-то
тебе и осталось — мерцать
в седых руинах,
пастись
там, откуда ушли
любимые тени,—
лишь ты
одна пребываешь там,
откуда ушли даже тени.

На кухне

Кот закрутил свое блаженство
вокруг себя — спит, недоступный,
весь, целиком.
А в это время

тьма оттеняет недовольство
кувшинов и кастрюль, готовых
сражаться с царством сна.
Вся жизнь

в струении воды из крана.
Ворчит очаг, но кот его
не замечает.
Он все так же

наипростейше спит, бесстрастный
к забвенью, к памяти, довольный,
что существует,—
просто чудо!

Покинутый дом

Почти осилив лестничный подъем,
ты обернулся: там внизу, в подъезде,
бездомный ветер теребит обрывки
вседневной суеты, и мрак изъеден
забвением. А выше этажом —
вся полнота истаявших надежд,
вся пустота бесплодных ожиданий.
Войдешь? Нырнешь в былое?.. Опершись
о поручень, его ты нежно гладишь,
задумавшись о чем-то. И уже
не смотришь вниз, а слушаешь глухое
жужжанье мухи, бьющейся вслепую
о тусклое стекло... Внизу, на первой
ступени, кто-то есть — он ждет.
Гляди:
ты на ступени первой!.. Побледнев,
ты смотришь на себя и обмираешь
так, словно бы прощаешься.
Уже
ты ни вверху и ни внизу...
Все так же
тупая узница жужжит в подъезде.

Изобретения

Ты видела, как сами едут
повозки,— вдруг гурьбой вбежали
твои подруги, разрывая
прохладу криками: «Скорей!
Волшебный воз бежит по снегу
без ничего!» И монастырь,
как скрипка, зазвучал до самой
часовни,— детство позади,
а в юности своей ты видишь,
как первая на свете вещь
легко летит по небу,— город
гудит внизу, подобно коже
большого барабана. Юность
осталась позади — ты слышишь,
как воздух говорит, и тут же
(но только на твоем лице
уже не счесть морщин) стрекозка
иных времен трепещет с треском
за голубым стеклом экрана,
и вновь тот воз, и безголосо
кричат прозрачные подруги,—
невероятно,
вот так сон...

Покой

Под сенью высокого манго
почти не касаются звуки
прозрачной поверхности света.
Вокруг
все замерло, словно спаслось
от времени: время отныне
крадется
лишь тайной тропой твоих вен.

В пустом театре

Когда отхлопали актерам,
и, ковыляя, зал покинул
последний зритель, и вокруг
одни бумажки и окурки
остались от того, чем было
иное время, и в безмолвье
под бесконечно старым сводом
уже не золотится пыль —
тогда-то самый одинокий,
последний из последних, вялый,
лениво дремлющий, глядит
на гладкий бархатистый пурпур,
отсекший сцену: как же так,
что стало с волшебством, откуда
приплыл паяц и где пушинкой
витала девушка, а воздух
был светом зрелища, опять
став пустотой? И вот он робко
протискивается меж складок,
но видит бренное ничто,
где стынут вялые канаты,
и, содрогаясь, убегает,
чтоб в памяти своей укрыться —
в бессчетных воскрешеньях света.

Федору Достоевскому, в его годовщину

Почему так волнует мост
из чужеземного камня, почему слякоть
(почти ничто, припорошенное снегом) деревни,
затерянной среди то ли верст, то ли дней,
так ослепляет здесь, почему адская свистопляска
господ и их челяди
(туман чужого тумана, трижды туман)
несуществующим льдом
обжигает нам душу, почему
распоясавшийся шут, шут из шутов,
давящийся смехом, мертвенно-бледный, стучит
костяшками наших зубов,
почему, трогая веки
умирающего младенца, похожего
на озноб темноты, мы содрогаемся,
будто это наше дитя, почему доброта,
изведавшая тысячи бед, став гримасой,
насмешкой, убедительна,
как солнце,— и если все это доходит
через то, что совсем иное,—
и земля иная, и слово,
и дыхание,— то разве стало бы все это
возможным, когда бы не было нашим
его огромное сердце, и все мы,
соединенные в нем, не были бы
самим Человеком?

Из книги «СКВОЗЬ МОЕ ЗЕРКАЛО» (1981)

Кто это?

Этот мальчик — скок да скок! —
по двору летящий,—
                мог

раньше мне встречаться, были
мы знакомы прежде —
                или

этот мальчик — тот, чей след
навсегда простыл?
                О нет,—
это я тех самых лет.

Еще один миг

Еще одно утро — вот
чудо: видеть восход
и закат, еще день не дожит.
Свет и радуга, и — быть может!

Еще один миг хмельной —
на изнанке чудной
бесчувственного никогда.
Блестки радости в глыбе льда!

Франсуа Вийон

Где снег, увиденный тобой
в тот год, когда писал в смятенье
ты про снега иных времен?
За тучами бредут их тени...

Где королевы и пажи
и где твой голод бесконечный?
Лишь снег, как шел в тот год,—
идет
в твоих стихах,
холодный, вечный.

В старом саду

В запущенном саду неторопливо
вновь прорастает лес, и все окрест
глубь обрело, и мгла нездешних мест
прихлынула, и вновь безмолвье живо:

не старый сад, который сиротливо
мои глаза зеленой скукой ест,
а первородный пыл. Не надоест
отныне эта дикость, это диво!

Под кронами слепыми, в сокровенной
чащобе, связанной со всей вселенной,
повсюду тень священная — одна.

Листва творит не клочья снов, а цельный
ковер — всеобщий полог беспредельный,
чей ворс с изнанки гладит лишь луна.

Из книги «ПЕРЕЧЕНЬ УДИВЛЕНИЙ» (1982)

Трава

Трава — всегда трава. Лишь ей одной
везде по нраву, благостной тихоне,
в расщелине на каменистом склоне
или в тиши низины заливной.
На улочке моей и в лютый зной
она не унывает на газоне
и выживает в снеговом полоне
на хмуром Севере. У крепостной
стены весенним днем, под Ленинградом,
где возвращался к жизни так невинно
зеленый цвет, столь подходящий ей,
подумал я, траву лаская взглядом:
земля едина и судьба едина
и этих мест, и улочки моей.

Суета сует

Суетная надежда, глупая детская вера,—
будто можно продлиться, если уйти в слова!
Не прельщают глаголы карамель и халва,
нет у моих наречий моего глазомера.
Стоит ли так стараться, если не взять барьера,
если не станут жизнью словесные кружева?
Только разве не чудо — вечно коза жива,
спасшая Одиссея от голода у Гомера!
Вот и не сплю ночами, все пишу до рассвета,

словно бы мне поможет прилежание это
смерть отдалить хоть как-то от имени моего.
С каждым словом сбиваюсь понемногу с дороги,
и на слова уходит целая жизнь в итоге,
а в остатке — немое, жалкое существо.

Погреб

Однажды дом рождается на свет:
под солнцем августа слепит известка,
уже очаг достойно завершен
великолепием дверей, и створки
окна свой долг лазурью возвращают,—
но погреб новым не был никогда,
с тлетворным запахом, где что-то мерзко
растет во тьме и где, вполне возможно,
вдруг замерцает вероломный бивень,
так что душа твоя уходит в пятки,—
нет, погреб не рождался никогда,
и запеленат он не в ленты лет,
а в древний саван изморози вечной,—
всегда он был таким, какой он есть,
и дверь его во всем напоминает
немую дверь угрюмой преисподней.

Женщина

Все отдала, тому свидетель бог,—
весь пот, все силы, все, что было в теле,
чтоб жажда с другом-голодом не смели
ее священный преступать порог:

отважно шла на все, что детям впрок,
разумная донельзя в каждом деле,
своею добротою на пределе
она вдыхала жизнь в родной чертог,

и на изнанку дней так молчаливо
и незаметно перешла, что диво —
как без нее и без ее забот?

Забудь мы даже имя этой доли,
она помимо нашей с вами воли
нас будет озарять из года в год.

Чистая страница

Меня пугает белый лист, простертый,
как пустота,— уже я начал спуск
в колодец этот по венцам стихов,
не ведая, куда, зачем спускаюсь,
смогу ли выкарабкаться обратно
по кольцам слов, не понимая даже,
слова ли это или же частицы
моей души, скрепленные поспешно,
чтобы начать на ощупь скользкий спуск
по льду бумаги от себя,— вовне,
мало-помалу становясь иным,
в то время как вокруг отвердевает
колодец строчек, хрупких, но моих,
крадущих душу и ее творящих,—
и в этом превращении в ничто
уже бумага вовсе не бумага,
и я уже не тот, кем прежде был.

■

КЕЙТ УОТЕРХАУС

Конторские будни

Перевод с английского АНДРЕЯ КИСТЯКОВСКОГО

Глава первая

— Мистер Сидз, мистер граф Пейнтюх, мисс Всё Вкось, миссис Рашман, мисс Тирада (с очевидно мужским обликом), мистер Визгли, мистер Час Пенья, мистер Кипенье, мистер Хаким.

Правильно улавливая примерно одно имя из трех, Клемент Грайс пожал руку тем своим новым сослуживцам, до которых смог дотянуться, и кивнул сидящим в отдаленье.

Они отвечали ему кто как: «Рад познакомиться», «Добро пожаловать в наш бедлам» или просто «Привет». На первый взгляд здесь подобралась вполне приятная компания, но двое — граф Пейнтюх и мистер Визгли — слегка насторожили его: они запросто могли протянуть ему для пожатия руку, если бы потрудились встать и привстать над своими столами. Про графа Пейнтюха — или, может, Клейстера, Грайс не разобрал — ему уже говорил Копланд, когда называл своего заместителя; а Визгли, похоже, был заместителем графа.

— Ну, и конечно, Тельма, наша фея-кормилица.— Этими словами Копланд, похожий на актера Мервина Джонса, представил Грайсу пухлую девицу, явно вчерашнюю школьницу. Она в свою очередь походила на артистку, которая играла однокашницу Джуди Гарланд в старом фильме, недавно снова показанном по телевизору. Грайс коротко улыбнулся ей, а потом, опять поворачивая голову к Копланду, позволил себе мельком оглядеть других своих сослуживиц.

Миссис Рашман было, наверно, под пятьдесят, то есть лет на десять больше, чем ему самому. Но это еще ничего не значило. Он слышал, что такие вот немолодые, по-домашнему уютные женщины умеют развлекаться после работы очень даже непринужденно. Правда, та, чго была помоложе — тридцати-тридцатипятилетняя? — казалась все же гораздо привлекательней, тем более что *все* у нее было вовсе не *вкось*. И когда он вошел вслед за швейцаром в отдел, где ему отныне предстояло трудиться, она окинула его быстрым, явно оценивающим взглядом. Грайс обнаружил в ней сходство с дикторшей из телепрограммы «Новости». Вообще он почти все свое свободное время проводил перед телевизором, и любой человек напоминал

© 1978 by Keith Waterhouse

КЕЙТ УОТЕРХАУС — KEITH WATERHOUSE (род. в 1929 г.). Английский писатель. Автор романов и повестей «Есть счастливая земля» ("There is a Happy Land", 1957), «Билли-враль» ("Billy Liar", 1959), «Джабб» ("Jubb", 1963), «Антикварная лавка» ("The Bucket Shop", 1968), «Билли-враль на Луне» ("Billy Liar on the Moon", 1975) и нескольких пьес. Подробнее об авторе и его творчестве см. статью Г. Анджапаридзе.
Роман «Конторские будни», который мы публикуем в журнальном варианте, вышел в Лондоне в 1978 г. ("Office Life". London, Michael Joseph, 1978).

ему какого-нибудь знаменитого артиста, хотя он далеко не всегда мог вспомнить его фамилию.

— Куда же мне вас посадить? — продолжал между тем Копланд.— Я, кажется, уже говорил вам, что в отделе скоро начнется реорганизация и поэтому нет смысла выписывать сейчас новый стол. Кто у нас в отпуске? — спросил он служащего, которого назвал Сидзом.— Фарт ведь пока еще не вернулся?

— По-моему, он выходит в следующий понедельник,— ответил Сидз.

— Давайте-ка глянем на священные скрижали,— сказал Копланд и, взяв Грайса под руку, подвел его к отдельской доске объявлений.

На седьмом этаже с его «открытой планировкой» коридоры между тремя отделами были только намечены металлическими, по пояс человеку, перегородками, так что установка доски объявлений, которую можно было бы читать, не садясь на корточки, оказывалась довольно сложной задачей. Задачу эту решила в свое время — методом проб и ошибок — бригада из ремонтно-планировочного отдела. Сначала доску объявлений подвесили на цепях к потолку и вскоре обнаружили, что она беспорядочно раскачивается, норовя влепить каждому проходящему увесистую оплеуху. Легкую, но агрессивную доску заменили более тяжелой — и оплеухи стали опасно зубодробительными. Тогда, чтобы доска не качалась, цепи укрепили массивными неподвижными рейками — и под тяжестью этой конструкции угрожающе прогнулся потолок. Под конец доску объявлений снабдили ножками, по примеру вокзальных стендов, на которых железнодорожники со сладострастным прискорбием выводят мелом объявления об опоздавших и отмененных поездах. Этот метод, опробованный в отделе, где Грайсу предстояло служить, применялся теперь на всех этажах.

Бóльшую часть доски объявлений занимал аккуратно расчерченный лист — график отпусков,— и Грайс отметил про себя, что надо позаботиться о собственном отпуске, пока все лучшие недели лета не распределены. Копланд принялся изучать график отпусков, а Грайсу удалось разобрать только что сообщенные ему фамилии. Под кличкой мисс Всё Вкось скрывалась, видимо, миссис Фос. (Замужняя, стало быть, женщина, что показалось ему хорошим предзнаменованием. Замужние женщины гораздо рассудительней одиноких. Одинокие, как он слышал, теряют со временем чувство реальности и непременно начинают канючить, чтобы их куда-нибудь вывозили на субботу и воскресенье.) Граф Пейнтюх-Клейстер превратился в Грант-Пейнтона, мужчину с девичьим именем мисс Тирада естественно заменил мистер Ардах, а мистер Визгли стал мистером Бизли. Но вспомнив Час Пенья и Кипенье, Грайс на мгновение призадумался. В списке значились два Пенни, Чарльз и Хью, причем время отпуска у них совпадало: неделя в июне и две в сентябре. Грайс решил, что Пенни были братьями и что кличками Час Пенья и Кипенье Копланд наградил соответственно Чарльза и Хью Пенни. Ну, а мистер Сидз, миссис Рашман и мистер Хаким сомнений не вызывали.

— Так-так. Фарт.— Копланд указал на фамилию Ваарт: отпускник был, по всей вероятности, южноафриканцем датского происхождения.— Эту неделю вы посидите за столом Фарта, а потом, насколько я помню, в отпуск уйдет Хаким, и, стало быть, рабочее место вам на ближайшее время обеспечено.

Подумав, что скромному и явно стеснительному мистеру Хакиму нелегко, наверно, ладить с Ваартом — дюжим красношеим буром в представлении Грайса,— он уселся за свободный стол. Столы были установлены в три ряда, и справа от Грайса сидел Бизли, а слева Сидз. Оба, и Сидз и Бизли, напомнили ему парламентария Джереми Торпа, но Сидз походил на него больше, чем Бизли.

— Рон Сидз,— представился Грайсу левый сосед,— это я на тот случай, если вы не разобрали, как меня зовут во всей этой мешанине новых для вас имен.— Сидз приподнялся и снова пожал руку Грайсу. А Бизли, словно бы являя собой вечный двигатель служебного рвения, сосредоточенно, непрерывно и быстро перебирал карточки во вращающейся картотеке и не обращал на Грайса ни малейшего внимания. Мог бы хоть кивнуть, подумал тот. Зато Сидз всем своим видом выражал готовность дружить.

— Где вы прежде работали, если это не секрет? — спросил он.

— В «Комформе». Может, слышали? Конторское оборудование, архивные шкафы и всякое такое. Я гнул там спину три последних года.

— Как же, как же, слышал. Это где-то в Хаммерсмите, верно?

Служебные занятия Сидза явно позволяли ему вволю поболтать. Перед ним виднелась пачка типографски отпечатанных бланков, проложенных листами копирки,— внутрифирменные заказы на какое-то конторское оборудование, как решил Грайс,— и он привычно заполнял в них карандашом некоторые графы, а верхний экземпляр многокопийной пачки бланков, припечатав его отдельским штампом, клал в папку. Остальные пять или шесть заполненных под копирку экземпляров находили себе пристанище на нескольких сетчатых, сплетенных из проволоки подносах, а папка с первыми экземплярами лежала на деревянном подносе для «исходящих». Если, как думал Грайс, это были бланки требований, то их, видимо, передавали к концу рабочего дня в другой отдел для дальнейшей обработки. Этот процесс был до тонкости знаком ему по предыдущей службе, но здесь все бланки выглядели одинаково, то есть были, вероятно, внутрифирменными. Так что работы у него будет, видимо, гораздо меньше.

— Скажите, если это, конечно, не секрет, что заставило вас перейти в «Коварный Альбион»? — спросил Грайса Сидз, когда географическое местоположение «Комформа» было окончательно определено. «Коварным Альбионом» он с мрачноватым юмором нарек фирму, в которой трудился. Другие служащие именовали ее кто лавочкой, кто бедламом, кто концлагерем, но Сидзово название было, на взгляд Грайса, самым оригинальным — оно, как он вскоре понял, удачно характеризовало сущность «Альбиона», или официально — британского треста «Альбион».

— Ну, почему люди меняют работу,— отозвался Грайс со вселенской утомленностью, как того требовала, по его мнению, тема, пожав плечами.— Семилетнее, или, в моем случае, трехлетнее взаимосупружеское пресыщение — это во-первых. А во-вторых, мне до смерти надоела вечная давка в транспорте по дороге домой — ведь я живу аж в Форест-Хилле. Утром, когда едешь на службу, еще ничего, но вечером!..

— Да, это очень не близкий конец,— сочувственно согласился Сидз.

— Лучше сказать — очень *далекий* конец.

— Пожалуй. Ведь почти что через весь Лондон.

— Просто через весь Лондон, без всякого «почти». Если не считать Сити. А сейчас, чтобы попасть в «Альбион», я подъезжаю на поезде к Лондонскому мосту и пересаживаюсь... ну, например, на автобус. Сегодня я ехал минут пять, не больше.

— Это, знаете ли, вам чертовски повезло,— сказал Сидз.— Если, конечно, наш транспорт не начал вдруг работать раз в десять лучше, чем раньше.

Сидз, как оказалось, тоже одно время пересаживался у Лондонского моста — когда жил возле Онор-Оук-парка. Теперь-то, живя в Тонэм-Грине, он мог выбирать между автобусом и метро. Короче,

прообсуждав с Сидзом его дорогу на работу и обратно, Грайс почувствовал себя так, будто знал Сидза с детства.

Вскоре к столу Сидза подошел Копланд, чтобы спросить его, куда он положил инфернальную фигу — так, по крайней мере, послышалось Грайсу. Копланд, на взгляд Грайса, выглядел гораздо старше, чем он сам, но позже выяснилось, что между ними всего два года разницы. На Мервина Джонса он походил только лицом, а фигурой напоминал одутловатого Альфреда Хичкока. Видимо, он неправильно питался — и, значит, был скорее всего вдовцом. На лацканах и вороте его элегантного, но старомодного пиджака белела перхоть, штанины свисали у колен продолговатыми пузырями. А ведь ему, подумал Грайс, очень пошел бы твидовый пиджак и легкие серые брюки. Фирма не предписывала служащим даже самых общих стандартов одежды, да это было бы и нелепо в наше время, решил про себя Грайс. Грант-Пейнтон и Ардах носили спортивные, приглушенных цветов пиджаки, Хаким щеголял в желтовато-коричневом, чересчур ярком, пожалуй, для офиса костюме, Сидз, как и Грайс, предпочитал темную, купленную в магазинах Бэртона одежду, а у братьев Пенни были темно-синие, сшитые по последней моде однобортные пиджаки с блестящими пуговицами. Между прочим, Грайс, всегда считавший себя человеком наблюдательным, только сейчас приметил, что братья-то, по всей вероятности, близнецы.

Добросовестный Бизли трудился в одной рубашке, а его мохеровый пиджак висел на спинке стула. Миссис Рашман одевалась, видимо, в недорогих магазинах стандартной одежды, и, отвернувшись от нее, Грайс мгновенно забыл, какое на ней сегодня платье — цветастое, полосатое или однотонное. Миссис Фос — он опять с удовольствием отметил, что *все* у нее отнюдь не *вкось*, наверняка появлялась иногда на службе в брюках, но сегодня она предпочла надеть прямую темно-зеленую юбку с зеленовато-желтой блузкой. И ножки ничего, подумал Грайс, хотя не очень-то верил, что их отношения позволят ему когда-нибудь по-настоящему оценить ее ножки. Он чуть поднял взгляд, и она одарила его легкой улыбкой, сразу же напомнив ему Даяну Риг.

Инвентарная книга — а вовсе не инфернальная фига, как послышалось Грайсу,— была найдена в одном из проволочных подносов для бумаг, но Копланд задержался возле Сидзова стола, чтобы обсудить с ним самочувствие заболевшего Феела (хотя Грайс понимал, конечно, что эта фамилия произносится как-то иначе). Копланд еще не дал Грайсу никакой работы, но бездельничать на глазах у начальства ему все же было немного неловко. Его временное рабочее место казалось голым, словно пустыня, если не считать стоявшего на столе телефонного аппарата, потому что Ваарт, уходя в отпуск, запер, конечно, все свои конторские причиндалы в ящики стола.

Стол у него был самый обычный: матово-серый металлический каркас, блестящая столешница из черного пластика, справа — глубокий запираюшийся ящик для хранения папок, слева — три неглубоких, тоже запирающихся яшичка, а по бокам и спереди — тонкие металлические щиты, чтобы мужчины не теряли драгоценного рабочего времени, пялясь на ножки своих сослуживиц. Именно такие столы — каталожный номер Б-4А/00621 — поставлял заказчикам «Комформ», где Грайс, как он выразился в разговоре с Сидзом, «гнул спину три последних года».

— Вот ведь интересно...— сказал он своему соседу справа.

Бизли, вставив между карточками свою шариковую ручку, поднял голову — не то чтобы раздраженно, однако, в отличие от Сидза, вовсе не с таким видом, будто у него есть масса времени на болтовню.

— Интересно получается с этими нашими столами,— заторопил-

ся Грайс.— Я только что сказал мистеру Сидзу, что три года вкалывал за грехи свои в «Комформе»...

— В «Комформе»? — вопросительно повторил Бизли. У него был начальственно рыкающий голос. Грайс решил, что он привык — или, по крайней мере, любил — отдавать приказания.

— А все здешние столы изготовлены именно там. Да и стулья, наверно, тоже.

— Стало быть, вы должны чувствовать себя здесь как дома.

— Х-х-хах! — таким образом Грайс изображал смех.— Похоже, что никуда мне теперь от «Комформа» не спрятаться, верно? — Он поспешил продолжить разговор, пока Бизли снова не углубился в работу.— Странно, что я не знал о контактах «Альбиона» с «Комформом». Я, пожалуй, мог бы поклясться, что у них и нет никаких контактов. Ведь все эти три года я работал как раз в мебельно-сбытовом отделе.

— Так, может, все это было еще до вас?

— Возможно. Тем более что этот, например, стол новым никак не назовешь.

Тут Грайс осекся, сообразив, что хватил, видимо, через край. Вряд ли стоило ругать мебель фирмы в первый же день работы. Он хотел было добавить, что их столы вполне могут прослужить еще несколько лет, но Бизли, как-то странно глянув на него, опять углубился в свое занятие. Копланд все еще толковал с мистером Сидзом и наверняка слышал Грайсовы слова о столе Ваарта. Грайсу опять сделалось неловко.

Он встал, чтобы посмотреть в окно, нет ли поблизости ресторана или кафе — возможно, утром, обследуя наспех окрестности «Альбиона», он пропустил какую-нибудь маленькую кафешку, а отсюда, сверху, виднее. Но на пути к окну ему пришлось пройти мимо Хакима, и тот подумал, что он хочет найти уборную.

— Правильно, географию своей фирмы надо знать,— сказал Хаким. В его речи не слышалось акцента, и Грайс решил, что он давно приехал в Англию, а может, здесь и родился.— По центральному проходу через оперативно-хозяйственный отдел и направо — там увидите дверь.

— Спасибо. Большое спасибо! — Грайс удивленно обнаружил, что он не только два раза повторил свое чрезмерно благодарное «спасибо», но даже как-то кособоко поклонился — и все это для того, чтобы показать свое абсолютно лояльное отношение к «цветным». Хаким встал и слегка приподнял правую руку. Подумав, что Хаким снова хочет обменяться с ним рукопожатием, Грайс поднял свою — как раз в то мгновение, когда рука Хакима опустилась. Тот белозубо улыбнулся Грайсу и снова поднял руку, но Грайс уже сделал вид, что поправляет ремешок часов. Повторив эти странноватые телодвижения еще раза два, они наконец ударились рука об руку — именно ударились — костяшками пальцев.

— Х-х-хе! — неожиданно для Грайса фыркнул Хаким.

— Х-х-хах!..

— Может, вас проводить? — осведомился Хаким.

— Да нет, что вы, спасибо, я найду,— заверил его Грайс.— По проходу, через оперативно-хозяйственный и направо, так?

— Вот-вот, и там увидите дверь.

— Большое вам спасибо.

Оперативно-хозяйственный был самым большим отделом на седьмом этаже, а отдел канцпринадлежностей — самым маленьким: письменные столы в три ряда по одну сторону от центрального прохода и несколько архивных шкафов да выгороженная клетушка Копланда — по другую. А запасы канцпринадлежностей хранились, как сказали Грайсу, на складе снабжения — страшном СС, по выраже-

нию Сидза,— в подвале № 2. И получалось, что если склад снабжения был частью отдела канцпринадлежностей — как считали, впрочем, далеко не все,— то он оказывался не самым маленьким на этаже, а самым большим.

Оперативно-хозяйственный отдел был распланирован точь-в-точь как отдел канцпринадлежностей: ряды столов (их тут, правда, было вдвое больше) по одну сторону от прохода и архивные шкафы — по другую; а рядом со шкафами стояла фотокопировальная машина, потому что оперхозяйственники, отвечающие за сохранность здания, часто подготавливали документацию к перестройкам вроде той, что предстояла отделу канцпринадлежностей, и постоянно размножали всякие поэтажные планы со схемами новой планировки. Фотокопировальную машину обслуживали две девушки — белая, с прической «под африканку», и негритянка с короткими, искусственно распрямленными на европейский манер волосами. Белая девушка собирала в стопку намеченные к размножению схемы и передавала их черной, а та неторопливо выкладывала их на множительный верстак машины. Эту работу легко могла бы делать каждая из девушек в одиночку — и Грайс отметил про себя, что порядки здесь очень напоминают его прежнюю службу.

За оперативно-хозяйственным отделом по обе стороны центрального прохода располагался отдел внутренней почты, или попросту «нутряшка», как предпочитали говорить служащие. Распланированный так же, как и два отдела на восьмом этаже, он тоже был административно-управленческим: координировал время доставки почты в разные отделы и переадресовывал деловые бумаги назначенным на новые должности служащим. А сортировали и разносили внутрифирменную переписку работники почтового склада, который размещался в подвале № 1.

На границе оперативно-хозяйственного и почтового отделов Грайс, по инструкции Хакима, свернул вправо и сразу же увидел дверь с нарисованным на ней человечком в брюках. Альбионская уборная с традиционно кафельными стенами и зеркалами, возле которых виднелись розетки для электробритвы, предоставляла посетителям выбор между бумажным полотенцем и калорифером для сушки рук, то есть была оборудована по высшему разряду. В одной из кабинок без дверей сидел человек, похожий на экс-президента Никсона, и они обменялись туалетными, так сказать, репликами:

— Вот что бывает, когда пьешь на завтрак апельсиновый сок.

— Х-х-хах!

— Уф-ф-ф! Теперь вроде немного полегчало.

Грайсу нечего было делать в уборной, но он стоял у писсуара, пока экс-президент не ушел. Когда дверь за ним захлопнулась, Грайс сполоснул над раковиной руки, вытер их бумажным полотенцем, потому что на сушильном аппарате была кнопка вместо гигиеничной ножной педали, и неспешно отправился в свой отдел.

Он шел по проходу, привычно отмечая знакомые звуки — чуть слышный шум кондиционеров, пулеметный стрекот тех пишущих машинок, за которыми сидели профессиональные машинистки, и разрозненные, хотя довольно частые, выстрелы тех, на которых печатали обычные служащие, приглушенный гул внеслужебных разговоров и громкие реплики в процессе служебных: «Аманда, свет души моей, у тебя не освободилась книга балансов годовых?» Однако звуки не сливались в успокоительный, обычно не замечаемый звуковой фон, который помнился ему по предыдущим службам. Да-да, он мог определить происхождение любого конторского звука — и поэтому заметил, что одного не хватает.

Когда Грайс подошел к своему столу, миссис Рашман разговаривала по телефону, предупреждая своего собеседника, что ей надо

купить пачечку подсоленного крекера, и, значит, она немного опоздает на их свидание в винном баре.

Миссис Рашман звонила кому-то сама, потому что Грайс, подходя к отделу, слышал, как она сказала: «Привет, это я», а телефонного звонка не слышал. Вообще-то могло, конечно, так случиться, что ей позвонила секретарша ее знакомого, пока Грайс был в уборной, а потом она долго ждала, когда ее собеседник начнет разговор, но, подумав, Грайс решительно отверг такую возможность.

И тут он сообразил. На столе у каждого служащего стоял телефонный аппарат, причем столов на седьмом этаже было никак не меньше шестидесяти, а может, и все восемьдесят. Стало быть, шестьдесят или даже восемьдесят телефонов — и за те полтора примерно часа, что он пробыл в «Альбионе», он не услышал ни одного телефонного звонка!

Глава вторая

Грайс не сказал всей правды Сидзу, когда тот спросил его, почему он ушел с прежней службы, а случилось это потому, что он стал «излишней рабочей силой» и был уволен по сокращению штатов.

Грайс прекрасно знал, что в этом не было ничего позорного, и в кругу прежних коллег весело подшучивал над своим сокращением. «Стало быть, в сорок один год меня вышвырнули из жизни»,— говорил он с шутовской горечью и трагически ударял себя кулаком по лбу, чтобы никто не принял его фразу всерьез. А потом немного спокойней добавлял — с видом человека, довольного предстоящим отдыхом: «Они, признаться, здорово помогли мне с этим своим сокращением. Я давно уже собирался намылиться отсюда, и мне, видимо, не хватало только внешнего толчка».

«И вот тебе дали этот толчок — под зад»,— пошутил тогда кто-то из его коллег.

«Х-х-хах!» — обычным своим смешком откликнулся Грайс.

Три Грайсовых товарища по несчастью — жертвы автоматизации управленческого труда — отнеслись к своему увольнению так же философски, как он. А один из них, Парслоу, считал, что, продав дом и сняв квартиру с помещением для магазина, он сможет зарабатывать себе на жизнь, торгуя лесоматериалами под вывеской «Сделай сам» или, скажем, «Умелые руки».

Грайсу не дано было знать, ощущают ли они, как и он, сосущий холод под ложечкой. Он, впрочем, заметил, что второй из трех его собратьев по увольнению воспылал вдруг пламенной страстью к скачкам и начал покупать ранний выпуск вечерней газеты, где печатались не только программы скачек, но и объявления о работе. «Не давайте мне поставить все мое выходное пособие на Редрама! — умолял он коллег.— Христом богом заклинаю вас, не давайте!» Третий сокращенный принялся каждый вечер звонить своим знакомым из других фирм, чтобы пригласить их после работы в бар «на бокальчик вина». Ну, а Парслоу, узнав о своем сокращении, стал яростно названивать лесопромышленникам, приценяясь к мелким партиям товарной древесины. Сам Грайс беспрестанно размышлял про все растущее количество безработных и вспоминал статьи из «Дейли мейл», в которых рассказывалось о служащих его возраста, «навеки распростившихся со своими конторскими столами».

Нет, умереть с голоду он, конечно, не боялся. Приплюсовав к своим сбережениям выходное пособие, он подсчитал, что сможет жить, не меняя своих привычек, двадцать месяцев — или, немного сократившись в расходах, два года; ну, а если учесть инфляцию, то месяцев семнадцать-восемнадцать. За восемнадцать месяцев какая-нибудь работа ему наверняка подвернется.

А вот потерять — даже всего на несколько недель — ежедневный конторский приют ему было до смерти страшно. Много лет назад, сразу же после медового месяца, он сообразил, что с девяти утра до шести вечера его домом родным может быть только контора. Дневное затворничество в конторе доставляло ему истинное удовольствие — старые заключенные называют подобное чувство «тюремным кайфом».

Он работал в конторах с шестнадцати лет и еще в молодости осознал, что ему, «конторскому трудяге», как он представлялся новым знакомым, следует поступить на работу в какой-нибудь муниципалитет, где служащим гарантирована государственная страховка и возрастающая по мере углубления инфляции пенсия. Там он тянул бы лямку до самого конца. Но ему неудержимо хотелось перейти на новое место примерно каждые три года — недаром он считал, что в его характере есть что-то от цыгана.

Он менял работу, даже когда его ожидало повышение: ему вовсе не хотелось кончать свой служебный путь начальником отдела, потому что он был вполне удовлетворен ролью рядового клерка. Его привлекала служебная повседневность — не сама работа (довольно однообразная, но, как говорится, не пыльная), а вся уютно устоявшаяся конторская атмосфера. Привыкнув к своим обязанностям, изучив ритуальные конторские шутки и узнав местные обычаи, он с удовольствием окунался в неспешную конторскую обыденность. И если ему нравились ежегодные отпуска, то исключительно из-за возможности вволю поболтать с такими же, как он, служащими где-нибудь на теплом островке вроде Тенерифа у берегов Испании. Отщелкивая фотоснимки на расстоянии в две тысячи миль от родного дома, он с радостью предвкушал свои послеотпускные объяснения: «А это немецкий ресторанчик, где, как я вам писал, готовят двадцать два сорта бифштексов, что означает, разумеется, двадцать два способа приготовления все того же бифштекса. Это вот расплывчатое пятно — мой большой палец на объективе фотоаппарата или, возможно, наш официант Отто. Он, знаете ли, оказался презанятным человеком!..»

Теперь, однако, ему пришлось позвонить в бюро путешествий, чтобы забрать внесенный за будущее путешествие аванс.

«*Уважаемый сэр,*— выстукивал он на машинке, пока их отдельская машинистка обедала,— *я хотел бы занять должность старшего клерка по капиталовложениям, которая объявлена вакантной в сегодняшнем выпуске «Дейли телеграф». Мне сорок один год, и я имею следующий опыт...*» Но, хотя он разослал не меньше двух дюжин таких писем, ответа ему ни разу не пришло.

Грайс никогда не был на бирже труда и думал о ней с тем боязливым презрением, которое охватывало каждого добропорядочного клерка викторианской эпохи, когда речь заходила о работном доме. Он, конечно, слышал, что биржу труда заменили теперь комиссии по трудоустройству и что людям не приходится стоять там в длинной очереди, уныло змеящейся по блекло-зеленым коридорам, но все же чувствовал себя униженным и удрученным, думая, что ему придется туда пойти. Он не очень хорошо знал, какие там существуют порядки, и опасался, что оттуда его могут послать на фабрику — даже если он не захочет стать рабочим.

Но оказалось, как с облегчением обнаружил Грайс, что это учреждение еще раз чудесно изменилось, и теперь, под названием Комитет труда, напоминает демонстрационный зал солидной фирмы. Да и размещался Комитет труда не в каких-нибудь трущобных переулках, а на одной из вполне респектабельных торговых улиц. Грайсу не пришлось отвечать на вопросы сурового чиновника, отгородившегося от безработных массивным барьером или, еще того оскорбительней, взирающего на них из перекрытого железной ре-

шеткой окна. Симпатичная девушка, похожая на стюардессу, подвела его к доске объявлений в виде нескольких фанерных щитов, подвижно закрепленных на одной общей оси, и приветливо предложила ознакомиться с имеющимися в наличии вакантными должностями. Их тут было очень много, вакантных должностей, аккуратно выписанных на белых картонных карточках, но и посетителей — потенциальных конкурентов — тоже было очень много. Поэтому Грайс не стал выбирать и раздумывать: запомнив номер первой же попавшейся ему на глаза вакансии — *британскому тресту «Альбион» требуются старшие клерки, знакомые с расчетно-кредитной и/или учетно-архивной документацией,*— он быстро подошел к регистрационному столу, где другая девушка, тоже напоминающая стюардессу, нажала несколько кнопок на какой-то электронной машине, а потом дала ему анкету и сказала, что он должен явиться в «Альбион» для собеседования к одиннадцати тридцати утра в следующую пятницу.

Здание «Альбиона» высилось на Грейв-Черч-стрит — одной из основных магистралей, связывающих Сити с западными районами Большого Лондона. Грайс явился туда за час до срока и присел на низкую каменную ограду, протянувшуюся вдоль широкого газона. Он подумал, что летом на газоне наверняка загорают во время обеденного перерыва альбионские машинисточки, а значит, было бы неплохо захватывать с собой из дома бутерброды и съедать их в обед на свежем воздухе.

Архитекторы, на взгляд Грайса, не слишком разумно использовали пространство, отведенное для здания фирмы: тридцатиэтажное, но как бы сплюснутое, если смотреть с торца, оно было отделено от газона бетонной площадкой, а границей между площадкой и газоном служила низкая металлическая сетка. На площадке можно было устроить автостоянку, однако из-за пристройки к третьему и четвертому этажам, которую поддерживали колонны, опиравшиеся на площадку, этого не сделали. Грайса не заботили судьбы автомобилистов — его просто раздражала неразумная планировка. А в пристройке, по всей видимости, размещались кабинеты начальства, и, стало быть, для собеседования его должны были отвести именно туда.

Грайс взглянул на свои часы. До назначенного срока оставалось пятьдесят минут. Можно было выпить где-нибудь поблизости кружку пива или чашку чая. Но побродив минут пятнадцать по окрестным улицам, он обнаружил только бесчисленные здания новых фирм да магазинчик поздравительных открыток и диетическую столовую в предназначенных на снос домах — и больше ничего.

Здесь совсем не осталось прежних торговых фирм с их викторианскими витринами и лабиринтом извилистых переулков за ними, где густо теснились мелкие фабрики, мастерские, крытые пакгаузы и приземистые склады. Грайс решил, что ни мелочных лавок, ни разгрузочных площадок, мощенных булыжником, ни тяжеловесных фургонов он здесь уже не увидит — все это, наверно, кануло в прошлое вместе с булыжными мостовыми. Теперь для получения партии какого-нибудь товара надо было просто послать письменный заказ на центральный склад — в Эссексе, например,— и дело с концом. Это называлось централизованным снабжением. Да он, собственно, и не возражал против такого порядка, потому что именно деловая писанина давала ему работу...

Грайс оказался у вращающихся дверей альбионского подъезда за четыре минуты до назначенного ему срока — в одиннадцать двадцать шесть. Первый этаж «Альбиона» походил на парадные холлы всех других фирм, в которых Грайс работал, но здесь почему-то не было выставки фирменной продукции, вроде макетов каких-нибудь механизмов на вращающихся подставках, или хотя бы столика с

информационно-рекламными брошюрами; вместо всего этого Грайс увидел только экзотический бассейнчик, окруженный искусственными скалами, несколько пальм в больших керамических кадках да барьер, за которым восседали три человека в униформе швейцаров. Грайс подошел к ближайшему из них — у него не было одной руки,— и, назвав свою фамилию, сказал, что явился на собеседование.

— Грайс,— повторил швейцар. Потом, обратившись к соседу, спросил: — Есть он у тебя в списке, Дуглас?

Швейцар Дуглас, тоже однорукий, ответил далеко не сразу. Он пристально разглядывал входные двери, а может быть, считал бледно-голубые плитки на стене. Неохотно оторвавшись от этого занятия, он взял со стола какую-то белую карточку, посмотрел на нее сквозь толстенные стекла очков и, скривив рот, словно курильщик, выдувающий в сторону дым сигареты, объявил, что заведующий отделом служащих действительно назначил Грайсу встречу.

— Он займется с вами,— сказал первый швейцар и уткнулся в газету.

Грайс продвинулся вдоль барьера ко второму швейцару. Тот по-прежнему рассматривал белую карточку, держа ее на расстоянии вытянутой руки, и у него был такой вид, будто ему очень не хочется верить в существование этой карточки, несмотря даже на то, что он уже опрометчиво признал право Грайса значиться в некоем списке. Грайс терпеливо ждал; через некоторое время второй швейцар сфокусировал на его лице линзы своих очков с видом глубочайшего, как показалось Грайсу, отвращения.

— А бэ пять два?

— Простите?

— Я спрашиваю, где ваш дубликат карты Б-52. Он является для вас пропуском.

— Простите, но я что-то не совсем понимаю...

Швейцар положил белую карточку на барьер и сначала уткнул бледно-костлявый палец в ее номер, а потом провел желтым ногтем по ее нижней кромке.

— Тут вот линия отрыва, видите? — спросил он.— Комитет труда посылает эту карту нам, а оторванную — как пропуск — вручает вам. Вы ведь направлены к нам Комитетом труда?

— Да-да, совершенно верно. Комитетом труда. Я был там в прошлую среду.

— Так-так, в среду,— повторил швейцар.— *В среду.*— Он взглянул на стенной календарь, словно бы сомневаясь, что такой день недели существует.— Вы, видно, и правда были в Комитете труда, иначе мы не получили бы вашей карты Б-52. Но у вас должен быть дубликат. Из Комитета труда.

— Простите, но они мне его, к сожалению, не дали,— сказал Грайс.

— Стало быть, следует считать, что у вас нет карты Б-52.— Метроном, отмеряющий в голове швейцара паузы между словами, работал на редкость медленно.

— Да нет, я даже не знал...

— Дубликата вот этой. Нам ее присылают из Комитета труда, а у вас должен быть дубликат.

— Да вот, к сожалению, нету.

Швейцар, будто фигурка на часах, у которых кончается завод, начал поворачиваться к своему коллеге, до сих пор не принимавшему участия в разговоре. Тот, как с удивлением обнаружил Грайс, тоже был однорукий. Вперив, подобно второму швейцару, взгляд в противоположную стену, он беззвучно шевелил губами — подсчитывая, вероятно, общее количество плиток по обеим сторонам дверей.

— Послушай, Барни. У этого господина нет пропуска на вход.

Третий швейцар выслушал сообщение второго, не отрывая взгляда от стены и продолжая шевелить губами. Но зато когда он заговорил, губы у него шевелиться перестали.

— А он что — на собеседование?

— Вот-вот. К мистеру Лукасу. В полдвенадцатого.

— Тогда у него должен быть дубликат карты Б-52.

— Так я ж тебе и толкую, что нету. Они прислали нам, как положено, карту Б-52, а дубликата ему не дали.

Третий швейцар медленно повернул голову, чтобы посмотреть на Грайса. Потом, словно усталый полицейский в конце ночного дежурства, неспешно протянул руку, взял белую картонную карточку и внимательно оглядел ее с обеих сторон. Часы отщелкнули тридцать третью минуту двенадцатого.

В одиннадцать тридцать четыре третий швейцар задумчиво произнес:

— Что-то непонятно. Непонятно, да и все тут.

— Вот и мне непонятно,— сказал второй швейцар.— Почему, интересно, они прислали нам карту Б-52, а дубликата ему не выписали?

— Они, стало быть, оформили на него карту Б-52,— проговорил первый швейцар,— а дубликат оформить забыли.

— Послушайте,— сказал Грайс, решив, что и ему пора внести свою лепту в разговор,— я, собственно, не совсем понимаю...

— Дубликат остался у них. В Комитете труда,— разъяснил ему первый швейцар.

— А ты что об этом думаешь, Барни? — спросил второй швейцар.

Третий швейцар глубокомысленно помолчал, потом изучающе, будто он хотел определить Грайсов характер, посмотрел на него и неопределенно хмыкнул. Грайс решил, что он умывает, так сказать, руки. Но второй швейцар понял его иначе.

— Барни проводит вас,— объявил он.

Третий швейцар повел Грайса наверх — но не в пристройку, где, по предположению Грайса, размещались кабинеты начальства, а на четвертый этаж. Почти все этажи в «Альбионе», как предстояло выяснить Грайсу, были распланированы совершенно одинаково: низкие перегородки вместо внутренних стен и три отдела на каждом. Отдел служащих занимал такое же пространство, как и расположенный четырьмя этажами выше отдел канцпринадлежностей. Табличка перед входом туманно извещала, что два другие отдела именуются спецслужбами А и Б.

Миновав следом за швейцаром спецслужбу А, где у клерков уже начался, по всей видимости, перерыв на чай, потому что они пили кофе, Грайс вошел в приемную с низкими креслами и столиком под стеклом, на котором лежала груда журналов. Приемная была заслонена от посторонних взглядов листвой стоявших почти вплотную друг к другу пальм в керамических кадках, и Грайс решил, что собеседование состоится именно здесь.

Пальмовые листья заслоняли от Грайса письменные столы отдела служащих, но несколько клерков пили кофе стоя, и Грайс видел их головы. Швейцар подошел к человеку, очень похожему на депутата парламента от оппозиции, выступающего в телепередачах по вопросам сельского хозяйства, фамилию которого Грайс никак не мог запомнить.

— Он явился без дубликата,— услышал Грайс, хотя швейцар попытался приглушить свой фельдфебельский бас.— Мы зарегистрировали его на входе... надо зарегистрировать на выходе... Не сочтите за труд сообщить нам, когда он будет уходить...— Грайса немного удивила столь строгая пропускная система: ведь он все-таки пришел не в министерство обороны.

Парламентарий от оппозиции взглянул на Грайса, и, поскольку их взгляды встретились, они поневоле кивнули друг другу. Именно это взаимное приветствие, а не бдительный доклад швейцара, который потом сразу же вернулся в холл, послужило началом собеседования. Депутат от оппозиции нырнул в огороженную пальмами приемную и представился Грайсу как мистер Лукас, начальник отдела служащих.

— Надеюсь, вы нашли нас без труда? — осведомился мистер Лукас. Эта реплика — разменная монета самой обычной беседы — мигом успокоила разволновавшегося было Грайса.

— Без всякого труда,— ответил он.— То есть я говорю про Грейв-Черч-стрит. Здание «Альбиона» мне пришлось немного поискать.

— Да-да, эти современные дома все на одно лицо, верно? Мне иногда кажется, что наши нынешние архитекторы слишком редко сражались в домино, когда были мальчишками.

— Новое применение теории игр? — весело спросил Грайс.— Х-х-хах!

— Ф-ф-фа! — откликнулся на смех Грайса своим собственным выражением веселья Лукас. А потом, как бы подавая знак, что неофициальная часть беседы закончена, открыл картонную папку с тощей стопкой документов, причем верхний листок оказался дубликатом карты Б-52, отсутствие которого доставило трем швейцарам столько беспокойства.— И как он сюда попал, мы, конечно, никогда не узнаем,— со вздохом заметил Лукас, отсоединив и бережно кладя в пепельницу блестящую скрепку для бумаг. Потом он вынул из папки дубликат (под ним лежала длинная анкета, заполненная Грайсом в Комитете труда), передал его Грайсу и сказал: — Если вы отдадите его на обратном пути швейцарам, они, я думаю, будут очень рады.

— Наверняка,— согласился Грайс.— Они ведь чуть мозги себе не свихнули, размышляя, куда он мог деться.

— Да-да, порядок есть порядок, и у нас, как вы уже могли заметить, строго его придерживаются. А вам, кстати, не претит скрупулезное соблюдение писаных, так сказать, законов?

Грайс грустно, но энергично покачал головой, чтобы показать, как трудно ему усвоить весь до чрезвычайности сложный комплекс альбионских законов, и продемонстрировать свою полнейшую готовность слепо им подчиняться.

— Я, знаете ли, давно уже не *мыслю себе жизни* без твердо установленных фирмой законов,— добавил он, покосившись на свое досье.

— Превосходные характеристики,— сказал Лукас, заметив, что Грайс пытается рассмотреть лежащие в папке бумаги.— «Комформ», насколько я понимаю, был для вас немного необычной фирмой?

Грайс не нашелся с ответом. На его взгляд, все конторы, в которых он служил, мало чем отличались друг от друга.

— Я говорю, что вы, если не считать вашей работы в «Комформе», всегда трудились в непроизводственных, так сказать, фирмах — в банках, архивах, страховых компаниях. Даже на военной службе вы были клерком архивного управления ВВС. Я думаю, вы едва ли часто видели самолеты.

— Да просто ни разу не видел. Разве что в небе, когда у меня появлялась охота глянуть вверх.

— Вот я и говорю, что кроме как в «Комформе» вы, наверно, никогда не видели производства. И значит, это была не совсем обычная для вас фирма.

— Ах вот вы о чем. Да ведь производства-то я и там, признаться, не видел. Фабрики-то у них на Западе. Так что я видел нашу мебель

только в демонстрационных залах. А как ее делают, я понятия не имею.

Получилось, что Грайс отрицательно ответил Лукасу. Однако тому его ответ явно понравился.

— Значит, вы готовы быть только промежуточным звеном во всеобщей экономической цепи? Готовы смириться с тем, что не увидите конечного продукта своего труда?

Грайс понял, что это основной — хотя очень какой-то странный — вопрос приемного собеседования. И в ответе следовало сказать что-нибудь вроде: «Господи, да конечно же нет!» Однако он решил ответить немного попространней.

— Господи, да конечно же нет! — воскликнул он.— Я всегда считал, что ежедневная работа, какой бы она ни была, и есть конечный продукт моего труда. Я старался добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы другие работники могли подхватить и продолжить начатое дело.

Лукаса вполне удовлетворил такой ответ. Видимо, Грайс был прав, не добавив, что от человека, мол, нельзя ожидать большего.

— Прекрасно,— сказал Лукас.— Именно такого отношения к трудовой деятельности и требует та должность, на которую вы претендуете. Вам предстоит работать во внутрифирменном отделе — он снабжает канцелярскими принадлежностями все другие службы «Альбиона»,— и человеку с иными, чем у вас, взглядами может показаться, что он как бы отстранен от живого дела. Надеюсь, вы-то не затоскуете вдали от суетного, как говорится, производства?

— Господи, да конечно же нет,— повторил Грайс. Должность сама плыла ему в руки. Больше того — было похоже, что она уже у него в кармане.

— Работа, насколько я могу судить, покажется вам вполне знакомой. Вы будете иметь дело с оформлением заказов-требований на канцпринадлежности, причем вся документация у нас внутренняя, так что вам не придется обрабатывать денежные расчеты.

— Так, стало быть, закупок на внешнем рынке отдел канцпринадлежностей не производит? — спросил Грайс. И его очень удивила реакция начальника отдела служащих — удивили не слова, а то, как они были сказаны.

— Закупки на внешнем рынке были бы отнюдь не вашей заботой,— отрезал Лукас, словно бы советуя Грайсу не умничать, не лезть вперед, а знать свой шесток рядового клерка. И он сказал *были бы* вместо *будут*. Значит, должность-то может еще и уплыть из его рук? Вообще, как начал понимать Грайс, вопросы Лукаса были составлены куда хитрей, чем он думал.

Дальше, правда, все пошло как по маслу. Лукас вынул из папки бумажку, похожую на внутрифирменный бланк-заказ, и прочитал Грайсу «Административно-коммерческие правила прохождения службы в британском тресте «Альбион» — первоначальное жалованье, размеры ежегодной прибавки к нему, длительность отпуска, схема начисления пенсии и всякое такое прочее.

— Ваша должность является должностью третьей категории, это на один порядок ниже субуправленческих должностей, входящих во вторую категорию. Вы уверены, что со временем вам не захочется получить повышение?

Это был второй основной вопрос собеседования, наверняка таящий в себе тщательно зашифрованные опасности.

— У меня, знаете ли, нет служебного тщеславия,— твердо выговорил Грайс.

— Вот и хорошо,— похвалил его Лукас.— Мы сознательно набираем работников, годных только для одной должностной категории. Это избавляет нас от ненужных и напряженных разговоров, когда управленческие вакансии заполняются со стороны.

— Мудрая политика,— сказал Грайс, тут же сообразив, что лучше бы ему промолчать. Однако у Лукаса его слова возражений не вызвали.

— Ваша должность будет постоянной,— сказал он, милостиво возвращая Грайса к уверенности, что новая работа у него как бы уже в кармане.

Собеседование, по всей видимости, было рассчитано у него до секунды, потому что, едва он посмотрел на свои часы, как из-за пальм вынырнул Копланд и представился Грайсу в качестве его непосредственного начальника. Но хотя Копланд был начальником отдела, он, как понял Грайс, не имел права голоса, когда решалось, кто будет работать под его началом, потому что Лукас напоследок сказал:

— Итак, можно считать, что вакантная должность в вашем отделе замещена... если, конечно, у нашего нового друга нет никаких дополнительных вопросов.

Дополнительных вопросов у Грайса не нашлось. И только зарегистрировавшись должным образом на выходе, проскользнув через вращающуюся дверь и сообразив, что ему хочется есть, он вспомнил про свой вопрос об альбионской столовой. Вообще-то у него должны вроде были возникнуть и еще кое-какие вопросы, но они почему-то не пришли ему в голову, даже когда он уже оказался на улице.

Глава третья

С первого взгляда ясно было, что пристройка для столовой, названной по-ресторанному «Лакомщик», сооружена позже, чем основное здание, и стоила она по первоначальной смете около ста двадцати тысяч фунтов, а фактически обошлась чуть ли не в четверть миллиона, и, когда строительство завершили, выяснилось, что проникнуть в пристройку можно только по пожарной лестнице. Пристройка вкруговую опоясывала здание, и ресторан, по замыслу архитекторов, должен был вращаться, чтобы его весь день освещало солнце, но при первой же пробе механизм через полкруга намертво заело, и теперь «Лакомщик» оставался в тени до шестнадцати часов по гринвичскому времени.

— Если вы предпочитаете холодные блюда вроде салата, ростбифа или омлета с ветчиной, то «Салатница», как у нас называется буфет, предоставит вам *очень* неплохой выбор,— объяснял Грайсу Сидз, пока они поднимались на эскалаторе из нержавеющей стали со второго этажа к дверям «Лакомщика».

Чтобы добраться до второго этажа, им надо было либо спуститься в лифте с восьмого этажа на третий, а потом пешком спуститься на второй (как они в этот раз и сделали), либо же доехать в лифте до первого этажа, а потом подняться по обычной лестнице на второй. Этими кружными путями пользовались в «Альбионе» с тех пор, как лифт перестал останавливаться на втором этаже, чтобы не разбазаривалась электроэнергия во время какого-то давно забытого топливного кризиса. Пристройка «Лакомщика» размещалась на уровне третьего и четвертого этажей, но попасть в нее с четвертого этажа было невозможно из-за вентиляционной шахты на кухне, а с третьего — из-за вращающегося (вернее, НЕ вращающего) ресторан механизма, который занимал помещение, равное по площади небольшому заводу.

— Только ни в коем случае не берите дежурное блюдо,— продолжал Сидз,— особенно «телятину-фантази». Фантазия у нашего шеф-повара куда богаче его кулинарных способностей.

«Лакомщик» был полон, хотя обеденные часы в «Альбионе» были разбиты на три смены. Всматриваясь в арктическую мглу, затопившую ресторан из-за неработающего поворотного механизма, Грайс разглядел несколько своих знакомых по отделу, но не увидел среди них миссис Фос и, конечно, миссис Рашман, договорившейся за час до

этого о встрече в баре с каким-то своим приятелем. Не было тут и Копланда, потому что начальство обедало на тринадцатом этаже в ресторане «Кокпит».

Середину обеденного зала занимала буфетная стойка, или «Салатница», про которую говорил Сидз. А за сомнительной «телятиной-фантази» и другими горячими блюдами стояла очередь к раздаточному прилавку. Грайс протиснулся к стойке, возле которой толпились главным образом женщины, мечтавшие, как он решил, похудеть. Положив себе на тарелку немного картофельного салата и несколько редисок, он увидел миссис Фос, вплывающую в обеденный зал на последнем витке эскалатора.

Она, по мнению Грайса, наверняка была любительницей салата, и он решил посоветоваться с ней, что ему выбрать — омлет или холодный ростбиф. А уж потом, если на земле есть справедливость, она совершенно естественно сядет вместе с Грайсом за отвоеванный Сидзом столик.

Ан нет, ее, оказывается, не привлекали салаты: вопреки надеждам Грайса, она направилась к прилавку горячих блюд. Что ж, у нее, вероятно, была причина съедать днем полновесный обед и ограничиваться по вечерам только легкой закуской. Стало быть, не обремененная заботами о покупке продуктов для обеда дома, она вполне могла выпить бокальчик-другой вина по дороге к себе домой.

Обдумывая свой следующий шаг, Грайс добавил к салату и редиске несколько тонко нарезанных ломтиков помидора, а потом подошел к прилавку горячих блюд, взял поднос, поставил на него тарелку и начал медленно продвигать его по металлическим направляющим вдоль прилавка, пока не уперся в ягодицу миссис Фос, заставив ее оглянуться.

Улыбку миссис Фос вполне можно было счесть поощрительной, а слова тем более:

— Нас как следует не представили друг другу. Памела Фос, или, для большинства знакомых, Пам.

— Клемент Грайс. А сокращенно, к сожалению, Клем, что делает меня тезкой бывшего премьер-министра.

Выяснив, что он вполне успешно осваивается на новом месте, и согласно решив, что в первые дни обычаи любой фирмы кажутся немного странными, они подошли к концу прилавка, и Пам Фос выбрала себе картофельную запеканку с мясом, а потом удивленно спросила:

— Вам, стало быть, не нравится холодный ростбиф?

— Да нет, вообще-то нравится. Но меня, знаете ли, неудержимо приманил сюда аромат горячей запеканки.

— Две, пожалуйста,— тотчас же сказала Пам Фос.— Я только не совсем понимаю,— добавила она,— как вам будут отмечать ваши разносолы. Здесь принято кормиться только холодными или только горячими блюдами. Потом контролерша отрывает у вас нужный талон, а на выходе вы расплачиваетесь.

— Ах ты господи! Это какой же талон?

— А вам разве не дали такую вот книжицу? Ну да, обычное у нас дело.

Миссис Фос — Пам — показала Грайсу книжечку, похожую на сброшюрованную пачку продовольственных карточек военного времени. Каждая карточка была разделена перфорацией на маленькие квадратики-талоны с надписями «основное блюдо», «дежурное блюдо», «холодные блюда», «сыр/крекер» и так далее. А некоторые талоны — еще одно напоминание о продовольственных карточках — были помечены словами «Отовариванию не подлежит».

Стоя возле контролерши с пластиковым, под красное дерево, подносом в руках, Грайс видел, как Сидз захватил пустой столик, сел на стул и держит за спинки два других, дожидаясь, когда Пам и

Грайс освободят его, чтобы он тоже сходил за едой. Сидзу уже явно надоело сторожить столик, но Грайс был не в силах ему помочь. Он дожидался администратора, чтобы предъявить вещественные доказательства своего невольного прегрешения — салаты и быстро остывающую запеканку. Да ему и не хотелось уходить от Памелы, потому что, объяснившись с администратором, она могла сесть потом, чего доброго, за столик Бизли, Грант-Пейнтона и К°.

Администратор, тоже женщина, но, в отличие от рядовых служительниц «Лакомщика», без лилового форменного халата, выслушав Пам, внимательно оглядела Грайса и объявила, что в виде исключения картофельный салат можно приравнять к овощам, за которые не взимается особой платы, но что мясную запеканку придется оплатить Памовым талоном «основное блюдо».

— Обычное дело,— повторила Пам, когда они наконец сели: Грайс по левую руку от Сидза, а Пам по правую.— Мало того что ему не выдали ДДТ и не сказали, где их получить,— он про них и слыхом не слыхивал.

Стало быть, ДДТ — дополнительные дотационные талоны на жаргоне служащих, как объяснила Пам. Надо запомнить. Они называются *дополнительными,* потому что их ввели как дополнение к обычным продовольственным талонам, годным для оплаты в любом (недорогом, конечно) кафе, и поначалу служащие могли свободно выбирать, где они будут обедать — в городском кафе, по обычным талонам, или в «Лакомщике», по дополнительным. Но потом этот свободный выбор был упразднен, потому что «Лакомщик», ежемесячно получающий большую дотацию, терял чересчур много клиентов. Раньше продовольственные талоны выдавались под расписку в санитарно-бытовом отделе, куда служащих вызывали по алфавитному списку в определенные дни месяца, но теперь, как слышала Пам, эту обузу взял на себя административный сектор «Лакомщика», расположенный, по ее сведениям, то ли на одиннадцатом, то ли на тринадцатом этаже. Она, впрочем, должна была вскоре выяснить это совершенно точно, потому что талонов у нее осталось всего на четыре дня. И если Грайс до этого не узнает, где их выдают, она ему скажет.

Грайса очень порадовало обещание Пам. Разговор о ДДТ приятственно и без неловких пауз журчал, пока не вернулся Сидз. Он принес тарелку, основательно нагруженную вареным языком и холодной курятиной.

— Надобно помнить,— перехватывая у Пам эстафету беседы о ДДТ, сказал он,— что талон «основные блюда» равен по цене всему набору талонов «Салатницы».

— Кстати о талонах,— вставила Пам.— у вас есть под рукой двадцать четыре пенса?

— Двадцать четыре пенса? Всего-то?

— Если вам захочется кофе. «Основное блюдо» стоит здесь только двадцать пенсов. Ведь талоны-то у нас дотационные.

— А как насчет талона, который вы мне одолжили? У вас теперь не возникнет осложнений с очередным обедом?

— Будем считать, что вы мне его задолжали,— сказала Пам.

— Только не забудьте,— предупредил его Сидз,— что вам надо получить ДДТ и за сегодняшний день, задним числом, а то, когда вы отдадите его Пам, у вас не хватит талонов на весь подотчетный срок, и придется вам в один из дней поститься.

— А это верный путь к безумству,— продекламировал Грайс.

Сидз и Пам перешли к обсуждению дел служебных — но так, чтобы их беседа была понятна новичку. Сидз подтвердил слова Пам о временном изъятии — для исправлений и дополнений — брошюрки про особенности «Альбиона», но вдвоем, припоминая по очереди подробности, они почти дословно пересказали Грайсу ее содержание. Он узнал о книге опозданий, хранящейся у одноруких швейцаров, о пра-

вилах получения жалованья в первый четверг каждого месяца, о графике отпусков, о шести свободных днях с сохранением содержания, ежегодно предоставляемых администрацией служащим (но обязательно в разбивку, а не подряд), и о многом другом.

— А как в «Альбионе» насчет общественных развлечений? — спросил Грайс у Сидза, безуспешно приманивавшего официантку с кофейной тележкой.

— Смотря что вы называете общественным развлечением,— откликнулся с некоторым запозданием на вопрос Грайса Сидз.— Главное общественное развлечение в «Альбионе» вы увидите, если посмотрите на соседний столик.

Грайс повернул голову и украдкой оглядел сидевшую за соседним столиком парочку. Мужчина и женщина средних лет, не притронувшись к еде, обсуждали что-то очень для них важное. Женщина казалась несчастной, а мужчина — измученным, и Грайс подумал, что они угрюмо тянут начавшийся очень давно роман. Вот чем может обернуться невинный бокал вина, если потеряна осторожность.

— Это Каргил, давний страдалец из расчетного отдела,— вполголоса пояснил Сидз.— А женщина, как вы, наверно, поняли, отнюдь не миссис Каргил... Хотя очень, я думаю, хочет ею стать. Но мы можем указать вам и на счастливую, ни от кого не таящуюся любовь,— добавил он.

— Не будьте сплетником,— умиляясь собственной порядочности, сказала Пам.

— Я говорю про нашу вдовушку миссис Рашман и одного складского джентльмена. У них уже, по-моему, даже назначен день свадьбы.

— На двадцать пятое,— подтвердила Пам. И добавила для Грайса: — Вы, вероятно, запомнили миссис Рашман, ее представил вам сегодня утром Копланд. Она выходит замуж за своего верного поклонника со склада снабжения. Воистину наш «Альбион» превращается постепенно в брачное бюро.

Тут Сидз как-то странно взглянул на Пам. Если б тема не казалась такой безобидной, Грайс решил бы, что взгляд Сидза был предостерегающим и что Пам его предостережение приняла. Возможно, у любовной истории миссис Рашман была какая-то тайная подоплека.

— Ну, и у нас есть Альбионская труппа,— с оттенком какой-то странной неуверенности в голосе сказала Пам. А Сидз, почти грубо оборвав ее, только резче оттенил эту странную неуверенность.

— Набор в труппу закончен! — вскинулся он.

— Мне, солнышко, как ответственному секретарю приемной комиссии, это известно не хуже, чем вам,— процедила она.— Но если мы не будем узнавать, кто *хотел бы* вступить в нашу труппу, то когда нам понадобятся новые актеры, мы их просто не найдем.

Ага, стало быть, у нее есть коготки, это стоит запомнить.

— Если вы говорите про любительский театр...— начал было он.

— Вы знаете устав не хуже меня, Памела,— сказал Сидз одновременно с Грайсом, заставив его умолкнуть.— Все вопросы к потенциальным кандидатам...

— Не учите меня уставу, Рон, я участвовала в его разработке...

— ...задаются после согласования с общим собранием труппы. *После* согласования, а не *до!*

— Подчинение уставу нельзя доводить до абсурда, Рон. Если я не имею права даже спросить кого-нибудь...

— Да спрашивайте, ради бога! Спрашивайте, ради бога! Спрашивайте! А мне просто хотелось напомнить вам...

— ...Что прием в труппу окончен. Я прекрасно это знаю, Рон. Но у меня создалось впечатление, что он мог бы стать подходящим кандидатом.

— О, чрезвычайно подходящим. Чрезвычайно. При прочих равных условиях.

Грайс уже всерьез подумывал о том, что надо обидеться на столь беззастенчивое обсуждение его персоны. Но, с другой стороны, он услышал о себе лестное мнение: ведь Пам назвала его подходящим кандидатом в их труппу, и, по мнению Сидза, это было действительно так — *при прочих равных условиях,*— то есть, по-видимому, при условии, что прием в труппу будет возобновлен. На первый взгляд, они ссорились из-за пустяков — хотя им-то их устав пустяком явно не казался. Теперь Грайс был даже рад, что они так и не дали ему закончить фразу: он собирался сказать, что не интересуется любительским театром, но раз Пам считала его подходящим кандидатом, ему незачем было заранее отрезать себе путь в их труппу. Он незаметно взглянул на свои часы — было без десяти два, и, если считать, что дорога в отдел займет минуты три, им предстояло убить еще семь минут. Надо было спасать так приятно начавшийся обед, и Грайс дружелюбно спросил:

— А можно узнать, если это, конечно, не секрет, какую пьесу запланировала ваша труппа на нынешний год?

— Пока не решено. Может быть, труппа примет мое предложение, и тогда мы поставим «Он пришел» Пристли... но я в этом не уверена,— без всякого энтузиазма ответила Пам. Общего разговора опять не получилось.

Тогда Грайс похвалил альбионский ресторан, его дешевизну, чистоту, широкий выбор блюд и неплохой кофе. Заговорив о «Лакомщике», он вспомнил два вопроса, которые так и не задал начальнику отдела служащих во время собеседования. На первый из них, об альбионской столовой, он уже получил, так сказать, ответ. Оставался второй, и он задал его своим собеседникам:

— А чем конкретно мы занимаемся?

Опять этот странный взгляд — но сейчас Сидз посмотрел не на Пам, а на него самого.

— Разве Копланд не рассказал вам об исключительно важной роли отдела канцпринадлежностей? А впрочем, зная Копланда, можно было и не спрашивать — разумеется нет.

Когда объяснения завершились, до конца обеда оставалось две минуты. Вставая, Грайс задал Сидзу свой резервный вопрос:

— Да-да, это все мне понятно. Но я-то хотел узнать, чем занимается наша *фирма.*

— Вот уж действительно,— проговорила Пам, и Грайс опять заметил направленный на нее взгляд Сидза. Тут уж сомневаться не приходилось: этот взгляд мог значить только одно — «Заткнись!». Грайсу же Сидз небрежно сказал — причем эта небрежность далась ему с некоторым трудом:

— Легче было бы перечислить, чем наша фирма НЕ занимается. Когда выйдет альбионский справочник — если только этот великий день настанет,— вы сможете прочитать список дочерних компаний «Коварного Альбиона». Они, правда, не очень крупные, но их зато очень, очень много.

Собеседники спустились на спиральном эскалаторе к кассе, и, пока Пам обсуждала с кассиршей необычное применение ДДТ, Сидз спросил Грайса:

— Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?

Глава четвертая

Грайс всегда с удовольствием обживался в незнакомой ему фирме. И, меняя работу, он всякий раз радостно предвкушал первые дни на новом месте.

Тельма купила ему чашку в магазинчике Оксфордского фонда помощи голодающим. ООн узнал, что кроме права выбирать между аппаратом для сушки рук и бумажным полотенцем в уборной он еще имеет право на индивидуальное полотенце, которое выдавали служащим раз в неделю и каждую среду заменяли чистым. Стало быть, получив собственный стол, он мог взять под расписку и личное полотенце.

Ему уже были известны кое-какие особенности сослуживцев. Грант-Пейнтон имел обыкновение ковырять в носу мизинцем. Ардах часто отбрасывал со лба прядь волос и благодаря своим черным усикам становился похожим на Гитлера. Сидз постоянно позвякивал мелочью в кармане пиджака. А Бизли, миссис Рашман и Пам пили кофе с сахарином.

Всю работу отдела, как вскоре без удивления узнал Грайс, могли выполнять четыре, а если приналечь, то и два человека. У них она ложилась — и ложилась отнюдь не тяжким бременем — на плечи Бизли, Сидза и Грант-Пейнтона, а Копланд осуществлял, так сказать, общее руководство. Прочим клеркам работы хватало от силы на час в день, и остальное время они занимались собственными делами.

В четверг трудолюбивый Бизли изловчился всучить Грайсу недорогой лотерейный билет. Это, по-видимому, тоже был еженедельный ритуал — бизлийский бизнес, как сказал, отсчитывая свои пять пенсов, Сидз,— или лотерея, доходы с которой, по словам самого Бизли, шли на строительство физкультурного зала для детского клуба, взятого им под свою опеку.

В пятницу всеобщее оживление вызвал мистер Хаким, притащивший на работу две большие пластиковые сумки с леденцами, мятными карамелями и шоколадными конфетами в ярких коробках. Несколько минут отдел канцпринадлежностей походил на уличный базар: служащие во главе с Копландом толпились у хакимовского стола, получая свои заранее заказанные сладости. Брат Хакима вел, как сказали Грайсу, оптовую торговлю кондитерскими товарами, и поэтому Хаким мог продавать своим сослуживцам мелкие партии конфет по сниженным — оптовым — ценам. Заказы (и плату вперед, чтобы потом не было недоразумений) Хаким принимал по средам.

Так проживали служащие отдела канцпринадлежностей трудовую неделю. Понедельник у них был, насколько мог судить Грайс, не только тяжелым, но и совершенно пустым днем. По вторникам братья Пенни собирали деньги на футбольный тотализатор. По средам приходила женщина из санитарно-бельевого отдела, чтобы заменить грязные полотенца чистыми. По четвергам участники бизлийского бизнеса сдавали деньги и с волнением ждали возможного выигрыша минувшей недели. А по пятницам, из-за торговли Хакима, отдел превращался в кондитерский базар. И тут Грайсу предстояло серьезно подумать, как ему себя вести. Хотя они оба с женой были сладкоежками — да-да, кое в чем они все же сходились,— но двухфунтовый куль конфет оказался бы неприятнейшей обузой, если бы он договорился с Пам провести вечерок в кафе. А меньше, чем по два фунта конфет, Хаким не продавал — потому, вероятно, что это не приносило никакого дохода ему самому.

Грайс машинально заметил и запомнил, когда его коллеги уходят поутру в уборную и на сколько времени они там уединяются. Рекордсменом, как он сначала решил, был Грант-Пейнтон, исчезавший каждое утро с кипой газет под мышкой примерно без десяти одиннадцать и возвращавшийся в отдел не раньше чем через полчаса. Так думал Грайс до четверга, когда около одиннадцати малая нужда выгнала из отдела его самого, и, шагая по центральному проходу мимо оперативно-хозяйственного отдела, он увидел Грант-Пейнтона у фотокопировальной машины — тот размножал схематический план оранжереи, для строительства которой требовалось получить разрешение от рай-

онного архитектора. Они с увлечением поговорили об оранжереях и парниках, хотя Грайс мало что в этом смыслил. Грант-Пейнтон, несмотря на свой чванливый вид, оказался очень милым человеком.

В первую же неделю Грайсу удалось перемолвиться несколькими словами с каждым служащим отдела канцпринадлежностей, даже с юной Тельмой, оказавшейся, кстати сказать, неимоверной болтушкой. Сыграв однажды роль третьей ведьмы в школьной постановке «Макбета», она страстно полюбила театр и теперь с нетерпением дожидалась, когда Альбионская труппа снова объявит набор артистов.

Миссис Рашман интересовали исключительно гастрономические темы. Приближавшаяся свадьба считалась ее сугубо личным делом, и о ней в отделе не разговаривали. Да она и занимала-то Грайса только в связи с опасением, что ему придется раскошелиться на прощально-свадебный подарок.

Почти все его сослуживцы забывали о реальности за дверьми службы... да он и сам, пожалуй, тоже. Он верил в свою неслужебную жизнь, лишь пока сам был не на службе,— так реальность сна ощущается только во сне. Он давно уже заметил, что стоит ему повесить на вешалку плащ и утвердиться за своим служебным столом, как внешний мир, вместе с его собственной внеслужебной жизнью, перестает существовать. И «Альбион» вовсе не был исключением: сидя за Ваартовым столом (потому что своего у него пока не было), он мог представить себе Ваарта, хотя никогда не видел его, гораздо отчетливее, чем билетного кассира на станции «Лондонский мост», или торговца газетами из киоска возле его дома, или даже собственную жену. Ему удавалось припомнить, как она выглядит, лишь когда он вызывал в воображении знаменитую теннисистку Джин Кинг, на которую она немного походила, если была под нее причесана. Так что, судя по всему, Грайса вполне устраивала его новая служба.

Он вспомнил в «Альбионе» о своей жене всего один раз за первую неделю — да и то в связи со служебным происшествием. Выйдя из отдела служащих после приемного собеседования, он так радовался вновь обретенной работе, что забыл отдать обнаружившийся в его документах дубликат карты Б-52 одноруким швейцарам. Выяснил он это воскресным вечером, накануне своего первого рабочего дня, когда опорожнял карманы, чтобы жена почистила и выгладила ему костюм. Укладываясь спать, он попросил ее во что бы то ни стало напомнить ему утром про дубликат, но она, разумеется, не напомнила, и он забыл положить его в карман. Решив, что дело важное — каким оно, конечно же, и было,— жена попыталась позвонить ему на службу. Но выяснилось, что альбионского телефона нет ни в городской телефонной книге, ни у барышень из телефонного справочного бюро.

Жена сказала ему об этом в понедельник вечером, а он соответственно обратился к Копланду во вторник утром — потому что, когда он попытался отдать дубликат одноруким швейцарам, те, неспешно посовещавшись, отказались взять его на том основании, что пропажа, дескать, уже зафиксирована у них в книге происшествий.

Копланд был на своем рабочем месте: сидя за письменным столом, он сосредоточенно разглаживал фантик от ириски. Копланд покупал у Хакима конфеты не для дома, как остальные клиенты, а для поддержания сил на работе. Он хранил жестяную банку «Подарочного ассорти» в личном ящике одного из архивных шкафов и часто лазал туда за очередной конфетой. Возможно, вовсе не кривые зубы, а именно привычка сосать конфету превращала иногда его речь в невнятное бормотанье.

У клетушки Копланда не было дверей, и стучать по металлическому барьерчику Грайсу показалось глупо. Он просто встал так, чтобы Копланд мог его заметить, а когда тот поднял на него взгляд и сердечно сказал «Заадите», вошел в клетушку. К его немалому об-

легчению, Копланд совершенно спокойно выслушал рассказ о мытарствах с этой проклятой бумажонкой, а главное, без всяких возражений согласился ее взять и небрежно бросил на свой поднос для документов, приготовленных к сдаче в архив.

Копланду, видимо, хотелось поболтать. Он не мог предложить Грайсу сесть, потому что ему, по чину начальника отдела, стул для посетителей не полагался, но он сделал рукой неопределенно радушный жест, соответствующий, как догадался Грайс, армейской команде «стоять вольно».

— Ток и паая сясь,— объяснил Грайсу Копланд, когда тот рассказал ему, в виде анекдота, как его жена не смогла разыскать альбионского телефона.

А потом, словно бы для того, чтобы Грайс не попросил более подробного разъяснения, Копланд быстро встал, подошел к архивному шкафу, выдвинул свой индивидуальный ящик и, проглотив конфету, которая была у него во рту, вынул из жестяной банки с Виндзорским замком еще одну. Все это он делал, нисколько не таясь и явно не понимая, что следовало бы угостить и посетителя; он вернулся к столу с зажатым в руке фантиком и незаметным движением положил его на уже разглаженный — с очевидной надеждой, что второго фантика Грайс не разглядит. Сев за стол, Копланд принялся разглаживать оба фантика, как он разглаживал до прихода Грайса один, и ему, судя по его старательности, было очень важно, чтобы, разглаженные, они оказались точь-в-точь одного размера. Не прекращая своего занятия, он рассеянно спросил, пообвыкся ли Грайс на новом месте.

Кое-кто из канцпринадлежников уже задавал Грайсу этот вопрос, и он ответил Копланду так же, как отвечал им,— что «Альбион», мол, напоминает ему океанский лайнер. Грайс никогда не бывал на океанском лайнере, но, по его мнению, эта фраза говорила одновременно и об его лояльности к фирме, и о запутанной планировке «Альбиона». Копланд признал, что некоторые альбионские закоулки — сад сожжения, например,— он и сам ни разу не видел. Грайс решил, что его начальник имел в виду склад снабжения. Пообещав загрузить вскоре Грайса работой — тот сказал, что с нетерпением этого ждет,— Копланд внезапно вернулся к телефонной теме.

— Да-да, ток и паая сясь,— повторил он.

Даже если Копланд, как предполагал Грайс, говорил «только прямая связь», то и тогда это не объясняло загадки. Он, однако, не собирался обсуждать свои телефонные недоумения с начальником отдела, наверняка и без того загруженным по горло делами, но Копланд, сложив конфетные фантики в форме восьмиугольника и приглаживая ногтем большого пальца линии сгибов, принялся объяснять:

— Паая сясь паааит избаица от лииных занков...

Грайс уже научился его понимать и уверенно расшифровал кривозубо-конфетный код:

— Прямая связь помогает избавиться от лишних звонков, как установили наши бизнесконсультанты. Каждый отдел имеет свою собственную прямую телефонную связь. Так что если ваша жена, в случае крайней нужды, захочет вам позвонить, она может вызвать вас к этому телефону.

Копланд вяло указал на свой телефонный аппарат. Он лишь слегка выделил голосом слова «в сучьи тайны уды» — в случае крайней нужды, как расшифровал Грайс,— но ему и без дальнейших объяснений начальника стало понятно, что в «Альбионе» отнюдь не поощряются звонки служащим из города. Мудрая политика. Она избавит его от звонков жены (особенно если не давать ей номер прямого телефона) с дурацкими вопросами, почему он опять задерживается на работе.

«Альбион» все больше напоминал Грайсу какой-нибудь муници-

пальный совет. Видимо, разница между частными фирмами, муниципальными учреждениями и государственными организациями постепенно стиралась. Как правильно сказал Копланд, порядки теперь везде устанавливались бизнесконсультантами. Грайс нисколько не удивился бы, узнав, что у них в фирме похозяйничала команда американских бизнесумников...

Заметив, что Копланд с ироничным благодушием ждет от него новых вопросов, он спросил:

— Но ведь крупные фирмы редко не обнародуют номера своих телефонов?

— Сплошь и рядом! — ответил Копланд. (Он сказал «Вошь из ада», но Грайс уже просто перестал замечать его речевые перлы.) — И в этом есть глубокий смысл. С пользой для фирмы нам звонят, как правило, только постоянные клиенты, давно уже знающие телефоны тех начальников, которые им нужны. А незапланированные звонки — от мелких торговцев, недовольных заказчиков и прочей надоедливой шушеры — мы начисто исключаем из своей деловой жизни. И таким образом экономим массу рабочего времени.

Благодушный тон беседы позволил Грайсу фамильярно опереться на стол начальника. Но теперь он резко выпрямился и замер по стойке «смирно». Однако не ушел, надеясь, что Копланд еще вернется, быть может, к теме обвыкания на новом месте и объяснит ему хотя бы, где и как получают альбионские служащие жалованье. И он был здорово озадачен, когда Копланд сказал:

— Я отец или нававарос?

Маскируя глуповатой улыбкой свою растерянность, Грайс выбрался из клетушки начальника и только через несколько минут, уже за своим (а точнее, Ваартовым) письменным столом, понял, что Копланд спросил его: «Я ответил на ваш вопрос?» — повторив вчерашнюю фразу Сидза.

Глава пятая

Что же до служебных занятий, то Копланд определил их Грайсу в тот же день — наверно, зря он напомнил о себе начальнику, явившись к нему со своими досужими расспросами. Так или не так, но он почувствовал себя непосредственно ущемленным: по его представлениям, первая неделя на новом месте предназначалась для знакомства с обычаями фирмы.

А кроме того он надеялся, что ему передадут работу миссис Рашман: ведь его взяли в отдел канцпринадлежностей всего за несколько дней до ее увольнения. Миссис Рашман, как он видел собственными глазами, только окольцовывала черными резиночками пачки документов перед их отправкой в подвал № 3, где размещался архивный сектор. Такая легкая работенка очень его привлекала, и хотелось бы ему знать, кто теперь урвет эту синекуру. Возможно, юная Тельма — если ее решили повысить в должности.

Ну, а он получил довольно хлопотную, но по-своему престижную работу. Под руководством братьев Пенни ему предстояло изучить процесс так называемого «изъятия». В «Альбионе» постоянно упрощалась форма документов, и он, освоившись, должен был следить за тем, чтобы начальники отделов сдавали вышедшие из употребления бланки — бланки еженедельных отчетов по листкам временной нетрудоспособности, например,— и получали новые. Вернее, забота о замене устаревших бланков новыми оставалась на плечах братьев Пенни, а в его руки переходило собственно изъятие, и, значит, прежняя работа, словно простейшая инфузория, делилась на две. Вполне вероятно, что намеченная перестройка отдела была связана именно с этой реорганизацией, а саму реорганизацию предложили, по всей видимости, американские бизнесумники.

— Это поможет нам...— начал Хью Пенни.

— ...ликвидировать отставание в сфере изъятия,— закончил Чарльз.

Они всегда, как уже заметил Грайс, говорили строго по очереди, четко членя свои мысли пополам.

— Так-так, понимаю. Стало быть, мы посылаем розовый бланк...

— ...всем начальникам отделов...— продолжил за Грайса Хью Пенни: давняя привычка брала свое.

— Если они не вернут нам своевременно белый бланк...— включился Чарльз.

—...что они, как правило, делают неукоснительно,— закончил их общую мысль Хью.

Картина прояснялась. Получив белый бланк, начальник отдела должен был указать в нем, сколько у него осталось документов устаревшего образца, и отослать обратно. Розовый бланк был напоминанием о получении белого, и в нем красными чернилами подчеркивалось, что оба бланка — и белый, и розовый — *следует НЕМЕДЛЕННО возвратить в отдел канцпринадлежностей.* Однако начальники отделов, соображал Грайс, глядя на тощую пачечку возвращенных бланков, как правило НЕ отправляли (вопреки утверждению Хью Пенни) белые бланки обратно в отдел канцпринадлежностей — скорее всего просто потому, что братья Пенни ленились посылать их. (Тут Грайс твердо решил, что он-то, для упрощения себе жизни, обязательно будет посылать.)

— А если начальники отделов не возвращают и розовый бланк? — спросил Грайс.

— Тогда...— начал Чарльз Пенни.

— ...возникает необходимость личных контактов...— шутовски помрачнев, продолжил Хью.

— ...и вам приходится самому ходить по отделам,— заключил Чарльз.

Значит, слоняйся сколько душе угодно по «Альбиону», подумал Грайс. Его новые обязанности нравились ему все больше и больше.

— Стало быть, обработав присланные отчеты, я рассылаю требование сдать имеющиеся в наличии бланки устаревшего образца,— уточнил он.

— Вообще говоря, так...

— ...и все же не совсем так,— с явной неохотой и не полностью признавали его правоту братья Пенни. Им было обидно, что Грайс постиг их мудрую бухгалтерию за каких-то двадцать минут.

— Вы посылаете *два* требования после сверки бланков с комплексным контрольным листом...— начал Чарльз.

— Да-да, я, конечно, хочу сказать *два* требования,— чуть раздраженно перебил его Грайс.

— По требованию «А» львиная доля устаревших бланков отсылается на склад снабжения, где из них делают бланки для черновых заметок: ведь обратная-то сторона у бланков чистая...

— ...но бланки особо важных документов...

— ...вроде денежных квитанций или отчетов о несчастных случаях...

— ...которые могут быть употреблены недобросовестными личностями во зло...

— ...короче, все бланки, помеченные на комплексном контрольном листе звездочкой...

— ...пересылаются нам в ответ на требование «Б»...

Они пошли по второму кругу.

— Я понимаю...

— ...и немедленно уничтожаются.

— Да-да, благодарю вас. Я уже понял. И наконец я сообщаю вам...

— Письменно...

— На голубом бланке...

— ...что документы устаревшего образца...

— ...собраны.

— И все это до той поры,— с улыбкой откинувшись на спинку стула, подытожил Грайс,— пока не устареют сами голубые бланки. Х-х-хах! — Эта его шутка, как ему казалось, достаточно ясно говорила, что обучение завершено и что братья могут вернуться к своим собственным занятиям.

Однако братьям Пенни так не казалось. Грайс начал опасаться, что они намерены обучать его по крайней мере до конца рабочего дня и на меньшее ни в коем случае не согласятся. Посмеявшись его шутке двойным смешком — «Кхххха! Аххху!», они принялись в третий раз жевать мякину изъятия с самого начала: белые бланки, голубые бланки, комплексный контрольный лист, требования «А» и «Б»...

Чтобы избавиться от этой жвачки, Грайс решил задать братьям один хитренький, но в общем-то не имеющий прямого отношения к его работе вопрос.

— А когда мне пришлют — ну хотя бы, к примеру, наши друзья с одиннадцатого этажа — вышедшие из употребления... ну, опять же скажем, к примеру, бланки отчетов об отпусках... они, наверно, должны затребовать новые бланки?

— Безусловно,— ответил Чарльз.

— У нас,— добавил Хью.

— Новые бланки не высылаются им автоматически?

— Отнюдь,— сказал Чарльз.

— Они высылаются им в ответ на их требование,— пояснил Хью.

— Так я и думал.— Грайс задумчиво почесал в затылке.— А требование они должны написать на коричневом бланке, верно?

Братья Пенни, как-то странно подергиваясь и стараясь не смотреть друг другу в глаза, словно им трудно было сдержать веселое хихиканье, энергично закивали.

— Но ведь коричневые-то бланки, насколько я понял, мы требуем прислать нам как устаревшие? — Грайс заметил это, машинально разглядывая лежавший перед ним комплексный контрольный лист. А пошутил про голубые — что они, дескать, могут устареть,— просто не желая заговаривать об еще одних бланках, коричневых.

— В общем, да. Коричневые бланки теперь заменены...

— Верней, упрощены.

— Ты считаешь, упрощены? — игриво спросил брата Чарльз, с ухмылкой взглянув на него за спиной Грайса.— Я бы все же сказал, заменены.

— Давай тогда скажем заменены *и* упрощены,— так же игриво отозвался Хью. Грайсу вдруг показалось, что они репетируют абсурдистский диалог.

— Понима-а-аю,— со смешком протянул он, показывая, что и ему тоже весело, хотя по его-то мнению все это было вовсе не смешно.— Стало быть, они не могут получить новый бланк, пока не затребуют его...

— ...написав требование...— подхватил Чарльз.

— ...на нем же,— заключил Хью.

— Уловка двадцать два,— добавили они в один голос, радостно выпучив глаза.

Грайс не удосужился спросить у братьев Пенни, кто конкретно саботирует на одиннадцатом этаже своевременный возврат розовых бланков отделу канцпринадлежностей, и решил разобраться во всем сам. Он выпил наскоро чашку чая и внимательно просмотрел пачечку бланков, изъятых братьями Пенни у саботажников при личных свиданиях.

Однако это ничего ему не дало. На бланках начальники отделов были сокращенно закодированы по правилам внутриальбионской почты — вернее, простите, «нутряшки», мысленно извинился он. Копланд, например, именовался Ка-Восьмым, то есть начальником канцпринадлежностей с в о с ь м о г о этажа, как догадался Грайс. Стало быть, начальник соседнего оперативно-хозяйственного отдела назывался, по всей вероятности, О-Восьмым.

Короче, он знал только, что ему нужен А-Одиннадцатый. Да и то не знал, а просто предполагал: выйдя из лифта и оглядываясь в поисках таблички, которой тут не было, он вспомнил, что Пам вроде бы упомянула одиннадцатый этаж (она, правда, говорила одиннадцатый или тринадцатый), когда рассказывала об административном секторе «Лакомщика», взявшем на себя выдачу ДДТ. Вскоре ему предстояло выяснить — хотя в это трудно было поверить,— что отдел питания (с административным сектором) занимает и одиннадцатый, и двенадцатый, и тринадцатый этажи.

Одиннадцатый этаж отличался от четвертого и восьмого, где уже побывал Грайс, лишь тем, что его не разделяли на три отсека низкие перегородки. Значит, здесь размещался всего один отдел. А благодаря отсутствию перегородок столов тут было гораздо больше, чем в трех отделах на восьмом или четвертом этажах,— около сотни, как прикинул Грайс, все металлопластиковые, четырехящичные, с передней, закрывающей ноги панелью: производства «Комформа», каталожный номер Б4А/00621, в этом у Грайса не было сомнений. (Какому-то комформскому торговому агенту удалось провернуть очень крупную сделку, и странно, что Грайс ничего о ней не слышал.) За каждым столом сидел клерк-мужчина — им, безусловно, следовало посочувствовать: ни одной женщины в отделе не было,— а на черных пластиковых столешницах виднелись вороха ДДТ: их непрерывно анализировали, нумеровали, штемпелевали, вносили в гроссбухи и картотеки, накалывали на рожки скоросшивателей и вообще обрабатывали всеми известными Грайсу способами. А за ближайшим к двери столом сидел служащий, до изумления напоминающий Джека Леммона, и Грайс тотчас же припомнил фильм «Обитель», где высмеивался именно такой, как здесь, заунывно каторжный конторский труд.

Клетушки вроде Копландовой Грайс тут не обнаружил, но стол Джека Леммона стоял перпендикулярно к остальным, и хотя Леммон выполнял ту же, что и другие клерки, работу, его можно было принять за начальника.

Когда Грайс подошел к нему, он, не поднимая головы, голосом человека, повторяющего одну фразу в сотый раз, устало сказал:

— На тринадцатом этаже.

— Простите?

— ДДТ выдают на тринадцатом этаже. Люк.— Это простое слово прозвучало у него как-то странно: «льюк».— Возле «Кокпита».

— Понятно. Но мне-то нужен начальник отдела.

— Какого отдела?

— Этого.

Джек Леммон внимательно оглядел Грайса, но тона не изменил.

— Я понимаю, что этого. Только откуда вы знаете, что вам нужен именно этот отдел?

Заработался, вот в чем дело, подумал Грайс. Да и все они тут явно заработались. Ни один не поднял головы при его появлении, не отложил ручки или, скажем, отдельского штампа. А ведь они должны бы обрадоваться развлечению.

— Вообще-то я ищу А-Одиннадцатого.

Грайс вынул из кармана и развернул перед Леммоном розовый

бланк. Но тот не взял его, а прочитал в Грайсовых руках, будто Грайс был живым пюпитром.

— Вам нужен П-Тринадцатый. Тринадцатый этаж. Люк.— Он опять сказал «льюк».— Возле «Кокпита».

Спасибо на пустом слове, подумал Грайс, поворачиваясь к Леммону спиной. Он вышел за дверь, но решил не ждать лифта, а подняться по лестнице. Просто чтоб размять ноги. Добравшись до двенадцатого этажа — таблички не было и там,— он заглянул из любопытства в полуотворенную дверь.

Все служащие — мужчины; ни одна голова ни на секунду не поднялась от бумаг. Грайс остановился у двери и оглядел двенадцатый этаж из конца в конец. Если б не живой ориентир — Джек Леммон, которого здесь не было,— он подумал бы, что его каким-то образом занесло на одиннадцатый этаж.

В общем, Грайс не знал, что и подумать. Шестая часть служащих — два этажа из двенадцати — занимается в «Коварном Альбионе» обработкой каких-то несчастных дотационных талонов. Он слышал о фирмах, уделяющих большое внимание здоровью и благосостоянию служащих — по уверениям бизнесумников, это оборачивалось повышенной производительностью труда,— но шестая часть!

Грайс поднялся на тринадцатый этаж и здесь увидел наконец табличку: «Отдел питания (административный сектор)». Он занимал примерно две трети тринадцатого этажа, а одна треть, отгороженная стеной с обоями «под кирпичную кладку» и массивными дверями «под красное дерево», была отведена для ресторана «Кокпит», где питались альбионские администраторы. В раскрытую дверь «Кокпита» Грайс увидел несколько женщин — скорей всего официанток,— праздно сидевших за столиками с белыми скатертями. Они мирно беседовали, покуривая сигареты, и Грайс, пожалуй, не решился бы обвинить их в лентяйстве: обед кончился часа два назад, и делать им сейчас было решительно нечего.

«Кокпит» размещался слева, если стоять спиной к входной двери. А справа от центрального прохода, за металлическим, по пояс человеку, барьером, стояли ряды столов отдела питания, или, может быть, его административного сектора, который был, по всей вероятности, центральным нервным узлом всего отдела, расположенного на двух с половиной этажах. И тут, как с облегчением увидел Грайс, клерки не перелопачивали в поте лица пресловутые ДДТ. Но гнулись они над своими столами весьма прилежно — видимо, их начальник был сторонником железной дисциплины в своей империи.

А сидел он, как решил Грайс, у внешней стены «Кокпита», в будочке из древесностружечных плит с круглым оконцем — «льюком», по выражению Джека Леммона. Будочка эта напоминала билетную кассу «времянку» на каком-нибудь железнодорожном полустанке — причем закрытую билетную кассу, потому что люк был задвинут изнутри древесностружечной плитой. Чувствуя себя немного неловко под взглядами служащих административного сектора — хотя на самом-то деле никто из них даже не взглянул в его сторону,— он подошел к будочке и постучал костяшками пальцев по закрывающей люк плите.

Все дальнейшее Грайс назвал бы пантомимой, если б стал кому-нибудь об этом рассказывать. Один из служащих, отгороженного барьерчиком административного сектора проворно встал, вошел в «Кокпит» и на секунду исчез; а потом плита, закрывающая люк будочки, отъехала вверх, клерк, исчезнувший в «Кокпите», рявкнул «С одиннадцати до часу!», и, громко грохнув, плита опустилась.

Однако не потерявший хладнокровия Грайс перехватил служащего, когда тот вышел из дверей «Кокпита».

— Извините, ради бога, мне очень жаль, конечно, отрывать вас от работы, но я не по поводу ДДТ.— Чтобы подкрепить свою доблест-

ную атаку, Грайс вытащил из кармана пачку розовых бланков и коротко объяснил служащему, чего он хочет. Тот сделал глубокий вдох, потом выдохнул воздух сквозь плотно стиснутые зубы, выхватил у Грайса пачку бланков и с видом человека, доведенного до последней крайности, опять скрылся в «Кокпите». Через несколько секунд он появился снова, однако уже без бланков,— стало быть, дело сдвинулось с мертвой точки, подумал Грайс.

— Вам придется подождать,— буркнул служащий. После этого он подошел к своему столу, сел на стул и углубился в обработку каких-то документов, уже не обращая на Грайса ни малейшего внимания.

Ждать Грайсу пришлось довольно долго. Официантки явно собирались домой: надев дешевенькие пальтишки, они укладывали в хозяйственные сумки дотационные — от щедрот альбионской кухни — пакетики со съестными припасами вроде лярда, сахара и тому подобной снеди. Грайс взглянул на часы и обнаружил, что уже без десяти пять. Значит, если вчерашний вечер был в его отделе обычным, канцпринадлежники убирают сейчас документы, захлопывают ящики столов и облегченно потягиваются на стульях, считая рабочий день оконченным. Однако здесь, в административном секторе отдела питания, да наверняка и на двух других этажах, служащие по-прежнему трудились не разгибаясь.

Минутная стрелка часов над входной дверью неумолимо приближалась к двенадцати. Грайс еще не решил, как поступить, когда люк с грохотом открылся, и к его ногам упала смятая в комок пачка бланков. А выглянувшее из люка лицо — толстое и темно-красное от злости — показалось ему еще темнее по контрасту с ослепительно-белой шапочкой шеф-повара, которая венчала его, словно серебряная корона.

— Скажите своему Копланду, что у нас тут есть дела поважнее, чем его треклятая канцелярщина! И пока начальник здесь я, а не он, ему распоряжаться у нас не дадут — пусть подавится своими бумажонками, как... как... как обезьяна гнилыми орехами!

После этих слов плита, закрывающая люк, опустилась столь стремительно, что с некоторых столов сдуло на пол какие-то документы. Даже не поднимая головы, Грайс чувствовал, что теперь-то его разглядывают все служащие административного сектора. Стало быть, они не роботы, мимолетно подумал он.

Грайс вернулся в отдел канцпринадлежностей, когда на часах было две минуты шестого, и обнаружил там поистине удручающую картину. Никто из его сослуживцев не потрудился убрать документы, наваленные братьями Пенни на стол Ваарта, и теперь он должен был сам их куда-то спрятать. Но куда? Все архивные шкафы оказались, разумеется, запертыми.

Грайс попытался немного разгладить розовые бланки, столь яростно отвергнутые начальником отдела питания, но теперь абсолютно неудобочитаемые, ибо они были заполнены под копирку. И все же их надо было куда-то пристроить. Ну мог ли он уйти — мог ли он даже подумать о том, чтобы уйти,— оставив на столе важнейшую документацию?

Вот и проявляй после этого инициативу!..

Но тут он вспомнил, что ему же ничего не стоит открыть любой из отдельских архивных шкафов. Ведь они, под маркой «огнеупорный шкаф для хранения архивной и/или текущей документации», изготовлены на фабриках «Комформа». Эти шкафы — «биметаллические, многоящичные, с телескопическими направляющими, утопленными ручками и *стандартным запором*» — открывались просто-напросто шариковой ручкой: следовало только вставить ее вместо ключа в замочную скважину и резко, но легонько нажать. Никакого жульничества тут не было: «биметаллические, многоящичные...» и

так далее шкафы, каталожный номер Б4Б/04885, назывались всего лишь огнеупорными. А *взломоупорными,* если так можно выразиться, их никто не объявлял.

Грайс легко открыл первый попавшийся архивный шкаф и запихал туда всю документацию — пусть удавится тот умник, который предположит, что он обязан еще и рассортировывать ее по папкам. Нет уж, этим он займется утром, когда, глядя на его поджатые губы и слыша грохот, с которым он задвигает ящики, братья Пенни смогут ясно понять, кем он их считает.

А сейчас ему было очень жалко себя. Вытянутый в длину, опустевший и ярко высвеченный электрическими лампами восьмой этаж, покорно ожидавший орду уборщиков, которые вскоре должны были спуститься сюда, напомнил Грайсу по-ночному пустынную Северную кольцевую дорогу. Грайс так хотел попрощаться перед уходом с Пам! Да он, если уж на то пошло, хотел попрощаться со *всеми* своими сослуживцами... Одинокий и грустный, он чувствовал себя наказанным мальчишкой, тоскливо сидящим дома, когда все его сверстники весело играют на улице. Грайс вдруг почувствовал, что ему до смерти хочется пососать конфетину из запасов Копланда.

Теперь в «Альбионе» не слышалось даже приглушенного гула работающих лифтов. Тишина была полной. Грайс не знал, когда придут ночные уборщики, но, они, конечно, возвестят о своем приходе громким топотом, шумом пылесосов и скрипом тележек, на которых перевозят корзины для мусора. Так что он с божьей помощью будет предупрежден заранее.

Его собственные башмаки пронзительно скрипели, когда он, почему-то на цыпочках, двигался туда, где Копланд хранил в архивном шкафу свои конфеты. Нет, он вовсе не чувствовал себя преступником, скорее наоборот, героем, если уж говорить откровенно.

И все-таки сердце у него билось учащенно, а руки немного дрожали, когда он вытаскивал из кармана шариковую ручку и вставлял в замочную скважину архивного шкафчика. «Запросто»,— пробормотал он, услышав послушный щелчок замка. Стало быть, на худой конец ему ничего не стоит сделаться взломщиком сейфов.

Он осторожно приподнял верхний ящик, чтоб не раздалось скрежета металла о металл...

...И проклятая жестянка с Виндзорским замком яростно забрякала: решив, что ящик туго ходит по направляющим, Грайс резко дернул его, и банка упала; с нее соскочила крышка, и несколько конфет разлетелось в разные стороны.

Нет, надобно действовать поспокойней. Надобно, во-первых, выбрать конфету, верней две, не забыв при этом спрятать в карман обертку той, которую он съест прямо сейчас, и запомнив, что *потом,* по дороге домой, ее нужно *обязательно выбросить.* Ну, а во-вторых, надобно как следует обыскать ящик, чтобы положить все высыпавшиеся конфеты обратно в жестянку.

Рядом с конфетной жестянкой в ящике лежала пара автомобильных перчаток (кожаные ладони и сетчато-матерчатый верх), дешевое издание романа «Аэропорт», полупустой пакет с пластиковыми соломинками — возможно, летом Копланд, как и Хаким, пил во время перерывов на чай газированную фруктовую воду,— да две каких-то брошюрки (одна в черной, другая в белой обложке), похожих на фирменные справочники. Среди этих немногих вещей найти несколько конфет было проще простого.

Собрав конфеты, Грайс на мгновение задумался, потом отложил про запас еще одну, а остальные ссыпал в жестянку и закрыл ее крышкой. К этому времени он уже расправился с ванильной ириской и развернул ту конфетину, которую держал в руке. Она оказалась, ему на радость, леденцом. Он сунул конфету в рот и принялся со смаком ее посасывать, а фантик аккуратно положил в карман.

И тут на него накатила очень разумная мысль, что неплохо бы заодно исследовать и другие ящики архивного шкафчика. Вдруг там обнаружатся личные дела служащих? Он открыл средний ящик, но в нем кроме пары подтяжек да заварного чайника с отбитым носиком ничего не нашлось. Ну, а нижний ящик был доверху забит жестянками из-под конфет — их скопилось тут больше дюжины. Да, грустная картинка откроется сослуживцам, если Копланда собьет завтра на улице автобус и они начнут разбирать его служебное имущество.

Грайс опять заглянул в верхний ящик. Надо пристроить конфеты на прежнее место, подумал он и подсунул под один край жестянки автомобильные перчатки: ему казалось, что она лежала именно так. И тут он снова обратил внимание на справочники. Посасывая леденец, он вынул белообложечный. Справочник был здорово потрепанный и наверняка устаревший — видимо, про такой рассказывали ему Пам и Сидз. Грайс полистал его: почти все, что в нем говорилось, он уже знал — кроме названий дочерних фирм «Альбиона» на последней странице. В общей сложности около двадцати фирм — их названия ни о чем Грайсу не говорили.

Второй справочник, в черной обложке и с плотными отрывными листами, был, по всей вероятности, внутриальбионской телефонной книгой: на краях листов Грайс увидел буквы алфавита. Эти телефонные справочники выпускала, наверно, какая-нибудь крупная полиграфическая фирма — точь-в-точь такими же Грайс пользовался на всех своих предыдущих службах.

Грайс нашел «паую сясь» Копланда и Лукаса, директоров «Лакомщика» и «Кокпита», начальников «нутряшки», оперхозяйственного отдела и отдела главной проходной. Других отделов он пока еще здесь не знал и начал бессистемно листать справочник.

Потом, слегка нахмурившись, вернулся к началу — аварийный отдел — и принялся читать внимательней.

Он уже дошел до буквы «Е» и подумывал залезть в конфетную кладовую Копланда еще раз, когда вдруг услышал такой неожиданный и странный звук, что у него зашевелились волосы на макушке.

За те два дня, что он проработал в «Альбионе», здесь *ни разу* не звонил телефон, даже когда служащие всех трех отделов были на месте. Так что раздавшийся звонок сразу же выбил его из привычной колеи. В безлюдной тишине восьмого этажа он прозвучал, как оглушительная сирена пожарной тревоги.

Повинуясь инстинкту самосохранения, Грайс моментально решил удирать. Машинально — однако аккуратно — захлопнув архивный шкаф, он проглотил недососанный осколок леденца, показавшийся ему раскаленной железкой, и двинулся к двери. Телефон продолжал звонить.

Ему еще надо было надеть плащ.

Не умея определять по звуку направление, он не знал, какой из шестидесяти или, может, восьмидесяти телефонов их этажа устраивает ему эту пугающую провокацию. Ясно только, что не Копландов: на таком близком расстоянии ошибиться было трудно. Стараясь рассуждать логически, он решил, что кто-то пытается связаться с начальником оперхозяйственного отдела,— ведь Копланд вроде бы говорил, что постоянные клиенты звонят иногда начальникам отделов.

Но пробираясь к своему плащу, Грайс понял, что ошибся: звонил телефон Сидза.

Это открытие одновременно и успокоило его и удивило. Звонили, стало быть, в их отдел. А точней, лично Сидзу — видимо, кто-то посчитал, что рабочий день кончается у них не в пять, а в пять тридцать или даже в шесть. Грайс был тут на законном основании: ему пришлось убирать документы, от которых открестились хитроумные братья Пенни. Значит, он должен ответить.

Грайс неуверенно поднял трубку, но традиционного «Алло» не сказал. Сначала он услышал только дыхание человека. Однако через несколько секунд странно знакомый голос четко, словно диктуя телефонограмму, проговорил:

— ОКОЛО ГОДА ОН СОСТОЯЛ ЧЛЕНОМ ЛИБЕРАЛЬНОГО КЛУБА В ФОРЕСТ-ХИЛЛЕ — НО ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. ПОЛИТИКОЙ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ.

Грайс был настолько ошарашен, услышав об этом эпизоде из своей собственной биографии — да-да, явно из своей собственной: *случайных* совпадений такого рода не бывает,— что отреагировал, как он потом понял, самым идиотским способом из всех возможных.

— Ч-ч-чего? — заикаясь, проблеял он, выдав себя с головой.

Начальник отдела служащих — потому что звонил, безусловно, он — молча повесил трубку.

Грайс торопливо схватил свой плащ и что есть духу помчался к лифту.

Глава шестая

— Ну а вы женаты?

— Да уж не без этого.

Они сидели в «Рюмочной». Грайс, приканчивая второй бокал суавэ (надо было заказать сразу бутылку, и делу конец), радостно думал о той стремительности, с какою они приближались к их первому тайному свиданию. Именно тайному, Грайс нисколько в этом не сомневался, потому что не он, а Пам выбрала тот почти скрытый от посторонних взглядов уголок под лестницей, где они устроились.

Трудно было поверить, но факт: в первую же пятницу, всего через четыре... ну, или через четыре с половиной дня после их первого обеда в «Лакомщике» — тогда с ними обедал еще и Сидз — они сидели в укромном подвальчике за столиком в форме винного бочонка, так что их руки почти соприкасались на маленькой круглой столешнице, и непринужденно болтали. Если прибавить к этому, что муж Пам, Питер, инспектор по надзору за зданиями, охраняемыми государством, часто работал вечерами — или, верней, объяснял вечерней работой свои поздние возвращения домой,— положение складывалось просто идеальное.

А ведь поначалу все шло из рук вон плохо. Его надежда пообедать вдвоем с Пам, чтобы, дескать, расплатиться с ней за одолженный ему ДДТ, вдребезги разбилась о бдительность их общего друга Сидза.

Вообще Грайс не знал, что и подумать про Сидза — с тех пор, как он подслушал во вторник вечером «телефонограмму» Лукаса, Сидз по-прежнему казался весьма общительным, и однажды они чуть ли не полдня с жаром обсуждали, куда сворачивает после Хаммерсмита семьдесят третий автобус. И однако он больше не делал попыток упрочить столь приятно начавшееся знакомство: не приглашал Грайса вместе пообедать, не рассказывал про обычаи «Альбиона», чтобы новичку было легче привыкать к новой работе, не обещал раздобыть устаревший альбионский справочник. Грайс, пожалуй, сказал бы, что в его повадках сквозила какая-то странная уклончивость.

Возможно, правда, Лукас передал Сидзу, что Грайс пытался подслушать его личный телефонный разговор. Он много думал об этом. Ему даже хотелось отозвать Сидза в сторонку и рассказать, как все получилось: почему он оказался вечером возле телефона, зачем снял трубку и что услышал. Но это могло поставить их обоих в неловкое положение. Сидзу, похоже, были доверены какие-то служебные тайны, и он, ясное дело, не мог их разглашать. Он скорей всего сказал бы Грайсу: «Смотрите, старина, любопытные уши можно и прищемить».

Впрочем, телефонограмма Лукаса вовсе его не ущемляла. Наоборот, начальник отдела служащих как бы выдал ему справку о хорошем социальном здоровье. «Политикой не интересуется»,—

объявил он. И уж во всяком случае левым его, слава богу, назвать было никак нельзя.

И все же этот телефонный звонок постоянно беспокоил Грайса. Он придумал ему множество объяснений, но ни одного по-настоящему убедительного. Вернее всего, Лукас набрал номер Сидза случайно: он хотел позвонить какому-нибудь высшему администратору — начальнику отдела безопасности, например (Грайс видел его телефон в справочнике), который просто по долгу службы обязан интересоваться политическим лицом новичка. В некоторых фирмах, где раньше трудился Грайс, тоже, бывало, днем с огнем искали затаившихся красных. Известно же все-таки, что промышленный саботаж — не бабкины сказки.

А может быть, звонок Лукаса не имел отношения к работе. Может быть, они сами были экстремисты, Лукас и Сидз,— члены Национального фронта, например, если говорить определенней. Может быть, Лукас, пользуясь возможностью знакомиться с личными делами служащих, искал единомышленников. Если так, то у Грайса он быстренько получит от ворот поворот.

Ну, а если стать на более реальную почву, то Лукас, пожалуй, проверял какое-нибудь Сидзово предположение — не по службе, так сказать, а по дружбе. Возможно, Сидзу пришло в голову, что Грайс — политический экстремист из марксистов или, скажем, членов Национального фронта; возможно, он видел по телевизору какого-нибудь политически оголтелого типа, похожего на Грайса, и дал знать об этом Лукасу,— вполне возможно.

Короче, тут нетрудно было найти хоть сотню объяснений, и все они выглядели странновато. Так же, между прочим, странновато, как объяснения, которые давал сам себе Грайс насчет некоторых особенностей внутриальбионского телефонного справочника.

В среду он отправился на тринадцатый этаж и благодаря приобретенным во вторник знаниям о работе административного сектора получил под расписку комплект ДДТ. Вернувшись на свой этаж, он хотел было пригласить Пам пообедать, но Сидз его опередил.

Так тянулось до сегодняшнего вечера. Пам и Сидз упархивали в «Лакомщик», даже не взглянув на него, а он становился жертвой братьев Пенни. Сегодня утром, во время перерыва на чай, он робко подошел к Пам и сказал, что готов расплатиться за пожертвованный ему в беде талон, но она равнодушно ответила: «Как нибудь в другой раз», а весь ее вид, казалось, говорил: «Да забудьте вы об этой чепухе».

И Грайс уже поставил бы на Пам крест, если бы в лифте их отношения не развились совсем по-другому.

Лифты, как давно уже заметил Грайс, были по-своему весьма интимными приютами. Попадая туда, человек сразу же раскрепощался — вроде как перед зеркалом в ванной. Бизли, например, выпячивал нижнюю губу и вдувал изо всех сил воздух ноздрями, а Грант-Пейнтон мерно пощелкивал языком, словно бы изображая часы. За стенами лифта ни тот, ни другой ничего подобного себе не позволяли. Сидз, входя в лифт, сейчас же начинал напевать песенку «Обожаю бродяжить» — и это при том, что в иных местах он никакого интереса к музыке не проявлял. Среди других сослуживцев Грайс отметил Копланда: на каждой остановке он тяжело вздыхал и закатывал глаза, как бы приглашая спутников присоединиться к его желанию поскорее добраться до нужного ему этажа; а миссис Рашман, возможно из симпатии к Копланду, всякий раз чуть приседала, сгибая колени, и негромко просила: «Ну скорей же, лифт!»

У Грайса не было выработанной манеры лифтового поведения, потому что в «Комформе» он работал на первом этаже, да и само здание «Комформа» было довольно низким. Но он очень быстро обрел нужную привычку. Подымаясь утром на восьмой этаж и спускаясь

вечером вниз, он приучился становиться на носки и прижиматься к виниловой стенке лифта, сводя одновременно лопатки, так что они почти касались друг дружки. Сослуживцы молча одобрили это проявление индивидуальности, и он почувствовал себя среди них своим.

И вот, какой бы отчужденной — или, скажем, просто равнодушной — ни была Пам на нейтральной территории восьмого этажа, она неизменно становилась доброжелательно-радушной, затворившись в лифте. Грайсу пока ни разу не удалось подняться с ней наверх утром — она была поздней пташкой, что неизменно вызывало у миссис Рашман желание в шутку запеть «Ранняя птаха к нам прилетела», когда она прибегала в десять минут десятого,— но тем крепче ухватился Грайс за возможность спускаться с ней вниз по вечерам. Появляясь на службе позже всех, Пам, надо отдать ей должное, позже всех и уходила. Грайс обыкновенно слонялся по холлу, пока она не начинала собираться домой — это было видно ему сквозь стеклянные двери,— и тогда, вызвав лифт, он нажимал кнопку «Задержка», чтобы двери не захлопнулись. Пам подбегала к лифту и бочком-бочком, как делают почти все люди, подбегающие к лифту за секунду до отправления, проскальзывала в кабину. На пути вниз, пока Грайс терся спиной о стенку лифта, она, отдышавшись и заглядывая в сумочку, начинала бормотать: «Так-так, что же я забыла?», а Грайс шутливо гадал: «Ключи? Кошелек? Сезонный билет? Набор казенных ручек?» — и между ними устанавливалась интимная лифтовая связь.

Так они пропутешествовали вечером сквозь этажи четыре раза за первую неделю — неплохое начало. А в четверг, то есть вчера — будь благословен этот день! — она так долго убирала свой стол, что почти все служащие успели уйти, оставив им лифт на двоих, и Грайсу удалось немного расширить границы их общего интимного мира, сказав: «По-моему, наши лифты оборудованы встроенными печками». — «У нас их называют кондиционерами,— отозвалась Пам.— Они накачивают в лифты горячий воздух летом и холодный зимой». Тогда, смахивая со лба воображаемые капли пота, Грайс разыграл перед ней пантомиму «Смерть от жары», а она подыграла ему, выпятив нижнюю губу и обдувая себе снизу вверх лицо — жантильное подобие бизлийского лифтового номера — и одновременно обмахиваясь, как веером, свернутой в трубку «Ивнинг стандард». Очень интимная сценка. Здорово это у них получилось.

Грайс, впрочем, вовсе не хотел спешить. Ведь сейчас давала начальные побеги его первая любовная связь на стороне — да и вообще практически его первая связь, если не считать романа с Пегги в «Доках и внутренних водных путях»,— так что он готов был ждать ее плодов сколь угодно долго.

Поэтому Пам здорово его огорошила, когда, попрощавшись у дверей «Альбиона» с несколькими сослуживцами, дерзко спросила, в какую он идет сторону.

— Посиси? Ах, в каую соону? Да обыа на заад, хаа мау и на ваок — мы'ыть каас ту'меу бумя афоусыи асаоаи.— Он был так потрясен, что даже заговорил почему-то наподобие Копланда, когда у того во рту конфета. И ему захотелось перевести свою абракадабру на обычный человеческий язык. «Простите? Ах, в какую сторону? Да обычно на запад, хотя могу и на восток — мы ведь тут как раз между двумя автобусными остановками»,— чуть было не повторил он. Ему сделалось вдруг очень жарко, и оставалось только надеяться, что он не покраснел.

— Мне-то на запад,— сказала Пам с такой откровенной улыбкой, что она вполне заменила прямое приглашение.

Автобус Пам останавливался в двухстах примерно ярдах от «Альбиона», она пристроилась в хвосте довольно длинной очереди, и Грайс остановился рядом. Все это было, конечно, очень мило, но они очутились тут в разгар «пикового» часа, а впереди Пам стояло не меньше

двадцати человек. «Здесь до самой ночи запросто проторчишь»,— кольнула его досадливая мысль.

— Я вот смотрю на вас, и мне вспоминается миссис Рашман,— сказала Пам,— потому что раньше здесь останавливался ее семьдесят третий автобус, так что мы ходили сюда вдвоем. И я всегда *точно знала,* что́ она скажет — еще до того, как она открывала рот... А впрочем, бог с ней, с миссис Рашман, пойдемте-ка лучше выпьем.

Хотя Пам силилась говорить небрежно, Грайс почувствовал в ее голосе дрожь волнения, очень похожего, как он решил, на его собственное. Тщетно пытаясь казаться спокойным, он хрипловато сказал:

— По-моему, где-то здесь должен быть винный бар.

— Правильно, за углом. «Рюмочная». Вы там бывали?

— Да нет, просто однажды проходил мимо и заметил.

— Заведеньице так себе. Но там хоть можно сесть.

И вот они сидели тут, и Грайс прихлебывал из бокала суавэ, а Пам неприкрыто интересовалась его личной жизнью — расспрашивала, женат ли он и всякое такое. Грайс чувствовал, что у него слегка кружится голова.

Пока, видимо, не стоило прямо объявлять, что жена не понимает его, но намекнуть было можно.

— Да уж не без этого. С незапамятных, как говорится, времен. Ну, и у каждого из нас появились, конечно, свои собственные интересы. Хотя в общем,— тут он простодушно вздохнул,— мы живем довольно мирно.

Ему казалось, что он взял верный тон.

— А ваша жена работает?

— Неполный рабочий день. В маленькой компании неподалеку от нашего дома. Она просто заходит на работу во второй половине дня и регистрирует дневную выручку. Чтоб не томиться целыми днями дома.— Ему очень не хотелось, чтобы Пам узнала, *где* работает его жена. Лукас-то, наверно, дознался: он, похоже, досконально изучил Грайсову жизнь. А дознавшись, мог сообщить Сидзу. («Да, его жена тоже была членом Либерального клуба. Но политикой, как и он, не интересуется. А кстати, знаете, где она работает? Так вот, строго между нами, она работает у букмекера».) Ну, а Сидз, весьма склонный посплетничать, был, судя по всему, в приятельских отношениях с Пам...

Не первый уже раз Грайсу захотелось узнать, какие все же отношения связывают Сидза и Пам. Ладно, там будет видно. Если их первое тайное свидание окажется не последним, Сидз наверняка останется с носом.

— А иногда, и даже довольно часто, она работает вечерами,— как бы ныряя в омут, добавил он.— Так что мы, бывает, несколько дней подряд видимся только по утрам. Ну и, как я уже сказал, у каждого из нас появились свои собственные интересы.

— В самом деле? И какие же?

— Ну, она уделяет много времени местной...— Он чуть было не сказал «местной любительской труппе», но успел сообразить, что если интересы у них с женой разные, а он не прочь стать артистом Альбионского любительского театра, то не должен говорить про театральные увлечения жены.—...феминистской организации,— чуть запнувшись, закончил он.

— Да нет, я спросила о *ваших* интересах.

— А-а. Я, значит, не с того конца, как говорится, начал. Какие, стало быть, интересы у меня? Ну, я, конечно, люблю посидеть за чаркой, как мы с вами сейчас. Не хотите ли, кстати, еще чарочку этого испанского напитка?

— Что ж, вообще-то он сравнительно ничего.

— Очень даже ничего. Так хотите?

— Пожалуй. Только вместе с вами.

Грайс подошел к стойке и заказал еще два бокала суавэ. В следующий раз он обязательно купит сразу бутылку. Ведь порциями-то получается гораздо дороже.

— Что еще? — снова заговорил он о своих интересах, когда они обсудили, что бармен здорово недоливает бокалы.— Я, разумеется, много времени провожу у нашего *гроба живых картин*, если так можно выразиться. Видели вы вчерашнюю передачу «О, господи, опять этот Сильван Жаббс!»?

Пам покачала головой.

— А мне понравилось! — чуть вызывающе, словно она его осуждала, воскликнул он.— Там есть прямо-таки великолепные повороты сюжета, кто бы их ни придумывал.

Пам по-прежнему, только теперь немного медленнее, покачивала головой, выражая легкую насмешку или, пожалуй, полное равнодушие, но уж во всяком случае нисколько не осуждая свою, так сказать, необразованность. Если он будет продолжать в том же духе, она просто перестанет его слушать.

— Вообще-то я, конечно, слишком часто сижу перед телевизором,— признал он,— поддался, знаете ли, дурной привычке. Надо бы почаще выходить...

— А куда вы обычно выходите?

— Да в том-то все и дело! *Куда*, собственно, можно выйти? Мне обязательно надо чем-нибудь заняться. Вы вот упоминали... Альбионскую труппу, правильно я запомнил?

— Я думала, вам это не интересно.

— Что вы, наоборот. Или, лучше сказать, небезынтересно. Я с удовольствием к вам зашел бы — на первый раз просто посмотреть. А там — кто знает? — может, из меня получится первоклассный Гамлет!

Пам улыбнулась, но промолчала. Она не поддержала и его шутку — что ему, мол, с его данными лучше всего, наверно, играть в массовых сценах и по возможности спиной к зрителям.

Она просто сменила предмет разговора.

— А что вы думаете о «Коварном Альбионе» после вашей первой трудовой недели?

Эге, у нее явно прорезались Сидзовы интонации. Грайсу не раз рассказывали про женщин-мартышек, рабски подражающих своим любовникам. Его сердце сжала когтистая лапа ревности, хотя до сих пор ему было неведомо это чувство. Староват я для ревности, мысленно усмехнулся он. А стало быть, утопим-ка ее в вине.

— Что ж тут можно сказать? — осторожно откликнулся он, хлебнув из бокала.— Фирма как фирма.

— И вас не утомляет ваша работа?

— Ну, по-моему, в «Коварном Альбионе» никто особенно не перетруждается.

— А пустая бумажная волокита на работе вас не удручает?

— В каком смысле «не удручает»?

— В прямом, конечно.

И тут Грайс опять отметил, что Пам иногда очень въедливо допрашивает своих собеседников. Первый раз это пришло ему в голову, когда она спорила за обедом с Сидзом, но тогда он как-то не обратил на это внимания.

— Боюсь, что я вас все же не совсем понимаю.

Пам тяжко вздохнула, словно бы удрученная его примитивностью. Очень, к сожалению, характерные для нее штучки-дрючки.

— Не знаю даже, как бы это сказать попроще. Вы у нас обретаетесь уже неделю. И никто здесь, по вашим наблюдениям, особенно не утруждается — мягко говоря. Причем так у нас *всегда*.

— Вот и прекрасно,— отозвался Грайс. Он, конечно, мог бы рассказать ей, чтоб она не считала его Грайсиком-дурачком, и о других

своих наблюдениях — например, про странности внутриальбионского телефонного справочника,— но тогда ему пришлось бы признаться во взломе копландского архивного шкафа, а это было ни к чему.

— Значит вас *не* удручает пустопорожняя бумажная волокита?

— Разумеется, нет. Наше дело канцелярское — платили бы жалованье.

— А некоторых, знаете ли, удручает. Вы никогда не прислушивались к воркотне миссис Рашман?

— Вот уж кто отнюдь не перегружен работой, *мягко говоря*,— саркастически заметил Грайс, на мгновение забыв, что Пам с миссис Рашман — приятельницы. Во всяком случае, они вечно шушукались по углам.

— Правильно. Это-то ее и удручает. Поэтому, насколько я знаю, она и уволится отсюда, как только выйдет замуж. Ей кажется, что она не заслуживает своего жалованья.

— А кто в наши дни заслуживает?..

— Или вот мистер Хаким. Его с самого начала возмутили здешние порядки. И ему до сих пор не удалось примириться с мыслью, что он, по его словам, просто-напросто бездельничает на работе.

— Он должен радоваться, что нашел хоть какую-то работу!.. Да и каждый из нас должен радоваться, разве нет? — Грайс добавил последнюю фразу, чтоб не показаться расистом. Пам все больше левела в его глазах.

— Вообще говоря, конечно. Но вы должны признать, что мы тратим впустую уйму рабочего времени. А время, как говорится, деньги. И кто-то обязательно должен за него платить.

Или, пожалуй, правела.

— Господа налогоплательщики, кто же еще,— пожав плечами, сказал Грайс. Кое-какие странности «Альбиона» его немного заинтересовали, но разговоры о морали, вроде затеянного сейчас Пам, ему всегда казались пустыми. Он попытался придумать тему, более подходящую к третьему бокалу суавэ в уютном винном баре.

Но зря он ломал себе голову, потому что Пам неожиданно сама сменила тему:

— Скажите, Клемент, у вас есть какие-нибудь политические взгляды?

Странный вопрос... Впрочем, вовсе не странный, если она сама занималась политикой или, к примеру, помогала Сидзу, который в свою очередь помогал Лукасу выяснять политическую ориентацию служащих. Докопался же Лукас, причем неизвестно каким образом, до его Либерального клуба. Но если она была звеном в этой цепочке, то должна была знать и ответ на свой вопрос.

— Я ровно год состоял членом Форестхиллского либерального клуба,— осмотрительно сказал он, припомнив эпизод из одного старого фильма, где герой отвечает на вопросы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.— И вступил в него, чтобы общаться с людьми. А политических взглядов у меня просто нет.

Какой бы ни была причина ее дознания, он ответил ей чистосердечно. Грайс издавна поддерживал на выборах ту политическую партию, которая снизила его подоходный налог или обещала сделать это, когда придет к власти. Закончив свой краткий отчет, он спросил Пам:

— А у вас?

— Да тоже фактически нет,— ответила она.— Я из тех, кто голосует по случайному капризу.— Ну, тут уж разрешите вам не поверить, подумал Грайс.— Однако последнее время мне стало казаться, что политические взгляды — основа всех основ.

— Каких таких основ? — туповато спросил Грайс. Он вдруг совсем перестал ее понимать. Выпив три больших бокала — то есть практически полбутылки — суавэ, он чувствовал себя не то чтобы пьяным,

но все-таки немного «под кайфом». Да и на нее вино должно было, разумеется, подействовать.

— Ну, мы вот привыкли говорить, что «работа для народа» — это, мол, основа всех основ. А если вдуматься поглубже? Можно, по-вашему... как бы это получше сказать? Ага, вот: можно, по-вашему, всеобщую занятость назвать самым главным делом? Или нужно считать — в идеальном, конечно, мире,— что если такую-то, к примеру, работу люди делают втроем, а с ней вполне справятся двое, то одного, стало быть, надо объявить безработным?

— Что-то я вас не понимаю,— пробормотал Грайс, на которого слова «в идеальном мире» произвели устрашающее впечатление. Метафизики он боялся пуще безработицы.

— Нет уж, подождите, не перебивайте, дайте мне сказать,— многословно потребовала Пам. Она уже допила свой бокал, и он подумал, что, если они выпьют еще, ему придется выносить ее из «Рюмочной».— Допустим, вы директор и распорядитор нашего «Альбиона»...

Она хотела сказать «директор-распорядитель». Здорово же ее развезло.

— Которым я, слава богу, никогда не буду,— вставил он.

— Слава или не слава, а смеяться надо мной по... повремените. Я, конечно, выпила три бокала суавэ, но это *очень важный вопрос*. Вот, значит, вы главный босс британского «Альбиона», и вам неожиданно захотелось прийти в отдел канцпринадлежностей, а там, значит, некая миссис Фос решает кроссворд из «Ивнинг стандард», миссис Рашман вяжет жениху свитер, Ранджаб Хаким торгует конфетами, Клемент Грайс, взгромоздив ноги на стол...

— Вряд ли мне удалось бы увидеть самого себя...

— Вы прекрасно знаете, про что я толкую, не перебивайте, пожалуйста. Вы, значит, сразу видите — в отделе слишком много служащих, и вам ясно: этого, этого и этого надо уволить... Или, по-вашему, нужно сказать — ладно, много места они не занимают, жалованье получают, небольшое, а если их и отсюда выгонят, то где они, спрашивается, найдут работу?..

Ее вопрос неприятно задел его. Ведь совсем недавно он сам был вышвырнут на улицу, когда служащих оказалось «слишком много». Нет, за бокалом вина ему такие разговоры вести явно не хотелось.

Он вдруг заметил, что она выглядит не очень-то привлекательно. Кожа у нее на лице была чересчур смуглая — или, пожалуй, желтоватая,— и в свете неярких электрических ламп на фоне бурых стен подвальчика она казалась какой-то неумытой. Под носом у нее темнели чуть пробивающиеся усики, и они были не единственной мужской чертой: спорила она, да и просто говорила, тоже по-мужски — самоуверенно и свысока.

— Я, Пам, не способен вышвыривать людей на улицу,— сказал он,— можете считать это ответом. Меня ведь самого совсем недавно вышвырнули. И мне, знаете ли, было не до шуток.

— Так вы, значит, оставили бы нас всех на работе, хотя делать нам здесь решительно нечего?

— Да. Оставил бы. При прочих равных условиях.— Грайс не смог бы объяснить, что означает его последняя фраза, но Пам не спросила. Она, слава богу, отрезвела — может быть, от чрезмерного возбуждения. Но при этом, как с огорчением заметил Грайс, потеряла к нему всякий интерес. Отставив бокал и взяв сумочку и перчатки, она равнодушно сказала:

— Ну вот и хорошо.

Их первая — а похоже, что и последняя — встреча подошла к концу. И Грайс подумал, что зря назвал ее тайным свиданием. Видимо, его просто экзаменовали. И он вовсе не был уверен, что успешно выдержал экзамен.

Молча открыв сумочку — Грайс решил, что сейчас ее не позабавит шутка о наборе казенных ручек, и тоже смолчал,— Пам вынула из нее какую-то неряшливого вида брошюру вроде политического манифеста или ученого трактата. Уж не собиралась ли она завербовать его в Фабианское общество?

— Возьмите-ка,— сказала она.— Только не забудьте отдать, когда прочитаете, а то их осталось у нас очень мало.

Пам, значит, все же принесла ему пресловутый альбионский справочник. Если б это был жест дружелюбия — или, еще лучше, особого внимания,— Грайс, конечно, почувствовал бы теплую благодарность. Но Пам вела себя как чиновник Общества помощи бедным.

— Спасибо, вы очень любезны.— Грайс надеялся, что в его голосе слышится оттенок холодного безразличия.— Но я уже ознакомился с ним — благодаря Копланду.

А вот этого говорить не следовало. Теперь придется как-то заметать следы.

— Он лежал на его архивном шкафу.

Пам, неизвестно почему,— если только она не подозревала, что он лазал в шкаф за конфетами,— бросила на него один из тех странных взглядов, которыми обменивалась с Сидзом, когда они препирались об Альбионской труппе в «Лакомщике».

— И много вы узнали?

— Да не очень. Вот, к примеру, там есть длинный-предлинный перечень наших дочерних компаний, но ни словом не упомянуто, чем они — или сам «Коварный Альбион» — занимаются.

— Я знаю,— сказала Пам с тем же таинственным видом, который она напустила на себя, небрежно бросив свое «Вот уж действительно» в ответ на Грайсов вопрос, чем занимается их фирма.

В «Лакомщике» ее заставил умолкнуть Сидз, но сейчас она замолчала без его помощи и, встав, пошла к выходу из бара, предоставив Грайсу решать самому, идти за ней или нет.

Однако, поднимаясь по лестнице к входной двери, она на секунду остановилась — якобы чтобы надеть перчатки — и, окинув его задумчивым взглядом, интригующе сказала:

— Знаете, это может прозвучать глупо — да и выпили мы больше, чем нужно,— но я никак не могу сообразить, наблюдательный вы человек или нет. Вроде бы да, но иной раз вы не замечаете самых очевидных вещей.

— Я вообще-то стараюсь глядеть в оба,— немного обиженно пошутил Грайс, всем своим видом, однако, показывая, что ждет продолжения.

— Тогда, если вы заметите что-нибудь странное, обязательно мне скажите, ладно? — попросила Пам.— Только мне одной.

«В каком смысле — что-нибудь странное?»

Грайс хотел задать этот вопрос, но не успел: она так быстро взбежала по лестнице, что он догнал ее только на улице.

Да, неудачный выдался у него вечерок.

Глава седьмая

В понедельник, как раз перед вывозом мебели из отдела и за несколько дней до ее исчезновения, на работу после отпуска вышел Ваарт, и Грайс перебрался за стол Хакима, который уже загорал, наверно, в Альгарве.

Грайс ошибся: он заранее решил, что Ваарт похож на южноафриканского правителя — не Форстера, а того, другого,— но выяснилось, что нет. Он напоминал Мики Руни. И хотя, возможно, его отец и в самом деле был южноафриканцем датского происхождения, сам он выглядел как типичный лондонец. По выговору он походил на рабочего, а по характеру оказался критиканом.

Грайс уже знал, что, когда Ваарт приступит к работе, он должен будет следить за пополнением запасов канцпринадлежностей на складе снабжения, связываясь при необходимости с отделом централизованных закупок, расположенным на шестом этаже. Заказы в этот отдел шли, разумеется, через Копланда, который ставил на них свою подпись,— и такая ответственная работа была поручена, не в обиду Ваарту будет сказано, полуграмотному человеку. Ваарт, с трудом выговаривавший свою фамилию, никак не походил на обычного клерка.

— Ну и как вам Копланд? Тот еще сосун-зануда, а?

— Да ведь это его обязанность,— пожав плечами, сказал Грайс, думая сойтись поближе с записным врагом Копланда, однако без явного осуждения начальника.

— Конфеты сосать его обязанность! А дал он вам хоть одну? Из своего липучего ассорти? Чтоб мне кем хошь быть, не дал! Чего? У-ху-ху-ху-ху!

Смех Ваарта, как и все его реплики, звучал саркастически. Хорошо, что у Грайса был короткий, ни к чему не обязывающий смешок: своим неопределенным «х-х-хах!» он словно бы и Ваарта поддержал, и Копланда не осудил.

Ему не без труда удалось увести Ваарта от обсуждения их сослуживцев. Только спросив его про надвигающуюся реорганизацию, Грайс изловчился остановить Ваартов поток хоть и добродушных, но все же компрометирующих их обоих насмешек.

— Завтра и начнется, это уж как пить дать.

— Завтра? А в чем она будет заключаться?

— Так ведь кто ж его знает, у-ху-ху-ху-ху! Ну, правда, столы-то унесут, это не сомневайтесь. И зря вы расклались тут со всей этой хреновиной, что торговка на базаре, у-ху-ху-ху-ху! Как они начнут столы-то выносить — половины не досчитаетесь!

— Зато уж после всей этой заварухи с реорганизацией я сразу получу собственный стол.

— Как бы не так! Вы его хоть выписали, стол-то?

— А разве надо?

— Так ведь как же не надо? Сам-то он к вам не притопает, верно? Стало'ть, надо накатать внутреннее требование. Накатаете — ну, тогда можно и ждать. Хорошо, ежели неделю. А то и месяц. Отдел оборудования, пятый этаж, рядом с закупками. Там у них шайка — почище нашей, ничего не делают.

— Значит, надо затребовать стол в отделе оборудования на пятом этаже? А как его надо затребовать?

— Так ведь кто его знает! У-ху-ху-ху-ху!

У Ваарта была привычка мюзик-холлских комиков отступать от собеседника на несколько шагов, когда он собирался сказать что-нибудь важное. И вот, чтоб произнести свое «Так ведь кто его знает», он допятился аж до своего стола, и Грайс решил, что их разговор окончен. Однако он ошибся. Искоса поглядывая на сослуживцев,—дескать, сейчас я сообщу вам кое-что по секрету,— Ваарт снова вернулся к столу Грайса.

— Ну, а насчет столов-то — вы, стало'ть, уже спрашивали?

— Спрашивал, как получить стол? — с надеждой переспросил Грайс.

У Ваарта был такой вид, будто он умеет обходить бумажную волокиту при получении конторского оборудования и собирается научить этому Грайса.

— Да не *ваш* получить! — прорычал Ваарт с исказившимся от ярости лицом. (Вскоре Грайсу предстояло узнать, что так он выражает легкое нетерпение.) — А насчет *всех* наших столов. Мне вроде сказали, мол, вы спрашивали у Бульдога, откуда наш хреновый «Альбион» получает столы.

Говоря «у Бульдога», Ваарт кивком указал на Сидза. Значит,

Сидз, как это ни странно, запомнил их мимолетный разговор про альбионскую мебель, закупленную, по мнению Грайса, в «Комформе». Больше того, он рассказал об этом Ваарту, едва тот успел вернуться из отпуска.

— Вообще-то я упомянул однажды, не помню уж по какому случаю, что вся альбионская мебель изготовлена на фабриках «Комформа». Я ведь там работал.

— И вы, стало'ть, сказали, мол, вы не помните, чтоб «Альбион» их у вас покупал, так? Дескать, не было такого контракта, да и весь тут сказ?

— Ну, меня это, признаться, немного удивило.— Грайс не добавил, что удивился гораздо сильнее Ваартовой свистопляске вокруг его слов. Ему даже подумалось, уж не подослал ли кто-нибудь Ваарта, чтобы выведать у него какую-то тайну. Но ведь не знал он никаких тайн!

— Во-во. И небось этот, как его, «Конфор», он работает-то по заказам правительства?

— Совершенно верно. Существует централизованное государственное учреждение — Бюро правительственных поставок, снабжающее оборудованием все министерства. А раньше оно называлось, кажется, министерством общественных фондов...

— Хрен с ними, с фондами. А вы скажите-ка: чего это ваше бюро делает? Сколько оно всего накупает?

Грайс не понимал, куда Ваарт гнет. Его изменчивое, как у Мики Руни, лицо передернулось неистово страдальческой гримасой.

— Да вы не тушуйтесь. Вы пораскиньте мозгами-то. Они ж, говорят, покупают этих всяких конторских мебелей раза в два больше, чем нужно. Вы вот чего обмозгуйте.

— А-а. Это верно, Бюро правительственных поставок действительно закупает огромное количество конторского оборудования.

— То-то вот и оно! То-то и оно! А куда они потом девают все эти лишние мебеля?

— Я думаю, продают.

— Так еще бы не продавать! Ясное дело, продают! На этих, как его, на государственных акционах. Что ни день, то в газете объявляют — государственный, мол, акцион, ну прямо каждый божий день!

— Вы, значит, считаете, что «Альбион» покупает конторское оборудование на государственных аукционах?

— Во-во, приятель, на них.

Но это звучало абсурдом. Зачем, спрашивается, солидной коммерческой фирме вроде «Альбиона» обставлять свои респектабельные городские конторы подержанной мебелью? Ведь купив новое оборудование, «Альбион» только за счет амортизационного снижения налога мог сэкономить массу средств.

Грайс решил спросить об этом Ваарта.

— А потому как все они тут лоботрясы,— ответил тот.

Весьма довольный своим остроумием, он снова отступил от Грайса на несколько шагов, предоставив ему целую минуту для осмысления полученной информации. И снова подойдя к Грайсу вплотную, спросил уже нормальным человеческим языком, словно ему удалось пройти за одну минуту полный курс риторики:

— Я ответил на ваш вопрос?

Видимо, это была дежурная отдельская фраза.

Когда Грайс на следующее утро вышел из лифта, в отделе уже хозяйничали рабочие, а холл был завален столами, стульями и архивными шкафами. Дело, разумеется, делалось кое-как. Рабочие вручную выносили мебель и уже успели загромоздить подступы к пожарной лестнице, а чтобы окончательно отрезать отдел от лифта, не хватало, казалось, еще только одного стола или стула. Общую бес-

порядочную суету успешно дополняла юная Тельма, хлопотливо разыскивая среди нагромождения архивных шкафов тот, где у нее хранились чашки и поднос.

Грайс пробрался по извилистой тропе между грудами мебели к двустворчатой стеклянной двери (одна створка у нее уже была разбита) и вошел в отдел. Если не считать телефонов, сваленных кучей у стены, как на аукционе конторского оборудования, но все еще подключенных к розеткам, здесь было голо, словно в танцевальном зале. Оживленные служащие стояли кто где, засунув руки в карманы или прислонившись к низкому барьерчику. Главная перепланировка заключалась в переносе этого барьерчика, отделявшего отдел канцпринадлежностей от оперативно-хозяйственного: его решено было передвинуть на шесть дюймов, немного увеличив таким образом территорию, занимаемую канцпринадлежниками. Сидз и Бизли сказали Грайсу, что, судя по прежнему опыту, рабочим ремонтно-планировочного отдела, которые воплощали в жизнь проекты оперхозяйственников, потребуется на реорганизацию три дня.

Грайс предположил, что реорганизация вообще никому не нужна.

— Нужна или не нужна,— проворчал Бизли,— а это у нас ежегодное мероприятие. Иначе им совсем нечего было бы делать. Они ж и так почти весь год режутся с утра до вечера в карты.

Грайс нисколько не удивился. Британские рабочие, на его взгляд, всегда так работали.

Пам играла с братьями Пенни в слова — идиотское все же занятие! — и он подошел к миссис Рашман, одиноко стоявшей посреди отдела со своей пустой хозяйственной сумкой. Она сказала, что нынешний отдельский катаклизм начался в основном из-за него.

— У них ведь есть санитарно-бытовые нормы — или не знаю уж как оно точно называется,— по которым на каждого служащего должно приходиться столько-то кубических футов воздуха. Должно, видите ли, приходиться!

— Так планировка-то у нас на этаже открытая! — воскликнул Грайс.

— Чхи́х! — скрипуче-презрительно хохотнула миссис Рашман.— Это, мой дорогой, вы скажите не мне, а начальнику санитарно-бытового отдела. Я-то с вами согласна. Но им же просто больше нечего делать. Нет уж, эта реорганизация у них запланирована и утверждена, а значит, должна выполняться.

— Стало быть, мое появление потребовало дополнительного воздуха. Но ведь у оперхозяйственников-то воздуха теперь будет меньше.

— А это уж их заботы: по мне, раз они хотят задыхаться — пусть задыхаются. Но у них наверняка кто-нибудь уходит на пенсию, так что они смогут одолжить нам немного пространства. А уж как они будут выкручиваться, когда наймут человека вместо уволенного, этого я не знаю.

— Скорее всего опять передвинут перегородку в нашу сторону.

— Именно! Вы вот шутите, а они, увидите, так и сделают. И никакой мистер Копланд не сможет им помешать. Потому что я-то уволюсь, и в нашем отделе снова на одного человека будет меньше.

— Стало быть, все начнется сначала. Но ведь раз я поступил сюда за несколько дней до вашего ухода, было бы разумно ничего не менять.

— Это вы так думаете. А по их разумению, у нас в отделе появился еще один служащий. Как только вас прислали в отдел, санбытовики накатали рапорт — дескать, новому служащему требуется столько-то кубических футов воздуха. Вот они, видите, меряют — по ихним формулам на каждый стол нужны свои кубические футы.

— Так ведь стола-то у меня пока нет.

— Надейтесь, дорогой, будет у вас стол. Вы уже написали требование?

— Да я только вчера узнал, что мне надо бы его написать!

— Обязательно надо. Просто обязательно! Я бы на вашем месте занялась этим как можно скорей. В отделе оборудования сидят такие бездельники, что не приведи бог. Ваше требование может провалять-ся у них целую вечность.

— Мне уже мистер Ваарт сказал.

Тем временем Ваарт, крикнув Пам, что дела, мол, идут, присоединился к Сидзу и Бизли и, судя по интонациям, начал их подбадривать, хотя они вроде бы вовсе в этом не нуждались. Глядя на него, Грайс припомнил вопрос, который он не успел задать ему в понедельник.

— А не проще ли будет, если я займу ваш стол, когда вы уволитесь? — спросил он миссис Рашман.

На лице Ваарта появилось выражение дурашливой ошарашенности, и Грайс понял, что он услышал его вопрос.

— Ишь какой шустрый! У-ху-ху-ху-ху!

— Я ему уже объяснила, что мы, к сожалению, перехлестнулись,— холодновато сказала Ваарту миссис Рашман, слегка раздраженная его вмешательством в ее объяснения.

— Во-во, перехлестнулись! Перехлестнулись, ясное дело! Как вы тогда с Ферьером.

— Правильно, как я с Норманом Ферьером. Он работал тут, когда вас еще не было,— сказала она Грайсу.— Ему пришлось уволиться по болезни. А меня взяли на работу за две недели до его ухода...

— Сердечная машинка не сдюжила,— вставил Ваарт.

Фамилия Ферьер показалась Грайсу смутно знакомой. Ну да — он слышал ее в первое утро на новой работе, когда Сидз обсуждал с Копландом здоровье некоего Феела. Они еще тогда говорили, что ему уже лучше.

— ...Так, думаете, мне разрешили сесть за его стол? — продолжала между тем миссис Рашман.— Да ничего подобного! Стол отправили в подвал, а меня заставили маяться с их дурацкими требованиями.

— И маялась она, стало'ть, чуть ли что не три месяца.

— А когда эта трехмесячная маета кончилась, я получила тот самый стол, который они отправили три месяца назад в подвал — чтоб мне сию секунду провалиться, если не тот. Чхих!

— Х-х-хах!

— У-ху-ху-ху-ху!.. Мы толкуем про Ферьера,— заметив Копланда, повернулся к нему Ваарт. Копланд слонялся по отделу, как только что вошедший гость, которого забыли познакомить с другими участниками вечеринки. Да-да, все это здорово напоминало вечеринку! — Про заваруху с его столом.

— А-а, верно-верно, Ферьер. Кто-нибудь знает, как он сейчас? — По мнению Грайса, в голосе Копланда прозвучали немного странные нотки.

А миссис Рашман и Ваарт повели себя совсем уж странно: они многозначительно переглянулись, напомнив ему Сидза и Пам во время их бурного спора насчет Альбионской труппы. *Эта игра в переглядки*, как он ее определил для себя, интересовала его все больше и больше. Но какое, спрашивается, отношение имел Ферьер к Альбионской труппе?

— Я получила от него открытку на рождество, но про свое здоровье он ничего не написал,— сказала миссис Рашман, и Грайс мог бы поклясться, что в ее ответе прозвучала скрытая настороженность. А и вообще-то — почему, интересно, этот Ферьер шлет миссис Рашман рождественские открытки, если они всего лишь «перехлестнулись» тут на две недели?

— Он живет в каком-то восточном районе, верно? — спросил Копланд.

— Во-во, в восточном,— сразу же вклинился Ваарт, как бы для того, чтобы кто-нибудь не уточнил, где именно живет Ферьер. Ваарт вдруг показался Грайсу еще более настороженным, чем миссис Рашман.— И со здоровьем у него теперь полный порядок. Его ведь просто наш бедлам чуть в могилу не загнал. В нашем бедламе и с бычьим-то сердцем дуба дашь, а уж с человечьим вмиг загнешься, даже моргнуть не поспеешь!

Грант-Пейнтону, который любил поговорить обстоятельно, явно хотелось продолжить разговор об их бывшем сослуживце.

— Жаль, что ему пришлось уволиться,— сказал он.— Его ведь, пожалуй, можно назвать самым старым нашим служащим. Сколько он здесь трудился? Года четыре? Или даже больше?

— А давайте-ка, стало'ть, прикинем. Он, стало'ть, полтора года как ушел и, стало'ть, болтался тут полных четыре года. Нас ведь аккурат в одну неделю сюда наладили — меня из Нью-Кросса, из типографии Бактона, а его из Хаммерсмита, из этой, как его, из «Пилгрим-пресс». Это когда «Альбион» сожрал наши типографии.

Грайс припомнил список дочерних компаний «Коварного Альбиона» — ни Бактон, ни «Пилгрим-пресс» там не значились. Он сказал об этом Ваарту, добавив, что не понимает, в чем тут дело.

— Так они обе две давно снесены,— откликнулся тот.— У-ху-ху-ху-ху!

— Рационализация производства,— туманно пояснил Грант-Пейнтон.— Они были нерационально маленькие.

— Вот меня сюда и загнали,— продолжал Ваарт.— Нас человек пятнадцать сюда загнали. Перво-наперво старика Дугласа — он теперь здесь швейцаром. Да еще пару парней — в архивный сектор, в подвал. Да еще тройку — на шестой этаж, в ремонтно-планировочный. Да еще...

Тут Грайс решился перебить Ваарта, обратившись к Грант-Пейнтону:

— Вы вот сказали «самый старый служащий», а мистер Ферьер проработал здесь, оказывается, всего четыре года. Так, значит, «Альбион»-то — совсем недавно учрежденная фирма?

— Вовсе нет! Ничего подобного! Ни в коем случае! Совсем наоборот,— энергично отверг Грант-Пейнтон предположение Грайса.— У «Альбиона» просто названия несколько раз менялись, а существует он с незапамятных, как говорится, времен.— Грант-Пейнтон облизал губы, собираясь начать обстоятельный рассказ. Многозначительно подмигнув Грайсу, Ваарт поспешно ретировался к братьям Пенни, и было слышно, как он объясняет им, что Грант-Пейнтон, мол, опять пустился в свои дурацкие воспоминания. Ваарт плевал не только на элементарную вежливость, но и на самую обычную осторожность: ведь Грант-Пейнтон все же числился у них заместителем начальника отдела.

— Поначалу «Альбион» был просто крохотной типографией — печатал рекламные проспекты для маленьких компаний, квитанции для камер хранения, надписи на бумажных пакетах и всякое такое. А учредили его в самом начале века, если не раньше. Потом он стал расширяться, начал покупать небольшие коммерческие предприятия и наконец занялся недвижимой собственностью. Вот вкратце как возник британский трест «Альбион».

— Стало быть, у него солидная родословная?

— О, чрезвычайно солидная. Но в крупную коммерческую фирму он превратился для всех неожиданно и сравнительно недавно. Если не считать таких ветеранов, как Ферьер или Джек...— Джеком Грант-Пейнтон назвал, по-видимому, Ваарта, и Грайс немного удивился их приятельской близости.— ...почти все служащие «Альбиона»

были набраны после постройки нашего нынешнего здания, то есть три с половиной года назад.

— Стало быть, Джек начал свою работу не в этом здании?— спросил Грайс, надеясь, что Ваарт не обидится на него за фамильярность.

— Совершенно верно, не в этом. Он начал еще в старом типографском здании «Альбиона». Да это было вовсе и не здание, а насквозь пропыленный викторианский курятник с ветхими пристройками у Лондонского моста. Его, разумеется, снесли. Да «Альбион» давно уже не берет никаких типографских заказов.

Что ж, по крайней мере Грайс теперь знал, с чего начинала фирма, в которой он зарабатывает себе на жизнь. Бывшая типография, превратившаяся во многоотраслевой коммерческий трест с уймой дочерних компаний. Если эти компании сохранили некоторую самостоятельность, тогда, пожалуй, становятся понятными странные особенности внутриальбионского телефонного справочника.

Возможно, Грант-Пейнтон как раз и хотел объяснить ему происхождение этих особенностей. Грайс предполагал, что он закончит свои объяснения традиционным: «Я ответил на ваш вопрос?», но ошибся: Грант-Пейнтон стал подробно рассказывать ему обо всех, даже самых незначительных этапах альбионской истории, и он очень обрадовался, когда Тельма оборвала этот нудный рассказ, явившись в отдел с подносом, на котором стояли чашки с чаем и кофе.

Служащие сгрудились вокруг Тельмы. Она в этот день не собирала десятипенсовики для торгового автомата, и все принялись приставать к ней с шутливыми расспросами: предоставил ли им «Альбион» напитки бесплатно — в счет компенсации за неудобства, вызванные реорганизацией,— или Тельма сама угощает их, ограбив банк в честь своего дня рождения. Настроение у всех было взбудораженно-приподнятое, а пожалуй что даже и немного истерическое. Пока одни служащие передавали коллегам чашки, другие торопливо рылись в карманах, ища на ощупь десятицентовые монетки; раздавались голоса, предлагавшие Ваарту купить чаю сразу на всех — за то, мол, что он, счастливец, только вчера вернулся из отпуска,— и убеждавшие Тельму смотреть в оба, потому что он, чего доброго, попытается всучить ей иностранные монеты. Ни Тельма, ни Ваарт не обижались. Сослуживцы наперебой осыпали друг друга добродушными насмешками, и даже Копланд, словно бы позабыв о своей начальственной должности, перебросился какой-то веселой шуткой с Архадом, человеком довольно мрачным; а Копландов дребезжащий смешок — заразительное «Кхи-кхи-кхи!» — вызвал в ответ целую бурю смеха. «Кхххха! Ахххк! Чхих! Ф-ф-фхо! Х-х-хе! У-ху-ху-ху-ху!» — слышалось со всех сторон. Так беспечно веселятся люди разве что в рождество.

На другой день сослуживцы Грайса провожали миссис Рашман. Ему, как и всем остальным, предложили написать что-нибудь на гигантской поздравительной открытке, купленной Пам в ближайшем к «Альбиону» магазинчике. На открытке был изображен подвыпивший слон, выливающий себе в рот огромный бокал шампанского,— не очень-то удачный выбор, если учесть солидные габариты миссис Рашман и ее всем известное пристрастие к рюмочке. На открытке было напечатано: «Не забывай нам писать!» — и большинство служащих развивали именно эту тему: «Если будет время!», «После медовых утех!» — и прочее в том же духе разными почерками добавляли они. Грайс, не успевший близко познакомиться с миссис Рашман, коротко приписал: «Желаю счастья. К. Г.» И вот — открытку-то он подписал, а денег на подарок и прошальную церемонию не вносил и теперь никак не мог решить, можно ему принять участие в прощальном празднестве или нет. На деньги, оставшиеся после приобретения подарка — набора столовых ножей с ручками из тикового дерева,— был

куплен фруктовый торт, и теперь, если Тельме удастся его отыскать, сослуживцы съедят по кусочку во время перерыва на чай, когда Копланд произнесет прощальную речь. Так имел ли Грайс право есть торт, за который не платил? А главное, имел ли он право скромно стоять среди других сослуживцев, слушая, как Копланд говорит: «Примите от всех нас этот маленький дар»?

Грайсу всегда нравилась кутерьма служебных проводов, но сейчас он решил, что ему все же лучше незаметно уйти. Ни о какой работе не могло быть, конечно, и речи, а на проводах его отсутствие вряд ли кто-нибудь заметит.

Чтобы убить время, Грайс решил обследовать «Альбион» сверху донизу. Он уже знал обстановку на трех верхних этажах и поднялся на десятый. Здесь, если верить табличке, располагался управленческий сектор ремонтно-планировочного отдела, и, стало быть, отсюда получала инструкции вызванная из подвалов бригада, работавшая, а верней, НЕ работавшая сейчас в отделе канцпринадлежностей. Кроме того, на десятом этаже размещались таинственные службы «В» и «Г», как-то связанные, по-видимому, со службами «А» и «Б». Клерки из служб «В» и «Г» работали явно не спеша и с прохладцей — так же, впрочем, как и планировщики, один из которых писал сейчас плакат, приглашающий жителей какого-то лондонского района на общественное собрание с ужином. В общем, служащие десятого этажа вели вполне спокойную жизнь.

Грайс вышел на лестницу и, чувствуя, что в голове у него зреет какая-то смутная догадка, спустился на девятый этаж. Здесь тоже было три отдела. Там, где этажом ниже размещался отдел канцпринадлежностей, виднелась большая комната с настоящими столами и зарешеченными окошками — расчетный отдел, или Великий британский банк, по выражению Сидза, где служащие получали жалованье. Надо запомнить, отметил про себя Грайс. Со стенами «банка» граничил санитарно-бытовой отдел, в котором работали главным образом женщины: видимо, исследования бизнесумников или психологов показали, что у женского персонала возникает гораздо больше бытовых и житейских проблем, чем у мужчин, а значит, санбытовой отдел должен быть укомплектован служащими-женщинами. Здесь перед каждым столом стоял стул, сидя на котором удрученные поварихи и посудомойки жаловались, по всей вероятности, на своих никчемных мужей. Грайс взглянул еще раз на табличку — кроме расчетного отдела и санбытового здесь располагалось центральное машинописное бюро — и пошел по лестнице.

Пропустив свой этаж, где Копланд, наверняка уже с конфетой во рту, мямлил что-нибудь вроде: «...а главное, мисисаща, не забывайте попежных калек», он спустился на седьмой этаж.

У него все еще не было никакого определенного плана — он просто убивал время,— однако зревшая в его голове догадка не давала ему покоя.

Как в первый день, прислушиваясь к будничной звуковой какофонии новой конторы, он сначала не мог уловить, чего, собственно, ему не хватает, так и сейчас, вспоминая внутриальбионский телефонный справочник, он никак не мог сообразить, что же его там смутило. В справочнике чего-то не было — а чего именно, он пока догадаться не сумел.

...Четвертый этаж, где «окопался», как говорили служащие, Лукас, ему не помог; возможно, его осенит на третьем. Грайс спустился по лестнице и в холле третьего этажа нос к носу столкнулся с одноруким швейцаром. Он не понял, с каким из трех — они все были для него на одно лицо,— но зато сразу же понял, что тот загораживает ему дорогу, причем загораживает, по всей видимости, намеренно.

— Вам нужна какая-нибудь помощь, сэр?

— Да нет, все в порядке, спасибо.

— Это *вам* кажется, что все в порядке, сэр. А нам это пока неизвестно. Вы что-нибудь ищете?

— Я-то? Как вам сказать... Я, видите ли, здесь еще новичок... Меня совсем недавно прислали из Комитета труда... Ну, вот я и решил сориентироваться на служебной, так сказать, местности,— объяснил он. Однако швейцар едва ли понял его армейское выражение.— Изучить географию своей фирмы,— поправился он.

— Это вы насчет туалетов, сэр? Так они у нас есть на каждом этаже.

— Понятно. Но мне-то, по правде говоря...— Грайс принялся путано объяснять, что одну служащую из их отдела провожают на покой, и он, мол, раз его не попросили внести деньги, решил обследовать здание фирмы — весь этот лепет даже ему самому показался малопонятным. Однако швейцар выслушал его с каменным лицом и, когда он кончил, не сразу продолжил дознание, как бы давая ему время что-нибудь исправить или изменить в своих показаниях.

— У вас есть пропуск, сэр? — помолчав, спросил он.

Демонстрируя свою искреннюю чистосердечность, Грайс похлопал себя по карманам и признал, что пропуска у него нет.

— Вот видите, сэр,— сказал швейцар.— А чтобы ходить на этот этаж, вам надлежит получить пропуск.— Потом, немного поразмыслив, он сформулировал более общее положение: — Да, чтоб ходить на какой угодно этаж, надо получить пропуск, сэр. А подписать его должен начальник вашего отдела. Так сказано в противопожарных правилах, сэр.

Грайс не понял, при чем тут противопожарные правила, но расспрашивать не стал. Однако швейцар был не из тех, кто сворачивает объяснение, даже видя, что собеседник его не понял.

— Если б вы внимательно прочитали наш справочник, сэр, вам все стало бы ясно. При пожаре каждый служащий должен быть своевременно выведен из здания фирмы. По именному алфавитному списку, из всех отделов. А значит, во всякое время должно быть известно, где находится каждый служащий.

«Нет уж, брат, ты загни-ка мне что-нибудь похитрей, а детские сказочки не рассказывай»,— подумал Грайс, но, разумеется, промолчал. Швейцар, чуть прищурившись, внимательно оглядел его с головы до ног.

— Вы на каком этаже служите, сэр?

— Я-то? На восьмом. В отделе канцпринадлежностей. Моя фамилия Грайс.

У швейцара зашевелились губы, словно он повторял для памяти фамилию нарушителя внутрифирменных порядков. Можно было ясно представить себе, как он спрашивает своих коллег, значится ли некий Грайс в списках отдела канцелярских принадлежностей.

— Я настоятельно советую вам незамедлительно вернуться на свой этаж, мистер Грайс,— проговорил швейцар.

Бормоча слова извинения и благодарности, Грайс двинулся к лифту, который стоял, по счастью, на третьем этаже. В последний момент, когда двери лифта плавно захлопывались, Грайсу показалось, что швейцар, сфокусировав на нем линзы своих очков, фотографирует его — ему даже послышался характерный щелчок фотоаппарата.

Вернувшись, он обнаружил, что прощальная церемония вовсе не кончилась. Здесь, видимо, любили провожать сослуживцев с толком, с чувством, с расстановкой. Ему не оставалось ничего другого, как войти на цыпочках в отдел — проклятые башмаки отчаянно скрипели — и остановиться за спиной сослуживцев, сгрудившихся вокруг миссис Рашман.

Хорошо хоть, что они уже вручили ей подарок — раскрасневшаяся и со слезами на глазах, она сжимала в руке набор ножей, гигантскую поздравительную открытку и неизвестно откуда взявшийся букетик полуувядших гвоздик: значит, Копланд уже произнес прощальную речь, и она на нее ответила. Судя по грязным картонным тарелочкам в руках у всех канцпринадлежников, фруктовый торт был тоже, слава богу, съеден, и когда Грайс вошел, братья Пенни читали длинный стишок собственного сочинения. Они произносили строки стиха строго по очереди, а остальные служащие весело хохотали и выкрикивали время от времени скабрезные шуточки.

Мы все осиротеем
И огорчимся страшно,
Когда от нас уволится
Родная миссис Рашман!

Но раз уж вы уходите,
Нас огорчив невольно,
Не забывайте сумку
В «Коварном Альбионе»!

Всем известная сумка миссис Рашман вызвала бурю аплодисментов. Грайс очень пожалел, что, застеснявшись, ушел с празднества. Ему, пожалуй, никогда еще не было так весело.

Ходите с ней на рынок,
Чтоб муж не голодал,
Чтоб он в медовый месяц
Был нежен и удал!

То наклоняясь вперед от неудержимого смеха, то резко выгибаясь назад, миссис Рашман пронзительно выхихикивала свои «Чхих! Чхих! Чхих!», но неожиданно их заглушил телефонный звонок — второй телефонный звонок за время Грайсовой работы в «Коварном Альбионе».

Он с интересом наблюдал, как отреагировали на это его коллеги. Сидз молчал с видом коварного заговорщика. Пам явно нервничала. Братья Пенни умолкли, словно нашкодившие школьники. Бизли, Копланд и Грант-Пейнтон старательно показывали, что звонок не имеет к ним ни малейшего отношения. Ваарт принялся тихонько насвистывать — дескать, я знать ничего не знаю и никому не мешаю. Ардах неподвижно застыл — застыл, как параноик, сказал бы Грайс, хотя они все еще были очень мало знакомы. Сейчас Ардах даже сильней, чем обычно, походил на Гитлера. Ну, а миссис Рашман, та выглядела просто несчастной.

Первым шевельнулся Сидз, и Грайс нисколько этому не удивился: если б его привлекали денежные пари, он поставил бы десять против одного, что так и будет. Сидз подошел к стене, возле которой стояли все отдельские телефоны, и начал поднимать телефонные трубки, но звонки слышались по-прежнему. Все молчали. Наконец Сидз нашел нужный телефон — не свой ли собственный? — и звонки прекратились.

— Да? Да-да, совершенно верно... Хорошо... Да-да, положитесь на меня... Извините, господа,— опустив трубку, сказал он. Служащие, вопросительно смотревшие на Сидза, да и те, которые, вроде Пам, демонстративно глядели в пол, как по команде, повернули голову к братьям Пенни, и они продолжили чтение своего стишка. Но весело никому уже не было — праздничная радость проводов умерла.

Мы будем вспоминать вас,
Отчаянно скучая,
Без вас и без печенья
Для кофе и для чая!

Положив трубку, Сидз подошел к Пам, и, когда братья Пенни умолкли, он, под шум аплодисментов и принужденных смешков, что-то прошептал ей на ухо. Все это видели, но сделали вид, что не видят. Пам едва заметно кивнула.

Проводы завершились — по крайней мере их официальная часть. Кое-кто из служащих протиснулся поближе к миссис Рашман, чтобы лично пожелать ей счастья и восхититься красотой столовых ножей; другие сгрудились вокруг братьев Пенни, чтобы похвалить их замечательное сочинение. Пам как бы случайно оказалась возле Грайса и шепнула ему:

— Загляните сегодня вечером в «Рюмочную».

Глава восьмая

Грайс был раздосадован, но не очень-то удивился, когда увидел рядом с Пам Сидза — они сидели в «их уголке», как он несколько поспешно стал называть столик под лестницей. Если у этой пары не было каких-то особых отношений, тогда его можно смело считать председателем земного шара.

— Вы обещали сразу же сказать мне, как только заметите что-нибудь странное,— без всякого вступления начала Пам, хотя Грайс ничего ей не обещал.— Что вы обнаружили?

Скрывать Грайсу было нечего, но его издавна отпугивали прямые расспросы, казавшиеся ему посягательством на его свободу.

— Мне, знаете ли, не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом...

— Не делайте вид, что вы не умеете отвечать на вопросы,— бесцеремонно перебил его Сидз, состроив оскорбительно скучающую мину. Положительно, эти двое вели себя как бойцы французского Сопротивления во время допроса пойманного парашютиста. Тем более что Пам и внешне походила на француженку в своем белом, туго подпоясанном плаще и темном берете. А взглянув на ее черные чулки или, пожалуй, колготки, Грайс почувствовал, что у него пересыхает во рту — очень уж она была аппетитная. Если б Сидз не расхолаживал его своим кисло-скучающим видом, он бы, наверно, здорово завелся.

— Мы *знаем*, что вы рыскали по «Альбиону»,— сказала Пам.— Сидзу звонил дежурный швейцар, который задержал вас на третьем этаже. Вас видели и на девятом этаже, а потом вы что-то вынюхивали на седьмом.

— У вашей разведки везде, как я посмотрю, есть глаза и уши.

— Правильно. Есть. И хорошо еще, что вы попались на глаза нашей разведке, а не ихней.

— Ихней? А кто они такие?

Пам зажмурилась и тяжко вздохнула, чтобы показать, как трудно ей справиться с негодованием. Потом поставила бокал на стол и шутливо подняла руки вверх — сдаюсь, мол.

— Ладно, начнем сначала,— сказала она Сидзу. А потом, всем своим видом показывая, что ей надоело задавать один и тот же вопрос (хотя задала она его до этого всего один раз), монотонно спросила Грайса: — Вы-полдня-рыскали-по-«Альбиону» — зачем?

— Помните, я говорил...— Он чуть не брякнул «когда мы сидели здесь в прошлый раз», но сумел удержаться, чтобы не скомпрометировать себя и Пам, если Сидз ничего об их встрече не знает.— Помните, я говорил... что полистал внутриальбионскую телефонную книгу?..

— Про телефонную книгу вы ничего мне не говорили,— возразила Пам.— Вы говорили только про служебный справочник.

— Да? Значит, я просто забыл. Они там лежали вместе — и телефонная книга, и справочник.

— Вы уверены? — переспросила Грайса Пам.— Копланд вроде бы

не бросает телефонную книгу где попало. Это ведь все же загрифованный документ.

— В каком смысле «загрифованный»?

— Секретный. Доступный только начальникам отделов.

— А почему он секретный?

— Потому что, прочитав его, человек сразу все поймет.

Пока Грайс размышлял, стоит ли спросить, что именно *все*, Сидз поспешил вмешаться.

— Я думаю, что мы без всякой надобности спешим обогнать самих себя,— сказал он Пам.— Нам надо сначала узнать — *узнать от него*,— что именно он искал.

— Вы хотите знать, что я искал, когда наткнулся на телефонную книгу? — обеспокоенно спросил Грайс. Возможно, им уже известно про конфеты, и они просто хотят, чтоб он сам вырыл себе могилу.

— Когда *прочитали* телефонную книгу,— брюзгливо уточнил Сидз.

— Ну, нельзя сказать, что я ее прочитал, но полистал, знаете ли, довольно внимательно. И меня сразу же, помнится, удивило, что у нас нет рекламного отдела.

— «Альбион» ничего не рекламирует,— сказала Пам.— Больше того, он даже не поместил своих данных во Всеанглийском деловом справочнике.

Сидз, присвоивший себе роль председателя на этом трибунале, нетерпеливо постукивал пальцами по своему бокалу.

— Давайте-ка все же вернемся к телефонной книге,— сказал он.— Вы не нашли там рекламного отдела, но в этом, как мы договорились, нет ничего зловещего. Что еще вы обнаружили?

— Никаких служб сбыта там тоже нет: ни складов готовой продукции, ни отдела по изучению рынка, ни...

— Все правильно, «Альбион» ничем и не торгует,— сухо сказала Пам.

Сидз зацокал языком, словно раздраженная старуха.

— Вы лезете раньше черта в пекло, Пам! — досадливо воскликнул он.— Дайте же *ему-то* рассказать!

— Да мне, собственно, и рассказывать нечего,— откровенно признался Грайс.

— А мы тем не менее хотим послушать! Так вы, значит, полистали телефонную книгу, не нашли там отдела сбыта или чего-нибудь в этом роде и решили поискать его по этажам, верно?

— Не совсем. Сначала я действительно удивился. Но потом господин Грант-Пейнтон многое мне разъяснил...

— Никакой недвижимостью «Альбион» не торгует,— снова вмешалась Пам,— это установлено совершенно точно.

— Ладно, чем бы «Альбион» ни занимался, но у такого крупного треста должна быть своя электронно-вычислительная машина, и я решил, что она в подвале, но дошел только до третьего этажа.

— Нет у нас в подвале вычислительной машины,— сказала Пам.— У нас ее вообще нет. И знаете почему?

Сидзовы предостерегающие взгляды сверкали, словно красные прожекторы, направленные на Пам. Но она, как бы не замечая их, продолжала:

— Да потому, что если б у нас была ЭВМ, обслуживающему ее персоналу моментально все стало бы ясно.

Далось же ей это *все* Грайс и сам с удовольствием узнал бы, чем занимается «Альбион», но одержимость Пам казалась ему совершенно непонятной. Ну, положим, не торгует «Альбион» недвижимостью — так, значит, участвуем в каких-то крупных финансовых операциях, только и *всего*.

— А вы-то что об этом думаете? — не слишком галантно спросил он Пам.

Она промолчала, и на его вопрос ответил Сидз — верней, ушел от ответа:

— А вы?

— Да мне-то откуда знать? Я думал, вы меня просветите.

— Простите, Клемент, но мы хотим послушать *ваш* рассказ. Вам, стало быть, удалось выяснить, что в «Альбионе» нет рекламного отдела, нет службы сбыта, нет вычислительной машины и коммутатора — а вы работаете здесь всего неделю! У нас тут есть, знаете ли, служащие, которые за несколько лет не сумели собрать и половины ваших сведений. Так что еще вы обнаружили?

«Снизошел, сукин сын, до похвалы,— подумал Грайс.— И к тому же сделал вид, что мне самому удалось разведать про ЭВМ и коммутатор, хотя я только что узнал об этом от них».

Грайс на мгновение задумался. Нет, больше ему рассказывать не о чем — разве что про телефонный звонок Лукаса; но про звонок ему распространяться сейчас не хотелось... тем более что звонил-то Лукас именно Сидзу.

— Больше вроде бы ничего.

Сидз и Пам обменялись быстрыми взглядами, но на этот раз они друг друга не предостерегали. На этот раз в их взглядах читалось: «Вот ведь дурень!»

— Я же предупреждал вас, что ничего он не понял,— бросил Сидз.

— Поразительно,— пробормотала Пам.— Сказать ему?

— Да уж заканчивайте, коли начали,— проворчал Сидз.

Пам со сдержанным изумлением посмотрела на Грайса и спросила:

— Неужели вы не заметили, что *все отделы в «Альбионе» внутренние?*

Слава богу, что Сидз не налил им вина: он неминуемо выронил бы бокал, если б подносил его к губам, когда Пам задала ему свой вопрос. Ну конечно же! Как он мог не обратить на это внимания?

— К примеру, почтовый отдел,— с насмешливым недоумением продолжала Пам,— он ведь занимается только внутренней перепиской. А расчетный? Исключительно расчеты жалованья. А закупочный? Ничего, кроме приобретения мебели и письменных принадлежностей!..

— Разумеется, заметил,— сказал он, почти убедив себя, что говорит правду.

— Да и *не мог* не заметить, раз ему удалось, по его словам, найти телефонную книгу,— поддержал его Сидз.— Зачем, спрашивается, у нас держат телефонную книгу *под замком?* Только чтобы люди ничего не заметили.

— А зачем тогда они и вообще-то ее завели? — угрюмо спросил Грайс.

— Просто по необходимости,— ответила Пам.— Начальники отделов, а их у нас около тридцати или даже сорока, не способны запомнить столько телефонных номеров.

— Но ведь если верить Копланду, телефонные разговоры в «Альбионе» не поощряются,— сказал Грайс.

— Это относится только к рядовым служащим,— возразил Сидз,— потому что иначе им пришлось бы выдать список внутренних телефонов. А начальники отделов постоянно перезваниваются. Копланд, например, то и дело треплется с Лукасом, и для этого ему вовсе не надо таскаться всякий раз на четвертый этаж.

Так же как Лукасу вовсе не надо таскаться на восьмой этаж, чтобы поговорить с тобой, дружок, сказал бы Грайс, если б захотел перейти в наступление. И сразу же пожалел, что промолчал.

— Ну, а кроме всего прочего,— нарочито небрежным тоном проговорил Сидз,— альбионским администраторам и в голову не прихо-

дит, что кто-нибудь может взломать архивный шкаф, чтобы вытащить самый обычный на первый взгляд телефонный справочник.

Так же как и мне не приходило в голову, что тебя и Лукаса могут заинтересовать мои политические взгляды, до которых администраторам «Альбиона» нет вроде никакого дела, сказал бы Сидзу Грайс, если б не упустил время; а сейчас он уже был так растерян, что едва ли сумел бы составить внятную фразу. Стараясь быть предельно кратким, он, по возможности жестко, сказал:

— Я не взламывал шкаф, если вы метите в меня, он был открыт.

— А это уже новая версия. По вашему предыдущему рассказу, вы нашли внутриальбионский справочник и телефонную книгу *на* архивном шкафу.

Ну и гнусная же у него ухмылка, подумал Грайс, именно гнусная, иначе не скажешь. Понимая, что надо выкручиваться, он судорожно искал в уме какие-то оправдания. Но ему на помощь неожиданно пришла Пам. Ей надоели их препирательства, и она, чтобы с ними покончить, задала вопрос, который, по существу, спас Грайса:

— Да какое все это имеет значение?

— Некоторое имеет, моя дорогая, особенно если в будущем нам понадобится взломщик,— самодовольно отозвался Сидз.— Его таланты могут сослужить нам неплохую службу.

Пам, к досаде Грайса, очень этим заинтересовалась.

— Вы действительно взломали Копландов архивный шкаф? — спросила она.

— Я в общем-то *могу* открыть его архивный шкаф. Каждому, кто работал в «Комформе», известен один трюк...

— А зачем бы вам его открывать?

— Может, чтобы полакомиться конфетами? — предположил Сидз, и эта мысль очень его развеселила.

Теперь, когда роковые слова были сказаны, Грайс не знал, радоваться ему или стыдиться. Однако, секунду поколебавшись, он выбрал радость, раз уж третьего, как говорится, было не дано.

— Все может быть,— осторожно сказал он.— Я, видите ли, хотел спрятать служебные документы. Ну, и поскольку мне не трудно открыть *любой* отдельский шкаф...

— Да ведь сейчас это самое важное! — перебила его Пам, не дав ему рассказать в шутливой форме, почему он выбрал шкаф Копланда.— Значит, если нам понадобятся какие-нибудь документы, мы можем на вас рассчитывать?

Грайсу вспомнился зловещий Уотергейтский скандал, и он с беспокойством проговорил:

— Рассчитывать на меня в деле взлома и проникновения — или как там трактует эти действия уголовный кодекс? Трудное задание.

— Но вы сможете его выполнить?

— *Очень* трудное задание. А зачем вам это нужно?

Послышался один из тяжких вздохов Пам, содержащий, по примерным подсчетам Грайса, девяносто процентов негодования и десять — презрения.

— Неужели вы *начисто* лишены любопытства? Я ведь вам говорила, что «Альбион» ничем не торгует, ничего не производит и все отделы у него внутренние. По крайней мере так нам кажется. Неужели вы не хотите понять, в чем тут дело?

Грайсу сейчас очень пригодились бы очки или трубка: неспешно протирая стекла замшей или старательно разминая табак, он подчеркнул бы здравый смысл своих слов. Ему вовсе не хотелось, чтобы Пам приняла его здравомыслие за бескрылую приземленность.

— Ну, скорей всего именно *«кажется»*. Совершенно очевидно, что административно-управленческие штаты «Альбиона» жутко раздуты, но кто-то все же должен заниматься, так сказать, делом. Чем, к примеру, заняты таинственные службы «А», «Б» и так далее?

— Вы очень правильно назвали их таинственными,— удрученно сказала Пам.

— Стало быть, вам неизвестно, чем они занимаются?

— Никому неизвестно. И в том числе работникам этих служб. Они обрабатывают какие-то цифровые данные, сравнивают цифры последующего года с цифрами предыдущего, вычисляют проценты расхождения и прочее в том же духе. Короче, выполняют работу ЭВМ, которой у нас нет. Причем этот статистический отдел разбит, как вы правильно заметили, на четыре так называемые службы — «А», «Б», «В» и «Г», так что *полной картины* даже сами работники этих служб не знают.

— Зато для меня она начинает понемногу проясняться,— неуверенно пошутил Грайс. — У них там царствует деловитое безделье. Но то же самое творится и во всех других отделах... исключая, правда, отдел питания с его административным сектором.

— А вы неплохо осмотрели «Коварный Альбион».

— Верней, окинул его беспристрастным, так сказать, взглядом. И, насколько я понял, служащие одиннадцатого и двенадцатого этажей в поте лица своего обрабатывают ДДТ.

— Говорят,— не объяснив, кто говорит, обронила Пам. — Они вас выгнали?

— С треском! — вспомнив поведение шеф-повара и Джека Леммона, воскликнул Грайс.

Пам понимающе кивнула и после паузы горько сказала:

— А вы еще спрашиваете, почему нам хочется залезть в их архивы. — Потом, как бы не выдержав борьбы, она бросила на Сидза красноречивый взгляд. Этот взгляд ясно говорил: «А теперь, если хотите, можете сами разбивать себе голову о стенку его упрямства».

— В этом здании,— начал Сидз, подразумевая, очевидно, «Коварный Альбион», а не «Рюмочную»,— противоборствуют две группировки: Мы и Они.

Затем последовала драматическая пауза — напыщенно-драматическая, сказал бы Грайс. Он вдруг заметил, что Сидз совсем не похож на Джереми Торпа. Теперь он напомнил Грайсу того актера — его фамилия выскочила, конечно, у Грайса из головы,— который долгие годы играл роль назойливо любопытного соседа в многосерийной телекомедии про некоего человека, женившегося на подруге собственной дочери, а потом вдруг сыграл, совершенно сбив телезрителей с панталыку, главного героя в исторической трагедии «Мартин Лютер». Короче, занялся не своим, так сказать, делом...

Сидзу не удалось эффектно завершить драматическую паузу — ее почти сразу же заполнила Пам, чтобы уточнить его первые слова:

— Фактически даже не две, а три: Мы, Они и Остальные.

— Кто из нас будет рассказывать,— раздраженно спросил Сидз,— я или вы? — Саркастически усмехнувшись, Пам умолкла, и Сидз продолжил: — Они — это в основном начальники отделов, иначе говоря, посвященные. А Мы — это горстка рядовых служащих, которые хотят узнать правду.

— Ну, а Остальные,— вклинилась Пам,— это большинство альбионцев, не замечающих или, верней, не желающих замечать ничего странного, пока им в протянутые ладошки ежемесячно вкладывают их жалованье.

Грайс, если б ему предоставили выбор, без колебаний стал бы одним из Остальных. Но его насильственно присоединили к ищущим правду.

— А скажите,— спросил он, воспользовавшись брюзгливым молчанием Сидза,— в какую группу вы зачислите нашего общего друга Лукаса?

Обращаясь к Пам, он взглянул украдкой на Сидза, чтобы увидеть его реакцию,— и увидел непроницаемо каменное лицо, что тоже гово-

рило о многом. Известно ведь, что молчаливая собака куда опасней пустолайки.

— Лукас, разумеется, один из Них, причем он занимает очень высокое положение в этой группировке. А почему вы спрашиваете?

— Да он задавал мне довольно странные вопросы, когда я пришел к нему на собеседование. Ему, по-моему, важно было определить тип моей личности, а не степень профессиональной подготовленности.

— Правильно. Он хотел убедиться, что вы человек пассивный.

— Лукаса следует, пожалуй, назвать агентом-провокатором,— сказал Сидз,— хотя мне вовсе не хочется драматизировать обстановку. Узнав, что вы из наших, он, я думаю, сделает попытку втереться к вам в доверие и, может быть, даже расскажет что-нибудь интересное про «Альбион». Он уже так делал. Но будьте настороже. Все, что он услышит от вас, *обязательно станет известно.*

При желании можно было считать, что Сидз ответил Грайсу. Так и будем пока считать, решил он. Но теперь у него появился еще один вопрос:

— Вы вот сказали, «обязательно станет известно». А кому?

— Если б мы это знали,— отозвался Сидз и демонстративно нажал на кнопку своих электронно-цифровых часов,— то не сидели бы сейчас тут, понимая, что наш ужин перестаивается в духовке. Мой, по крайней мере, определенно перестоялся.

С этими словами Сидз встал, осушил свой бокал и посмотрел на Пам, предлагая ей взглядом сделать то же самое.

— Я немного задержусь,— откликнулась она. Грайс не понял, значило ли это, что ей хочется поговорить с ним наедине, или она просто предлагает Сидзу выйти из «Рюмочной» порознь. Так или иначе, но он все равно обрадовался: пусть она даже опять начнет насмехаться над ним, зато уж Сидза-то они выпроводят. Он закажет еще вина и наплетет потом жене, что не мог дождаться поезда: живем-то мы в конце концов один раз!

Сидз тем временем задал ему какой-то вопрос. Кажется, он спросил: «Так с нами вы или нет? Решайтесь и держите язык за зубами». Надо было что-то ответить.

— Будьте уверены! — решительно и как можно *активней* сказал Грайс. Видимо, он попал в точку, потому что Сидз удовлетворенно кивнул.

— Мы свяжемся с вами. — «Драматизировать обстановку» ему, стало быть, не хотелось, но от его последней реплики здорово разило мелодрамой. А впрочем, бог с ним: реплика-то была именно последней, и потом он сразу ушел.

— Бедненький Клем,— проводив Сидза взглядом, сказала Пам.

Это было так неожиданно, что Грайс невольно обернулся, решив, что она увидела за его спиной какого-то своего знакомого. Никого не обнаружив, он несмело улыбнулся — этого Пам от него и ждала.

— Замучили мы вас?

— Что вы, нисколько! Все это чертовски интересно и удивительно. Мне даже трудно сразу как следует осмыслить ваш рассказ про альбионские группировки.

Пам, улыбнувшись то ли снисходительной, то ли нежной, то ли даже призывно-чувственной улыбкой, подняла правую руку и мягко прижала указательный палец к его губам. Это было совершенно незнакомое ему ощущение. А палец ее, хотя она только что держала холодный бокал, был восхитительно теплым.

— По-моему, мы и так слишком долго толковали сегодня о служебных делах. Я-то надеялась просто еще разок посидеть здесь с вами наедине, но Рон настоял, чтобы мы обязательно сегодня поговорили все втроем.

Эти слова никак не объясняли ее придирок и насмешек в начале вечера, не говоря уже о пренебрежительных гримасах и сварливой

раздражительности, но Грайс мысленно отмахнулся от своего недоумения. Он улыбнулся ей в ответ — немного криво, потому что она все еще держала указательный палец на его губах,— и решил сидеть не шевелясь, в надежде, что, когда она опустит руку, их пальцы соприкоснутся на маленькой круглой столешнице.

Так и случилось — будто они задумали это вместе.

Глава девятая

Когда Грайса сморил наконец сон, ему приснилось, что он, Пам и Сидз взламывают в глухую полночь архивные шкафы отдела питания, а вокруг заливаются пронзительными звонками отдельские телефоны. Выдвинув один из ящиков, они обнаружили походную койку, на которой он и Пам должны были заняться при Сидзе любовью, но когда они откинули одеяло, оказалось, что там лежит однорукий швейцар, и его глаза под толстыми линзами очков широко открыты...

А утром, придя на работу — он опоздал, и ему пришлось расписаться в книге для опоздавших, как будто человек не может поспать несколько лишних минут, если работать все равно нельзя,— Грайс обнаружил, что на него хотят взвалить ответственность за пропажу отдельской мебели.

Когда он вышел из лифта, ничего плохого ему и в голову не пришло. Холл был пуст, и Грайс решил, что реорганизация наконец завершена, а мебель поставлена на место. Радуясь, что опоздал не один (они поднимались вдвоем с Ардахом), он сказал: «Стало быть, пора впрягаться?» — и Ардах философски ответил: «Не все лодырям праздник, иногда надо и поработать».

Но оказавшись в отделе, Грайс обнаружил, знакомую по нескольким последним дням картину: его коллеги группками стояли на голом полу, словно участники торговой конференции в холле какой-нибудь гостиницы, а Копланд, чрезвычайно взбудораженный, распекал за что-то братьев Пенни.

Его коллеги — да и рабочие из подвала, не продвинувшиеся, кстати, в деле реорганизации ни на шаг,— следили за разносом, как за увлекательнейшим спортивным состязанием. Грайс их не осуждал: ведь когда ругают твоего сослуживца, ты знаешь почти наверняка, что *тебя* сегодня ругать не станут. Он собирался незаметно подойти к той группе, где была Пам, и остановиться возле нее с видом собственника — пускай Сидз погадает, чем кончилась их вчерашняя задержка,— но вдруг услышал свою фамилию на Копландов лад:

— Мистагас!

Когда Копланд принялся махать бумажкой у него перед глазами, он разглядел, что это фотокопия какого-то документа, исписанного неразборчивыми каракулями.

— Мистагас, паиму инжиер потовопоганой биопакости заорал мее без достаточной ведьмости?

— Мистер Грайс,— начал переводить Хью Пенни,— почему инженер по противопожарной безопасности...

— ...забрал мебель без сдаточной ведомости? — закончил перевод Чарльз.

Сдаточная, или, точнее, приемо-сдаточная, ведомость была, по-видимому, стандартным бланком, который заполнялся, когда из какого-нибудь отдела уносили конторский инвентарь — например, забирали в ремонтное бюро пишущую машинку. Совершенно очевидно, что, раз инженер по противопожарной безопасности — ИПБ — приказал унести всю отдельскую мебель (хотя непонятно, зачем это ему понадобилось), он должен был оставить какой-то документ. Но Грайс все еще не мог сообразить, при чем здесь он.

Однако братья Пенни тут же принялись ему это объяснять, и в их глазах тускло поблескивал огонек злорадства.

— У ИПБ изъяли бланки сдаточной ведомости...

— ...а новых бланков не прислали.

— Он хотел позаимствовать их у почтарей или оперхозяйственников...

— ...но было уже очень поздно, и все ушли домой...

— ...хотя, в общем-то, это не имеет значения...

— ...потому что бланки сдаточной ведомости...

— ...изъяты, насколько нам известно, и у них,— заключил Хью, изо всех сил сдерживая самодовольную ухмылку. Оба братца старались придать себе вид невинных овечек.

Но Грайс пока решительно не понимал, что же все-таки произошло. Возможно, разгадка таилась в бумажке, которую тем временем всучил ему Копланд. Эта бумажка была испещрена такими неразборчивыми каракулями, что Грайс подивился, как на довольно ответственный пост ИПБ взяли человека, не умеющего писать. Однако, сопоставив слова братьев Пенни с возбужденным бормотанием Копланда, он все же исхитрился ее расшифровать.

На первый взгляд все это выглядело очень странно, но Грайсу, с его богатейшим опытом предыдущих служб, было не привыкать: он давно уже знал, что в каждой конторе обязательно есть свой Гитлер.

ИПБ, уезжавший, по разрешению начальства, в Камбрию, чтобы определить свою недавно овдовевшую матушку в дом для престарелых, решил накануне отъезда сделать последний обход вверенного его заботам учреждения. Поднявшись к пяти часам сорока минутам по пожарной лестнице на восьмой этаж, он обнаружил, что не может войти в холл, загроможденный чуть ли не до потолка отдельской мебелью. Он хотел напомнить начальнику отдела канцпринадлежностей, что на время перепланировки, перестроек, ежегодных уборок и тому подобных мероприятий необходимо сдавать конторское оборудование под расписку начальнику ремонтно-планировочного отдела, чтобы тот отправил его в подвал № 3, где специально для этого отведено соответствующее помещение. По инструкции начальник отдела, если ему надо вынести мебель, должен связаться с начальником ремонтно-планировочного и оперхозяйственного отделов, чтобы все трое проконтролировали передачу мебели в подвал № 3. Но поскольку инструкция была нарушена, ИПБ счел необходимым предложить ночным уборщикам перенести мебель на безопасное в пожарном отношении место, а те объявили, что это вовсе не их обязанность и что без дополнительной оплаты они ничего делать не будут. Тогда ИПБ объяснил им, что они должны обратиться к администрации, и та обяжет начальника отдела канцелярских принадлежностей оформить необходимые документы на оплату внеплановой аккордной работы.

ИПБ с прискорбием сообщал, что не может заполнить приемо-сдаточную ведомость, по которой Копланд без труда получил бы со временем свое оборудование, потому что устаревшие бланки ведомости у него изъяли, а новых не прислали. Кроме того, он с прискорбием сообщал, что рапорт о случившемся ему пришлось написать на обычном листе бумаги, так как с бланками рапортов произошла та же история: устаревшие он сдал, а новых не получил да и не мог получить, потому что имеющиеся у него бланки требований на новые требования устарели, а других в его распоряжение до сих пор не предоставили, о чем он обязательно поставит вопрос, вернувшись из своей поездки. Ну, а пока он советует начальнику отдела канцпринадлежностей обратиться после планировки в высшие инстанции «Альбиона», чтобы получить разрешение на передачу ему конторского оборудования, отправленного в подвал без сопроводительных документов.

— Итак, мистер Грайс, на вас ложится серьезнейшая ответственность.

Ответственность, простите, за что? За то, что у ИПБ нет бланков?

За то, что он самовольно отправил мебель в подвал? Или за то, что Копланду надо теперь обращаться к высшему начальству?

— Нет уж, извините... — Грайс не осмелился возражать начальнику и, немного повернув голову, с возмущением посмотрел на братьев Пенни.

— Вам было доверено изъятие,— не слушая Грайса, продолжал Копланд. — И вы получили все необходимые документы. — Он не получал документов, они хранились в архивных шкафах, унесенных куда-то по приказу ИПБ, который уехал к овдовевшей матушке. — Вам следовало изъять устаревшие бланки сдаточной ведомости и снабдить противопожарную службу новыми.

— Но мне сказали,— жалобно возразил Грайс,— что посылать новые бланки должен мистер Пенни...

— Я прекрасно знаю, кто обязан рассылать новые бланки, мистер Грайс. Но для этого их должны затребовать.

— Затребовать? Совершенно верно, мистер Копланд. Их надо затребовать на требовании нового образца, потому что устаревшие бланки требований изъяты. — Разговор свернул в нужное ему русло. Теперь-то он выведет братцев на чистую воду. — А стало быть, господа Пенни должны были послать во все отделы новые бланки требований.

С этими словами он патетически указал рукой на своих обидчиков. Но Копланд словно бы и не заметил его театрального жеста.

— Раз вы изъяли у инженера по противопожарной безопасности бланки требований,— всячески подчеркивая свое нечеловеческое терпение, сказал он,— значит, вы и должны были снабдить его новыми. Это диктуется элементарным здравым смыслом.

— Предположим, вы доказали мне мою вину, хотя я-то с этим не согласен,— упрямо сказал Грайс. — Так что мне теперь, по-вашему, надо сделать?

— Понятия не имею,— признался Копланд. И такому человеку доверили отдел! Неужели их не проверяют при найме на способность принимать решения?

Копланд изложил Грайсу, в каком он — или, по его словам, вовсе не он, а Грайс — оказался порочном кругу. Куда бы ни унесли отдельскую мебель — подвал № 3 мог не принять ее без документов, и тогда она вообще неизвестно где,— ее отдадут представителю отдела только по предъявлении приемо-сдаточной ведомости, подписанной ИПБ. А чтобы получить эту ведомость, он должен заполнить на нее требование, которого у него тоже нет. Ему, правда, можно было бы выдать бланк ведомости — в виде исключения, или по блату, или для пользы дела, или просто ради собственного спокойствия — без всяких требований, но и тут возникало серьезное препятствие, потому что Ваарт должен был затребовать этот бланк со склада снабжения, а отдельские требования хранились в одном из архивных шкафов, унесенных по распоряжению ИПБ неизвестно куда.

— Заколдованный кук,— уныло заключил Копланд.

— Действительно, заколдованный круг,— согласился Грайс,— но ведь если ИПБ уехал, никакие ведомости нам сейчас все равно не помогут.

— Нико не заяц, шпион у эха,— промычал Копланд.

Во время беседы он тайно вынул из кармана очередную конфету, незаметно развернул ее за спиной, так что это видели только Грант-Пейнтон, Ардах, Бизли, юная Тельма, несколько рабочих да половина служащих оперхозяйственного отдела, и, со словами «Никто не знает, что он уехал», молниеносно сунул в рот. А по мнению Грайса и братьев Пенни, он просто прикрыл рот ладонью для пущей конспирации: они с большим трудом расшифровали его последнюю фразу.

Но осознав ее смысл, Грайс был потрясен. Куда он поступил работать? Здесь, похоже, никто не утруждал себя законопослушанием.

Сначала Пам и Сидз предложили ему стать взломщиком. А теперь начальник отдела подстрекает его к подлогу.

— Вы предлагаете мне, мистер Копланд, подделать подпись инженера по противопожарной безопасности? — официальным голосом спросил он и взглянул на братьев Пенни, чтобы они, хочется им того или нет, стали свидетелями этого чудовищного подстрекательства.

— Я предлагаю вам,— отозвался Копланд,— представить мне документ на пропавшую мебель. — Грайс уже опять автоматически расшифровывал его речь. — А кем он будет подписан, дело не мое. Мое дело — получить столы, стулья и архивные шкафы, чтобы отдел мог приступить к работе, как только закончится реорганизация.

Стало быть, время еще есть, подумал Грайс, который был в общем-то стихийным оптимистом. Он боялся, что его заставят действовать — легально или нелегально — сразу же, без всякой подготовки. А реорганизация вряд ли закончится раньше, чем дня через два или даже три. За это время многое может случиться. Может приехать ИПБ, и ему наверняка захочется посмотреть, как справляется с трудностями Копланд. А возможно, Копланда вызовут к высшему начальству, чтобы узнать, почему ночные уборщики требуют какую-то дополнительную плату за переноску мебели. Так или иначе, Грайса теперь не застигнут врасплох. Он, конечно, откажется подделывать подпись ИПБ, но с удовольствием заглянет в подвал, чтобы разузнать на месте, куда делась отдельская мебель.

Но тут ему вспомнилось одно очень важное обстоятельство.

— Я мог бы попытаться расследовать все эти противопожарные штучки ИПБ, но чтобы ходить в другие отделы, нужен, как мне говорили, межэтажный пропуск.

— Вот вам пропуск,— с необычной для него игривостью проговорил Копланд,— другого у меня нет. — С этими словами он сунул Грайсу сложенный восьмиугольником конфетный фантик. А потом, обращаясь ко всем своим подчиненным, объявил: — Поскольку делать здесь нечего, я ухожу домой. А если меня кто-нибудь спросит, скажите, что я заболел гриппом.

Почти все канцпринадлежники пришли к выводу, что если уж начальник смылся, то подчиненным сам бог велел. Ваарт, Ардах и братья Пенни гомонили, что глупо, мол, сидеть на работе, если работать все равно нельзя, а тем более, как добавил Ардах, если и сидеть нельзя. Все эти разговоры были косвенно обращены к Грант-Пейнтону, который в ответ растерянно бормотал, что поступайте, мол, как знаете. Бизли, однако, раздраженно отверг предложение Ваарта «уматывать отсюда», сказав, что кто-то обязательно должен присмотреть за отделом, а юная Тельма решила остаться на своем посту отдельской феикормилицы. Пам, казалось, ждала от кого-нибудь решительного совета, и Грайс, пробираясь к ней между сослуживцами, собирался предложить ей ранний обед, а на закуску — поход в кино.

— Вы вот вчера говорили про три альбионские группировки,— сказал он ей,— а их на самом деле четыре. Братья Пенни учредили собственное братство, чтобы разваливать — не знаю, правда, зачем — работу в «Альбионе».— Упоминание о вчерашнем вечере позволило ему естественно перейти к делам сегодняшним: — Наверно, даже если ползти по-черепашьи, сейчас было бы рановато идти в «Рюмочную», чтобы выпить по глоточку вина? — неуверенно спросил он.

— С утра в «Рюмочную»? — Пам кокетливо рассмеялась. — Да ведь этак мы к полудню оба уснем под столиком.

Грайс хотел было отпустить рискованную шуточку насчет совместного сна под столиком, но сдержался и предложил ей, по задуманному, ранний обед и поход в кино.

— Я бы с удовольствием, здесь болтаться явно незачем, но у меня, к сожалению, есть пара неотложных дел,— сказала Пам. и Грайс не

сумел понять, искренно она огорчается или просто притворяется огорченной. Но ведь если б Копланд не улизнул, ей все равно пришлось бы отложить свои дела — так почему она не может отложить их ради него? Грайс, впрочем, сразу же и ободрился, потому что она добавила:— А может, встретимся немного попозже?

— Можно и попозже.

— Вы все еще хотите взглянуть на Альбионскую труппу?

Грайса охватило уныние. Сидеть весь вечер в пыльном зале любительского театра, где гуляют холодные сквозняки, а Сидз изображает из себя великого режиссера или администратора,— нет уж, увольте. Это его нисколько не прельщало.

— Так ведь у вас, вы говорили, артистов-то больше не принимают?

— В том-то и дело, что мы опять начали прием. Почему бы вам не попробовать свои силы? А кроме того, будет *очень полезно*, если вы после вчерашнего вечера побываете на собрании Альбионской труппы.

— Хорошо, Пам, я не прочь.— Отказываться в такой ситуации было бы глупо. Пам уже хотела сказать ему что-то одобрительное, но подошедшая Тельма с грубоватой прямотой юности спросила:

— Кофе пить будете?

— Минутку, Тельма, ты же видишь, мы заняты! — вскинулась Пам. Грайс и раньше замечал ее привычку ставить на свое место младших служащих. Одернув Тельму, она мягко сказала Грайсу: — Значит, в шесть часов у Клуба Сент-Джуд. Вы встретите там нескольких знакомых и, я уверена, сразу же почувствуете себя как дома.

Строго посмотрев на Тельму, она отошла от Грайса. А Тельма, ничуть не смутившись, принялась выспрашивать:

— Скажите, пожалуйста, мистер Грайс, миссис Фос говорила, они опять начали набирать артистов?

— Говорила, Тельма.

— А меня они возьмут, как вы думаете, мистер Грайс? Я уже тыщу лет к ним прошусь. Мне очень хочется побыть артисткой!

«Никуда тебя, милая, не возьмут»,— подумал Грайс. Ему стало жалко эту юную бегемотиху. А вслух он сказал:

— Тебе, по-моему, надо поговорить с самой миссис Фос.

Но поискав глазами Пам, он увидел, что она и Сидз, оба в пальто, пробираются к выходу из отдела. «Ну подожди же»,— мысленно воскликнул Грайс,— когда мы встретимся, ты обязательно услышишь, что я думаю о твоих неотложных делах!»

— А впрочем, они, конечно, с радостью тебя примут,— подавляя раздражение, сказал он Тельме. — Пойдем-ка сегодня к ним со мной.

— Чего-чего? Ой, мистер Грайс, большое вам спасибо!

Вечером Тельма положила ему в кофе лишнюю ложку сахара. Он надеялся, что это была одноразовая благодарность. При всей его любви к сладкому он предпочитал пить кофе, а не тепловатый сахарный сироп.

Глава десятая

Торопливо шагая к зданию Клуба Сент-Джуд — по пятам за ним, громко топоча, семенила Тельма,— Грайс проклинал всех и вся. Она повела его короткой дорогой, и они вышли черт те куда.

Да он, собственно, пожалел, что позвал ее с собой, еще не успев закрыть рот. Нет, его не очень беспокоило, что подумает Пам, но ему пришлось целый день проболтаться в отделе, где остались только Бизли, Грант-Пейнтон, проклятущая Тельма да рабочие из подвала, и он бесцельно слонялся из угла в угол, бессмысленно позвякивая мелочью и пряча глаза от рабочих, которые хоть и двигались, как сонные мухи, но занимались все-таки делом.

А чтобы усугубить его унижение, Грант-Пейнтон навалил на него дурацкое задание. Бизли, твердо объявив, что после обеда он уйдет,

передал всученную ему Сидзом почту Грант-Пейнтону, и тот обязал Грайса рассортировать ее, чтобы не томиться, как он сказал, от безделья. И вот Грайс, присев на корточки, вскрывал огрызком карандаша конверты и раскладывал вокруг себя стопки бумажонок, заполненных в основном злобными жалобами на нехватку канцпринадлежностей. Причем работа эта была заранее обречена, потому что когда Грайс рассортировал почту, ему не оставалось ничего другого, как вывалить ее беспорядочной грудой в проволочную корзину для бумаг, где Тельма хранила чашки.

Около четырех часов смотался Грант-Пейнтон, и Грайс, оставшись наедине с Тельмой, внезапно заинтересовался ее корзиной. Верней, сначала он решил, что настало подходящее время поискать отдельскую мебель, но сразу же и прогнал из головы эту мысль. А потом вдруг подумал о корзине.

— Послушай, Тельма, а где ты обычно хранишь наши чашки?

— Чего-чего? Да в архивном шкафу, мистер Грайс. Мистер Копланд сказал, что можно.

— Я понимаю, Тельма. Но ведь шкафы-то у нас исчезли. Где же ты их нашла?

— Чего-чего? А-а, понятно. В главной прихожей, мистер Грайс.

— В какой такой главной прихожей?

— Ну, в главной прихожей, на первом этаже, где стоят все эти пальмы в кадках, знаете? Там и нашла. А узнала я свой шкапик по красной шерстяной тряпочке, она привязана...

— Ладно, бог с ней, с тряпочкой. А ты вот скажи-ка мне, что твой шкапик делал в главном холле?

— Не знаю, мистер Грайс.

Не знал, конечно, и Грайс.

— Но ведь сейчас-то архивных шкафов там нет?

— Нету, мистер Грайс.

Стало быть, ночные уборщики не донесли мебель до подвала № 3. Хотя непонятно, почему они не спустили ее на лифте прямо в подвал. А впрочем, не будет он ломать себе над этим голову, к черту! И если зазвонит, как опасался Грант-Пейнтон, телефон Копланда, покрывать он тоже никого не будет: пусть выкручиваются сами. И корзину, в которой лежит почта, оставит на полу: пусть ночные уборщики делают с ней что хотят, не его это забота...

— Да поторапливайся же, Тельма!

Наконец они пришли. Клуб Сент-Джуд сразу же напомнил Грайсу воскресную школу его детства — такие здания сотнями, если не тысячами, возводились в конце прошлого века. Еще на площадке между двумя этажами он уже знал, что, поднявшись, окажется в сыром верхнем вестибюле с темной нишей, где к стене прикреплена каменная раковина, над которой сально поблескивает мраморная доска для сушки посуды, да рядом, возможно, стоит заржавленная газовая плита с одной горелкой в форме кольцевой трубки с дырочками, а прямо напротив входа виднеется двустворчатая дверь матового стекла, ведущая в большой, плохо освещенный зал. Но вот чего он никак не ожидал здесь увидеть, так это грубо сколоченного стола на козлах и трех однооруких швейцаров, неподвижно восседавших за ним под голой, без абажура, лампочкой, которая ярко высвечивала лаковые козырьки их форменных фуражек и блестящие металлические пуговицы на пиджаках.

Грайс, разумеется, не разобрал, те ли это швейцары, которые заставили его расписаться утром в книге для опоздавших, но увидев, как один из них сфокусировал на нем линзы своих очков, а два других демонстративно не обратили ни малейшего внимания, он безошибочно понял, какую организацию они представляют. Прошло несколько секунд, и швейцар в очках рявкнул, вспугнув тяжелую тишину:

— Билет!

— Простите?

— Вход только по членским билетам.

— Я еще не член труппы,— сухо сказал Грайс. — Меня пригласила миссис Фос.

— Фамилия?

Дальше последовала та же процедура, что и при его первом посещении «Альбиона»: очкастый швейцар спрашивал двух остальных, есть ли у них в списках Грайс, а они водили костлявыми пальцами по замусоленным бумажкам. Наконец первый швейцар подозрительно воззрился на Тельму.

— А эта юная леди куда?

— Она со мной,— объяснил Грайс.

Швейцар неспешно вздохнул и медленно, словно черепаха, закачал головой.

— Если ее нет в списках — нельзя. Она подала заявку миссис Фос, секретарю приемной комиссии? — Швейцар говорил еще медленней, чем качал головой. Выяснилось, что о Грайсе их известили, но про Тельму никаких указаний не дали.

— Ничего не поделаешь, Тельма,— сказал Грайс, радуясь, что отделался от нее.

Как он и предвидел, это был плохо освещенный зал с дубовыми балками на потолке и устоявшимся, хотя и едва заметным запашком школьных обедов. У дальней стены возвышалась просторная сцена и над ней — арка из толстой фанеры, сделанная совсем недавно. Грайс, никогда не бывавший в любительском театре, смутно предполагал, что, войдя, он увидит на сцене Пам, красящую какие-нибудь декорации или, пожалуй, надзирающую за окраской декораций, и снующих мимо нее любителей, которые таскают по залу экзотические штуковины из папье-маше, а режиссер или постановщик должен был стоять, уперев руки в бока, и убеждать актеров, чтобы они играли живей и непринужденней. Но сегодня любители устроили, по-видимому, генеральную, да к тому же еще и публичную, репетицию: человек восемьдесят или даже девяносто сидели в зрительном зале, а на сцене несколько артистов — наверно, сливки Альбионской труппы — разыгрывали пьесу, в которой Грайс тотчас же узнал комедию Оскара Уайльда. Никаких декораций на сцене не было, и Пам их вовсе не красила, а, разодетая в пух и прах по моде начала века, объясняла Ардаху — Грайс его сразу узнал, несмотря на приклеенные бакенбарды,— что она, мол, хотела бы влюбиться в человека по имени Эрнест. Стало быть, ее предложение поставить «Он пришел» отклонили. Грайс очень удивился, что на генеральной репетиции и Пам и Ардах держат в руках книжечки с пьесой; причем Ардах не помнил из своей роли ни единого словечка. Пам выглядела очень мило, а играла, как решил Грайс, не хуже знаменитой актрисы Глинис Джонс. Зато Ардах, по его мнению, больше напоминал обезьяну с бакенбардами, чем артиста.

Когда Грайс вошел в зал, к нему устремился Сидз. Грайс пошел за ним по центральному проходу и послушно сел в указанное кресло рядом с единственным зрителем в этом ряду, который сразу же повернулся к нему, многозначительно подмигнул и хрипато сказал:

— Так вы, стало'ть, тоже решили послушать эту лабуду.

Зал был хоть и плохо, но освещен, и Грайс внимательно огляделся. С некоторыми из любителей ему явно приходилось встречаться. Он заметил оперхозяйственника, похожего на Джорджа Формби, служащую «нутряшки», которая еще несколько дней назад напомнила ему подругу его покойной матери — миссис Катбертсон или, может, Калбертсон, точно он не помнил. Потом ему попался на глаза артист Фред Астэр, которого он встречал в лифте, родезийский премьер, старший сержант из учебного лагеря времен его армейской службы, Дэвид Найвен, миссис Барбара Касл, выступавшая однажды по телевизору как секретарь небольшого профсоюза железнодорожников, жокей Харви

Смит, комик Эрик Мокэм, дикторша телепрограммы «Метеорологическая служба», почти всегда предсказывающая погоду с точностью до наоборот, генерал-лейтенант сэр Брайен Хоррокс в несколько омоложенном варианте, чуть состарившаяся Петула Кларк, известная певица и артистка телевидения, часто рекламирующая кэдберийский шоколад. Но из отдела канцпринадлежностей он больше никого здесь не обнаружил.

Сбоку к Ардаху и Пам приблизилась нелепая фигура в гротескном одеянии из желтого шифона и с огромным бюстом.

— Мистер Уортинг! Встаньте, сэр! Неприлично валяться в ногах... — заверещало желтошифоновое существо.

И тут Ардах, окончательно потеряв равновесие, упал набок, так что слова Уайльда были подтверждены прямым действием.

— Мама! — воскликнула Пам, блистательно, по мнению Грайса, вжившаяся в роль. — Тебе лучше уйти... Все? Благодарю вас.

Последние слова Пам сказала обычным голосом. Они, как вскоре сообразил Грайс, были обращены к Сидзу, следившему, чтобы никто из чужаков не проник в зал. Теперь, взяв на себя роль председателя приемной комиссии — кажется, ее называли здесь именно так,— Пам хлопнула в ладоши, и к ней потянулись теа-любители с плетеными стульями в руках. Они расставили стулья полукругом и сели на них. Одного из любителей Грайс узнал мгновенно — это был Бизли в облачении епископа. Да и другие лица были ему смутно знакомы. Садовник, например (если это был он), походил на сэра Ричарда Аттенборо, но, возможно, Грайса ввел в заблуждение искусный грим.

Ардаху и Пам принесли стулья, однако центральный стул занял фигляр, загримированный под леди Брэкнелл. Сняв чепец, вуаль и парик, он оказался Грант-Пейнтоном. Подтянув на коленях лимонно-желтое платье, так что приоткрылись его ноги в замшевых башмаках, он обратился к зрителям:

— Дамы и господа, извините, что нам пришлось отвлечься, но сегодня мы пригласили нескольких новичков, и кое-кто из них,— тут Грант-Пейнтон покосился на Грайса,— с трудом, видимо, отыскал наш клуб. Кстати, для сведения новичков. Если сюда явятся непрошеные, так сказать, гости, наши друзья-швейцары подадут нам условный сигнал, и мы немедленно возобновим репетицию пьесы «Как важно быть серьезным». А всех остальных я попрошу в таком случае сделать вид, что они самые обычные зрители.

Поправив бретельку бюстгальтера под платьем, Грант-Пейнтон закончил свою вступительную речь:

— Сейчас я попрошу мистера Ардаха зачитать нам протокол последнего заседания. Сначала, впрочем, еще одно сообщение для новичков: мы не заносим в протоколы фамилии выступающих. Анонимность, гарантирующая спокойную жизнь участникам дискуссий,— вот наш девиз.

Умолкнув, Грант-Пейнтон встал, чтобы поменяться местами с Ардахом, а Ваарт повернулся к Грайсу и довольно громко сказал:

— А ему эта хламида здорово подходит, верно?

Ардах, глядя в книжицу, которую Грайс принял за пьесу Уайльда, начал монотонно и быстро читать:

— Протокол заседания Комитета установления истины, называемого Альбионской труппой.— Хитро придумано, отметил про себя Грайс: листки протокола были, по-видимому, вложены в пьесу.— Кворум, собравшийся пятнадцатого числа сего месяца, выслушал и одобрил повестку дня. Участники заседания получили список совета директоров британского треста «Альбион» и постановили продолжить расследование административной деятельности этих лиц. Выяснено, что из двадцати трех компаний, входящих в трест, пятнадцать прекратили торговые операции. Кроме того, достоверно установлено, что все конторское оборудование — от копировальной бумаги до мебели и

от электрических ламп накаливания и газосветильных трубок до пишущих и фотокопировальных машин — «Альбиону» поставляют фирмы, выполняющие крупные государственные заказы. Никаких документов, подтверждающих, что «Альбион» оплачивает счета своих поставщиков, обнаружить пока не удалось...

— А ловко я вам башку-то заморочил? — ткнув Грайса локтем, весело спросил Ваарт.— Вы ведь небось поверили моей трепотне про эти... ну, про государственные аукционы? Ясное дело, поверили, как пить дать, поверили, у-ху-ху-ху-ху!

Ардах, страдальчески сморщившись, умолк, и Грайс, чтобы изобразить одновременно и внимание, и осуждение, сложил губы в поощряющую Ардаха улыбку, а брови, кося глазами на Ваарта, принахмурил.

— Так это я ведь нарочно вам башку-то морочил,— ничуть не смутившись, продолжал Ваарт.— Кто его, думаю, знает, какой он есть человек. Может, он от этих, от администраторов к нам приставлен. У нас тут надо держать ухо востро!

Грант-Пейнтон поправил свой бюст и привстал.

— Надеюсь, теперь мы можем продолжать, мистер Ваарт?

— Больше не буду, парень, виноват. Я ведь просто чтоб ему растолковать.

— Да-да, мы со временем все объясним нашим новичкам. Если вы позволите мистеру Ардаху продолжить.

Ардах снова принялся монотонно читать протокол. Но сначала он откинул со лба гитлеровскую прядь волос, и Грайс подумал, что бутафорские бакенбарды напрочь разрушают цельность его облика.

— Состоялась дискуссия о деятельности «Альбиона», и было выдвинуто предположение, что наша фирма является государственной или полугосударственной организацией, а ее сложная структура отвечает задачам уготованной ей в будущем роли, про которую мы пока ничего не знаем. По другим предположениям, фирма уже выполняет какое-то правительственное задание, причем работа ключевого персонала маскируется обыденной конторской рутиной. Выдвигались также предположения, что «Альбион» подготавливает насильственную репатриацию иммигрантов, что он изготовляет паспорта для гражданского населения на случай войны, что он исследует статистику смертности от облучения при утечке радиоактивных продуктов с ядерных заводов, что он собирает необходимые данные для компьютерного досье на каждого гражданина Соединенного Королевства или же что он окажется, когда обстановка в стране позволит ему рассекретиться, одним из административных агентств Европейского Экономического Сообщества.

— Во припадочные,— проворчал Ваарт,— как есть припадочные! Они ведь даже толковали тут: мол, в «Альбионе» тайно заправляют русские — во до чего договорились!

— Благодарю за информацию, мистер Ваарт,— с ироническим поклоном сказал ему Ардах.— Если вы кончили, я буду продолжать... Обсуждались также меры по привлечению в комитет новых членов, и было решено не возобновлять или по крайней мере строго ограничить прием, чтобы не обращать на себя слишком пристального внимания администраторов «Альбиона». Против этого решения выступила секретарь приемной комиссии миссис Фос, указавшая, что из соображений безопасности в комитет надо принимать всех лиц, которые заинтересовались сущностью «Альбиона», чтобы их личные расследования не насторожили высшее начальство. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании организационного бюро комитета.

Зачитав предложение ввести для членов труппы галстук особой расцветки или какой-нибудь значок — предложение было отвергнуто,— Ардах умолк и закрыл свою пьесу с вложенным в нее протоколом заседания.

— Есть замечания по протоколу? — спросил, поднявшись, Грант-Пейнтон. Он уже стер с лица грим и от шеи до макушки выглядел, по мнению Грайса, как заправский председатель, хотя от шеи до ног (которых, правда, не было видно) все еще оставался теткой Чарлея.

Любители вразнобой загомонили, что замечаний у них нет.

— А какие-нибудь вопросы?

В разных рядах поднялось несколько рук. Ишь какие активные, подумал Грайс. Первым поймал взгляд Грант-Пейнтона человек, похожий на актера Джорджа Формби,— он сидел позади Грайса.

— У меня вопрос насчет наших директоров-распорядителей. Многие из них связаны или, лучше сказать, были связаны с послевоенными организациями, известными как тайные лиги. Не считает ли комитет, что «Альбион» — всего лишь официальная маска, под которой скрывается организация, решившая свергнуть наше парламентское правительство?

Грант-Пейнтон, пытаясь перекричать общий недовольный гул, твердо сказал:

— Хватит уже повторять одно и то же, мистер Эйнтри. Мы установили, что «Альбион» — не полувоенная организация, а государственное учреждение, по крайней мере все собранные нами факты говорят именно об этом. Так что нечего толочь воду в ступе. Кто хочет внести какое-нибудь предложение?

Поднялся любитель, похожий на артиста Фреда Астэра.

— Располагает ли комитет документальными доказательствами, что «Альбион» — государственная фирма?

— Это не предложение, а вопрос.

— Пусть будет вопрос. Так располагает комитет документальными доказательствами, что «Альбион» — государственная фирма?

Грант-Пейнтон, как бы в изнеможении, воздел руки вверх, широкие рукава его желтошифонного платья плавно взреяли к потолку, и он стал похож на шамана во время камланья.

— Мистер Беллоуз, вам ли не знать, что все наши выводы основываются именно на *отсутствии* каких бы то ни было документов! Вы ведь заместитель начальника отдела централизованных закупок, если не ошибаюсь?

— Да, за грехи мои сподобился, господин председатель.

— Так расскажите нам о ваших закупках, мистер Беллоуз. Как, например, вы пополняете запасы лент для пишущих машинок?

— А никак не пополняем,— сказал Ваарт, обратившись в первый раз прямо к председателю.— У нас этой треклятой ленты третий месяц уже нет.

— Дайте сказать мистеру Беллоузу, мистер Ваарт. Он попросил слова, а вы нарушаете порядок собрания. Пожалуйста, мистер Беллоуз.

— Я думаю, вы знаете не хуже меня, как мы пополняем наши запасы, господин председатель. Выписываем заказ и отправляем его для утверждения директору-распорядителю, который ведает снабжением.

— И кто же у вас директор-распорядитель?

— Служащим моего ранга это неизвестно, господин председатель. Наверно, член совета директоров, кто же еще?

— А вы хоть раз видели своего директора-распорядителя, мистер Беллоуз? — Когда Грант-Пейнтон захочет, он умеет вести себя как заправский прокурор, с восхищением подумал Грайс. Жаль, что на него навалили женскую роль. Он замечательно выглядел бы в строгой визитке.

— Нет, господин председатель, ни разу не видел.

— Ну, а уверены ли вы, что он существует?

— Пожалуй, да, господин председатель. Ведь лента у нас так или иначе появляется.

(— А тогда, стало'ть, где она, эта ваша треклятая лента?)

Грант-Пейнтон продолжал спрашивать сникшего Беллоуза-Астэра, считает ли тот, что лента для пишущих машинок *появляется* на складе снабжения в результате чьей-то благотворительности, или, может, она сваливается, по его мнению, с неба, или же — тут Грант-Пейнтон дал понять, что сейчас он откроет истинное положение дел,— ее выделяет «Альбиону» из своих запасов реальный хозяин треста, то есть правительство. Последние слова Грант-Пейнтона вызвали бурную овацию (даже Ваарт одобрительно прохрипел, что, мол, «У этого прохиндея язык, стало'ть, подвешен как надо»), а Грант-Пейнтон кокетливо расправил складки на своем желтом платье, подул для освежения в ложбинку между бутафорскими грудями — и снова напустил на себя вид бесстрастного председателя.

— Есть еще какие-нибудь дополнения к протоколу?

— Разрешите, господин председатель?

Узнав голос Сидза, Грайс обернулся и увидел, что тот идет — верней, шествует — по центральному проходу к сцене.

— Пожалуйста, мистер Сидз.

— У меня именно дополнение, господин председатель. Прекратили какие бы то ни было операции не пятнадцать дочерних фирм «Альбиона», а шестнадцать. Сегодня утром я и миссис Фос ездили в Рэгби, где якобы расположена принадлежащая «Альбиону» компания «Братья Бинны». Эта компания занималась, по достоверным сведениям, ремонтом дизельных моторов, но она закрылась несколько лет назад, а ее заводские корпуса снесли, когда расширялось местное шоссе.

Сообщение Сидза взволновало, к досаде Грайса, всех любителей. Он, правда, не понял, почему Сидз так уж напыжился, если, по его же словам, они с Пам всего-навсего «выполняли наказ комитета всемерно изучать подчиненные «Альбиону» компании».

Раздались поощрительные возгласы: «Правильно! Молодцы!», и Грайс искренне обрадовался, когда Бизли переключил внимание любителей на себя, спросив у Грант-Пейнтона, можно ли и ему кое-что добавить. До этого он молча сидел в президиуме — или, может, просто на сцене, черт их разберет,— скрестив под стулом ноги в гетрах и сложив на груди руки, словно священник во время чествования лучших учеников какой-нибудь привилегированной частной школы. Но ему явно хотелось поговорить, да и вообще он, видимо, считал, что его, а не Грант-Пейнтона должны были избрать председателем.

— Стало быть, так, председатель,— грубовато начал он.— Возможно, мистера Сидза и миссис Фос хвалили тут не зря. А вот удалось ли им узнать что-нибудь новое, и не следовало ли направить их энергию на что-нибудь более важное — это другой вопрос. По-моему, общая картина и так ясна.

— Вы согласны с этим, мистер Сидз?

Но тут в разговор вмешалась Пам. И правильно сделала: Сидзу уже воздали по заслугам, пусть помолчит.

— Если мистер Бизли считает, что *действующих* дочерних компаний у «Альбиона» нет, с ним, я думаю, придется согласиться. «Альбион», видимо, покупал либо уже лопнувшие, либо обреченные предприятия, и поступал он так по двум причинам. Поначалу, когда небольшая типография «Альбион» обретала черты коммерческой фирмы, ее интересовали только крохотные типографии.

— Во-во,— проворчал Ваарт, адресуясь ко всем, кто мог или хотел его услышать,— понакупили типографий да и придушили, ни одной не осталось.

— Администрация хотела создать штат служащих для будущего треста, но так, чтобы это не отразилось и даже не стало известным на рынке рабочей силы. Маленькие типографии можно было закрывать под предлогом «нерентабельности» — в те времена это делалось сплошь и рядом.

— Потом,— продолжала Пам, держа аудиторию в неослабном напряжении (и подтверждая предположение Грайса, что она прирожденный лидер),— когда штат служащих начал бурно разрастаться, совет директоров принялся скупать самые разные, но неизменно обреченные фирмы. Делалось это для маскировки — никаких иных объяснений мы пока не нашли: ведь чем разнообразней интересы фирмы, тем труднее понять, каким делом она занимается в действительности. Так что мистер Бизли, по всей вероятности, прав: дочерние компании «Альбиона» существуют только на бумаге. Их давно уже нет.

После минутного молчания в первых рядах неуверенно поднялась женщина, похожая на состарившуюся Петулу Кларк. Она явно не привыкла к публичным выступлениям и осмелилась сейчас заговорить только потому, что ее вдохновил успех Пам.

— Извините, может, я невпопад, но мой свояк, то есть я хотела сказать, свояк моей сестры, он живет в Олдершоте.

Тут она умолкла, словно ей больше нечего было сказать.

— Так-так, продолжайте,— ободряюще, по мнению Грайса, улыбнулся ей Грант-Пейнтон, хотя его улыбка могла показаться просто снисходительной.

— Ну вот, а он, значит, зарабатывает на жизнь химчисткой одежды и часто ездит в солдатские учебные лагеря. И, если ему верить, у них там есть секретные шахты. С виду вроде плац и на плацу землянки, а если войдешь в землянку, то можно открыть люк, и там лестница, и по лестнице можно спуститься в настоящую угольную шахту.

— Так-так,— пробормотал совершенно сбитый с толку Грант-Пейнтон. Остальные любители тоже ничего не поняли.

— А это их учат на случай всеобщей забастовки шахтеров. Вот я и думаю — а вдруг альбионские фирмы, про которые нам рассказала миссис Фос, занимаются тем же самым? Вдруг там собирают солдат и учат их разным специальностям?

— Мадам,— подтянув на коленях платье и принагнувшись в сторону престарелой Петулы Кларк, чтобы подчеркнуть свои слова, проговорил Грант-Пейнтон,— мадам, *этих фирм давно уже нет!* От них остались только названия да адреса. Так же как от прародительницы нашего треста, от старой типографии «Альбион», осталось одно название. Скажите, можно, по-вашему, научить солдат печатному делу в *снесенной* типографии «Альбион»?

Выслушав эту отповедь, пристыженная Петула Кларк села на свое место. И сейчас же поднялся сержант ВВС из учебного лагеря времен Грайсовой армейской службы.

— Но если от этих фирм остались одни названия, как же они отвечают на телефонные звонки? — Оказывается, он только лицом напоминал сержанта: голос, да и выговор, был у него совсем другой.

— А разве они отвечают на телефонные звонки? — спросил Грант-Пейнтон.

— «Коббз и К°» из Харроу отвечает.— Псевдосержант размахивал какой-то бумажкой, похожей на вырванную из телефонного справочника страничку.— В протоколе прошлого заседания записано со слов мистера Сидза, что эта фирма прекратила операции четыре года назад, а когда я позвонил туда, какой-то тип поднял трубку и сказал, что он, дескать, начальник отдела сбыта.

— Ну-ну, а вы?

— А я наплел ему, что хочу купить обои — это обойная фирма,— и он сказал мне, что торговля у них оптовая и что по телефону они заказы не принимают, но я могу им написать. Тогда я спросил адрес, и он стал темнить, что сейчас, мол, они как раз переезжают в другое здание, а письма им надо слать на почтовый ящик номер такой-то.

— Мистер Сидз,— воззвал к нему Грант-Пейнтон,— хоть нам пора бы уже заняться темой сегодняшнего заседания, но поднятый сейчас вопрос очень важен. Ведь получается, что «Альбиона», где мы все работаем, в телефонном справочнике нет, а подчиненные ему фирмы, *где не работает никто*, там есть, и они отвечают на телефонные звонки! Можете вы дать этому объяснение — по возможности краткое?

— Могу, господин председатель. Я как раз хотел это сделать, когда меня перебили.— Сидз двинулся вперед и, дойдя до сцены, повернулся лицом к зрительному залу.— Действительно, «Коббз и К°», да и все другие подчиненные «Альбиону» фирмы, хотя фактически их нет, по-прежнему значатся в телефонных справочниках, и мы думали оповестить об этом комитет, когда соберем полное досье...

Они, видите ли, собирают досье! Кем, интересно, он себя считает? Начальником первого отдела военной контрразведки?

— «Братья Бинны» из Рэгби тоже включены в телефонный справочник. Я звонил туда сегодня. И было все как обычно, когда звонишь в альбионские фирмы. Сначала раздался щелчок автоматического переключения на другой телефон, а потом, если пользоваться термином уважаемого мистера Беллоуза, некий «тип» поднял трубку. Иногда этот «тип» рекомендуется начальником отдела сбыта, иногда — директором-распорядителем, а иногда — уполномоченным по ликвидации дел фирмы. Но всякий раз трубку берет один и тот же человек. И человек этот — *мистер Лукас, начальник отдела служащих британского треста «Альбион»*.

Да, тут уж Грайс отрицать не мог, сообщение было сенсационным. Но Сидз еще не кончил! Немного повысив голос, чтобы его услышали, несмотря на бурю выкриков «Господи! Ну и ну! Вот это да!», он громко сказал (и все-таки его последние слова разобрали только любители, сидевшие в первых рядах):

— А причина, я подчеркиваю — *причина* этого единоличия во многих личинах совершенно очевидна. *Они* хотят выявить, интересуемся ли мы подчиненными «Альбиону» фирмами, и контролируют наш интерес.

Разумеется, мрачно подумал Грайс, причина тут совершенно ясна; неясно только, кому еще, кроме Лукаса, поручено контролировать этот интерес к альбионским дочерним фирмам. Он, Грайс, мог бы неплохо дополнить сообщение Сидза. А известно ли комитету, неторопливо вставши, сказал бы он, *откуда* мистер Сидз знает, как звучит по телефону голос Лукаса?

Но он опоздал. Грант-Пейнтон призвал собрание к порядку и указал на первую попавшуюся из множества поднятых рук. Новый оратор никого из известных личностей Грайсу не напомнил.

— Господин председатель, а почему ДДТ печатаются в Бельгии?

Вопрос был задан настолько не к месту, что недоуменное молчание сменилось через несколько секунд неудержимым хохотом. «У-х-х-х! Ф-фу! Фра! Хри! Чхок! Кхех!» — раздавалось со всех сторон. «Х-х-хах!» — добавил к общей хохотальной разноголосице Грайс. Положительно, человек, задавший этот вопрос, просто не представлял себе, какого порядка придерживаются на собраниях.

Но Грант-Пейнтон, похоже, обрадовался, что взбудораженность, вызванная словами Сидза, обернулась всеобщим весельем. Он даже нахлобучил на голову свой парик и прошелся по сцене как мим, изображающий веселое недоумение, чем еще сильнее распотешил аудиторию. Вообще, если б кто-нибудь поинтересовался мнением Грайса, он сказал бы, что Грант-Пейнтон мастерски утихомирил чрезмерно возбужденных любителей.

— А откуда вы знаете, что ДДТ печатают в Бельгии, мистер Армстронг? — снова усевшись, бесстрастно проговорил он.

— Да это указано на задней обложке, господин председатель. Но я-то хочу спросить, почему ДДТ не печатаются у нас.

— Потому как они придушили, стало'ть, все типографии,— громко проворчал Ваарт. И добавил для Грайса: — Су-к-кины дети! — От его обычной веселости не осталось и следа.

— Мистер Ваарт ответил на ваш вопрос? — раздался голос Грант-Пейнтона.

— Ни в коей мере, господин председатель! Да и вопрос-то мой был просто риторический. «Альбион» печатает свои ДДТ за границей по очень простой — и единственной! — причине. Рассмотрите хорошенько альбионские дополнительные дотационные талоны,— Армстронг помахал книжицей ДДТ, как, наверно, размахивал в парламенте Чемберлен договором с Гитлером, вернувшись из Мюнхена (теперь Грайс понял, что Армстронг напоминает Невилла Чемберлена без усов),— и вы сразу же увидите, что они точь-в-точь похожи на продовольственные карточки военного времени.

— И какой же вы делаете из этого вывод?

— Да очень простой, господин председатель. Отдел питания обрабатывает раз в десять больше талонов, чем нужно «Альбиону», потому что проводит опыт снабжения людей продовольственными карточками на случай мировой или, пожалуй, гражданской войны. Вот почему ДДТ оформляются под покровом строжайшей тайны.

— Есть у кого-нибудь знакомые в отделе питания? — спросил, повернувшись к залу, Грант-Пейнтон. На его вопрос никто не откликнулся, и Грайсу было понятно почему. Обитатели трех верхних этажей славились, как он слышал и удостоверился, своей грубой нелюдимостью.

Пам поощрительно улыбнулась ему. Но она ведь знала, что его, мягко говоря, мигом наладили из отдела питания, когда он пытался разведать, чем там занимаются. Однако он уже собирался попросить слова, когда раздался озорной, как ему показалось, голосок Пам:

— По-моему, мистер Грайс знает парочку служащих из этого отдела.

— До некоторой степени,— полупривстав, промямлил он в ответ на слова Грант-Пейнтона «Прошу вас, мистер Грайс». Ваарт усиленно ему подмигивал, а он не вставал в полный рост, но и не садился, считая, что сесть, пока Грант-Пейнтон с ним разговаривает, неудобно, а встать без какой-нибудь существенной информации тоже неловко. Так ему и пришлось балансировать над сиденьем своего кресла в угодливой и крайне неудобной позе.

— Тогда, может, вы и возьмете на себя первые дипломатические шаги? — спросил его Грант-Пейнтон.— Но сначала обязательно проконсультируйтесь с миссис Фос. Осторожность — прежде всего.

Когда Грайс позволил себе сесть, Пам наградила его широкой улыбкой, а Грант-Пейнтон поправил бюст и парик, всем своим видом показывая, что пора наконец по-настоящему заняться делом. Он подошел к краю сцены и сказал:

— Благодарю вас, мистер Грайс.— Потом, обращаясь ко всей аудитории, добавил: — Мистер Грайс — новичок и на работе, и у нас, в Комитете установления истины, или Альбионской труппе, как мы называем ради конспирации наш комитет. Так вот, я хочу сказать несколько слов для новичков...

Однако новичкам не удалось услышать его объяснений. Один из любителей, сидевших у окна — он походил на знаменитого автогонщика, который постоянно выступал в телепередачах «Будьте осторожны на улицах»,— вскочил с громким криком или, верней, истошным воплем:

— Господин председатель!!! Господин председатель, кто-то смотрит к нам в окно!

— Тихо! — гаркнул Грант-Пейнтон, легко перекрывая взволнованный гул множества голосов.— Сидеть как сидели, господа!

Если он не служил в армии офицером, подумал Грайс, причем офи-

цером очень высокого ранга, то армия много потеряла. Он же прирожденный командир.

Человек пятнадцать любителей, бросившихся к мутным от пыли окнам, вернулись на свои места, и в зале воцарился относительный порядок. Прислушавшись, Грайс вроде бы услышал — да-да, определенно услышал — тяжелое, уплывающее вниз топанье чьих-то проворных ног по железным прутьям пожарной лестницы. Только один человек из всех, кого он знал, мог столь громко топать. Ну и сумасшедшая же девчонка!

— Мистер Сидз! Передайте швейцарам, чтоб они обыскали задний двор! Живо! Мистер Беллоуз! Встаньте у дверей вместо мистера Сидза! Мистер Каллоуэй!.. — Пока невозмутимый Грант-Пейнтон отдавал свои приказы, члены административного бюро быстро, но без суеты покидали сцену с плетеными стульями в руках. Да, действия по тревоге, насколько Грайс мог судить, были доведены у них до высочайшего артистизма: за считанные секунды на сцене остались только Ардах, Грант-Пейнтон и Пам.

— Спокойно, леди и джентльмены,— проговорил Грант-Пейнтон, пришпиливая к парику чепчик. А потом, почти без паузы, зафальцетил, глядя на Ардаха и Пам:— Потерю одного родителя можно счесть несчастьем, но лишь беспечность приводит к потере обоих. Кем был ваш отец? Несомненно, обеспеченным человеком...

А сам Грант-Пейнтон был, несомненно, стальным человеком, и роль свою он знал назубок. Пам, чересчур старательно обмахиваясь веером — ее волнение выдавала только эта чрезмерная старательность,— ждала реплики Ардаха, но тот, разумеется, не мог найти нужного места в пьесе, потому что ему мешали проложенные между страницами листки протокола.

Глава одиннадцатая

Копланд, якобы из-за гриппа, на работу в пятницу не явился. Зато все перегородки оказались, словно по волшебству, на своих местах. Когда Грайс пришел в отдел — а пришел он около одиннадцати, поскольку все канцпринадлежники решили накануне, что спешить на работу к девяти утра просто глупо,— рабочие, сделавшие что надо, уже ушли, и по отделу бродили два техника со стальными рулетками в руках; они придирчиво измеряли, правильно ли установлены перегородки, надеясь найти хотя бы крохотную ошибку и снова начать реорганизацию, но придраться им было не к чему, и вскоре они тоже ушли.

Осмотрев новый закуток для архивных шкафов и клетушку Копланда возле окна — Ваарт, конечно, прохрипел, что теперь, мол, начальнику будет еще уютней дрыхнуть после обеда,— служащие проверили прочность перегородок, наваливаясь на них задами: перегородки слегка пружинили, но не падали. Братья Пенни напомнили Грайсу двух деревенских увальней около забора, огораживающего скотный двор,— они напевали песенку «У Макдональда ферма что надо, хо-хо!». Остальные служащие шутливо подхватили сельскую тему, и Сидз мечтательно сказал: «Эх, неплохо было бы сейчас пососать соломку... которая вставлена в бокальчик вина». Так закончился у них утренний перерыв на чай.

Разговор о мебели завел Ардах, сказав, что посидеть-то все же было бы неплохо и что раствориться в воздухе стулья не могли. Грайсу показалось — может быть, правда, именно показалось,— что коллеги смотрят на него с немым укором. Но он стойко выдерживал их укоряющие взгляды, пока курьер «нутряшки» не приволок утреннюю почту. Принять ее пришлось Грант-Пейнтону; он сейчас же стал хитренько озираться, и, выдержав секундную паузу, язвительно сказал:

— Нет-нет, мистер Грайс, сегодня вам заниматься почтой недосуг: ведь мебель сама в отдел не придет... — Письма были поручены заботам Сидза, а Грайс, мученически вздохнув, пробормотал: — Будем надеяться, что она исчезла не бесследно,— и пошел к двери. Ваарт крикнул ему вслед что-то грубовато-насмешливое, и, закрывая дверь, он услышал раскаты хохота. Злорадно подумав, что если его изловят где-нибудь без пропуска, то объясняться с администрацией будет Грант-Пейнтон, Грайс вызвал лифт.

И как нарочно, когда лифт благополучно довез его до подвала, он угодил прямо в руки — или, верней, в руку — того самого швейцара, который поймал его накануне. А может, это был вовсе не тот же самый швейцар. Может, это был швейцар из тройки, охранявшей Клуб Сент-Джуд, или из другой тройки — если *существовала* другая тройка,— из той, что не пускала его к Лукасу. Или, может, этот вездесущий швейцар входил во все швейцарские тройки — черт их разберет!

Неопознаваемый швейцар стоял, читая спортивную газету, под большой металлической табличкой с надписью: АРХИВНЫЙ СЕКТОР. ТОЛЬКО ДЛЯ ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ. Газету швейцар держал в вытянутой руке, потому что был дальнозорким, а за его спиной Грайс разглядел столик, на котором лежали атрибуты швейцарской службы: журнал с фамилиями и личными подписями служащих, допускавшихся в архивный сектор, пачка бланков, похожих на заверенные пропуска, штемпельная подушечка в жестяной коробке и несколько штампов. Столик был придвинут к металлической, со стеклянным верхом перегородке, протянувшейся вдоль беленой стены, так что между перегородкой и стеной оставался очень узкий коридор, по которому, если б швейцар его пропустил, Грайс мог дойти до противоположного конца подвала. А за перегородкой рядами стояли разнообразнейшие архивные шкафы. Самые дальние из них показались Грайсу просто допотопными.

Швейцар, слава богу, не обратил на него внимания, а главное не потребовал предъявить пропуск. Он лениво приопустил газету и, словно в бинокль, сфокусированный усилием воли, осмотрел Грайса сквозь толстые линзы очков, но равнодушно промолчал.

— Я, знаете ли, что-то потерял ориентировку,— сказал ему Грайс.— Мне нужен рабочий сектор ремонтно-планировочного отдела.

Швейцар осматривал его около минуты — так директор школы смотрит на затаенно дерзкого ученика,— а потом неуловимым движением пальцев свернул газету трубкой, сделав ее как бы продолжением руки, и указал в глубь коридора. Грайс пошел, куда было указано, а через несколько секунд его догнала запоздалая реплика швейцара:

— Прямо по коридору и два раза направо. Там увидите табличку.

Вскоре взгляду Грайса открылось помещение, точь-в-точь такое же, как архивный сектор. Но здесь ряды шкафов сверкали свежим лаком, потому что их наверняка доставили сюда прямо со складов готовой продукции «Комформа», и когда Грайс увольнялся, им еще даже не присвоили каталожного номера. Стало быть, «Альбион» получал новейшее конторское оборудование. Тут, кроме шкафов, хранились новенькие столы, а в отдалении теснились ряды стоек-вешалок, складных стульев и обитых кожей кресел для высшего начальства. Поистине волшебная пещера Аладдина с последними достижениями дизайнерской мысли «Комформа»!

Табличка перед входом гласила: РАБОЧИЙ СЕКТОР И СКЛАД РПО. ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОЧИХ И ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ. Но ни столика, где проверяют пропуска, ни швейцара тут, к радости Грайса, не было. Никем не остановленный, он дошел до небольшой, фута три на четыре, площадки, огороженной низким металлическим барьерчиком, и здесь обнаружил уже знакомых ему рабочих, которые сосредоточенно играли в карты.

Ставки, судя по лежавшим на столе деньгам, были немалые, поэтому Грайса долго никто не замечал. Наконец банкомет посмотрел на него — хотя никто из других игроков не оторвал взгляда от карт,— и Грайс как можно короче изложил, чего хотел. Неспешно, по привычке всех швейцаров и рабочих, вздохнув, банкомет сказал:

— Так мы старую-то мебель сюда не таскаем. На кой нам ее сюда таскать? А видеть — видели, в главном холле, что было, то, стало'ть, было.— По выговору и лексике банкомет напомнил Грайсу Ваарта.

— Да-да, я понимаю, ее унесли вниз ночные уборщики.

— Не, друг, это, стало'ть, наша работа — мебеля заменять. А их работа — убираться, мебеля они, стало'ть, не меняют.

— Конечно, конечно. Но тут, понимаете ли, были особые обстоятельства. Тут все решал инженер по противопожарной безопасности, можете сами у него спросить.

— Так ведь нам такую работу не поручали — с инженера́ми толковать. Ну, а бумажка-то у вас есть? Эта, как ее, сдаточная ведомость?

— Нет, приемо-сдаточную ведомость я, к сожалению, не захватил.

Банкомету явно не терпелось вернуться к своему основному занятию — карточной игре, но он все же объяснил Грайсу, что даже если бы отдельскую мебель принесли сюда, в подвал № 3, чего на самом деле не было, то ее отдали бы ему только по приемо-сдаточной ведомости.

— Да вы, стало'ть, выпишите себе новые мебеля, и дело с концом,— заключил банкомет.

Грайс мог бы сказать банкомету, что без бланков требований, которые хранились в исчезнувших архивных шкафах, отделу канцпринадлежностей не удалось бы получить даже сломанного крючка от списанной вешалки, но банкомет считал разговор оконченным. Игра возобновилась, и рабочих больше не интересовало, стоит ли еще здесь незваный гость, лежит ли он возле перегородки, сраженный наповал железной логикой банкомета, или просто испарился.

А Грайс, как можно незаметней, обошел площадку с рабочими и двинулся вперед. За площадкой мебельный ландшафт резко изменился. Новая мебель сменилась рядами старых покосившихся столов, изъеденных ржавчиной архивных шкафов и колченогих стульев. Он оказался на гигантском кладбище конторской мебели.

Вскоре груды драных линолеумных листов, штабеля картонных коробок и фанерных ящиков надежно заслонили его от рабочих, которые, правда, на него и не смотрели. Он продрался сквозь чащобу вложенных одна в другую корзин для ненужных бумаг, решив на ходу, что их отправляли в утиль из-за маленьких размеров — нынешние были гораздо больше,— миновал залежи металлических барьерчиков и снова увидел ряды архивных шкафов. Некоторые шкафы, металлические, были относительно современными и, главное, вполне исправными, так что списать их могла только очень расточительная фирма («Да ведь «Альбион»-то экономным никак не назовешь»,— мимоходом подумал он), а некоторые, деревянные, вроде тех, которые он видел в архивном секторе, казались устаревшими...

Но тут Грайс внезапно понял, что уже бродит именно по архивному сектору: потеряв направление, он, видимо, повернул назад, а границей, или лучше сказать нейтральной зоной, между смежными секторами служило кладбище мебели.

Грайс уже собирался повернуть — он отошел от нейтральной зоны шагов на десять и теперь, проклиная магазины стандартной обуви, до отказа выгибал вверх пальцы ног, чтобы башмаки поменьше скрипели,— когда заметил торчавший из допотопного деревянного шкафа

мятый листок бумаги, похожий на счет-фактуру. Его внимание привлекли черневшие сквозь пыль буквы *...графия «Альбион»*.

Это и в самом деле был счет-заказ. ТИПОГРАФИЯ «АЛЬБИОН»,— прочитал Грайс,— УЧРЕЖДЕНА В 1891 г., ГРЕЙН-ЯРД, ЛОНДОНСКИЙ МОСТ, ЮВ-1. Ниже на листке значилась дата четырехлетней давности, когда, по словам Грант-Пейнтона, здание типографии было снесено, а еще ниже — машинописный текст: *Пр-м отп. Тпгр. «Альбион» п/гвр 12×12×12 б/кип за к/№ 8093-1, 6×12×12 б/кип за к/№ 7842-02...* и так далее. Грайс без труда расшифровал эти древние машинописные иероглифы: «Просим отпустить типографии «Альбион» по договоренной цене двенадцать гроссов (он автоматически вспомнил, что гросс равняется двенадцати дюжинам) бумажных кип за кодовым номером 8093-1, шесть гроссов бумажных кип за кодовым номером 7842-02...» и дальше в том же духе.

А Грайс удивительно хорошо запоминал цифры. На его последней службе ему в шутку советовали выступить по телевидению с номером «Уникальная память», взяв за основу каталожные номера мебели. Обрывок старого счета ни о чем не сказал бы большинству альбионцев, но Грайс мгновенно уловил в нем знакомые цифровые сочетания. Под кодовым номером 8093-1 значились розовые бланки изъятия (белые шли под номером 8093, без добавочной единицы), а 7842-02, несомненно, был номер давнего бланка для графика отпусков, потому что нынешний бланк числился под номером 7842-14.

Он, по-видимому, обнаружил один из самых последних заказов типографии «Альбион», уничтоженной вскоре после этого ее же детищем — британским коммерческим трестом. Грайс уже хотел спрятать старый счет-заказ в бумажник, но, складывая его, заметил, что он написан на особом бланке-конверте, и прочитал, куда его направляли:

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД, СЛОУ.

И тут Грайсу сразу же пришло в голову, что на вчерашнем заседании Альбионской труппы некий фома неверующий спросил, «располагает ли комитет документальными доказательствами, что «Альбион» — государственная фирма», а Грант-Пейнтон в ответ сказал, что «все выводы комитета основываются на *отсутствии* каких бы то ни было документов». Он представил себе, как он скромно встает, неторопливо шагает по центральному проходу, поворачивается у сцены к зрительному залу и достает из бумажника драгоценный древний листок: «Итак, леди и джентльмены, документальное доказательство найдено...»

Пряча счет-заказ в бумажник между двумя фунтовыми банкнотами, Грайс услышал тяжелый топот. Именно топот: одна нога подымалась и с грохотом топала, потом поднималась и топала другая... Так ходила только Тельма.

— Мистер Грайс! — Ее театральный шепот на миг оглушил его.— Мистер Грайс, он там!

— О господи, Тельма, откуда ты взялась? Тебя же послали за конфетами! И кто такой «он», про кого ты говоришь?

Грайс тоже попытался было шептать, но вопросов у него оказалось чересчур много, и он заговорил в полный голос. Да и зачем, собственно, ему таиться? Пусть таится Тельма, а его-то послал сюда начальник.

— Чего-чего? Да мой шкапик с чашками, он вон там!

Топочущая Тельма опять подвела Грайса к мебельному кладбищу. И вот среди каких-то поломанных досок, старых полок для огнетушителей и настольных ламп с гибкими пружинными ножками он увидел лежавший на боку металлический архивный шкаф с привязанной к ручке верхнего ящика красной шерстяной тряпочкой.

— Так-так, Тельма, вещественное доказательство номер один. А где остальное оборудование?

— Чего-чего? Да я не знаю, мистер Грайс, тут только мой шкапик.

— Почему ты так думаешь?

— А потому что они его снесли, мистер Грайс,— туманно пояснила Тельма.

— Да кто «они»-то? И что значит «снесли»?

— Швейцары, мистер Грайс. Они сказали, что его, дескать, хотели отправить со всем остальным барахлом, но он куда-то там не поместился, а оставлять его в главной прихожей на глазах у всех было нельзя, и они его снесли сюда, вниз.

— А ведь получается, Тельма, что тебе доступна информация, недоступная другим, верно?

— Чего-чего, мистер Грайс?

— Да я говорю, откуда ты, мол, все это знаешь?

— А-а, понятно, мистер Грайс. Так я просто слышала, как один швейцар толковал с моим дядей.

— С дядей?

— Ну да, он же у меня тоже швейцар.

Грайс всмотрелся в ее лунообразное лицо. Ему до сих пор не удалось понять, слабоумие ли скрывается за этой бесстрастной маской, умелое ли притворство умницы или просто лукавство девушки из народа, которая всегда, как говорится, себе на уме.

— Но твоего дяди не было, надо полагать, среди швейцаров, отказавшихся пропустить тебя в Клуб Сент-Джуд?

— Чего-чего? А-а, не было, мистер Грайс. Он дежурит у архивного сектора.

— Считается, что в архивный сектор имеют доступ только особо ответственные сотрудники. Так что ты скажешь, если тебя здесь накроют?

— Скажу просто, что мне, мол, нечего было делать наверху, ну он меня и пустил посмотреть.— Хихикнув, Тельма пожала своими пышными плечами.— По-ихнему, раз я только что из школы, мне, значит, можно. Они говорят, дескать, я еще маленькая.

— Так тебя и в другие отделы пускают?

— Случается, мистер Грайс.

— Так-так,— с насмешливой суровостью проговорил Грайс,— и когда тебя не пустили в Сент-Джуд, ты, стало быть, решила заглянуть туда с пожарной лестницы? Тебя ведь только чудом не поймали!

— Очень уж мне хотелось посмотреть, мистер Грайс, чего у них там делается!

— И что же там, по-твоему, делалось?

— Не знаю, мистер Грайс.

Тельма нервно хихикнула, а потом попыталась придать себе подчеркнуто рассудительный вид. Как бы желая убедиться, что их никто не подслушивает, она обвела настороженным взглядом мебельные руины и таинственно сказала:

— Папа говорит — бактериологическое оружие.

— Твой папа... ошибается,— пробормотал Грайс (он чуть было не ляпнул «дурак»).— А мой тебе совет — иди-ка ты сейчас на рынок и не суй свой нос в дела, до которых тебе нет дела.

— Чего-чего? А-а, понятно, мистер Грайс.

Чтобы спрятать глаза от ледяного взгляда Тельминого дядюшки, Грайс, пока не пришел вызванный лифт, пристально смотрел на свои ручные часы, словно они были приемным аппаратом телекса. Обед уже давно начался, и он решил отправиться прямо в «Лакомщик», надеясь, что Пам заняла для него местечко.

Но в «Лакомщике» Пам не было. Он огляделся, но не увидел ни

единого знакомого лица. Впрочем, нет, служащего из отдела питания Грайс, конечно, узнал.

Это был П-Одиннадцатый, похожий на Джека Леммона; он сидел за столиком один, приставив к сахарнице какой-то роман в бумажной обложке. А ел он так, будто ему необходимо проглотить определенную порцию запеканки за определенное количество секунд и от этого зависит его жизнь. Возможно, конечно, так оно и было: ведь работа у них в отделе каторжная. Он лишь на секунду, и не переставая жевать, оторвал взгляд от книги, когда Грайс спросил его, можно ли, дескать, к нему присоседиться.

«Заговаривайте об Альбионской труппе естественно и не в лоб,— наставляла Грайса Пам.— Люди практически не знают, чем мы занимаемся, и если кто-нибудь покажется вам заинтересованным, просто намекните ему, что у нас опять начался прием, а там будет видно». Однако самое важное Пам сказала Грайсу под конец: «Рон Сидз очень хочет взглянуть на архивы отдела питания, вот почему его так обрадовала возможность тайно вскрыть архивный шкаф. Но я-то считаю, что надо расспросить живого человека, а не копаться в архивах». Грайс пылко с этим согласился.

Чтобы начать разговор, он вежливо спросил Джека Леммона, можно ли ему взять солонку.

— А мы ведь встречались, помните? Я оторвал вас от работы, когда хотел передать кое-какие документы П-Одиннадцатому. А оказалось, что мне нужен А-Тринадцатый.

— Умгум,— пробормотал Джек Леммон и перевернул страницу. Но решив, что это «умгум» прозвучало грубовато даже по его собственным меркам, неохотно добавил: — Ну и как — передали?

— Да в том-то все и дело, что не передал! Меня, признаться, быстренько наладил с тринадцатого этажа один довольно резкий тип — ваш начальник, наверно. Человек в шапочке шеф-повара.

— А-а, Льюк,— сказал Джек Леммон, вспомнив, по-видимому, как он объяснял Грайсу, где найти начальника отдела питания; он опять произнес слово «люк» как-то странно.

— Да-да, вы мне дали прекрасный ориентир — люк. Он высунулся из этого люка, будто кукушка в старинных часах.

— Льюк его фамилия! Клиффорд Льюк! — Хотя Джек Леммон поправил Грайса с едкой насмешкой, лед отчужденности был сломан. Он закрыл книгу — «Молодые львы» Ирвина Шоу,— и Грайс получил возможность спросить, нравится ли ему этот автор. Заговорив о писателях, он естественно перешел бы к драматургам, а там уж и до Альбионской труппы рукой, как говорится, подать.

— Если вы думаете зазвать меня к этим олухам из Альбионской труппы,— прервал его мысли Джек Леммон,— то не пытайтесь.

Ошарашенный Грайс честно признал, что Джек Леммон прочитал его мысли, и выразил ему свое восхищение.

— Да это было не трудно,— явно смягченный восхищением Грайса, и тоже честно, откликнулся Леммон.— Вы уже сегодня третий.

— В самом деле? — с острым любопытством спросил Грайс.— И кто же, если не секрет, мои предшественники?

— Первой-то была предшественница, не знаю, как ее зовут, из вашего отдела.

— Памела Фос?

— Кажется, она. Ей, как и вам, почему-то понравился мой столик, а ушла она минут пять назад.

— Ну, а второй?

— Второй прихватил меня сегодня утром в лифте, но как его зовут, я тоже не знаю.

— А он не напомнил вам, по случайности, Джереми Торпа? Хотя бы немножко?

— Да нет, он, пожалуй, немного похож на вас. И говорит, как вы. Его даже можно принять за вашего брата.

Сидз! Ну подождите, друзья, посмотрим, кто кого!

— Вот вы назвали артистов-любителей олухами и, возможно, не очень погрешили против истины. А вас не удивило, что три человека за один день предложили вам вступить в Альбионскую труппу?

— Да чему тут удивляться-то? — Джек Леммон отставил пустую тарелку из-под запеканки и принялся за грушу под сладким соусом, очень аппетитную на вид («Надо обязательно попробовать»,— решил Грайс).— Вам же нужно выведать, что делается у нас в отделе!

А Пам-то распиналась — «люди практически не знают, чем мы занимаемся»! Величайшая глупость года, иначе не скажешь. Похоже, всему «Альбиону» давно известно, чего им надо, они могли бы распечатать свою программу во многих экземплярах и повесить на всех досках объявлений.

— В общем, кое-кому было бы любопытно узнать, что у вас происходит,— с ненужной теперь осторожностью отозвался Грайс.

— А что произошло с любопытными, знаете? — «Нос оторвали», автоматически вспомнилось Грайсу.— Если вам хочется, чтоб вас вышвырнули из «Альбиона», продолжайте в том же духе, это ваше дело, а мне с вами не по пути. Вы же все до одного, как пить дать, отсюда вылетите!

Грайс думал точно так же. И спорить не стал. А Джек Леммон, доев с неимоверной быстротой сладкое, взял свой роман, молниеносно вытер бумажной салфеткой рот и сказал:

— Что бы у нас ни делалось, я могу говорить только о себе. Так вот, я-то работаю. Мне, видите ли, восемь месяцев пришлось просидеть без работы, поэтому здесь я работаю, вкалываю по восемь часов в сутки, ни на кого свои обязанности не сваливаю, раз в месяц получаю жалованье и не задаю дурацких вопросов, понятно?

Все это было Грайсу настолько близко, что он не нашелся с ответом. А сейчас, на его взгляд, Джеку Леммону следовало встать и отправиться в свой каторжный отдел. Но он почему-то продолжал сидеть и хмуро смотрел на Грайса. Возможно, у него еще оставалось несколько минут до конца обеденного перерыва.

В итоге Грайс поднялся первый. А встав, тотчас же догадался по вибрации пола, что к нему приближается их юная фея-кормилица. И через несколько секунд увидел лунообразное лицо.

— Извините, мистер Грайс, мне надо сказать вам одно очень важное словечко,— прошептала Тельма.

Но по дороге к эскалатору она только бессмысленно улыбалась в ответ на все его вопросы, и он безуспешно пытался понять, что творится у нее в голове, пока они не оказались на втором этаже.

— Туда, мистер Грайс.

Отсюда можно было спуститься по лестнице на первый или подняться на третий этаж. Однако Тельма свернула к двери, ведущей в холл. «Спросила бы, дуреха, меня, я бы ей сразу сказал, что лифты здесь не останавливаются»,— подумал Грайс.

И все же покорно шел за ней. Он ведь еще не бывал на втором этаже: его обследование, про которое столько говорилось, швейцар оборвал на третьем. Грайс тут же заметил, что здешний холл отличается от всех других, но сначала не понял чем. Обычная стеклянная дверь в рабочий зал с тремя отделами — балансовым, контрольно-ревизионным и расчетно-фактурным, где, судя по свободным позам служащих, еще не кончился обед, а напротив — двери лифтов.

Перед каждым лифтом стоял низкий деревянный барьер вроде тех, через которые прыгают на тренировочных манежах не очень хорошо обученные скаковые лошади,— напоминание об отмененной

здесь остановке лифтов из-за давнего топливного кризиса. Но не барьерами отличался этот холл от всех остальных. Не барьерами, а количеством лифтов: здесь их было четыре!

И вместе с тем этого никак не могло быть! Известно же, что в «Альбионе» только три лифта, всем служащим известно... однако вот они, плотно сомкнутые двери четвертого! А куда, спрашивается, ему подыматься или опускаться, если на других этажах его нет?!

Как и у трех обычных, у четвертого лифта рядом с дверцами виднелась кнопка вызова, и Тельма, не задумываясь, ткнула в нее пальцем. Грайс открыл было рот, чтобы сказать шалой девчонке: «Что за глупости, Тельма, ни один лифт на втором этаже не останавливается, а это, по всей вероятности, даже и не лифт...»,— но дверцы скользнули в стороны, и Грайс понял, что ошибся.

Тельма небрежно отодвинула деревянный барьер и шагнула вперед. А Грайсу предстояло на ходу решить, идти за ней или нет, и он мгновенно вспомнил о судьбе любопытных.

— Все в порядке, мистер Грайс, не сомневайтесь, он поднимается только на один этаж,— успокоительно сказала ему Тельма.

И Грайс, чтоб не ударить перед девчонкой в грязь лицом, присоединился к ней.

Тельма была права: этот лифт поднимался только на один этаж, и поднимался чертовски медленно — так ползают обыкновенно грузовые подъемники. Грайс огляделся и заметил еще одну странность: две пары дверей под прямым углом друг к другу, как в старых универсальных магазинах, где на одном этаже из лифта надо выходить в ту же сторону, откуда вошел, а на другом — вправо или, скажем, влево.

Когда лифт наконец остановился, открылась вторая пара дверей, и Грайс разглядел узкий коридор. На бетонных стенах коридора виднелись красные надписи вроде «Без шлема не работать» и «Огнеопасно», а в отдалении Грайс даже заметил обрамленную стальными планками выписку из рабочего законодательства и догадался, что попал в техническую зону альбионского здания. Они, стало быть, приехали на третий этаж, и коридор, по всей вероятности, вел к нижнему ярусу пристройки, опоясывающей вкруговую третий и четвертый этажи «Альбиона» (а в ее верхнем ярусе был размещен «Лакомщик»). Грайсу вспомнился рассказ Сидза о поворотном механизме, сломавшемся при первой же пробе. Основная часть механизма была, конечно, смонтирована под полом ресторана, и Тельма, как он понял, хотела привести его именно туда.

— Тельма, я надеюсь, ты притащила меня...— Бесполезно, она его не слушала и шумно топала вперед.

А за дверью обнаружилось довольно тесное помещение неправильной формы, футов, наверно, пятнадцати в самом широком месте, если прикидывать на глазок. Тут были установлены какие-то электромеханические устройства в металлических эмалированных коробах вроде как у холодильников или стиральных машин, а управлялись они кнопками на запыленной панели, и было заметно, что к этим кнопкам давно уже не прикасалась рука человека. Век автоматизации со всеми его недостатками!

Та часть внешней стены, которую Грайс видел, была овальной, как и стены «Лакомщика», а под потолком тянулась главная часть поворотного механизма — не шестеренчатые колеса и кривошипы, а массивная резиновая лента, похожая на поручни эскалатора в метро, явно очень прочная, гибкая и сделанная по последнему слову техники. Грайс повернул голову, чтобы проследить, куда уходит лента, и увидел стенку из полированных деревянных панелей. Должно быть, красное дерево, подумал он.

Тельма, хотя сама она топотала, как стадо слонов, предостерегающе приложила палец к губам, а ее оглушительное «Тссс!» разбу-

дило бы и мертвого. Она показала пальцем на деревянную стену, и, всмотревшись, Грайс разглядел в стене едва заметную дверь; но ручки на двери не было.

Тогда он внимательно прислушался. Да, сомневаться не приходилось: из-за стенки доносились приглушенные голоса. А Тельма ткнула пальцем в один из эмалированных коробов и после этого указала на вентиляционную решетку под потолком. Она хотела, чтобы он забрался на короб и заглянул сквозь решетку.

Грайс яростно затряс головой. Тогда Тельма скорчила мину непослушной девчонки — наверно, именно с такой вот упрямой гримасой сидела она по вечерам в гостиной, когда родители говорили ей, что пора спать,— и стала пробираться к механизму под вентиляционным люком. Грайс тревожно ухватил ее за локоть.

Короче, подтянув брюки, он сам полез на этот эмалированный ящик. Под его коленями верхняя крышка прогнулась, издав довольно громкий звук — плоп! — и он в испуге застыл. Потом, все еще на коленях, подполз к стене и медленно, с трудом сохраняя равновесие, встал. А потом поднялся на носки — проклятые башмаки опять пронзительно скрипнули — и заглянул в люк.

За стеной, внизу, ему открылась просторная комната, похожая на конференц-зал. В центре зала стоял овальный стол — ни на что другое Грайс не обратил сейчас внимания,— а вокруг него сидело человек двадцать чрезвычайно внушительных джентльменов, и возле каждого из них виднелись принадлежности совещания на самом высоком уровне: индивидуальная ручка в подставке из оникса, аккуратная стопка мелованной бумаги, блокнот для записей, графин с водой и солидный портфель. Председатель собрания молча сидел в обитом кожей кресле (каталожный номер Ф/03777) — Грайс разглядел даже его авторучку с золотым пером,— а остальные джентльмены обсуждали какие-то безусловно важные дела. Из-за шума кондиционера Грайс не слышал, о чем они говорили, но ясно видел их лица.

Один из директоров-распорядителей — а Грайс не сомневался, что видит именно заседание совета директоров,— повернулся, чтобы передать соседу какой-то листок бумаги, и явил Грайсу профиль весьма влиятельного министра, который часто выступал в телевизионных передачах с полемическими речами по самым разным вопросам, так что невозможно было определить, каким же он ведает министерством.

А он тем временем опять повернулся к соседу и на этот раз не отворачивался довольно долго — судя по мимике, шутливо извинялся, что передал не ту бумажку, какая требовалась, а потом передал нужную,— и у Грайса не осталось ни малейших сомнений. Его профиль так удивительно походил на профиль министра, потому что он министром и был.

Однако больше Грайс ничего в конференц-зале не разглядел. Он услышал скрип стальной двери на плохо смазанных петлях, отпрянул и увидел, что в дверном проеме стоит однорукий швейцар.

Тот ли это швейцар, который поймал его несколько дней назад на третьем этаже, дядюшка ли Тельмы из архивного сектора или какой-нибудь другой воин из армии взаимозаменяемых одноруких стражей, бродящих по «Альбиону», Грайс размышлять не стал. Сиганув со своего эмалированного насеста прямо к открытой двери — при воспоминании об этом его потом всегда поражала собственная ловкость,— он оказался за спиной у шагнувшего вперед швейцара и помчался по узкому коридору, отчаянно моля судьбу, чтобы дверь лифта оказалась открытой. Однако даже панический ужас не помешал ему составлять на бегу оправдательную историю, из коей явствовало, что он сидел себе спокойно в «Лакомщике», когда к нему неожиданно подошла Тельма и почти насильно повела его показывать поворотный механизм, который он очень хотел посмотреть, так как ин-

тересуется техникой с детства, а про запретные зоны и лифты ему решительно ничего неизвестно.

Глава двенадцатая

Повинуясь инстинктивному желанию затеряться в толпе служащих, Грайс поднялся к себе на восьмой этаж. Но никакой толпы он там не обнаружил. Видимо, его сослуживцы решили, что раз мебели все еще нет, обеденный перерыв можно считать естественным завершением рабочей недели.

Торчать на потеху оперхозяйственникам одному в отделе было глупо. Он, конечно, с удовольствием узнал бы, чем кончился допрос Тельмы возле конференц-зала (если швейцар не отвел ее к своему начальству), но было неизвестно, когда она вернется и вернется ли вообще. Ее ведь запросто могли уволить. Да его и самого-то могли уволить. Эх, зря он не посмотрел, когда наткнулся на внутриальбионский справочник, какое выходное пособие выплачивают здесь увольняемым служащим.

В автобусе, по дороге к Лондонскому мосту, Грайс как-то ни на чем не мог сосредоточиться, голова у него шла кругом. В каждом втором прохожем он узнавал то министра из альбионского конференц-зала, то министра внутренних дел, а то и вовсе премьера. Тротуары вокруг просто кишели однорукими швейцарами, особенно когда автобус останавливался у светофоров. Кондуктор напоминал ему Мохамеда Али, женщина на заднем сиденье — певицу Джоан Баэз. Возле какого-то винного бара ему померещились Пам и Сидз; полисмен-регулировщик был похож на Копланда, но, слегка повернувшись, превратился в актера Мервина Джонса; а когда автобус подъехал к Лондонскому мосту, Грайс увидел миссис Рашман и Хакима, шагавших в сторону фабричного заречья. Про этих-то, правда, Грайс мог бы поклясться на целой кипе Библий, что это именно они.

А впрочем, вздор. Миссис Рашман не завтра, так послезавтра уезжала в свадебное путешествие, и у нее, конечно, были дела поважней, чем прогулки с Хакимом по улицам, да и сам Хаким нежился, как известно, на солнечном пляже в Альгарве.

На вокзале, предъявив сезонный билет перронному президенту одной из африканских республик, Грайс прочитал объявление, что поезда задерживаются из-за испортившегося в Нью-Кроссе семафора — объявление было написано мелом на черной доске,— и решил, что ему обязательно надо выпить. Да и перекусить, пожалуй, не мешало, тем более что Тельма увела его от несъеденного обеда.

Он без труда отыскал уютную старомодную закусочную ярдах в ста от вокзала, а рулет с яйцом, который ему там дали, был, к его удивлению, вовсе не похож на заплесневевший мячик для гольфа. Да и вино оказалось хорошо охлажденным, и отпускали его не наперстками, как в других закусочных, а вполне приличными порциями. Грайс почувствовал себя гораздо лучше. Посетитель, стоявший по ту сторону круговой стойки, смутно напомнил ему какого-то известного человека, но он решил не вспоминать, какого именно.

Ну, а все-таки, на кого же он был похож? Кажется, на актера детективных телевизионных фильмов — то ли Джефсона, то ли Джепсона, что-то в этом роде, но он давно уже не появлялся на телеэкранах, наверно, вышел из моды. Джефферсон? Нет, пожалуй, не Джефферсон.

Актер смотрел на него с тем же обеспокоенным, даже мучительным недоумением, какое отражалось, по-видимому, и на его собственном лице. Но через несколько секунд лицо незнакомца разгладилось: он явно вспомнил. Прихватив свою пивную кружку, он отправился вокруг стойки к Грайсу.

— Давненько же мы не виделись,— подойдя поближе, приветливо проговорил Джефсон-Джепсон-Джефферсон.

— Давненько,— эхом отозвался Грайс. И сразу же вспомнил, что виделись они всего месяц назад: лица людей он запоминал навсегда. Ну конечно же! Парслоу, его собрат по несчастью из «Комформа». Их было четверо, славных мушкетеров, уволенных в один день.

Но он явно походил на того актера-детективщика. Странно, что, пока они вместе работали, Грайс этого не замечал.

— Поразительно,— сказал Парслоу,— встречаешь человека, которого знал бог весть сколько времени, и не можешь вспомнить, кто он такой.

— А это потому, что он вырван из привычной обстановки,— объяснил Грайс.

Бывшие сослуживцы принялись оживленно болтать и между прочим объяснили друг другу, каким ветром их сюда занесло. Парслоу, по его словам, протирал штаны за грехи свои в объединении «Экспорт» — «может, видели, этакая новомодная стекляшка чуть ли не до неба на Борроу-Хай-стрит?» — и ходил в эту закусочную, когда ему приедались деликатесы из служебной столовой.

— Скажите,— начал Грайс, когда барменша налила им по его заказу два стакана вина и Парслоу ввернул, что сегодня он еще не прикладывался,— как ваши планы открыть магазин «Умелые руки» или что-то в этом роде?

— Так ведь мир-то, знаете ли, оскудел нынче древесиной,— шутливо ответил Парслоу.— А если без шуток, то ничего у меня не вышло. Найдешь подходящее помещение — древесины у торговцев нет, или надо получить разрешение на перепланировку дома, а это минимум полгода, или местные власти собираются реконструировать район, так что зайдите, мол, годочка через четыре. А в довершение ко всему банк отказался выдать мне обещанную... ну, или почти обещанную... ссуду: им ведь нет никакого дела до мелких предпринимателей, они даже и думать о них не желают. Короче, не получилось. Да и хрен бы с ним!

— Так вы теперь гнете спину в объединении... какое, вы сказали, объединение?

— Объединение «Экспорт». Я, понимаете ли, так устал от всех своих треволнений, что отправился прямо в Комитет труда и согласился на первую попавшуюся должность. За квартиру расплатиться хватает, а там живи как знаешь.

Грайс решил не признаваться Парслоу, что поступил точно так же: очень уж презрительную гримасу скорчил тот, упомянув про Комитет труда.

— Что-то я не слышал о такой фирме — объединение «Экспорт». Чем вы там занимаетесь?

— Стараюсь работать как можно меньше, чем же еще? А если серьезно, то у нас и отлынивать-то от работы не нужно, ее и так нет. Меня вот, например, зачислили в оперативно-хозяйственный отдел и сказали, что мы должны оперативно следить за состоянием здания и ходом внутриотдельских реорганизаций. А мы не то что оперативно — вообще никак и ни за чем не следим.

— Да нет, я хотел спросить, чем занимается ваша фирма,— сказал Грайс с острым ощущением чего-то очень знакомого.

— А вот это интересный вопрос,— поставив стакан, отозвался Парслоу.— Очень интересный вопрос.

Грайс глубоко вздохнул. Он хотел спросить Парслоу: «Так вы, стало быть, не знаете?», но, чувствуя внутреннюю дрожь и понимая, что голос выдаст ее, промолчал. И тем не менее Парслоу ответил:

— Я знаю, чем наша фирма занималась раньше, если вас это интересует. Она выполняла всякие работы по экспорту — упаковка, доставка, у нее даже был свой флот,— а когда экспорт перестал при-

носить прибыль, занялась разными другими делами, но какими именно, не могу вам сказать. Может быть, переключилась на крупные финансовые операции, черт его знает. И по-моему, никому у нас это не известно, даже главным администраторам.

— А если бы я сказал, что работаю за грехи свои в отделе канцпринадлежностей,— осторожно спросил Грайс,— у вас это вызвало бы какие-нибудь ассоциации?

— Еще бы! — воскликнул Парслоу.— Я ведь как раз и рассчитывал на должность в этом отделе нашего объединения, да там не оказалось вакансий. Он у нас расположен по соседству с оперхозяйственным.

— На восьмом этаже?

— Да вы что — ясновидец?

— И какой там у вас третий отдел?

— Этот, как его — отдел внутренней почты...

За очередным стаканом вина они с Парслоу сравнивали свои фирмы — верней, сравнивал Грайс, вытягивая у Парслоу сведения о его новой работе, а сам Парслоу только радостно удивлялся тому, что они, как оказалось, работают в разных фирмах на одном этаже. Теперь Грайс ясно вспомнил, что в «Комформе» Парслоу отнюдь не считался выдающимся мыслителем.

Вскоре стало совершенно очевидно, что «Экспорт» и «Альбион» похожи друг на друга как две капли воды — вплоть до армии взаимозаменяемых однооруких швейцаров и открытой планировки рабочих залов. Сонные мухи из ремонтно-планировочных отделов неспешно передвигали время от времени металлические барьерчики, таинственные литерные службы обрабатывали неведомые статистические данные, административные секторы отделов питания душили служащих, как выразился Парслоу, оголтелым бюрократизмом. Но его нисколько не удивила поразительная схожесть двух разных фирм.

— Ее Величество Стандартизация,— равнодушно сказал он.

— Скажите,— поинтересовался Грайс,— а у вас на работе есть какие-нибудь общественные клубы? Ну, к примеру, любительский театр?

— Странные вы задаете вопросы. Думаете, я загубил в себе артистический талант? *Быть иль не быть, таков вопрос!..* А если без шуток, то у нас вроде бы есть какой-то общественный клуб, да только я не знаю, чем они там занимаются.

Грайс, надеясь, что он говорит разумно и сдержанно, вкратце рассказал Парслоу, чем занимается Альбионская труппа. Но мысли у него весело разбегались, а язык угрюмо заплетался, и на Парслоу рассказ о делах альбионских любителей не произвел особого впечатления. Больше того — ему явно стало смешно.

— Да у ваших любителей просто мозги набекрень,— объявил он.— С чего вы взяли, что работаете на правительство?

— С чего бы мы ни взяли, теперь это подтверждено документально! — Он не собирался показывать Парслоу счет-фактуру (мало ли кому тот мог проболтаться!), но другого выхода не было. Он бережно развернул ветхий счет, обнаружив при этом, что, пока ему не пришло в голову закрыть один глаз, буквы на счете как-то странно двоились.

— «Грейн-Ярд, Лондонский мост, ЮВ-1»,— с тупым равнодушием прочитал Парслоу. Он даже не заметил, что Грайс показал ему пальцем, куда адресован заказ — ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ,— видимо, его развезло еще сильней, чем Грайса.— А ведь я довольно хорошо знаю Грейн-Ярд.

— А тогда вы должны знать,— угрюмо сказал Грайс, по-прежнему указывая пальцем на адресата,— что типографию «Альбион» давно снесли.

— Снесли? — вопросительно повторил Парслоу.— Как это так снесли? Она и сейчас там стоит.

— Стоит? — Теперь уже Грайс вопросительно повторил последнее слово Парслоу, и нижняя челюсть у него отвисла.

— Ясное дело, стоит! Окна выбиты, деревянная вывеска облупилась, но прочитать можно. Я сто раз мимо нее проходил. Может быть, ее *собираются* снести, чтоб она сама не развалилась, но пока еще не снесли. Уж мне ли не знать? Да я могу, если хотите, вас туда проводить.

— Ну, зачем же я буду отнимать у вас время,— заплетающимся языком пробормотал Грайс и спрятал счет-фактуру в бумажник. Он понимал, что ему надо бы еще разок увидеться с Парслоу, и пообещал «звякнуть».

— Вот-вот! Только звоните мне домой, а то на работу нам дозвониться, знаете ли, довольно трудно. Вы, наверно, удивитесь, но нашей конторы нет в городском телефонном справочнике. Теперь, похоже, все солидные фирмы предпочитают скрывать свои телефоны.

Понедельник, как известно, самый тяжелый рабочий день. Таким он и оказался для Грайса. Правда, пришел Грайс в контору немного успокоенный, с надеждой, что ему все же не грозит увольнение (швейцар мог его не опознать, юная Тельма могла не выдать, да и начальство могло спустить это дело на тормозах), причем пришел первый. Он очень хотел как можно скорей поговорить с Пам, но когда она явилась, в нее немедленно вцепился Грант-Пейнтон и принялся нудно, со всеми подробностями, рассказывать о своем посещении нового ботанического центра.

А на работу в понедельник не вышло сразу несколько канцпринадлежников. По-прежнему отсутствовал Копланд; не было Ваарта и братьев Пенни; а к утреннему перерыву на чай обнаружилось, что Тельмы тоже нет, и это здорово встревожило Грайса.

Если кто-нибудь в «Альбионе» знал, что с ней стряслось, так это ее дядюшка из подвала, но Грайс побаивался к нему обращаться: а вдруг именно он застукал их возле секретного конференц-зала? Тогда Грайсовы расспросы наведут его на мысль, что они отнюдь не случайно оказались вместе — это во-первых. А во-вторых, откуда Грайсу знать, что сейчас у архивного сектора дежурит дядюшка Тельмы? Ведь если альбионские швейцары дежурят по графику в разных местах и Грайс начнет расспрашивать не Тельминого дядю, а какого-нибудь другого швейцара, тот решит, что он просто спятил, и тогда уж ему вовек не выпутаться из этой истории.

А все же, если он хочет избавиться от беспокойства, другого выхода нет. Улучив минуту, когда сослуживцы рассматривали иллюстрированный каталог ботанического центра, он выскользнул за дверь и спустился на лифте в подвал.

Но на этот раз архивный сектор вообще никто не охранял. Пожалуйста, залезай в любой шкаф и снимай на микропленку все, что тебе угодно. Тяжелый день сказывался и тут. А ведь понедельник можно приравнять к национальному празднику, подумал Грайс, так мало людей выходит в этот день на работу.

Вернувшись в отдел, он обнаружил, что все его сослуживцы — или, говоря точнее, те *немногие* сослуживцы, которым удалось прийти сегодня на работу,— с негодованием обсуждают обнаглевшую Тельму. Особенно возмущался Ардах. Копланд, Ваарт и братья Пенни, по его словам, получали жалованье за выполнение определенных обязанностей, а раз эти обязанности выполнять невозможно, они вправе сами решать, приходить им на работу или нет. Иное дело Тельма; ее, сказал Ардах, наняли, чтобы сотрудники отдела не отвлекались от работы по пустякам. В пятницу, потратив полдня на пяти-

минутную работенку, она была отпущена домой — тут Ардах скосил укоряющий взгляд в сторону Грант-Пейнтона,— и теперь, по-видимому, решила приходить на службу, когда ей заблагорассудится. Ну и порядки!

А Грант-Пейнтон, разозленный выпадами Ардаха и насмешками оперхозяйственников, решил сорвать злость на Грайсе.

— Надеюсь, вы наконец обнаружили мебель? — спросил он.

Грайс, ни словом не упомянув про Тельму, рассказал Грант-Пейнтону о своей экспедиции в подвал № 3.

— Значит, никаких результатов?

— Боюсь, что так.

— Тогда придется оставить все как есть до выхода на работу мистера Копланда или инженера по противопожарной безопасности, не знаю уж, кто из них появится раньше. Пусть начальство расхлебывает эту кашу с пропажей, я ее не заваривал.

Язвительно посоветовав коллегам прийти завтра утром на работу, чтобы начальнику, если он соблаговолит выздороветь, не было одиноко, Грант-Пейнтон надел пальто и удалился. Вслед за ним ушел Ардах, так что в отделе остались только Сидз, Бизли, Пам и Грайс.

Опередив Сидза и Бизли, которые собирались посудачить с Пам насчет устроенного Грант-Пейнтоном представления, Грайс отвел ее в сторонку и шепнул:

— Нам надо срочно поговорить.

Минут через двадцать они уже добрались до уютного ресторанчика на одной из улиц Сохо. Грайс никогда здесь раньше не бывал, но раза два проходил мимо и, заглядывая в окна с тюлевыми занавесками, решил, что двухместные столики, накрытые клетчатыми скатертями, очень хороши для любовного свидания. Жаль, что их сегодняшнее свидание будет чисто деловым.

Он мысленно наметил вехи своего повествования: для затравки — новости о пропавшей мебели, подслушанные Тельмой (ничего по-настоящему серьезного, но Пам, возможно, отыщет какой-нибудь подспудный смысл в словах швейцаров); потом — как можно красочней — рассказ про находку старого счета-заказа (с намеком на продолжение рассказа в дальнейшем); потом — стремительно сменяющие друг друга эпизоды: таинственный лифт, поднимающийся только на один этаж, секретный конференц-зал под «Лакомщиком», совет директоров и министр; а напоследок — Парслоу. Завершить ли свою повесть «Экспортом», точь-в-точь похожим на «Альбион» или же до сих пор не снесенной типографией, он решит по ходу дела...

— И вы никому об этом не рассказывали? — спросила его Пам.

— Никому, ни единой живой душе! — с излишней, быть может, горячностью воскликнул Грайс. Ему смутно помнилось, что Парслоу он, кажется, наговорил куда больше, чем следовало, но Парслоу был не в счет.

— Я не уверена, что сейчас нам надо выкладывать на общем собрании *все* ваши новости,— задумчиво сказала Пам, пообещав ему как можно скорей созвать оргбюро.— Если Тельму допросили, а ее наверняка допросили, то мы теперь оказались в положении «они-знают-что-мы-знаем, а мы-знаем-что-они-знают-что-мы-знаем». Поэтому есть смысл объявить на общем собрании про секретный конференц-зал и послушать, как будут объяснять эту загадку рядовые любители. Обо всех же остальных ваших открытиях стоит оповестить пока только членов организационного бюро — так подсказывает мне внутреннее чутье.

— Вы думаете, это «может стать известно», если цитировать Сидза?

— Не думаю, а уверена, Клем. Я уверена, хотя доказать, конечно, не смогу, что обо всех наших начинаниях становится известно Лукасу. Уверена, и все тут.

— Стало быть, шпионы в нашем стане?

— Возможно, это припахивает мелодрамой, Клем, но я убеждена, что «Альбион» кишит шпионами начальства. И было бы странно, если б их не было среди наших любителей.

— Бывает, что кукушонка не отличишь от родных птенцов, а правда оказывается удивительней вымысла.

— Вы подозреваете кого-нибудь из членов оргбюро? Нет, этого, надеюсь, не может быть. Мы сотрудничаем очень давно и полностью доверяем друг другу. Нельзя подозревать всех и каждого.

— Я не говорю про членов оргбюро, но тот, кого я имею в виду, тоже давно с вами сотрудничает. Вас, наверно, очень удивит, милая Пам, если я скажу, что наш общий друг Сидз — шпион?— Ему все же удался небрежный тон, и разоблачение, на его взгляд, прозвучало весьма эффектно.

— Опомнитесь, Клем,— сказала Пам.— Да он один из наших самых надежных сотрудников.

— Вы *уверены?*

Грайс не раз читал в детективных романах, как одна небрежно брошенная реплика дает ключ к разгадке тайны. Он попытался небрежно и коротко рассказать Пам о звонке Лукаса Сидзу, но рассказывал, видимо, слишком коротко и небрежно, потому что Пам, судя по ее вопросам — «Подождите, подождите, при чем здесь Либеральный клуб? Когда, вы говорите, он позвонил?» — и сама ничего не поняла, и даже его сбила с толку. Потому она провела последовательный допрос и, выяснив, о чем идет речь, весело расхохоталась.

— Да он звонил вовсе не Сидзу, глупенький вы мой пинкертончик! Он хотел поговорить с бригадиром ночных уборщиков, которые появляются в отделе после нашего ухода.

— А зачем, простите, бригадиру ночных уборщиков знать о моих политических взглядах? — обиженно спросил Грайс.

— А затем, что он тайный соглядатай Лукаса,— ответила Пам.— Вы поговорите-ка с Ваартом. Ему как-то раз понадобилось вернуться вечером на работу — не помню точно, кажется, за плащом,— и он обнаружил, что этот самый бригадир вскрывает отмычками наши столы и роется в ящиках. Это случилось, когда у нас еще *были* столы. Он сказал Ваарту, что ему якобы поручили найти какую-то украденную вещицу, но мы-то не дети. Ему наверняка приказали проверить, нет ли у нас в ящиках чего-нибудь подозрительного, вроде вашего счета, например.

Пам взяла со столика счет, неожиданно поцеловала его — Грайс решил, что поцелуй предназначался ему,— и положила в сумочку.

— Не горюйте, Клем, вы же превосходный сыщик! Давайте-ка выпьем рюмочку на дорожку и поедем смотреть эту старую типографию, хотя я не представляю себе, что мы можем там увидеть.

— Я тоже. Но главное, мне непонятно, зачем Грант-Пейнтону понадобилось меня убеждать, что ее снесли. Не *он* же секретный соглядатай...

— Нет, конечно, вы просто немного помешались на шпионах, Клем. Он искренне верит, что ее снесли. Да и все мы верили, нам даже в голову не приходило проверить. Хотела бы я знать, кто распустил этот слух. И зачем?

Они поехали на такси — а почему бы, собственно, не отпраздновать его победу по всем правилам? И в такси он открыто, не делая вида, что это у него вышло случайно, держал Пам за руку. Под занавес они выпили бренди, вот он и расхрабрился.

Поглядывая на торопливо щелкающий счетчик — они еще, кажется, и пятидесяти ярдов не проехали, а ему уже предстояло распрощаться с полусотней пенсов,— он сказал:

— Меня все-таки немного беспокоит судьба Тельмы.

— Меня тоже.

— Вы думаете, ее могут уволить? — Грайса, конечно, беспокоила его собственная судьба, но он надеялся, что Пам этого не поймет.

— Вряд ли,— сказала Пам, и он мигом успокоился.— По «Альбиону» гуляют разные вздорные слухи, но, насколько я знаю, отсюда никого еще не увольняли.

— Так куда бы ей тогда деться? Ведь не попала же она в руки злоумышленников, которые решили содрать выкуп с ее родителей?

— Будем надеяться, что нет,— каким-то странным, только ей одной присущим тоном откликнулась Пам.

Грайс уже побывал перед работой возле старой типографии, чтобы посмотреть, правду ли сказал Парслоу, и не оказаться в дураках, если они придут сюда с Пам,— типография стояла на месте. Парслоу не соврал. Она пряталась в подковообразном переулке, который соединял две когда-то оживленные, а теперь пустынные улицы. Вокруг типографии, как и вокруг «Рюмочной» на другой стороне реки, теснились древние пакгаузы, большей частью заброшенные, хотя некоторые из них были наскоро подремонтированы и переделаны. А в самом Грейн-Ярде стояли одноэтажные лачужки маленьких мастерских, либо уже заброшенных, либо еще действующих, но явно доживающих свой век; однако и тут попадались наспех отремонтированные дома с какими-то крохотными, недавно открытыми фабричками или, может, возрожденными мастерскими — Грайс не разобрал. Двери многих строений были сорваны с петель или распахнуты, и за ними виднелись бутыли в потемневшем оплетении, картонные коробки, фанерные ящики или груды старых автомобильных покрышек. А проходя мимо еще действующих и возрожденных мастерских, Грайс слышал шум работы — стук молотков, скрежет напильников по металлу и гуденье сверлильных станков.

Типографию «Альбион» можно было узнать по деревянной облупившейся вывеске на приземистом одноэтажном домике, напоминавшем Грайсу сторожку у ворот викторианской больницы, где умерла его мать. А вывеска типографии была укреплена действительно на привратницкой сторожке: рядом возвышалась каменная арка, и железные створки ворот с цепями замыкал большой, изъеденный ржавчиной висячий замок. За воротами угадывался небольшой двор, куда выходило здание самой типографии.

— Эта сторожка заменяла у них нынешний отдел снабжения и сбыта,— сказал Грайс.— Представляете себе? Двор, наверно, вымощен булыжником, и туда в былые времена то и дело въезжали ломовые фургоны.

— Очень романтично,— отозвалась Пам и подергала тяжелые цепи на воротах.— А вот как бы нам-то попасть во двор?

Грайс обдумал это еще утром. Два окна сторожки с выбитыми стеклами были заколочены изнутри досками, так что через них не влезешь; зато дверь между окнами вселяла надежду. Она была, конечно, заперта, Грайс утром проверил, но краска с нее давным-давно облупилась, и доски казались гнилыми. Двинуть как следует плечом — и готово дело, решил он.

— В Уголовном кодексе это, правда, квалифицируется как «проникновение с помощью взлома»,— сказал он Пам.

— Чепуха,— весело возразила Пам,— «проникновение с помощью взлома» в *снесенный* дом по закону не карается.— И к немалой досаде Грайса, стремительно навалилась на дверь. Если б она не оказалась такой проворной, он, во-первых, заставил бы ее хорошенько оглядеться, чтобы приступить к делу без свидетелей. Ну, а во-вторых, это же чисто мужское занятие — двери ломать.

Однако на этот раз женский порыв увенчался успехом, и они вошли в полутемную квадратную комнату; слева от них, перпендикулярно к двери, которую Грайс поспешил захлопнуть, протянулся до противоположной стены покрытый линолеумом прилавок; никакой

мебели в комнате не оказалось, а вороха бумаги и порванные картонные коробки у них под ногами были расчерчены бледными полосами света, потому что между неплотно пригнанными друг к дружке досками на окнах оставались узкие щели. В противоположной стене виднелась массивная, нисколько не пострадавшая от времени дверь, запертая на замок, она выходила, как сразу же сообразили Пам и Грайс, в мощенный булыжником типографский двор.

— Ничего интересного,— сказала Пам, выпуская из рук несколько поднятых с полу мятых бумажонок. Это были в основном старые типографские бланки, напечатанные для каких-то фабрик; на некоторых бланках под названием фабрики красовалась медаль, полученная на торговой ярмарке,— никакой другой рекламы для фабричных товаров администраторы типографии изобрести, по всей вероятности, даже и не пытались. Понятно, почему типография обанкротилась, подумал Грайс: ведь она пользовалась методами рекламы середины прошлого века. Пам нетерпеливо подергала запертую дверь.

— Эх, нам бы сюда связочку отмычек,— пробормотала она.

Грайсу опять стало не по себе. Сначала он заботился только о том, чтобы незаметно проникнуть в запертую сторожку, а теперь его беспокоило, смогут ли они отсюда незаметно выйти. Он почувствовал, что ноги у него прилипают к полу, а нагнувшись, обнаружил на подошве башмака какую-то липкую черную дрянь — видимо, загустевшую типографскую краску,— и теперь с ужасом представлял себе, как за ним по Грейн-Ярду потянется цепочка черных следов.

— Мы узнали, что типография «Альбион» худо ли, хорошо ли, но существует,— с натужной веселостью сказал он,— и больше нам, по-моему, делать здесь нечего.

— Вы думаете? — спросила его Пам, и он обеспокоенно заметил в ее голосе похотливую хрипотцу. Она стояла сейчас очень близко к нему — то есть она и раньше стояла близко, но сейчас подступила совсем уже вплотную.— Есть еще одна причина, почему я не хотела, чтобы кто-нибудь узнал до поры до времени об этой типографии.

— В самом деле? — пролепетал растерявшийся Грайс и нервно хихикнул.

— Здесь, конечно, не так уютно, как в первоклассном отеле,— цепко ухватив его за шею, прошептала Пам,— но зато нам не придется врать, что мы супруги Смиты.

— Давайте-ка примем пристойный вид,— прошептал Грайс. Он встал и, приводя себя в порядок, нечаянно наступил на ее трусики, отпечатав на них черную подошву. Он поднял ногу и посмотрел, сильно ли замазаны краской его башмаки. Да нет, не очень, краска со временем сотрется. Однако, разглядывая правый башмак, он заметил интереснейшую деталь: к типографской краске на подошве прилип сложенный восьмиугольником фантик от конфеты из «Подарочного ассорти».

Глава тринадцатая

Третий раз он наведался в Грейн-Ярд около четырех часов вечера на следующий день. И о своем намерении туда сходить не сказал никому, даже Пам: он хотел как следует разобраться во всем сам, а потом разом выложить ей результаты разведки. «Да вы у меня настоящий Шерлок Холмс!» — восхищенно воскликнет она, если ему повезет и он узнает что-нибудь интересное.

Чувствовал он себя скверно. Во-первых, у него болели все кости после вчерашних упражнений с Пам, а во-вторых, он целый день болтался на службе, абсолютно ничего не делая.

Он пришел в отдел, повинуясь вчерашнему пожеланию Грант-Пейнтона, пришел, ясное дело, не к девяти — спешить-то ему было не-

куда,— и обнаружил, что отдел пуст, как необитаемый остров. Ни единой живой души. Можно было подумать, что все его коллеги неожиданно получили отпуск, но отдельскую доску объявлений украшало размноженное на ксероксе послание к театралам-любителям: «Всех членов Альбионской труппы просят собраться к восемнадцати часам в Клубе Сент-Джуд для экстренного перераспределения ролей. Секр. Альб. тр. Дж. М. Ардах».

Улыбчивый служащий из оперхозяйственного отдела сказал Грайсу, что Пам, Сидз, Бизли, Ардах и Грант-Пейнтон явились на работу почти вовремя, а остальные пока не приходили. Сидз, по его словам, отправился на другие этажи развешивать объявление для артистов-любителей, но все прочие быстренько усвистали. То же самое оперхозяйственник посоветовал сделать и Грайсу, не преминув добавить, что везет же, мол, некоторым.

Сначала Грайс удивился, однако, подумав, сообразил, что все «усвиставшие» канцпринадлежники — члены организационного бюро. Стало быть, Пам куда-то их повела, чтобы передать им его вчерашний рассказ. Вот и хорошо, подумал он, решительно не зная, как ему сегодня себя вести. Ну, а действительно, что он должен был сделать, увидев ее,— подмигнуть, заговорщицки ухмыльнуться, шепнуть пару скабрезных любезностей или держаться так, будто ничего особенного не случилось?..

Замышляя третью поездку в Грейн-Ярд, Грайс попытался вспомнить, собиралась ли Пам объявить на собрании оргбюро, что он отыскал старую типографию. В ресторане она сказала: «Обо всех же остальных ваших открытиях (стало быть, и о типографии тоже?) стоит оповестить пока только членов оргбюро...» А над ложем из картонных коробок призналась: «Есть еще одна причина, почему я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал до поры до времени про эту типографию». Хотя, возможно, она это сказала просто так, для красного словца. Чтобы не попасть впросак — Пам вполне могла привезти оргбюро осматривать типографию,— Грайс решил дождаться ее прихода. Он нащупал в кармане все еще липкий от краски конфетный фантик. Совершенно непонятно, при чем тут Копланд, но тем больше будет чести, если Грайсу удастся что-нибудь разузнать. Тогда уж его наверняка сочтут замечательным сыщиком.

Вскоре вернулся Сидз. Судя по его реплике — «Видали, какая экстренность», кивком указав на объявление, шепнул он Грайсу,— Пам ничегошеньки ему не сказала, даром что он повсюду за ней таскался.

А сейчас им предстояло убить вместе полдня, и Грайс, щедро расплескивая великодушие победителя, дружелюбно предложил Сидзу поискать в округе какой-нибудь приличный кофейный бар. Но Сидз даже слушать об этом не захотел.

— Я обещал Грант-Пейнтону весь день оставаться на посту. Если начальство заинтересуется, почему отдел канцпринадлежностей не подает о себе последнее время никаких вестей и начнется расследование, надо, чтобы здесь *обязательно* кто-то был.

— А кого у нас, по-вашему, следует считать начальством? — спросил Грайс.— Я вот все время слышу: «Начальство может сделать то, начальство может сделать се», а никакого начальства ни разу еще не видел, потому что начальники отделов — явно не настоящее начальство. У меня, знаете ли, сложилось впечатление, что «Альбион» управляется сам по себе, без всякого начальства.

Сидз нахмурился и многозначительно кивнул в сторону оперхозяйственного отдела, намекая, что Грайс начал опасный разговор и что стены, то бишь металлические барьерчики, тоже имеют уши. Они сходили к торговому автомату за кофейной бурдой, а потом, выбрав самое удаленное от ехидных оперхозяйственников место — оконную нишу в клетушке Копланда,— облокотились на подоконник и завели

безобидный разговор. Лондонские автобусные маршруты, хорошо известные и тому и другому, помогли им скоротать время до обеда. В «Лакомщике» они обсудили индийские и китайские национальные блюда. После обеда тему для беседы подсказало им сальное пятно на Сидзовом галстуке: химчистка тоже, оказывается, интересовала их обоих. Они далеко еще не исчерпали эту тему, когда в половине четвертого на работу возвратились члены оргбюро — озабоченные, но весьма собой довольные. Грайс, одарив Пам заговорщицкой улыбкой, которая как-то кривовато прозмеилась по его губам, поспешно натянул плащ и сказал сослуживцам, что перед собранием Альбионской труппы ему надо кое-куда забежать.

И вот он стоял в сторожке с линолеумным прилавком, посматривая на гнездо из раздавленных картонных коробок. Сейчас оно казалось ему весьма неприятным. Даже, пожалуй, гнусным. Лужа загустевшей краски виднелась у двери во двор, но это вовсе не значило, что фантик налип ему на подошву именно там, он мог валяться в любом углу. И все же внутреннюю дверь стоило осмотреть повнимательней.

Дверная ручка, как он и предполагал, оказалась блестящей, будто внутреннюю дверь постоянно открывали. По внешней двери ни о чем догадаться было невозможно: ручку на ней покрывал толстый слой ржавчины. А эта вот ручка, медная и словно бы отполированная, даже не запылилась. Ее, правда, дергала вчера Пам, но именно тогда-то Грайс и насторожился: Пам не вымазала руки в пыли, она бы обязательно ему пожаловалась, потому что была чистюлей, хотя и не брезговала *половыми*, так сказать, отношениями на стороне. Да, решил Грайс, кто-то понимал, что распахнутые ворота были бы слишком заметны, и ходил в типографию через сторожку. Он дернул ручку, как дергала ее накануне Пам,— и дверь легко распахнулась.

Грайсу открылся неровный, мощенный булыжником двор и потемневший дом старой типографии, похожий на древнюю церковь с высокими арочными окнами. С улицы окна заслонял забор, поэтому Грайс увидел только сейчас, что они сияют прозрачной чистотой. Их либо совсем недавно застеклили заново, либо по крайней мере тщательно вымыли.

Сам не зная зачем, Грайс поднял взгляд и заметил на крыше несколько недавно замененных шиферных листов, а потом ему послышался конский топот, словно во двор въехал ломовой фургон. Он опустил взгляд и увидел, как по ступеням типографского крыльца спускается ему навстречу Тельма. Ее лицо озаряла глуповатая озорная улыбка.

— Мистер Копланд сказал, мол, он просит вас на минуточку зайти, мистер Грайс.

Да, встретить здесь Тельму Грайс никак не ожидал. Но это было только начало. Потому что, переступив порог типографии, которая вовсе не походила на заброшенную, он увидел братьев Пенни — словно крохотные Тру-ля-ля и Тра-ля-ля [1], одетые в одинаковые рабочие комбинезоны, они по-идиотски махали ему руками, стоя на площадке металлической лесенки, приделанной к огромному печатному станку. Рядом с этим станком все остальные механизмы казались непропорционально маленькими, а на боку у него, как на кабине машиниста у паровоза, виднелась металлическая пластина с рельефной надписью УОРФИДЕЙЛ.

Чуть дальше три человека в коричневых рабочих халатах колдовали возле ящиков с наборными литерами, установленных на наклонных пюпитрах вроде тех, куда кладут в читальнях подшивки газет. Двое из них показались Грайсу незнакомыми, зато третьего, хотя он и сменил костюм конторского служащего на рабочий халат, прекрасно,

[1] Имеются в виду персонажи из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

кстати, сочетавшийся с его внешним обликом, Грайс узнал без всякого труда: это был Ваарт.

— Давай, давай, заходи, клерк моржовый! — приветственно помахав рукой, крикнул он Грайсу.

Тельма, с идиотской улыбкой на лунообразном лице, вела его к печатному станку, и вскоре он увидел еще троих рабочих, а точней, только их головы, потому что они стояли в глубокой траншее, то ли укладывая новые, то ли проверяя старые электрические кабели. Грайс вступил на узкую доску, перекинутую через траншею, и увидел, что работа ведется в три руки: у каждого из псевдоэлектриков один рукав рубахи был засунут под брючный ремень, а возле траншеи лежали аккуратно сложенные мундиры швейцаров, и на каждом — форменная фуражка.

Пока что никто не выразил своего отношения к нему, и даже однорукие швейцары равнодушно посмотрели *на*, а не *сквозь* него, как они обыкновенно делали в «Альбионе», когда стояли (или сидели) на посту. Грайс повнимательней глянул вперед и за линотипными машинами — вроде бы они назывались именно так,— напоминающими старинные кресла дантистов с разными зубоврачебными приспособлениями, вымазанными типографской краской, увидел довольно большую застекленную будочку мастера, а в ней — смутные силуэты Хакима и миссис Рашман, раскладывающих по полкам кипы бумаги. Этим-то двоим он уже почти что и не удивился: ведь если б ему удалось поспорить с кем-нибудь на деньги, их ли он видел из окна автобуса (а шли они в сторону Грейн-Ярда), то наверняка выиграл бы фунт-другой.

Копланд пока не появлялся, и Грайс не представлял себе, что он скажет, когда тот появится. У него ведь и в мыслях не было застукать здесь всех этих людей, он и самого Копланда не ожидал увидеть — а надеялся только найти более веские, чем конфетный фантик, доказательства, что начальник их отдела похаживал в старую типографию. По его догадкам, которыми он не поделился даже с Пам, типографию использовали как хранилище секретных документов — возможно, к примеру, там хранились досье на британских граждан, если «Альбион», как предположил кто-то из любителей, составлял такие досье. А Копланд, вполне вероятно, был главным хранителем. Но теперь Грайс ясно понял, что все это чепуха. Люди, которых он тут увидел, напоминали не работников секретного архива, а радостную ораву ребятишек, допущенных по чьему-то недосмотру в действующую типографию. Грайс ничего не мог понять — наваждение, да и только!

— Я привела мистера Грайса,— обращаясь к потертым башмакам, торчавшим из-под типографского станка, объявила Тельма. Владелец башмаков лежал лицом вверх на низкой тележке, как механик, проверяющий ходовую часть автомобиля. Ухватившись черными от машинного масла руками за внешний край станины, он выехал наружу, явив Грайсу до неузнаваемости чумазое лицо.

— А-а, мистагас,— радушно проговорил он. Услышав свою исковерканную фамилию, Грайс мгновенно его узнал и стал автоматически трансформировать кривозубую невнятицу в нормальную человеческую речь.— К сожалению, не могу подать вам руку, видите, какие черные,— Копланд показал Грайсу лоснящиеся от смазки ладони,— но так или иначе рад вас видеть. По-моему, вы знаете здесь почти всех...

Пока Копланд вставал и вытирал руки какой-то грязной тряпкой, похожей на разодранную ночную рубашку, со своего насеста спустились братья Пенни, а Ваарт и двое других наборщиков подошли немного поближе, так что вокруг незваного гостя или, может, просто пришельца — Грайс не знал, кем они его считают,— образовался живой полукруг. Но Копланд разговаривал с ним вполне дружелюбно.

— Вы, насколько я знаю, не знакомы с Норманом Ферьером (он сказал — Номаном Феелом), так познакомьтесь, пожалуйста. Мистер Грайс — мистер Ферьер.

Мистер Ферьер, отнюдь не здоровяк, но вполне здоровый на вид человек — его сердечный недуг был, похоже, таким же липовым, как грипп Копланда,— обменялся с Грайсом рукопожатием. Немного сутулый и сразу напомнивший Грайсу слегка состарившегося Роберта Доната, он больше походил на продавца из букинистического магазина, чем на клерка, да он уже полтора года и не работал клерком, как слышал Грайс.

— А эхо Нома Жерех, инжиер потовопоганой биопакости.

— Так, стало быть, мистер Жерех не в Камбрии? — вырвалось у Грайса. (Правильно разгадывать названные Копландом имена он еще не умел.)

— Джервис, если быть точным, Норман Джервис,— пожимая ему руку, сказал инженер по противопожарной безопасности, внешне мало чем отличавшийся от альбионского швейцара, несмотря на свой довольно высокий служебный пост и две руки.— Вы совершенно правильно заметили, я здесь, а не в Камбрии. Хвяк! — Он хохотнул настолько заразительно, что Грайс, как и все вокруг, тоже рассмеялся.

— Кхххха! Ахххх! У-ху-ху-ху-ху! Х-х-ак! — раскатился по типографии их общий хохот.

Познакомив Грайса с ИПБ и Ферьером, Копланд пригласил всех в стеклянную будочку, назвав ее «конторкой». По дороге ИПБ объяснял Грайсу назначение разных механизмов, и одним из них Грайс очень заинтересовался. Это был ручной печатный пресс, изготовляющий, как сказал ИПБ, до тысячи визитных карточек в час, а Грайс, хоть он и не был человеком честолюбивым, но на каждой своей работе обязательно обзаводился новым комплектом визитных карточек.

— Добро пожаловать в нашу обитель! — экспансивно воскликнула миссис Рашман, когда он переступил порог стеклянной будочки.— Держу пари, что вы не ожидали нас увидеть!

А Хаким, пожав ему руку, с усмешкой сказал:

— Значит, вам надоело сторожить «Альбион», пока я загораю на солнышке? Так вы бы намекнули мне, что не любите бездельничать, я бы и вас прихватил с собой.— Все опять засмеялись, но среди привычных смешков Грайс услышал один непривычный — «Чха!» — и, оглядевшись, увидел полузнакомую фигуру за полузнакомым столом. Стол-то был Ваартов, он изучил на нем все до единой царапины и надписи в первую же неделю своей работы, а сидевший за ним человек показался ему знакомым, потому что он походил на владельца табачно-кондитерского киоска в Форест-Хилле, у которого Грайс частенько покупал недорогие шоколадки.

— А это мой жених, мистер Кули со склада снабжения,— представила его Грайсу миссис Рашман.

Копланд, потирая руки, спросил Тельму, нет ли у них надежды выпить кофейку: Грайс понял смысл его вопроса по ответу Тельмы:

— Чего-чего, мистер Копланд? А-а, так чашки-то у нас в «Альбионе»,— сказала она.

— Во-во, бросили ее хозяйство, а без него как без рук,— проворчал Ваарт и напоказ подмигнул, чтобы его слова не приняли всерьез.

Грайс внимательно осмотрел стеклянную будочку. Копланд назвал ее конторкой, но она больше походила на склад. Ее выгородили у внешней стены и к этой стене прикрепили широкие деревянные полки. А на полках в огромном количестве лежали кипы бумаги всевозможных форматов, пачки конвертов, открыток, бумажных этикеток и стопки заготовок для визитных карточек — их тут было столько, что печатному прессу, о котором говорил ИПБ, хватило бы работы не меньше чем на полгода. Грайс понятия не имел, каким образом полу-

чены все эти бумажные запасы, но он сразу понял, откуда здесь взялись архивные шкафы, стулья, столы и прочее конторское оборудование. Ему представилось, что ураган, унесший когда-то девочку, которую играла Джуди Гарланд, в страну Оз, где жил Волшебник Изумрудного города, разразился теперь над отделом канцпринадлежностей и доставил сюда всю отдельскую мебель вместе с вешалкой, корзинами для бумаг и большинством служащих.

— Узнаете родную обстановку? — весело спросила Грайса миссис Рашман.

— Во-во, родное старье,— проворчал Ваарт.— А надо было выписать новые столы, да и весь сказ — их же там в подвале навалом!

— Мы обдумывали этот шаг, мистер Ваарт,— немного брюзгливо, на взгляд Грайса, ответил Джервис: он, видимо, усвоил себе такую манеру говорить, чтобы внушать людям уважение к своей ответственной должности инженера по противопожарной безопасности.— Но нас бы сочли просто ворами, если б мы стали вывозить новую мебель.

— Они, видите ли, сказали, что везут мебель на ремонтную фабрику,— объяснила Грайсу миссис Рашман.— Верней, сказали бы, если б их остановили.

Хаким, широко улыбаясь, вынул из кармана дорогой бумажник крокодиловой кожи, наверняка купленный у какого-нибудь родственника-оптовика по льготной цене, и, достав оттуда официального вида бумагу, протянул ее Грайсу.

— Документы у нас, как видите, в полном порядке,— сказал он.— С годами этот пропуск станет бесценной реликвией.

На фирменном бланке «Альбиона» значилось: «Обновление/восстановление. Разрешено к выносу». А ниже следовал подробный перечень отдельской мебели и две подписи — в одной Грайс узнал росчерк Копланда, а другая скорей всего была поддельной.

— Но ведь такого бланка не существует,— сказал Грайс, медленно пробежав глазами свой комплексный контрольный лист, хранившийся, кстати, на расстоянии пяти футов от него в одном из архивных шкафов. «Жуткое дело»,— подумал он.

— Наш общий друг мистер Копланд изготовил его на печатном прессе, который я вам показывал,— любезно объяснил Грайсу Ферьер.— Неплохо сработано для новичка, верно?

Копланд, просияв от похвалы, скромно сказал, что бланк выглядел бы, наверно, лучше, если б им удалось отпечатать его на «уорфидейле».

— Это наш главный печатный станок,— снова разъяснил Грайсу Ферьер.— Мы тут кое-чему научились, мистер Грайс. Ваши коллеги посещали вечерние курсы печатного дела, ну а мистер Ваарт и я вели с ними практические, так сказать, занятия. Но у нас нет энергии.

— Типографию отключили от энергосети, мистер Грайс,— вставила миссис Рашман.— Но нашим ветеранам удалось подсоединиться к основной линии.

— То-то и есть, что вроде бы удалось,— подтвердил Ваарт.

Братья Пенни вклинились в разговор своим традиционным дуэтом:

— Они хотели подключить нас к складу красок по соседству...

— ...но там могли заметить перерасход энергии...

— ...и они подключились прямо к электростанции...

— ...а этого уж никто не заметит. Аххкк!

— Кххха!

Грайс, кипевший негодованием с тех самых пор, как ему показали поддельный пропуск, решил, что они уклонились от главной темы. Он возмущенно посмотрел на Копланда.

— Так вы, стало быть, сочинили записку от имени ИПБ для отво-

да глаз, а посылая меня разыскивать мебель, знали, что это охота за химерами?

— В общем, вы правы, мистер Грайс,— ответил Копланд.— Нам пришлось-таки поднавести тень на белый день.

— Чтобы украсть отдельскую мебель?

— Давайте лучше скажем — реквизировать,— вмешался Джервис.

— А правильней всего — достать,— поправил их обоих Ваарт.

Все они были явно очень довольны собой — банда веселых жуликов, подумал Грайс,— и с радостным нетерпением ждали вопроса, который он им поневоле задал:

— Да зачем вам это понадобилось?

Норман Ферьер решительно шагнул вперед, и все с привычным уважением расступились перед ним — именно с *привычным* уважением, отметил про себя Грайс. Он подвел Грайса к своему столу, который был чуть больше остальных (изготовитель «Комформ», каталожный номер Б4Б/00621, предназначается для младших администраторов, машинально припомнил Грайс) и за которым сидел в отделе канцпринадлежностей Копланд. На столе в рабочем беспорядке стояло несколько деревянных бокалов, туго набитых карандашами и ручками, несколько конторских подносов с бесчисленными листами схем, чертежей, графиков, диаграмм и шрифтовых карт, прижатых цинковыми клише, а сбоку — раздвижная полочка, плотно заставленная растрепанными книгами. Грайсу удалось прочитать некоторые названия: «Справочник полиграфиста и корректора», «Словарь синонимов», «Оксфордский толковый словарь» и прочее в том же духе; а еще на полочке стояли тонкие томики в бумажных обложках, похожие на сборники стихов. Воистину полка интеллектуала.

Ферьер выхватил с полочки один из томов и в упор посмотрел поверх очков на Грайса, как бы определяя уровень его интеллекта.

— Читали вы что-нибудь Арнольда Беннетта, мистер Грайс? — «Вполне подходящий для этого книжника вопрос,— подумал Грайс,— он наверняка довольно часто начинает разговор с цитаты из любимого автора».

Арнольда Беннетта Грайс не читал, но видел телефильм по его роману «Клейхенгер», а Ферьер как раз и совал ему в руки этот роман, такой растрепанный, будто его выудили из мусорного ящика.

— Вот, прочтите-ка, пожалуйста, отмеченный тут абзац.

Грайс без всякого энтузиазма взял в руки книгу. Экранизированный «Клейхенгер» с очень медленно разворачивающимся действием ему в свое время совсем не понравился. А людей, которые заставляли его что-нибудь читать у них на глазах, он считал пренеприятнейшими типами, потому что никогда не знал, чего они ждут — взрывов хохота, восхищенных восклицаний или досадливых покрякиваний.

Но сейчас ему все же пришлось прочитать отчеркнутый красной шариковой ручкой пассаж:

«Спокойная и неспешная коммерция в провинциальном городке давала почти неосязаемые прибыли, но все же кормила людей. И никто не замечал, насколько интересен этот процесс, эта кропотливая деловая жизнь, медлительное перераспределение капиталов, мешкотное воздвижение и медленное угасание репутаций на фоне уходящих в прошлое веков. Печатное дело с применением ручных станков привилось тут и стало медленно расцветать после Французской революции. Издавались Библии да иллюстрированные травники; а ленивые ослы развозили их в переметных сумах по всему графству; и никто не слышал ничего романтического в пыхтенье паровых печатных машин, размножающих счета и каталоги сотнями, а то и тысячами в час...»

Грайс ничего не понял и молча отдал раскрытую книгу Ферьеру, надеясь, что тот укажет ему на зашифрованную шутку или глупую опечатку. Ферьер, однако, рассеянно сунул книгу в карман халата, а потом сказал:

— Печатное дело, мистер Грайс, издавна питает коммерцию жизненными соками. Если где-то идет напряженная деловая жизнь — значит, вы обязательно обнаружите там и типографию. А если типография закрывается или куда-нибудь переезжает — значит, деловая жизнь идет на спад. И наоборот, если в каком-то районе деловая жизнь давно захирела, фабрики закрыты и заколочены, но в узком неприметном переулочке открылась хотя бы крохотная типография — жди возрождения. Потому что печатное дело не только поддерживает — оно рождает коммерцию.

Явно заранее отрепетированная речь, подумал Грайс. Оглядевшись, он увидел, что все почтительно слушают Ферьера. А Копланд, игравший здесь, по-видимому, всего лишь вторую скрипку, не только мирился с тем, что его подчиненный по «Альбиону» захватил власть, но слушал его как спасителя человечества.

— Печатника можно уподобить бродячему фармацевту древности, мистер Грайс, он способен излечить от любого недуга — или по крайней мере способен убедить людей, что ему подвластен любой недуг, а этого часто вполне достаточно. Ваше предприятие лихорадит? Закажите печатнику рекламные плакаты или брошюры — многие процветающие фирмы завоевали себе место под солнцем благодаря красочным рекламным брошюрам. Печатник изготовит вам вывеску, объявление о часах работы конторы, фирменный календарь с рекламой ваших товаров. Потребители не помнят адреса фирмы? Значит, вам нужны конверты с отштампованным на них адресом вашей фирмы. Заказчик хочет получать товары почтой? Для этого нужны типографские бланки почтовых заказов. Каталог товаров — тоже дело печатника. Изящная упаковка, красочные бумажные сумки — тоже. Чтобы заказчик расплатился с вами, пошлите ему отпечатанный в типографии счет. А заодно уж не забудьте обзавестись и типовым напоминанием: «Вы пропустили срок платежа. Будем вам очень благодарны, если Вы по возможности быстро оплатите наш счет».

Слушатели весело захихикали. Возможно, он работает лектором-почасовиком на вечерних курсах по печатному делу, подумал Грайс. Язык у него подвешен прекрасно, и умения заинтересовать слушателей ему, конечно, не занимать.

— Я не знаю, кто вам обо мне говорил, мистер Грайс, но что-то вы, по-видимому, слышали, раз пришли. Я всю жизнь был печатником. Меня обучили этому делу в маленькой хаммерсмитской типографии. Ничего особенно серьезного мы, как правило, не печатали: нам заказывали лотерейные билеты, а не красочно иллюстрированные травники, о которых пишет мистер Беннетт. Но иногда и мы получали необычные заказы — нам предлагали изготовить серию литографий или, например, отпечатать малым тиражом книгу, издаваемую автором за собственный счет. И тогда мне приходилось не только печатать, но и переплетать книгу, и подготавливать для переплета тисненую кожу — я освоил все профессии полиграфиста. Мы, конечно, состояли в профсоюзе, а профсоюзные законы запрещают работать не по своей специальности, но мы привыкли делать все, что нужно, была бы работа. А потом нашу типографию купил «Альбион», и меня перевели сюда, в это здание. Да я и не возражал, потому что по реконструкции улицы нашу маленькую типографию все равно должны были снести. Ее и снесли, начисто своротили бульдозерами. И вот получилось, что деньги-то «Альбион» заплатил, но ничего не приобрел, а только ослабил свое финансовое положение.

Все это, разумеется, было интересно, да только Грайса-то не касалось. Неужели они так и не спросят его, зачем он пришел? Ведь им должно вроде бы казаться, что он отправится отсюда прямо к Лукасу и выдаст их всех с головой. Ну, а если не к Лукасу, то к Пам. Надо бы, кстати, выяснить, в каких они отношениях с Альбионской труп-

пой — ведь по крайней мере один из них, Ваарт, похаживал на собрания любителей. Так кого же поддерживает эта шайка?

Между тем Ваарт, который был тут явно в своей стихии, кого бы из альбионцев он ни поддерживал, мечтательно сказал:

— А работа на здешних фабриках кипела вовсю, с утра до ночи, стало'ть, кипела, это каждый, небось, помнит.

— Совершенно верно,— подтвердил Ферьер, но обращался он по-прежнему к Грайсу.— Вы не можете себе представить, каким оживленным был в те времена Грейн-Ярд. Небольшие фирмы арендовали здесь каждый склад, каждый пакгауз, на аренду помещения был такой спрос, что существовал даже список фирм, которые ждали очереди. Склады-то здесь пустовали давно, потому что городские власти закрыли речные причалы, вернее, просто сломали их, но планов использования этого района было великое множество. Да ничего из этих планов не вышло, городские власти снесли все здешние постройки ради какого-то грандиозного проекта. И вот, когда кончался срок аренды, ее больше не возобновляли, мастерские и фабрики одна за другой закрывались, пустовали и прогорали прибрежные кафе, и в конце концов коммерция здесь умерла, а типография стала конторой. Одним росчерком пера печатников превратили в конторских служащих и кладовщиков: мы еще приходили сюда на работу, но занимались никому не нужной писаниной — пока нас не перевели в новое здание за рекой. Нечего и говорить, что грандиозный проект, задуманный городскими властями, так и остался на бумаге: мы вполне могли бы работать печатниками в нашей типографии до сегодняшнего дня и худо ли, бедно ли, но зарабатывать себе на пропитание честным трудом. Как говорит Арнольд Беннетт: «Спокойная и неспешная коммерция... давала почти неосязаемые прибыли, но все же кормила людей».

— Во-во, кормила, и зарабатывали мы наши денежки не дурацкой писаниной,— проворчал Ваарт. Эти слова завершили рассказ Ферьера. Все молчали. Грайс почувствовал, что теперь объяснений ждут от него, хотя из их разговоров он так и не понял, зачем, собственно, они сюда ходят. Он откашлялся и, надеясь, что его кашель не сочтут нервозным, сказал:

— Я, признаться, здорово удивился, когда по случайности узнал, что старую типографию не снесли. Ну, и решил посмотреть — Грант-Пейнтон-то и сам был уверен, и меня убедил, что ее давно нет.

— А это уж Ваарт постарался,— с усмешкой сказал Копланд.

— Маленький-то, стало'ть, слушок, он большое дело может сделать, верно? — Ваарт постукал себя пальцем по ноздре, и выглядело это, на взгляд Грайса, очень вульгарно. Таким жестом лондонские рабочие подчеркивают, наверно, свое хитроумие, подумал он.

И сейчас же опять заговорил Ферьер — ему, по всей вероятности, было совершенно ясно, что если уж нужны какие-нибудь пояснения, то давать их должен он.

— Типография, как вы, конечно, знаете, превратилась в британский трест, и когда построили эту гнусную стекляшку на Грейв-Черч-стрит, нас всех перевели туда. Но типографский-то дом и в самом деле хотели снести — я сам видел объявление муниципалитета на воротах типографии, оно висело там несколько месяцев. Я, видите ли, захаживал сюда, потому что на набережной неподалеку от типографии есть очень уютная закусочная, и я там обедал, чтоб не таскаться в «Лакомщик». Но типографию так и не снесли. Я поспрашивал кое-кого в Грейн-Ярде и узнал, что планы реорганизации заморожены. Нехватка средств. Можно было надеяться, что здешние здания опять сдадут в аренду, но и этого не произошло. А некоторые из нас уже к тому времени начали догадываться, на *кого* мы работаем в так называемом «Альбионе», и я стал подозревать, что про типографию просто забыли. Приняли какое-то решение да и положили, как говорится, под сукно — в государственных учреждениях такое часто слу-

чается. Ну, а я подобрал ключи к сторожке и обнаружил все типографское оборудование на прежнем месте. И «уорфидейл», и линотипы, и переплетные станки — словом, все оборудование, которое стоит многие тысячи фунтов, брошено ржаветь и пропадать. Значит, про типографию действительно забыли. И я скажу вам, в чем тут дело, мистер Грайс. Все документы, касающиеся нашей старой типографии, обречены на вечное забвение в архивном секторе этой проклятой стекляшки за рекой.

— Вот, стало'ть, куда нас жизнь-то загнала! — Ваарт удовлетворенно подмигнул Грайсу, довольный то ли своим резюме, то ли сложившейся ситуацией.

— Стало быть, так,— эхом откликнулся Грайс. Но чувствуя, что от него ждут чего-то еще, как эхо повторил Ваартовы слова: — Вот, стало быть, куда вас всех жизнь-то загнала.

А Ферьер принял его реплику за просьбу продолжать.

— Представьте себе, мистер Грайс, я, рабочий-печатник, должен был сидеть за конторским столом, а все типографское оборудование ржавело, никому не нужное, в пустой типографии! Что бы вы сделали на моем месте, мистер Грайс?

Грайс вежливо, но молча покачал головой. Он-то просто стал бы весело рассказывать сослуживцам про идиотизм начальства. «Анекдот да и только!» — с ухмылочкой приговаривал бы он, разгуливая по отделам. Но Ферьер, конечно, ждал от него искреннего сочувствия тяжкому горю.

— Я поделился своими замыслами с Джеком Ваартом, и он полностью меня поддержал, так же как и Дуглас, альбионский швейцар — вон он стоит, у него любовь к печатному делу вошла в плоть и кровь, хотя он и был здесь всего-навсего подсобным рабочим. Потом, очень, разумеется, осторожно, мы рассказали другим — тем, кто предпочел сокращению стекляшку на Грейв-Черч-стрит. Но больше никто нашими планами не заинтересовался: люди предпочли отсиживаться за конторскими столами или дремать по углам с метлой в руках, дожидаясь пенсии,— некоторые из них были когда-то первоклассными мастерами-печатниками, но разленились и постепенно приохотились к безделью. Возможно, если б они узнали, что «уорфидейл», целый и невредимый, стоит в пустой типографии, им снова захотелось бы работать, да опасно было открывать этим перерожденцам всю правду. Тогда мы стали отыскивать коренных служащих, которым надоело бездельничать, и туманно намекали им, что хотим организовать маленькую типографию. Мистер Копланд присоединился к нам первый.

— А я, понимаете ли, как раз поступил на вечерние курсы печатного дела,— с пылкостью новообращенного принялся объяснять Грайсу Копланд,— просто чтобы чем-нибудь развеять скуку, начал учиться три вечера в неделю рабочей профессии. Я был сыт по горло бездельем, а вышло, что мое хобби обернулось возможностью честно зарабатывать себе на жизнь.

— Мы все были сыты по горло,— вставила миссис Рашман.— Когда мне намекнули на типографию, я сразу сказала, что готова на любую работу — хоть печатать, хоть сортиры чистить,— лишь бы сбежать из «Альбиона».

И тут, словно бывшие алкоголики на собрании общества трезвости, все стали наперебой рассказывать Грайсу, как они здесь оказались. Мистер Кули со склада снабжения всю свою жизнь мечтал делать что-нибудь собственными руками, а здесь, кроме всего прочего, нашел еще и невесту. Глядя на него, Грайс подумал, что он готов целовать полу рабочего халата у Ферьера. Хаким попал в типографию, решив посоветоваться с Ваартом, сколько нужно истратить денег, чтобы купить печатный станок: он надеялся основать собственное дело. Три одноруких швейцара по-прежнему молча колдовали над электрическими кабелями в траншее, но Грайсу сказали, что Дуглас завербовал Тель-

миного дядю и подменного швейцара, дежурившего вместо больных и отпускников: они оба считали «Альбион» раем для жуликоватых бездельников. Братья Пенни выбрали типографию наобум: им поначалу было все равно, куда прятаться от безделья — в Клуб Сент-Джуд, к театралам-любителям, или сюда.

— И правильно выбрали,— похвалил их Ферьер.— У этих горесыщиков вы бы уже через пару дней взвыли от скуки.

— Лоботрясы,— определил Ваарт и сделал вид, что плюнул на пол.

— Так зачем же вы-то к нам ходите? — резонно ввернул Грайс.

— А чтоб доглядывать,— отозвался Ваарт.— Надо ж нам знать, чего они там удумают. Вот я для всеобщей пользы на их вшивых собраниях, стало'ть, и сижу.

И только Тельма пока что не высказалась. Она слушала всех с глуповатой улыбкой, словно здесь рассказывали анекдоты. Посмотрев на нее, Грайс даже не сразу сообразил, что она все время тут и стояла. Копланд перехватил его взгляд и сказал:

— А Тельму мы спасли от британского дракона, он уже примерялся ее сожрать. Верно, Тельма?

Та захихикала, расцветившись, как ярко-красная клубничина.

— Когда станет известно, что она водила вас к секретному конференц-залу, у нее могут начаться серьезные неприятности,— пояснил Ферьер, первый раз показав, что знает, кто такой Грайс.— И мы решили, что ей лучше не появляться в «Альбионе». К счастью, вас накрыл наш друг Дуглас, поэтому администрации не сразу доложили про ваш поход. Но вы-то, наверно, рассказали любителям о тайном совете директоров?

— Рассказал, и сегодня у них экстренное собрание.

— Надо их послушать,— обращаясь к Ваарту, бросил Ферьер, и тот понимающе кивнул.— Пустая болтовня, похоже, кончается.

Для человека, уволившегося из «Альбиона» полтора года назад, он превосходно знал тамошнюю обстановку. Грайсу и самому казалось, что время болтовни миновало.

— А что теперь, по-вашему, должно случиться? — спросил он.

— Трудно сказать. Я примерно представляю себе, как они могли расправиться с Тельмой. Однажды парнишка — рассыльный из отдела внутренней почти узнал про «Альбион» кое-что очень важное. Он ухитрился стянуть несколько писем и среди них — некий секретный правительственный циркуляр... попавший потом в мои руки, скажем так. Рассыльного арестовали и собирались отдать под суд, но он оказался несовершеннолетним, и его упекли в школу тюремного типа для подростков с психическими аномалиями, где он содержится еще и сейчас. А я сослался на сердечный приступ и поспешно исчез. Вы можете посчитать меня не в меру впечатлительным, мистер Грайс, но ради сохранения своих тайн они готовы на все!

— Так, значит, ходить сюда, насколько я понимаю, чертовски опасно, мистер Ферьер? — спросил Грайс. Ему теперь было совершенно ясно, что Тельма втравила их обоих в скверную историю, хотя сама она, судя по ее идиотской улыбке, этого до сих пор не уразумела.

— Едва ли, мистер Грайс. Взгляните на дело с их точки зрения. Мы ведь не пытаемся спутать им карты, не ведем никаких расследований. Альбионская труппа играет с огнем, а мы в нашей типографии ничем, я думаю, не рискуем, потому что занимаемся только своими собственными делами.

— Вот куда нас жизнь-то загнала,— опять сказал Ваарт. Этой фразой, он, видимо, всегда теперь определял их нынешнее положение.

Грайс восхищенно оглядел своих коллег, у которых, впрочем, не было никаких надежд остаться его коллегами и в будущем, потому что за наглое самоуправство их вышвырнут, конечно, из «Альбиона».

Вот ведь нервы у людей — творят уголовщину, а ведут себя словно беззаботные курортники.

— Но ведь факт остается фактом: вы захватили типографию, которая вам вовсе не принадлежит.

— Ну и что? — беспечно сказал Ферьер.— Она же была никому не нужна. Мы просто подремонтировали за несколько месяцев брошенное на произвол судьбы оборудование, починили крышу, подключились к электросети (незачем вдаваться в подробности, как мы это сделали), а запасов бумаги у нас хватит на целый год. Мы занимаемся делом, мистер Грайс, вот и все.

Да, бумаги им хватит надолго, подумал Грайс. Причем вряд ли они нашли ее в типографии — она не казалась отсыревшей или, к примеру, запылившейся, а была совершенно новой,— и чтоб купить такую уйму бумаги, им пришлось выложить кругленькую сумму.

Он заметил, что братья Пенни застенчиво ухмыляются, просительно посматривая на Копланда. Если им хотелось, чтобы он заговорил о них, они своего добились.

— Наша бригада «Два-Пенн-два» просветит вас, если вам это интересно,как мы запаслись бумагой,— по-отечески взглянув на них, сказал Копланд.

И братья Пенни с хихиканьем поведали ему удивительную историю, надеясь потрясти его до глубины души. Складывая их раздробленные фразы воедино, он понял, что получить бумагу им помог пресловутый процесс изъятия и что его, пожалуй, могут назвать их соучастником, поскольку он теперь тоже ведал заменой устаревших документов. А на самом деле братцам помогали Ваарт, который должен был следить, чтобы вовремя пополнялись запасы канцпринадлежностей, и жених миссис Рашман со склада снабжения. Да и сам процесс изъятия искусно изобрели именно братья Пенни, чтобы снабдить типографию всем необходимым.

Сначала они затребовали через Ваарта огромное количество канцпринадлежностей и распределили их по нескольким отделам, причем на случай неожиданной проверки документы у них были в полном порядке. Потом разослали уведомления, что бумага определенных сортов и некоторые бланки считаются устаревшими — бланки они включили в процесс изъятия, чтобы кто-нибудь не заподозрил жульничества,— и затребовали все это обратно. А потом сотни кип самой лучшей бумаги (якобы предназначенной для нужд ремонтно-планировочного отдела), тысячи разнообразных конвертов, незаполненных счетов, ценников и торговых этикеток были переправлены в типографию. Руководил отправкой мистер Кули, и если б его спросили, куда вывозится вся эта бумага, он ответил бы, предъявив при необходимости соответствующие документы, что ее по ошибке замаркировали как секретную и теперь она подлежит уничтожению; а грузилась бумага в автофургон без опознавательных знаков.

— Короче, блестящая операция,— заключил Чарльз.

— Хотя себя и не принято хвалить,— скромно добавил Хью.

— Отправлено — и концов не найдешь,— подытожил Чарльз, решив оставить за собой последнее слово.

— Концы, стало'ть, в воду,— удовлетворенно сказал Ваарт.

Но Грайс не очень-то им поверил: природная осторожность призывала его поостеречься. Поздравлять их он, пожалуй, пока не будет, хотя ждут от него именно поздравлений. Как бы они ни ликовали, вряд ли им удалось упрятать в воду все концы.

Он думал напряженно и долго; потом на губах у него мелькнула победная улыбка, но он прогнал ее, чтоб не выглядеть враждебным, и с торжеством спросил:

— *А налоги?*

— Кхххха! Аххххк! Х-х-хе! Чхих! Чха! Звяк! У-ху-ху-ху-ху! — Он попал впросак. Сел, что называется, в лужу. Они от души потешались над ним.

— Именно, мистер Грайс! — покровительственно воскликнул Ферьер, когда раскаты хохота смолкли (все другие выражались гораздо ехидней: «Он думает, мы вчера родились! Умник, стало'ть, нашелся! Ох, и сказанул!» — выкрикивали они.) — О налогах мы первым делом подумали, мистер Грайс. Я осторожненько навел справки в муниципалитете. Их каждый квартал выплачивает налоговому управлению районное отделение госбанка, а рассчитывает ЭВМ, которую запрограммировали, когда «Альбион» стал коммерческим трестом. И пока программу ЭВМ не изменят — а этого наверняка в ближайшее время не случится,— все будет идти своим чередом.

— Есть еще какие-нибудь вопросы, уважаемый? — с наглой усмешкой спросил его Хаким, хотя ему-то, иммигранту или, может, сыну иммигрантов, следовало бы вести себя в Англии поскромнее.

— Нет,— сухо ответил Грайс.— Желаю вам всем удачи.

— Нам нужна помощь, а не удача,— сказал Ферьер.— Практическая помощь. Нас очень мало, понимаете? Больше, чем вы увидели сегодня, но все-таки мало. А если быть точным, то двадцать четыре человека, и те, кого здесь нет, ждут удобного момента, чтобы потихоньку уйти из «Альбиона»: массовый уход насторожил бы высшее начальство. И все же у нас не хватает сотрудников. «Глашатаю» придется работать на полную мощность, и мы ищем людей, которые стали бы трудиться не просто за деньги, а по велению сердца.

— «Глашатаю»? — спросил Грайс, пропустивший мимо ушей, как это часто с ним бывало, основную суть рассказа и запомнивший только необычное название.

Из вороха бумаг на своем столе Ферьер извлек несколько фирменных бланков с изящно отпечатанной шапкой и один из них протянул Грайсу. Это был превосходно выполненный фирменный бланк — броский, но не назойливый, современный, но без ультрамодернистских штучек. Не считая себя серьезным знатоком, Грайс все же с уверенностью сказал бы, что Ферьер, безусловно, профессиональный и даже, пожалуй, талантливый полиграфист-оформитель.

— Кое-кто из нас возражал против левоватого, так сказать, оттенка в этом названии, но мы тем не менее остановились именно на нем: надо же нам как-то назвать свое детище. Завтра типография «Альбион» окончательно исчезнет, возродившись под именем «Глашатай». А мы пока — если кто-нибудь поинтересуется — просто бригада наемных ремонтников. Грейн-Ярд постепенно оживет, мистер Грайс, и ему вскоре понадобится своя типография. Возможно, вы и не обратили внимания, когда шли сюда, мистер Грайс, но ростки новой жизни пробиваются здесь повсюду. Так хотите вы присоединиться к нам, мистер Грайс?

— Я? — Грайс был и польщен и напуган предложением Ферьера. Первый раз ему предлагали новую работу: обычно он сам просился на свободное или освобождающееся, по слухам, место.

— Терять-то вам, стало'ть, все равно нечего,— подбодрил его Ваарт.— Чего вы там теряете, в той стекляшке для лоботрясов? — Ваарт небрежно ткнул большим пальцем туда, где за рекой высился «Коварный Альбион».

И Грайс вдруг ощутил удивительную легкость. Это незнакомое ему ощущение нахлынуло на него, когда он переступил порог типографии, но поначалу оно затушевывалось взволнованным беспокойством, что он будет вовлечен в бурный круговорот каких-то притягательно опасных и таинственных событий. А теперь Ваарт как бы открыл ему глаза — он не хотел возвращаться в эту «стекляшку для лоботрясов», его двадцать пять лет мотало по таким вот бессмыслен-

ным, однообразно каторжным службам... и чего он добился? Ему хотелось превратиться в одного из этих энтузиастов, хотелось поверить россказням Ферьера про возрождающуюся Англию. Он хотел работать на ручном печатном прессе, который мог изготовить тысячу визитных карточек в час и на котором он отпечатал бы одну для себя — КЛЕМЕНТ ГРАЙС, СОТРУДНИК ТИПОГРАФИИ «ГЛАША-ТАЙ». Он жаждал начать новую жизнь, стать новым человеком, купить новый костюм — может быть, кремовый, как у Хакима,— выстричь волосы из ноздрей. Ему осточертело унизительно таиться, считать после получки деньги в уборной, чтобы заначить несколько фунтов от жены, и потом трястись, как бы она их не нашла. Он хотел помнить ее лицо, обсуждать с ней по вечерам свою работу, жить в браке счастливо, иметь нескольких детей, о чем они даже и не заговаривали все эти годы. Хотел обедать в закусочных и винных барах над рекой, а ужинать в японских ресторанчиках, где подают замечательные бифштексы. Он хотел... как это сказал Ваарт на собрании любителей?.. Ну да, вот именно, хотел, чтобы у него выгорело с Пам, оно, впрочем, уже выгорело, но он хотел еще раз. Ему хотелось жить полной жизнью.

— Об этом стоит подумать,— сказал он.

— Да о чем тут думать? — удивился Ферьер, и Грайс уловил в его голосе презрительные нотки.— Вам надо просто решить, хотите вы *работать* или дурака валять и к стенке, как говорится, приставлять!

— Совершенно верно,— сказал Грайс, укрываясь от их презрения своей обычной предусмотрительностью.— Поэтому-то я и хотел бы сначала выяснить, чем занимается «Альбион».

— Неужто вы не знаете, мистер Грайс? — вмешался Копланд.— Наверняка ведь знаете. И все мы знаем.

— А мы вот чего, стало'ть, сделаем,— сказал Ваарт, хлопнув в ладоши, как торговец на рынке, предлагающий покупателю свой товар.— Время сейчас к пяти, верно? А у этих лоботрясов собрание, стало'ть, в шесть. Вот и давайте-ка заглянем туда вместе, а потом уж вы и решите, чего вам, стало'ть, делать. Идет?

Грайс начисто забыл про собрание Альбионской труппы. А теперь вот вспомнил одну неприятнейшую подробность, о которой ему вовсе не хотелось говорить.

— Мне надо сказать вам кое-что еще,— пересилив себя, пробормотал он.— Про вашу типографию уже известно. Пока, правда, еще не всем любителям, а только одному из членов их оргбюро. Известно, что типография стоит на месте, что она не снесена.

Его слова потрясли их, как гром среди ясного неба. Сначала никто не нарушал наступившего молчания, но все они, кроме по-прежнему сиявшей Тельмы, явно всполошились. Встревожился даже Ферьер.

— Кому именно? — вспугнув тишину, спросил он.

— Боюсь, что я не вправе это открыть,— совсем уж неохотно промямлил Грайс.

— Вы привели сюда этого оргбюрошника или он вас?

— Вообще-то мы пришли вместе.— Грайс коротко рассказал Ферьеру про находку старого счета и разговор с Парслоу: об этом, как он решил, они имели право узнать.

— Да, положение осложняется,— мрачно обронил Ферьер.— Нам-то казалось, что вы пришли сюда вслед за Хакимом и миссис Рашман. Они, понимаете ли, видели вас в пятницу на станции «Лондонский мост», и когда вы сегодня явились, мы подумали, что вы их тоже видели и вам удалось узнать, куда они ходят. Ну, этот тип из оргбюро — рассказал он кому-нибудь о ваших открытиях?

— Не знаю,— с несчастным видом ответил Грайс.— Но беда-то

в том, что если на общем собрании Альбионской труппы объявят о моих открытиях — хотя меня уверяли, что не объявят,— то про это неминуемо узнает и Лукас. У него, как мне говорили, есть среди любителей соглядатаи.

Миссис Рашман, глядя сквозь стеклянную перегородку — Грайс стоял к перегородке спиной,— злобно улыбнулась и негромко сказала:

— Это для нас не новость, милейший мистер Грайс. А одного из них вы сейчас и сами увидите.

Грайс торопливо оглянулся и увидел, что в типографию вошла Пам. Вернее, он, как и все остальные, увидел, что она застыла на пороге, весьма соблазнительная в своем темном берете, туго подпоясанном светлом плаще и черных колготках — теперь-то он точно знал, что это именно колготки. Словно бы проявляемые волшебным фонарем, на ее лице проступали стремительно сменявшие друг друга чувства — удивление, торжество, настороженность, испуг, паническый ужас. Она повернулась, чтобы удрать, но у двери уже стояли три одноруких швейцара в полной форме, и каждый из них держал в единственной руке инструмент, которым только что работал,— мощные клещи, кирку и лопату...

Глава четырнадцатая

На этот раз члены оргбюро не обрядились, к разочарованию Грайса, в театральные костюмы. Хотя они с Ваартом опоздали, потому что взять штурмом автобус на Лондонском мосту в часы пик было не так-то просто, собрание еще не началось. Грант-Пейнтон, Ардах и прочие оргбюрошники сидели на сцене, как манекены, скрестив под стульями ноги, сложив на груди руки. Ни тебе пьесы в руках, ни наклеенных бакенбардов — они больше напоминали какой-нибудь общественный трибунал, чем группу актеров.

Один стул на сцене пустовал: Пам еще не пришла.

— Вы не сомневайтесь, когда надо, она, стало'ть, явится,— уверил Грайса в переполненном автобусе Ваарт.

— А по-моему, стоило ее подождать,— озабоченно проговорил Грайс.— Я думаю, она бы ничего на собрании не сказала.

— На собрании-то — плевать, а нужно, чтобы она начальству своему не донесла.

— Да как они заставят ее молчать? Что они собираются с ней сделать?

— Ну, втолкуют по-серьезному, чтоб язык не распускала, и все дела. Они ей так втолкуют, что она, стало'ть, на веки вечные про типографию забудет.

— А если не забудет?

— У нашего Ферьера забудет, будьте уверены. Он и ослу чего хочешь втолкует. У него дар втолковывать, у нашего Ферьера. Он ей скажет: «Забудьте-ка вы, милочка, чего вы тут видели, а мы, стало'ть, забудем, чего нам про вас известно. Идет?» И она язычок-то как миленькая прикусит. Уж вы мне поверьте.

Грайс не сумел бы сейчас определить своего отношения к Пам. Она вроде бы оскорбила его в лучших чувствах, но ему как-то смутно представлялись «лучшие чувства». Он ей был не нужен, это ясно. Она небось даже и под ним притворялась, даром что завывала на весь Грейн-Ярд. Ей небось просто хотелось, чтоб он до поры до времени молчал — пока она сама не доложит обо всем кому надо.

И однако его опыт — очень, правда, скромный — общения с женщинами говорил ему, что так искусно притворяться невозможно. Она проводила с ним время не только ради своего шпионства, как утверждали Ферьер и Ваарт, но и ради него самого, просто потому, что он ей нравился,— если, конечно, не была просто потаскухой.

— Да почему вы так уверены? Есть у вас какие-нибудь серьезные доказательства?

— Ясное дело, есть! Вы вот поспрашивайте хоть мамашу Рашман. Не успела она сказать, что сматывается из «Альбиона», эта вцепилась в нее, ну ровно клещ. «Нет, вы скажите, почему вы увольняетесь!» — «Да потому что замуж выхожу, почему же еще!» — «А почему не хотите вернуться после медового месяца?» — «Да потому что я сыта треклятым «Альбионом» по горло».— «Как это «сыта по горло»? Может, вы до чего-нибудь докопались?» — «Ни до чего я не докопалась, просто сыта по горло!» — «Нет уж, вы скажите, до чего вы докопались!» — «Ни до чего я не докопалась, я не копаюсь в дерьме!» — «Вот и видно, что докопались, иначе зачем бы вам увольняться с такой легкой службы?» — «Да затем, что мне эта служба обрыдла хуже горькой редьки!» — «И все-таки вы, наверно, до чего-то докопались, ну скажите откровенно, до чего вы докопались?» Короче, пристала, как треклятый репей. А потом еще Рона Сидза, своего хахаля, на нее напустила.

«Хотелось бы мне узнать, что у них за хаханьки»,— с горечью подумал Грайс. И ему очень захотелось выяснить, не было ли у них своего гнезда из картонных коробок.

— ...Стал зудеть, ровно слепень. «Почему вы увольняетесь?» — «Потому что выхожу замуж».— «А вот миссис Фос, например, тоже замужем и все-таки работает». В общем, они донимали ее, пока она не послала их куда подальше.

А ведь правильно, припомнил Грайс, Пам и Сидз очень странно переглядывались, когда в «Лакомщике» зашел разговор об увольнении миссис Рашман. Он так и не понял тогда, почему, собственно, они взволновались.

— Ну и что же это доказывает?

— Да то самое, стало'ть, и доказывает. Чего ей вроде бояться? А она наложила, стало'ть, полные портки — от страха, что мамаша Рашман наймется куда-нибудь на другую работу и начнет рассказывать про их треклятый «Альбион».

— Но это ведь только домыслы?.. Только догадки? — поправился Грайс, не зная, поймет ли Ваарт слово «домыслы».

— *Были* догадки. Пока я ее не выследил.

— Выследили?

— Во-во. Бегал за ней, как растреклятая собачонка. И знаете, куда она раз поперлась после работы? А не знаете — так я вам скажу. На Уайт-Холл, где все эти растреклятые правительственные конторы.

— Так она же, наверно, просто отправилась к своему мужу. Он работает в Комитете по надзору за окружающей средой.

— Это она *вам* поет, что он у нее там работает. А он даже и не на этой улице работает. Он ошивается в той самой правительственной конторе, куда она бегает на нас всех доносить. Я и туда за ней ходил и торчал там полный час, а она, стало'ть, докладывала про Альбионскую труппу или черт ее знает про чего еще.

— Да как вы могли узнать, о чем она докладывала? И в *какое* вы ходили за ней учреждение?

— Так у него и названия-то нет. Контора номер такой-то, вот и весь сказ.

— А откуда вы знаете, что это правительственное учреждение?

— Откуда? — с торжеством переспросил Ваарт.— Оттуда, что оно на Даунинг-стрит, а если там есть какие-нибудь другие... эти... учреждения, то я, стало'ть, главный китайский император.

Три одноруких швейцара, словно бы чудом перенесенные сюда из типографии, настолько все они были неразличимы, рассматривали, как обычно, их членские билеты целую вечность. И Сидз опять стоял на часах за дверью зала. Пока Ваарт, не желая садиться в указанное

Сидзом кресло, объяснял ему, что он, дескать, билетерша позорная, а никакой не начальник и пусть, мол, не командует, кому где сидеть, Грайс молча разглядывал собравшихся. Он сразу же заметил нескольких, как он решил, завсегдатаев: Джорджа Формби, Фреда Астэра, родезийского премьер-министра и псевдосержанта из учебного лагеря времен его армейской службы.

Ваарт все-таки переспорил Сидза и сказал Грайсу, что им лучше сесть в заднем ряду. Улыбкой извинившись перед Сидзом за своего сварливого спутника, Грайс отправился с Ваартом к последним рядам и по дороге увидел двух новичков — клерка из отдела питания, похожего на Джека Леммона, и еще одного, тоже вроде бы смутно ему знакомого. Стало быть, он все же убедил непреклонного Джека Леммона, когда они беседовали в «Лакомщике», с удовлетворением подумал Грайс; но второго новичка, человека с багровым, словно бы от злости, лицом, он сначала никак не мог распознать — ему только было ясно, что ни на кого из артистов или политиков тот не похож. Он принялся обшаривать картотеку своей памяти, и когда Грант-Пейнтон объявил собрание открытым, неожиданно вспомнил. Ну конечно же! Если б новичок надел шапочку шеф-повара, Грайс моментально бы его узнал — вот что значит привычная одежда или, если взять шире, привычная обстановка. Рядом с Джеком Леммоном сидел суровый начальник отдела питания Льюк — именно благодаря казусу с его фамилией Джек Леммон и поддался на уговоры Грайса. Стало быть, Грайс уговорил Джека Леммона, а тот уж убедил своего начальника — воистину однажды сказанное слово вечно творит деяния.

Грант-Пейнтон бормотал тем временем что-то не очень внятное:

— ...Без подготовленной должным образом повестки дня ввиду экстренности настоящего собрания...— говорил, а точней, мямлил он. Выглядел он, как показалось Грайсу, очень возбужденным или, пожалуй, до крайности взбудораженным.— Внезапно открывшиеся обстоятельства... организационное бюро... собрать... намеченного дня...

— Не слышно! — со смаком рявкнул Ваарт, приставив рупором ладони ко рту, как уличный торговец, которым он, возможно, в молодости и был.

Грант-Пейнтон взглянул на Ваарта и попытался взять себя в руки. Он заговорил чуть громче и более внятно.

— Ввиду внезапно открывшихся обстоятельств было решено созвать общее собрание Комитета установления истины,— повторил Грант-Пейнтон,— не дожидаясь заранее намеченного дня. Факты, коротко говоря...— «Мог бы сказать и не коротко»,— подумал Грайс,— таковы. За истекшие сутки один из членов нашего комитета сделал два открытия, чреватые самыми серьезными последствиями и для нас, и для всего нашего треста. Во-первых, было установлено, что делами треста занимается правительство: на тайном совете директоров присутствовал не кто-нибудь, а министр...

Но задние ряды по-прежнему почти ничего не слышали, и в зале поднялся разноголосый гул. Из первых рядов доносились возбужденные восклицания, а любители, сидящие сзади, недовольно выкрикивали: «Громче! Повторите громче, господин председатель!» Грант-Пейнтон попытался говорить громче, однако восклицания тех, кто сидел впереди, окончательно заглушили его голос. Тогда командование взял на себя Ардах и через несколько минут восстановил относительную тишину.

— Благодарю вас, мистер Ардах. И во-вторых... Да помолчите же хоть минуту, господа!.. И во-вторых, было обнаружено, что существует фирма — она называется объединение «Экспорт»,— до мельчайших подробностей похожая на «Альбион», можно сказать, что эта фирма — точная копия нашего «Альбиона».

Вот-вот, чертовски характерно, с досадой подумал Грайс. Мало того, что он скрыл имя автора этих важнейших открытий, он даже не

сумел как следует о них рассказать, а половина зала его и вообще не слышала. Грайс отчаянно жалел, что открылся Пам: уж он-то изложил бы все с должным драматизмом, его бы слушали разинув рот, как Сидз на прошлом собрании.

— ...В свете новых данных,— упрямо продолжал Грант-Пейнтон, когда Ардах еще раз навел тишину,— организационному бюро было поручено...

— Это про что же он толкует — «было поручено»? — пробормотал Ваарт.— Кто им, стало'ть, поручал?

— Черт их знает,— буркнул Грайс, мысленно ругая себя за преждевременную трепотню.— Жуткий, по-моему, председатель.

— ...созвать последнее общее собрание Комитета установления истины, или Альбионской труппы. И теперь, без дальнейших проволочек, чтобы не держать вас всех в неведении дольше, чем нужно, разрешите представить вам...

— Вот те на! Он, стало'ть, сказал — *последнее* собрание?

— Вроде бы так.

— Как это, стало'ть, последнее?

Из-за буркотни Ваарта Грайс не расслышал, кого Грант-Пейнтон хотел представить собранию «без дальнейших проволочек». Ему показалось, правда, что прозвучала фамилия «Лукас», но этого не могло быть. И только когда начальник отдела служащих поднялся на сцену, он понял, что так оно и было.

В зале на мгновение поднялся неистовый шум — и тут же утих. Было бы, наверно, слышно, если б кто-нибудь уронил иголку, подумал Грайс. Лукас церемонно поклонился Грант-Пейнтону и дал ему понять, что он может сесть. Потом подошел к краю сцены и шутливо подул в сложенные горстью ладони, словно бы пробуя воображаемый микрофон.

Наконец Лукас заговорил.

— Не вижу удивления, господа! — воскликнул он.

Никто не засмеялся. Никто не сказал ни слова. Лукас, однако, без всякого смущения смотрел в зал. Он держался непринужденно — вот как определил его поведение Грайс, когда ему удалось собраться с мыслями. И выступать перед публикой он, конечно, умел.

— Леди и джентльмены, однажды прославленного на весь мир литератора спросили, как написать рассказ. Тот немного подумал и ответил: «Надо начать с начала и, дойдя до конца, кончить». Я думаю последовать сегодня этому мудрому совету. Мне хотелось бы, леди и джентльмены, чтобы вы терпеливо выслушали меня с начала и до конца. У многих из вас возникнут, наверно, вопросы, но я надеюсь, что к концу моего рассказа вы получите на них ответы.

— Так он, стало'ть, рассказы нам будет рассказывать! — немного придя в себя, шепнул Грайсу Ваарт. И тут уж Грайс осмелился цыкнуть на него: он не хотел пропустить ни единого словечка.

— Леди и джентльмены, почему вы все здесь? Что вас объединяет? Я просил не прерывать меня и поэтому спешу ответить на собственные риторические вопросы. Вас объединяет любознательность. Вы все хотели бы узнать, чем занимается «Альбион».

И вместе с тем я осмелюсь напомнить вам, леди и джентльмены, что любознательность — или, иначе говоря, любопытство — в «Альбионе» не поощряется. Когда вы поступали к нам на работу, я, беседуя с вами, всячески подчеркивал, что ваша должность не потребует от вас любознательности или инициативы. Вы были выбраны именно за вашу инертность, я бы даже сказал — за вашу инертную самоуспокоенность. Ничего обидного в этом нет: инертная самоуспокоенность рождает лояльность, а лояльные, или, как их иногда несправедливо называют, верноподданные, сотрудники — это золотой фонд современного предпринимательства. И примером здесь могут служить гигантские процветающие концерны Соединенных Штатов.

Однако мы не проводили сложного психологического тестирования новичков, поэтому кое-кто из вас оказался любопытным, а любопытство, как я уже говорил, подрывает в людях лояльность. Основная масса альбионцев, без сомнения, лояльна,— иначе мне бы давно уже предложили уйти с моего поста,— но вы, маленькая группа избранных, вы, леди и джентльмены, лишены этого качества из-за отсутствия в вас пассивной самоуспокоенности. Что ж, прекрасно, леди и джентльмены, мир потерял бы свою многогранную привлекательность, если бы все мы были похожи друг на друга.

Зал, как почудилось Грайсу, всколыхнула горделивая взволнованность. Да и сам он горделиво взволновался. «Группа избранных»! Вот почему Норман Ферьер выделил его из толпы альбионцев и предложил вступить в свою шайку.

— Вас, леди и джентльмены, донимали вопросы. Вы спрашивали себя, чем занимается «Альбион», почему некоторые отделы строго засекречены, из-за чего служащим не выдается внутриальбионский телефонный справочник и как фирма обходится без коммутатора. Вы, кстати, выдвигали интереснейшие ответы на эти вопросы. Ну, а правильный ответ чрезвычайно прост: если б у нас был коммутатор, телефонистки мигом обнаружили бы, что нам никто не звонит. И кое-кому из вас уже, наверно, приходил в голову этот ответ.

— А ты скажи-ка нам чего-нибудь новенькое,— усиливая многоголосый гул, проворчал Ваарт. До этого, с тех пор как Грайс его одернул, он помалкивал. Да и сейчас разворчался явно не по делу: Грайс, например, услышал именно «новенькое».

— Что ж, граждане свободной страны имеют полное право задавать вопросы. Мир, как я уже сказал, потерял бы свою привлекательность, если бы все люди делали только то, что поощряется. И мы пытались отвечать на ваши вопросы — надеюсь, вы это замечали. Начальникам отделов и старшим администраторам — среди них, между прочим, есть очень крупные администраторы, какие бы официальные посты ни занимали они в «Альбионе»,— было предложено всячески удовлетворять вашу любознательность. Поначалу им это удавалось. А потом их заботы взяла на себя Альбионская труппа.

— Про чего он хоть толкует-то? — растерянно спросил Грайса Ваарт, почти неслышимый в общем хоре удивленных восклицаний.

— А вот давайте-ка помолчим,— раздраженно отозвался Грайс, глядя на Лукаса, который поднял руку в немом призыве к тишине,— и тогда, может, поймем.

— Кто-нибудь из оргбюро или активистов комитета опрашивал или, если хотите, проверял на лояльность каждого любознательного альбионца.— Все правильно: первый вечер в «Рюмочной», когда его опрашивала Пам, очень походил на экзамен, а второй вечер, когда она взялась за него вместе с Сидзом, походил, пожалуй, на допрос третьей степени в нью-йоркском полицейском участке.— Так определялись ваши политические взгляды, если они у вас были, ваша осведомленность о делах «Альбиона» и степень вашей решимости узнать, кто и за что платит вам жалованье. Если ваша *жажда знаний*, скажем так, могла поставить под угрозу безопасность «Альбиона», вас приглашали вступить в Альбионскую труппу.

— Распрогоссссподи Иисусе Христе! — не услышал, а прочитал по губам Ваарта Грайс, потому что гвалт в зале поднялся невообразимый. Многие любители вскочили. Грант-Пейнтон с Ардахом тоже вскочили, и Ардах попытался восстановить тишину, а Грант-Пейнтон только бессмысленно и беззвучно хлопал в ладоши.

— Пока никаких вопросов, господа, наберитесь терпения!

— Господин председатель!

— Я не председатель, милостивый государь, а вы — нарушитель порядка! Сядьте, пожалуйста, на место!

— Если вы не председатель, нечего и командовать! — огрызнулся

Фред Астэр, который пререкался с председателем и в прошлый раз.— У меня вопрос по существу. Я хочу, чтобы мистер Лукас прямо сказал, было ли оргбюро всего-навсего игрушкой в руках руководства.

— Как только вы позволите мне закончить,— чрезвычайно вежливо откликнулся Лукас,— вам станет ясно, что оргбюро — это и есть руководство.

Под ворчание Ваарта, которого не было слышно из-за всеобщего гомона, Грайс думал, что если бы Грант-Пейнтон потрудился надеть свое желтое платье, то смог бы, наверно, утихомирить любителей, и тогда все выяснилось бы гораздо быстрей.

Наконец порядок в зале восстановили, и, воспользовавшись угрюмым молчанием озадаченных любителей, Лукас продолжил речь.

Он рассказал историю Альбионской труппы. Оргбюро было создано, по его словам, чтобы тайно следить за настроением служащих, сводить на нет опасные разговоры, гасить опасное любопытство и поддерживать в «Альбионе» спокойствие. Когда понадобилось, члены оргбюро открыли прием в Альбионскую труппу, где вредные для «Альбиона» слухи и домыслы уничтожались безвредными. Так, например, слухи о том, что «Альбион» проводит опыты с продовольственными карточками, печатает паспорта и готовит государственный переворот, были инспирированы высокопоставленным администратором миссис Памелой Фос. Лукас посетовал на ее отсутствие и сказал, что она, по-видимому, вызвана для доклада «в верха».

Тут Лукасу опять пришлось умолкнуть, и на этот раз прервал его, как ни странно, Сидз. Медленно, с лицом белее мела, подошел он к сцене и в упор посмотрел на Лукаса.

— Не затыкайте мне рот, мистер Ардах! Мистера Лукаса следует поставить в известность, что я тратил на дела Альбионской труппы около пятнадцати часов в неделю. Я приходил на каждое собрание и помогал миссис Фос в *нерабочее время*. Я занимался отбором и проверкой новичков *после работы*. Я без конца мотался с миссис Фос по окраинам Лондона и даже ездил в другие города за *свой счет* — причем она разрешала мне *оплачивать ее обеды*,— и все это для того, чтобы раздобыть сведения о подчиненных «Альбиону» компаниях. А теперь вы объявляете мне, что моя работа, связанная с лишениями и денежными затратами, была никому не нужна и что миссис Фос хладнокровно водила меня за нос?!

Грайсу была близка и понятна гневная вспышка Сидза. Он и сам почувствовал себя таким же несправедливо оскорбленным, когда Копланд признался, что, заставляя его разыскивать мебель, просто морочил ему голову и заметал следы.

— Вы не совсем правы, мистер Сидз,— ответил, помолчав, Лукас.— Но вообще-то мы должны, конечно, перед вами извиниться. А издержки вам возместят.

— Да подавитесь вы моими деньгами! — с необычной для него грубостью выкрикнул Сидз. Он повернулся на каблуках и зашагал прочь от сцены. Грайс был уверен, что он уйдет из зала, громко хлопнув дверью, но ошибся: Сидз привычно застыл на своем облюбованном посту, злобно огляделся, выхватил из кармана записную книжку и стал яростно скрести в ней «вечным пером». Наверно, подсчитывает расходы, решил Грайс.

— Боюсь, что мы должны извиниться не только перед мистером Сидзом,— сказал Лукас.— Вы все добровольно тратили свое свободное время на изыскания, которые вела Альбионская труппа. Но это было необходимо, без Альбионской труппы наша фирма не могла бы существовать. И тут, кстати, мне надо еще раз извиниться перед самоотверженным мистером Сидзом. Когда он позвонил в компанию «Братья Бинны», я разговаривал с ним не очень вежливо, опасаясь,

что он может узнать мой голос. Но поверьте, леди и джентльмены, я контролировал звонки в так называемые дочерние компании «Альбиона» не для того, чтобы следить за *вами*, а только для проверки, не ведет ли кто-нибудь из альбионцев самостоятельных изысканий. Этого мы допустить, как вы вскоре поймете, просто не могли.

Я вот сказал, что Альбионская труппа была необходима. Но рано или поздно ее все равно пришлось бы, как говорится, прикрыть. Не знаю, сколько времени она могла бы еще просуществовать, если бы нас не поторопили кое-какие события. Мистер Грайс тут?

Этот вопрос — или, пожалуй, приказ показаться начальству — застал Грайса врасплох. Чувствуя, что щеки у него пылают, он смущенно встал, хотя Ваарт шипящим шепотом советовал ему послать Лукаса к растакой-то матери. С радостной тревогой он видел море повернувшихся к нему лиц.

— Я должен поздравить вас, мистер Грайс, вы оказались весьма проницательным сыщиком. Вам, новичку в Альбионской труппе, никак не скажешь, что вы считали ворон.

— Благодарю вас, мистер Лукас! — Грайс гордо выпрямился, даже слегка подскочил, удивляясь, почему столь справедливое публичное поздравление не вызвало аплодисментов. С шипеньем: «Да не тянитесь вы перед ним, как холуй!» — Ваарт дергал его за полу пиджака, и он неохотно сел: великая минута миновала бесславно и очень быстро.

— Энергичный мистер Грайс наткнулся, как уже сообщил вам председатель, на объединение «Экспорт». Мне неизвестно, побывал там мистер Грайс или нет, но если б ему удалось проскользнуть мимо швейцаров, он обнаружил бы, что «Экспорт» поразительно похож на «Альбион». Узнав об этом, вы, конечно, обменялись бы впечатлениями с коллегами из «Экспорта» — а они действительно ваши коллеги — и начали бы дальнейшие розыски.

Можете не сомневаться, что вскоре вам встретились бы и другие фирмы, похожие, как дождевые капли, на «Экспорт» и «Альбион». Я не уполномочен разглашать сведения о количестве подобных фирм, но они есть во всех крупных городах вроде Лондона, Ливерпуля, Бирмингема или Манчестера. И должен вам сказать, что каждая такая фирма создала под тем или иным названием собственный Комитет установления истины, а значит, попался на удочку не только мистер Сидз.

Вам удалось бы узнать, что управляет всеми фирмами один совет директоров — однако ничего таинственного или зловещего, могу поклясться вам, леди и джентльмены, в наших директорах-распорядителях нет. Это люди с обостренным чувством долга, откликнувшиеся, как они уже делали не раз, на призыв правительства бескорыстно послужить своей стране. Мистер Грайс правильно углядел своим орлиным взором, что собираются они в странном помещении, — но конспирация или секретность тут ни при чем: просто наши славные архитекторы забыли спроектировать конференц-зал. И это, между прочим, отнюдь не самый важный изъян их проектов.

Намек на бездействующий поворотный механизм, а может, и на другие, пока еще неизвестные Грайсу, архитектурные ляпсусы, вызвал у собравшихся невольные смешки — первые с тех пор, как Лукас начал свою речь. Да, он, безусловно, умел выступать перед публикой. Но публика бывает разная: пока другие смеялись, человек, похожий на Джорджа Формби, поспешно вскочил и торопливо, но совершенно невнятно задал какой-то чрезвычайно длинный вопрос.

— Простите, мистер Эйнтри, я что-то вас не понял, — проговорил Лукас.

— Да я просто спрашиваю, в архитектурных ли недостатках дело и можно ли полагаться на вашу откровенность, когда вы говорите, что совет директоров не заседал тайно, имея в виду...

— ...что его посещает время от времени министр труда,— энергично завершил этот бесконечный вопрос Лукас.— Да, вы можете положиться на мою откровенность, мистер Эйнтри, мне нечего скрывать.— Грайс, к немалому изумлению Ваарта, резко вздернул руку вверх, потом еще резче опустил ее вниз и победно прищелкнул пальцами. Ему никак не удавалось вспомнить, каким министерством управляет министр из конференц-зала под «Лакомщиком». Он знал его фамилию, сразу узнавал в телевизионных передачах, но, хоть убей, не мог сообразить, чем он занимается, тем более что кабинет министров непрерывно перетряхивали. Рассказывая Пам о министре, Грайс назвал его по фамилии, и она, естественно, решила, что ему известно, каким тот ведает министерством, а он не захотел признаться ей в своем невежестве.

— Стало быть, министр труда.— Картина, пожалуй, начинала понемногу проясняться.

— Когда меня перебил мистер Эйнтри,— продолжал между тем Лукас,— я как раз хотел особо подчеркнуть, что совет директоров искренне озабочен вашей судьбой, леди и джентльмены. Директора-распорядители могли бы, конечно, совещаться где угодно, но они настояли, что должны собираться именно в том учреждении, о котором пойдет речь, чтобы решать на месте все возникающие проблемы. Их, пожалуй, можно уподобить попечителям школы, которые совершают ежегодную инспекторскую проверку.

С другой стороны, мы, разумеется, не хотели трубить на всех перекрестках, что министр труда посещает, как он сам выразился, «первую линию обороны», то есть учреждения, подобные «Альбиону». Если вы спросите у меня, *почему* нам не хотелось об этом трубить, мы подойдем вплотную к вопросу о том, зачем я сегодня здесь. Откровенно говоря, как вы, я думаю, уже поняли по скрытности администрации, мы действительно хотим скрыть от широкой публики, чем занимается «Альбион»,— потому что, если публика про это узнает, нынешнее правительство падет.

Лукас ненадолго замолчал, чтобы слушатели получше усвоили сказанное. А потом чуть-чуть изменил позу и слегка наклонился вперед, словно бы предвещая сообщение чрезвычайной важности. («Проповедник, да и только,— подумал Грайс,— только вот кафедры ему не хватает».)

— Итак, чем же занимается «Альбион» и что же делаете в «Альбионе» вы? Мне кажется, многие из вас давно уже нашли ответ на этот вопрос, но, возможно, не решались до сих пор взглянуть правде в глаза. Вы *ничего* здесь не делаете, леди и джентльмены. «Альбион», как и другие подобные ему учреждения, создан только для того, чтобы вы могли ходить на работу и не считались безработными.

«Неужто вы не знаете, мистер Грайс? — удивленно спросил его в типографии Копланд.— *Наверняка знаете. И все мы знаем».* Копланд был прав, Грайс уже догадался. Догадался, но не хотел этому верить. Он даже сейчас не хотел этому верить.

И все остальные, по-видимому, тоже. Лукас опять на минуту умолк, и в зале повисла неловкая тишина: любителям было не по себе, а верней, просто стыдно, как понял Грайс. Слышалось только шарканье подошв да скрипение кресел — чтобы не смотреть друг на друга, все с отсутствующим видом разглядывали свои башмаки, пол под ногами, обшарпанные стены, потолок над головой...

— Все вы читаете газеты, леди и джентльмены, или по крайней мере можете их читать — свободного времени у вас достаточно. Вам известны экономические трудности Западного мира и нашей страны. Вы знаете, сколько у нас безработных, и знаете, что их число не уменьшается, а постоянно растет. Но вы, быть может, не знаете, что если подсчитать реальное количество безработных, если включить в статистику *всех*, кто не занят полезным трудом, хотя и числится ра-

ботающим, то нашим надеждам на улучшения будет нанесен смертельный удар — настолько гигантскими, поистине астрономическими цифрами обернется статистика безработицы.

Вот почему, в частности, появились учреждения вроде «Альбиона». Но кроме того, считать вас безработными было бы несколько дороже, чем платить вам жалованье. Да, леди и джентльмены, ваше жалованье обходится налогоплательщикам чуть дешевле пособия по безработице — вы ведь платите подоходный налог и пенсионную страховку; а главное, вас не обслуживает армия чиновников социального обеспечения. Представьте себе эту армию, и вы поймете, что «Альбион» существует не зря. Вам, так сказать, дана некоторая возможность заботиться о себе самим. А это, согласитесь, немаловажно.

Однако не думайте, леди и джентльмены, что, создавая учреждения, подобные «Альбиону», правительство намеревалось обеспечить вас приятными синекурами. Вовсе нет. По первоначальному замыслу, предполагалось помочь мелким предпринимателям. Поддержать их в беде. А если говорить без околичностей, то правительство просто скупило маленькие фирмы, чтобы учредить крупные жизнеспособные концерны — назовите это скрытой национализацией, если вам угодно. Да-да, вы можете назвать это скрытой или тайной национализацией, потому что о действиях правительства никто не должен был знать. Госпоже публике собирались представить дело так, что огромный, неизвестно откуда взявшийся концерн скупает, расширяя сферу своих интересов, нерентабельные компании. Экономически это было бы очень выгодно: маленькие фирмы пользовались бы всеми преимуществами централизации. Создается централизованный отдел закупок — сырье закупают оптом, а не мелкими партиями. Создается централизованный транспортный отдел — и вместо увечных грузовичков компании получают современные большегрузные машины. Создается централизованный расчетный отдел — и упраздняются крохотные бухгалтерии. Представьте себе, леди и джентльмены, насколько все это выгодней! А централизованный отдел сбыта наладил бы деловые связи с такими далекими потребителями, до которых маленькие фирмы дотянуться, естественно, не могли.

Я понимаю, леди и джентльмены, что, на взгляд многих из вас, правительство хотело заранее избавиться от ответственности. Если б задуманный план провалился, государственных чиновников никто не смог бы обвинить, потому что все делалось тайно. В этом есть, конечно, доля истины. Ну, а если бы план удался? Подумайте, как окрепли бы надежды предпринимателей! И вся заслуга была бы приписана частному сектору: ведь кроме вас никто даже не подозревает, что британский трест «Альбион» — государственное предприятие. Нет, леди и джентльмены, наше правительство заранее отказалось от заслуженной славы, потому что все твердо надеялись на жизнестойкость новых концернов.

Но план, к сожалению, не удался, «Альбион» изначально был обречен. Как и другие государственные концерны вроде объединения «Экспорт». Помощь пришла слишком поздно. Так называемые дочерние фирмы «Альбиона», столь внимательно изученные мистером Сидзом, просто отжили свой век. Мы еще не успели достроить это здание и набрать штат управленческих служащих, а они уже погибли. Погибла и типография «Альбион» — прародительница нашего треста, и маленькая экспортная фирма, породившая объединение «Экспорт»; короче, все государственные концерны оказались мертворожденными. Теперь-то мы понимаем, что была совершена ошибка: маленькие фирмы не выдержали перестройки, необходимой для возникновения многоотраслевого концерна. Да, леди и джентльмены, затея с государственными концернами провалилась, обогатив нас горьким, как говорится, опытом.

Внезапно Грайс услышал приглушенное хлопанье. Покосившись на Ваарта, он увидел, что тот злобно бьет кулаком правой руки по ладони левой. Костяшки пальцев у него побелели.

— Но надо было думать, что же делать дальше. Оставить превосходные управленческие здания пустыми? Хорошая получилась бы реклама для британской экономики! А кроме того, леди и джентльмены, нам предстояло решить еще одну сложную задачу. Экономический спад вынудил многие фирмы заняться рационализацией своего хозяйства и резко сократить управленческие штаты, что привело к массовым увольнениям служащих. Да вы прекрасно это знаете, леди и джентльмены, ведь именно вашего брата безжалостно вышвыривали на улицу.

Итак, заставить вас томиться в очередях за пособием по безработице или как-то иначе устроить вашу судьбу — вот что нам надо было решить. И мы решили создать «Альбион» в его нынешнем виде.

Вам требовалась работа, леди и джентльмены, но работы для вас не было. С надеждами на сбытовой, закупочный и транспортный отделы пришлось распроститься: дочерние компании «Альбиона» лопнули, и нам нечего было продавать, покупать и перевозить.

Значит, надо было изобрести для вас работу. А когда задача поставлена, решить ее — дело времени и техники. В современных коммерческих и даже промышленных фирмах большинство служащих замкнуто, если так можно выразиться, на своих же служащих: восемьдесят процентов управленческого персонала существует лишь для обслуживания двадцати процентов, занятых собственно управлением: они печатают и рассылают их письма, обрабатывают и хранят архивные документы, заботятся о канцпринадлежностях, рассчитывают жалованье, заменяют негодную мебель, готовят обеды, надзирают за лифтами, убирают мусор, и прочее, и прочее, и прочее в том же духе. Так что мы всего-навсего скопировали стандартную контору. А как дополнение ввели частые реорганизации — каждый альбионский отдел время от времени реорганизуют. Это, впрочем, тоже характерная черта современных учреждений, и «Альбион» практически почти ничем не отличается от обычной управленческой фирмы.

Однако мы нанимали все новых служащих, и вскоре нам стало немного труднее изобретать для них работу. Отдел питания, к примеру, разросся у нас до невозможности — так же, как литерные службы. Эти службы, казавшиеся вам, кстати сказать, особенно таинственными, обрабатывают, как вы правильно установили, цифровые данные, но на самом-то деле ничего таинственного в них нет: они сравнивают цифры Манхэттенских телефонных справочников за тысяча девятьсот шестьдесят седьмой и тысяча девятьсот семьдесят третий годы. Номера телефонов там сгруппированы по-разному, а фамилий абонентов мы нашим служащим не дали, так что сопоставлять эти цифры очень трудно. Мне говорили, что это просто адская работа, и я буду весьма признателен, если кто-нибудь из вас предложит менее трудоемкое занятие для этих служб.

Лукаса слушали с напряженным вниманием. Грайс, в частности, был просто зачарован и горевал только, что нет у него конфетки. Сюда бы запасливого Копланда, а не Ваарта — тем более что этот грубиян сидел, злобно ссутулившись, и явно собирался устроить скандальное представление.

— А на кой, стало'ть, раздраконили маленькие типографии?

Да, рано или поздно он таки примется скандалить. Лукас, однако, лишь на секунду сбился с тона.

— Я, простите, не расслышал. Будьте любезны, назовитесь и повторите, пожалуйста, ваш вопрос.

Ваарт, по-прежнему сутулясь, поднялся, но фамилии своей не назвал и вопроса не повторил; вид у него, на взгляд Грайса, был смущенный.

— Вы ведь мистер Ваарт, если я не ошибаюсь?

Ваарт молчал, но не смущенно, как показалось Грайсу, а угрюмо. «Да ответь же ты хоть что-нибудь»,— чувствуя за него неловкость, подумал Грайс.

— Вы, насколько мне помнится, печатник, мистер Ваарт?

— Был печатник, пока ваша банда не добралась до нашей типографии.— Ага, значит, он еще не проглотил от ненависти язык.

— Надеюсь, вы согласитесь, мистер Ваарт, что в печатной индустрии, особенно на Флит-стрит, штаты непомерно раздуты?

— Может, оно, по-вашему, и непомерно, да не больше, чем в треклятом «Альбионе»,— пробурчал Ваарт. Лишенный возможности отступить на несколько шагов от собеседника после удачной фразы, он ограничился тем, что злобно зыркнул на повернувшихся к нему любителей. Кое-кто из них нервно захихикал.

Тут Лукас во второй раз на мгновение сбился со спокойного тона. И в его взгляде, как заметил Грайс, промелькнуло скрытое раздражение.

— Мне хочется спросить вас, мистер Ваарт,— сказал он,— верней, мне хочется спросить вас всех, леди и джентльмены, потому что печатное дело не отличается от любой другой индустрии — штаты у нас непомерно раздуты везде. Так вот, я хочу спросить, леди и джентльмены, кто из вас решится утверждать, не кривя душой, что он был загружен работой все восемь часов своего рабочего времени до того, как его приняли в «Альбион»? — Грайс этого утверждать не стал. И никто не стал.— А теперь объясните мне, леди и джентльмены, почему болтаться без дела на каком-нибудь грузовом корабле нравственней, чем быть пассажиром на прогулочной яхте? Работают вокруг вас другие или нет, но вы-то все равно остаетесь пассажирами. Я не вижу разницы между пассажиром грузовоза и прогулочной яхты. Почему-то считается, что газетная индустрия, автомобильные заводы или, например, муниципалитеты должны содержать армию людей, которые не делают ничего или почти ничего, но живут в ладу со своей совестью и даже устраивают забастовки, когда их липовые должности хотят упразднить. А может, было бы нравственней собрать всех этих горе-работничков под одной крышей, чтобы они хоть другим-то не мешали заниматься делом? Нет, мистер Ваарт, меня вашей слезной защитой маленьких типографий не проймешь!

Стало быть, он все же слышал первый вопрос Ваарта, но приберег ответ на него к самому концу своей яркой речи.

Ваарт уже сел, проворчав себе под нос что-то едкое насчет лоботрясов. Но теперь поднялся другой человек — начальник отдела питания. И лицо у него было даже свирепей, чем обычно, так что Грайсу не хотелось бы столкнуться с ним в темном переулке.

Кстати, о темных переулках — а где, интересно, Пам?

— У вас вопрос, мистер Льюк?

— Не вопрос, а предложение, мистер Лукас. Я категорически возражаю против лживых инсинуаций в адрес отдела, которым я имею честь управлять, и предлагаю вам отказаться от них.

Лукас очень удивился. Да и любой бы на его месте удивился, подумал Грайс. Начальник отдела питания был явно не в себе, и ему просто надо было как следует отдохнуть.

— Я, собственно, не говорил о вашем отделе, мистер Льюк, разве что назвал его слишком разросшимся. Если вам *это* кажется оскорбительным, то прошу меня извинить.

— Вы поставили нас в один ряд с другими отделами, мистер Лукас! Обкорнали под одну гребенку! «Пассажиры», «ничего или почти ничего не делают» — вот какие выражения вы сегодня здесь употребляли, мистер Лукас. Так разрешите мне сообщить вам, сэр, что, как бы ни проводили время служащие других отделов, мои работники трудятся добросовестно и честно, таких работников теперь днем с ог-

нем не найдешь. Они занимаются делом по восемь часов в день, и если бы другие брали с них пример, наша страна процветала бы, мистер Лукас!

Сидевший возле Льюка Джек Леммон солидно кивал головой. По залу прокатилась волна одобрительных замечаний, и все немного оживились. А ведь он, пожалуй, прав, подумал Грайс, опять невольно сравнивая работников отдела питания с летчиками-истребителями из своего военного лагеря.

— Но ведь ваш отдел ничего не производит,— по-прежнему удивленно сказал Лукас.

Льюк нагнулся для консультации к Джеку Леммону, а правую руку поднял вверх, словно бы предупреждая Лукаса, что он еще не кончил.

— Вы говорите, ничего не производит, мистер Лукас? — разогнувшись, переспросил он.— А подумайте, сэр, сколько ДДТ мы должны обработать, если альбионцы съедают ежедневно около восьмисот холодных и горячих блюд!

— Совершенно верно, мистер Льюк, вы обрабатываете уйму дотационных талонов,— пренебрежительно сказал Лукас.— И тем не менее ваш каторжный отдел не производит полезной работы даже на полпенни в день.

У гневного Льюка отвисла слюнявая челюсть, и он безмолвно воззрился на Лукаса. Потом, снова подняв правую руку, он опять пригнулся к Леммону. Однако на этот раз, дав оппоненту исчерпывающий ответ, Лукас ждать не захотел, и Льюк, что-то бормоча, сел на свое место.

— Мне хотелось бы прекратить дискуссию о нравственных аспектах работы, иначе мы прозаседаем тут до полуночи,— сказал Лукас,— а я думаю, что даже мистер Льюк несколько утомился. Теперь нам нужно решить — верней, *вам* нужно решить,— как вести себя в дальнейшем. Вы узнали правду об «Альбионе». И от вас, леди и джентльмены, зависит его судьба. Вообще-то всегда, конечно, существовала опасность, что утечка секретной информации погубит благословенный «Альбион». Хотя мне-то с самого начала казалось, что бояться нам практически нечего.

В чем, собственно, заключалась опасность? В досужей трепотне? Так служащие постоянно треплются о своих учреждениях. И, к счастью, когда людей спрашивают: «Что вы делаете на работе?», они привычно отвечают: «Ничего не делаю», или: «Толку воду в ступе», или: «Переливаю из пустого в порожнее». А значит, трепотня про «Альбион» воспринималась бы как обычное преувеличение. Есть еще, правда, пресса и радио. Журналисты суют порой свой нос, куда их не просят, но едва речь заходит о национальной безопасности, как они сразу же умолкают — особенно если их припугнуть Актом о неразглашении государственных тайн.

И все же мы не убереглись. «Альбион», того и гляди, погибнет. Я-то, впрочем, считаю, что ничего страшного не произошло: мы можем и дальше морочить людям голову, но для этого, леди и джентльмены, вам, группе избранных, придется тянуть в одной упряжке с администрацией. Любому из вас ничего не стоит завтра же погубить «Альбион» — разгласите ваши сведения, и пресса немедленно поднимет шум: газетчики не любят, когда их дурачат.

Я вот упомянул про национальную безопасность. И наши дела действительно связаны с национальной безопасностью. Хотя и не совсем так, как могут понять журналисты. Мы не проводим тайных опытов с продовольственными карточками, не печатаем тайно паспортов, не подготовляем в тайне репатриации иммигрантов — мы тайно сокращаем количество людей, не занятых полезным трудом. И если наша тайна откроется, престижу страны, то есть, по существу, национальной безопасности, будет нанесен непоправимый ущерб. В этом случае, как

я уже упомянул, нынешнее правительство наверняка падет, но предупреждаю вас, леди и джентльмены: вам тоже несдобровать.

Отвечая на свой риторический вопрос, я сказал, что вас объединяет любопытство. Но вас объединяет не только это. Вы все безработные, леди и джентльмены. Вы никому не нужны. На ваше профессиональное мастерство — хотя и профессиональным мастерством обладает далеко не каждый из вас — нет больше спроса. Промышленные и коммерческие фирмы, где вы работали, не нуждаются в ваших услугах — да и большинства этих фирм теперь уже нет: разорились, вылетели, как говорится, в трубу. Найти работу, леди и джентльмены, становится с каждым годом все трудней и трудней. Надеюсь, вы простите меня за резкость, потому что я резко обнажаю суть дела для вашего же блага. «Альбион», леди и джентльмены, ваша последняя, ваша единственная надежда. Вот и решайте, отказаться вам от нее или нет.

Завершив свое выступление этим грозно прозвучавшим призывом, Лукас умолк и поклонился Грант-Пейнтону.

— Наверно, теперь мне лучше уйти, господин председатель?

С этими словами Лукас шагнул к краю сцены, как бы демонстрируя свою дисциплинированность, хотя уходить он явно не собирался. Грант-Пейнтон и Ардах о чем-то поговорили с ним, и он сел на стул Пам, а Грант-Пейнтон обратился к аудитории:

— Леди и джентльмены, все мы, я уверен, благодарны мистеру Лукасу за его чрезвычайно интересное выступление, на которое он потратил свое нерабочее время.

Думая, что Грант-Пейнтон мог бы и не произносить банальностей, Грайс отметил, что к нему отчасти вернулась авторитетная решительность, странным образом покидавшая его, когда он снимал желтошифонное платье и облезлый парик. Председатель Альбионской труппы очень, видимо, боялся этого вечера и теперь, чувствуя, что самое опасное уже позади, успокоился и приободрился.

— И все вы, я уверен, хотите, чтобы я поблагодарил его за предельную откровенность.— Сообразив, что никто, возможно, этого не хотел, Грант-Пейнтон поспешно сказал: — Однако время идет, к восьми часам нам надо закончить и освободить зал, а значит, у нас осталось на обсуждение итоговой резолюции меньше сорока минут. Мистер Лукас, не желая мешать нам, хотел уйти, но мы с мистером Ардахом решили попросить его остаться, чтобы ответить на вопросы, если они возникнут в процессе нашей дискуссии. Никто, надеюсь, не возражает? Или это надо поставить на голосование?

Не успел Грант-Пейнтон замолчать, как поднялся Джордж Формби.

— Вы хотите внести предложение, мистер Эйнтри?

— Нет, у меня вопрос, господин председатель. Что вы назвали «итоговой резолюцией»?

Грант-Пейнтон посмотрел на Лукаса, а тот повернулся к Ардаху и что-то ему сказал. Выудив из кармана листок бумаги, Ардах встал.

— Комитет установления истины британского треста «Альбион» считается распущенным, а каждый член комитета обязуется подписать Акт о неразглашении государственных тайн.

Ардах читал резолюцию с подчеркнуто неустрашимым, даже, пожалуй, вызывающим видом и последние слова почти прокричал, как бы ожидая взрыва возмущенных возражений. Но по залу прокатился только шепотный шорох, признак испуга, а не возмущения. Грайс прекрасно понимал чувства любителей: он и сам не без опасений вверял свою жизнь разным официальным бумагам вроде страховых полисов и прочих подобных документов, если ему предлагали их подписать.

Когда Ардах замолчал, встало сразу несколько человек. Грант-Пейнтон кивнул состарившейся Петуле Кларк, которая лепетала на прошлом собрании про секретные солдатские шахты в Олдершоте. Зря он дал ей слово, подумал Грайс; а впрочем, женщины тоже ведь

имеют право голоса, и Грант-Пейнтон хотел, по-видимому, играть роль справедливого председателя.

— У вас какое-нибудь предложение?

— Вы думаете, я насчет Акта?

— Да нет, это нам еще предстоит обсудить. Я думал, вы хотите предложить, чтобы во время обсуждения мистер Лукас не уходил.

— Ах, вот вы о чем. Что ж, я готова внести это предложение, если только меня поддержат. Вполне готова. Но мне-то хотелось спросить, не можем ли мы помочь слепым.

Как и в прошлый раз, когда она заговорила про свояка, Грант-Пейнтон ничего не понял. И, повторяя свой вопрос на предыдущем собрании, сказал:

— Может быть, вы уточните ваше предложение?

— Да вот, понимаете, мистер Лукас тут говорил, что мы, мол, ничего не делаем. Так я, например, и правда ничего, можно сказать, не делаю. Мне поручили аннулировать талоны, которые вырывают из дотационных книжечек в «Лакомщике», а их вовсе и незачем аннулировать, потому что они уже...

— Может, вы все-таки сформулируете свое предложение покороче: у нас мало времени.

— Да я просто хотела спросить мистера Лукаса, почему мы не можем делать что-нибудь нужное — почему бы нам, к примеру, не помочь слепым? Или старикам: они ведь очень нуждаются в помощи. Или детям. Я говорю, что мы могли бы ходить по больницам и...

— Я не совсем понимаю, *как* мы можем помочь старикам или детям,— оборвал ее Грант-Пейнтон, заметив на лицах коллег из оргбюро насмешливые улыбки.— В общем-то вы говорите по существу намеченной дискуссии. Но прежде всего нам надо выяснить, кто хочет, чтобы мистер Лукас не уходил. Вы можете внести предложение, чтобы он остался?

— Конечно могу, пожалуйста, пусть остается.

— Собрание поддерживает это предложение?

— Поддерживает! — закричали испытанные во многих заседаниях комитетчики.

— Кто за это предложение, прошу поднять руку!

Пока руки поднимались и опускались, опять нерешительно подымались и снова опускались, потому что в зале не оказалось единодушного большинства и люди хотели сначала узнать, куда дует ветер, а уж потом проголосовать, Ваарт своим обычным способом привлек внимание Грайса — ткнул его локтем в бок.

— Во лоботрясы-то! Давайте-ка отсюда смываться!

Грайс держал руку так, чтобы ее можно было вовремя и поднять, и опустить, а поэтому локоть Ваарта пребольно воткнулся ему в незащищенные ребра.

— А нас выпустят?

— Стало'ть, выпустят, а коль не выпустят, так мы им по сусалам.

Ссутулившись и приседая, чтобы не привлекать к себе внимания, Грайс протрусил на полусогнутых следом за Ваартом. У двери возникла небольшая заминка: Сидз говорил, что не имеет права их выпускать, а Ваарт ехидно спрашивал, как он собирается им помешать,— и Грайс, чтобы его не втянули в пререкания, повернулся лицом к залу, где псевдосержант из военного лагеря, забравшись на кресло, спорил с Грант-Пейнтоном.

— Мы сейчас голосуем,— унимал его Грант-Пейнтон.— У вас что — замечание по существу процедуры?

— Не знаю я никаких ваших процедур! У меня вопрос к мистеру Лукасу. Почему правительство дает нам работу, чтоб мы бездельничали, а не дело, чтоб мы работали?

Грайс попытался разгадать словесный ребус псевдосержанта, но Ваарт хлопнул его по плечу, и он понял, что путь открыт.

— А это, сэр, вне моей компетенции,— сказал, неприязненно ухмыльнувшись, Лукас, и Грайс подумал, что так ухмыляться умеют только высокопоставленные государственные чиновники.

Глава пятнадцатая

Когда они добрались до Грейн-Ярда, уже стемнело. В подковообразном, вымощенном булыжником переулке не было фонарей, но кое-где светились окна возрожденных мастерских, и Ваарт с Грайсом осторожно ковыляли от одного светового пятна к другому, пока не оказались у трухлявой двери типографской сторожки. Сторожка «Глашатая», напомнил себе Грайс,— «Глашатая», а не «Альбиона».

Арочные окна типографии лучились веселым светом. Будто на рождественской открытке, радостно подумал Грайс.

— Стало'ть, они уже подключились к электричеству,— удовлетворенно сказал Ваарт.— Давно, стало'ть, пора, а то на свечах-то и разориться, стало'ть, не долго.

Грайс предполагал, что в типографии остался Ферьер, да, может, еще Копланд — раз они взяли на себя командование, то уходят, наверно, последними, а перед уходом, возможно, болтают вдвоем о типографских делах. И его очень удивило, что из типографии вообще никто не ушел, хотя было уже довольно поздно. Наоборот, после того, как они с Ваартом отправились около шести на собрание Альбионской труппы, народу здесь еще прибавилось, и Грайс решил, что это те альбионцы, которые ждут, как сказал Ферьер, когда можно будет под каким-нибудь благовидным предлогом уволиться из «Альбиона». Они, видимо, наскоро перекусили после службы и явились работать во вторую смену. Да, работящий народ, подумал Грайс.

И все они явно предвкушали какое-то приятное событие. Уходя на собрание, Грайс видел, что ремонтные работы приближаются к концу, а теперь их, похоже, полностью завершили — хоть сейчас начинай печатать. Копланд, с видом торжествующего победителя, ревностно полировал медную кнопку на «уорфидейле»: этой кнопкой печатный станок приводился, наверно, в действие. Возможно, Ферьер произнесет небольшую речь и разобьет о станок бутылку дешевого шампанского, выбрав такое место, откуда стеклянные осколки не попадут в печатающее устройство.

У линотипов, пока еще бездействующих, уже стояли наборщики. Возле длинной металлической полки, где, по словам Ферьера, верстались полосы, стояли братья Пенни с деревянными линейками в руках и три незнакомых Грайсу альбионца. Миссис Рашман, ее жених и Хаким, с кипами бумаги в руках — на бумаге такого формата печатают обычно плакаты или афиши,— неподвижно застыли в дверях остекленной «конторки», словно бы позируя невидимому фотографу, а чуть поодаль, оцепенело таращась на них, замерла Тельма, как будто они приказали ей постоять в сторонке, пока их будут снимать. Осмотревшись повнимательней, Грайс увидел возле неизвестных ему типографских механизмов многих своих коллег по «Альбиону»: если не считать отдела канцпринадлежностей, то полнее всего здесь, пожалуй, была представлена «нутряшка». Живописная картинка, мимолетно подумал он. Все новоиспеченные полиграфисты ждали, вероятно, сигнала Ферьера, а он молча смотрел, как Копланд надраивает до зеркального блеска пусковую кнопку. Работали сейчас только однорукие швейцары. Траншея, по которой тянулись кабели, тайно подключенные к электросети, была уже засыпана, и швейцары укладывали на покрытый цементным раствором пол растрескавшиеся плитки.

А вот Памелы Грайс не обнаружил и тут.

— Мы хотели испробовать «уорфидейл», да решили, что честь первой пробы по праву принадлежит вам,— сказал Ваарту Ферьер.— Ну, а как собрание? Что вы там узнали?

Ваарт коротко пересказал Ферьеру речь Лукаса, но Грайс не очень-то прислушивался, тем более что Копланд постоянно перебивал Ваарта невнятными вопросами. Однако сразу же посерьезневший Ферьер слушал его с напряженным вниманием.

— Вот уж не ожидал,— сказал он под конец.— Никак не ожидал, что они же все это и организовали. Я думал, Альбионская труппа на самом деле... на самом деле...

— Банда лоботрясов,— помог ему Ваарт.

— Я-то хотел сказать, *противостояла администрации.* Ведь многие рядовые любители считали себя оппозиционерами. То-то они, наверно, расстроились.

— Лоботрясы-то? Расстроились? — «Мог бы для разнообразия как-нибудь по-новому их обозвать»,— с раздражением подумал Грайс.— Да они тряслись от страху, ровно листы на поганой осине. Им же только жалованье, стало'ть, и нужно. Посули им это жалованье — так они свой смертный приговор подмахнут, а не только что ихний растреклятый акт. Хорошо хоть, мы им не доверяли, лоботрясам позорным!

— А я вот как раз и думаю — *хорошо ли* мы от них таились? Мы не доверяли Памеле Фос, а ведь нам и в голову не приходило, что Грант-Пейнтон с ней заодно. Эх, надо было ее как следует допросить!

— Да на кой она, стало'ть, нужна?

— Если б нам была известна вся правда, мы бы с этой Фос по-иному, знаете ли, обошлись. А впрочем, теперь уже поздно жалеть. Теперь нам нужно решить, успела ли она рассказать кому-нибудь про типографию.

— Да ни в коем разе! — заверил его Ваарт.— Я ихнего Лукаса так завел, что он на меня ровно змей накинулся, а про типографию ни словечка не сказал. Бубнил только, мол, в печатном деле до хрена бездельников кормится — и все. Мы с ним как псы сцепились, он бы, если б знал, беспременно про типографию стал бы орать, а он — ни гугу. Нет, ничего он, стало'ть, про нас не знает. Правильно я говорю?

Последний вопрос Ваарт задал Грайсу, и он в ответ уклончиво покивал головой. Ему было не до Ваарта. Он думал о фразе Ферьера: «Мы бы с этой Фос по-иному обошлись», и у него от ужаса шевельнулись волосы на макушке. «Теперь уже поздно жалеть»,— сказал Ферьер. Так что же они с ней сделали?!

— Даже если она и донесла,— вмешался Копланд, не отрывая довольного взгляда от надраенной медной кнопки,— навредить они нам все равно не смогут. И она наверняка это понимала.

Хотя Копланд говорил по-всегдашнему невнятно; Грайс без труда разобрал, что про Пам он выразился в прошедшем времени — «понимала».

— А где, кстати, Пам? — небрежно спросил Грайс, чувствуя со страхом, что голос у него сдавленно сиплый.

Копланд и Ферьер многозначительно посмотрели на Ваарта, а потом их взгляды уперлись в засыпанную траншею, уже почти скрытую старыми керамическими плитками. Швейцары, хотя у них и не хватало на троих трех рук, работали очень споро, и Грайс видел, что через несколько минут нельзя будет определить, где проходила траншея.

— Господи Исусе! — приглушенно воскликнул Ваарт.

— Это был несчастный случай,— негромко, но жестко и настойчиво проговорил Ферьер.

— У нас целая дюжина свидетелей,— добавил Копланд. Оглядевшись, Грайс понял, что и Хаким, и миссис Рашман, и ее жених, и братья Пенни, и швейцары, и даже Тельма знают, о чем идет речь, но как бы ничего не слышат.

— Господи, пронеси,— пробормотал Ваарт.— А что хоть случилось-то?

— Да все от страха.— Ферьер обнял Ваарта и Грайса за плечи, словно считал их обоих соучастниками. Грайс вовсе не был уверен, что ему это нравится, но Ферьер говорил убедительно и напористо, он произвел бы хорошее впечатление на присяжных, если б дело дошло до суда. Грайсу, конечно, повезло, что его здесь не было, но винить во всем и правда, похоже, следовало только несчастный случай.

А спровоцировала его, как вскоре выяснилось, миссис Рашман. Она повздорила с Пам и замахнулась на нее своей сумкой. Началось-то все более или менее спокойно, Пам сразу сообразила, чем они тут занимаются, и предупредила Ферьера, что даром им это не пройдет. Они, по ее словам, готовили гибель «Альбиону» и другим таким же, как она сказала, «точкам», которые спасают британскую экономику от развала и анархии. Ферьер не согласился с ней, и Грайс представил себе по его рассказу их спор: нетерпимые, верноподданно догматические аргументы Пам и спокойные, исполненные здравой житейской мудрости возражения Ферьера. Грайсу теперь было даже странно, как это он раньше не замечал самодовольной ограниченности Пам. Ферьер наверняка шутя победил бы ее в споре.

Но вмешалась миссис Рашман, обозвав почему-то Пам бесчувственной рыбой, хотя этого-то обвинения, как убедился на собственном опыте Грайс, Пам вовсе не заслуживала. Она тут же ехидно сказала миссис Рашман, что та высунув язык гоняется за мужчинами и что она вцепилась в мистера Кули, после того как у нее ничего не вышло с Бизли, Сидзом и братьями Пенни. А еще Пам добавила, что миссис Рашман, дескать, и сейчас пристает к Хакиму, чтобы завести шашни на стороне. Миссис Рашман, конечно, разъярилась, обозвала Пам самодовольной сукой и замахнулась в остервенении сумкой, похожей на торбу бродячего торговца. Пам невольно попятилась, но ее схватил за руку один из швейцаров, чтобы она не убежала слишком озлобленной и напуганной. Пам вырвалась, бросилась, не разбирая дороги, к выходу, поскользнулась на вымазанном машинным маслом полу и со всего размаха ударилась головой о станину «уорфидейла». Это был несчастный случай.

Гибель Пам взволновала Грайса не больше и не меньше, чем безвременная смерть какого-нибудь сослуживца от инфаркта: подобные случаи помогали служащим скоротать во взволнованных разговорах утро, так же, как его роман с Пам помог ему однажды скоротать вечер. Он вспоминал этот вечер как давнюю-предавнюю историю, обогатившую его кое-каким полезным опытом. Теперь он будет выбирать служебных подруг из своего клана. И, судя по тому, что он услышал сейчас про миссис Рашман, она вполне подходит для служебного романа, его первое впечатление оказалось правильным.

— Так они, стало'ть, припрут сюда ее разыскивать? — озабоченно спросил Ваарт Ферьера, когда тот кончил свой рассказ.

— Вряд ли,— спокойно ответил Ферьер.— Если она, как мы надеемся, действительно никому не говорила, что собирается сюда пойти, то все, я думаю, образуется. Раз Лукасу, по вашим же словам, ничего о типографии неизвестно, значит, она промолчала — решила, наверно, отличиться, разузнать все без помощников,— и никто ее исчезновение с нами не свяжет.

Их, конечно, дело, у Грайса-то руки были чистые, и все же он счел своим долгом предостеречь Ферьера.

— Вы уверены? Мне бы не хотелось каркать, но исчезновение Пам наверняка свяжут с пропажей мебели и уходом большинства сотрудников нашего отдела. Они ведь обязательно захотят дознаться, что к чему.

— Дознание-то они, безусловно, проведут,— отозвался Ферьер.— И обнаружат хорошо подготовленную кражу мебели из отдела канцпринадлежностей и бумаги со склада снабжения. Таким происшествием никого в деловом мире не удивишь. Да только про нас-то они

едва ли дознаются. Ну, а если и дознаются — что они могут нам сделать? Отдадут под суд? Вы думаете, им нужен скандальный процесс?

— Во-во, тогда уж, как Лукас лоботрясов-то стращал, ихнему треклятому правительству крышка.

— Больше того,— серьезно добавил Ферьер,— тогда и всей Англии, пожалуй, несдобровать.— А потом он шагнул вперед, похлопал себя по карманам халата и, надеясь прогнать мрачное настроение, весело сказал: — Я тут набросал кое-какие заметки для торжественной речи, но, по-моему, мы и так уже вволю наговорились, давайте-ка займемся делом. Джек! Вы собираетесь включить «уорфидейл», или мне самому нажать кнопку, чтобы прикончить пустые разговоры?

— А как с нашим клерком? — кивком указав на Грайса, спросил Ваарт.

— Лучше уж *Клемом*,— поправил его Грайс, не без усилия, как всегда в рабочее время, припоминая собственное имя.

— Мы уже получили первый заказ,— радостно ухмыляясь, объявил ему Копланд.— Пять сотен рекламных афиш для одного туристского агентства сомнительной репутации.

— «На самолете — в туристское путешествие!» — с улыбкой добавил Ферьер.— У нас будет много работы. Так можем мы на вас рассчитывать, мистер Грайс?

— Соглашайся, парень, деваться-то тебе некуда,— сказал Ваарт.

Скажи это кто-нибудь другой, Грайс, пожалуй, подумал бы, что ему подспудно угрожают, но Ваарт лучился радушным доброжелательством, и Грайс ничуть не встревожился, хотя именно сейчас вдруг сообразил, что тот не отходил от него ни на шаг с тех самых пор, как он переступил порог «Альбиона»... то есть, простите, «Глашатая».

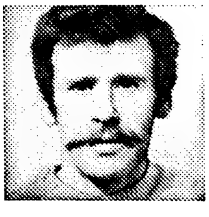
И к нему опять возвратилась легкая радость, неожиданно нахлынувшая на него, когда он в первый раз повстречался тут с Ферьером. Глубоко вздохнув, он ощутил приятный запах типографской краски. Дома его ждал ужин... да и черт с ним, с ужином. Ему хотелось радостно крикнуть: «Конечно, можете!», но он решил ответить обстоятельней и солидней.

— Разрешите мне сказать так,— начал Грайс, неоднократно слышавший этот зачин в речах политиков.— У меня был чрезвычайно насыщенный день. Сначала ваши доводы показались мне очень убедительными, а потом, на собрании Альбионской труппы, Лукас меня вроде бы переубедил. Может быть, я и вообще-то чересчур легко поддаюсь чужим влияниям, но сейчас мне снова кажется, что «Глашатай» привлекает меня больше, чем официальный «Альбион» — при прочих равных условиях.

Грайса слушали вежливо — только Ваарт не удержался от тяжкого вздоха, который прозвучал, как болезненный стон,— однако Грайс пожалел, что развел все эти турусы на колесах и ляпнул «при прочих равных условиях», выдав свою расчетливую сверхосторожность. Надо было срочно спасать положение, и ему в голову пришла дежурная отдельская фраза, которая могла, на его взгляд, почти всех их развеселить:

— Я ответил на ваш вопрос?

Но было уже поздно. Пока он думал, Ваарт нажал блестящую медную кнопку, и его последние слова утонули в реве «уорфидейла».



КИСТЯКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский переводчик англоязычной прозы и поэзии. В его переводах публиковались произведения Уильяма Фолкнера, Роберта Данкена, Чарльза П. Сноу, Флэннери О'Коннор, Амосы Тутуолы, Эзры Паунда и др.

ЭТИ УНЫЛЫЕ И ЧУДНЫЕ КОНТОРСКИЕ БУДНИ

Кейт Уотерхаус и его книги

Кейт Уотерхаус родился в 1929 году в семье уличного торговца в городе Лидсе на индустриальном севере Англии. В юности он переменил немало профессий: работал подмастерьем у сапожника, в похоронной конторе, в гараже, потом стал репортером в местной йоркширской газете.

Для многих писателей газета оказывается своего рода стартовой площадкой — они покидают ее, как только перед ними открываются широкие горизонты писательства. Уотерхаус верен журналистике до сих пор. Будучи автором семи романов, он продолжает работать в газете — по понедельникам и четвергам публикует свою колонку в популярной «Дейли миррор». Он пишет короткие жанровые сценки, очерки, публицистические выступления по проблемам охраны окружающей среды. Он убежден в том, что повседневный труд журналиста очень помогает труду писательскому.

Годы репортерства накладывают неизгладимый отпечаток. Живой, общительный, Уотерхаус всегда «нацелен» на собеседника — острый взгляд будто ищет особенность одежды, манеры, деталь, которую можно обыграть. Наверняка с давних репортерских времен сохранилась у писателя привычка к быстрой ходьбе. Коренастый и плотный, он так стремительно мчался по людным улицам лондонского Вест-Энда, что я с трудом поспевал за ним...

— Знаешь, сколько я себя помню, мне всегда хотелось сочинять. Уже с восьми лет я стал рассылать свои писания по редакциям. В первый раз меня напечатали в одиннадцать лет, второй в пятнадцать...

Мы сидим в небольшом и уютном ресторане старинного лондонского клуба «Парик и перо», что на Флит-стрит. Членами этого клуба традиционно состоят журналисты и судейские чиновники, поскольку неподалеку расположены не только редакции многих газет, но и Дом правосудия. Мой собеседник ушел в воспоминания детства и юности, не всегда приятные, но всегда дорогие.

Конечно, на хлеб первыми публикациями заработать не удавалось. Отец разорился, с молотка пошли и дом и мебель. Но чем бы юный Кейт ни зарабатывал себе на жизнь, желание писать не пропадало. Он стал сочинять романы, действие которых протекало в обширных английских поместьях — ведь именно об этом были написаны все книги, взятые в местной библиотеке.

Откровением показался сборник рассказов Дилана Томаса — стало быть, можно писать и о реальной жизни, о той, которую сам знаешь.

И вот в 1957 году увидел свет роман Кейта Уотерхауса «Есть счастливая земля...». Хотя тема его традиционна — детство, ее воплощение вполне самобытно. Роман написан от лица одиннадцатилетнего мальчишки из рабочего пригорода Лидса и на таком «мальчишеском» жаргоне, что нередко его не понимают и взрослые англичане. Безымянный герой — рассказчик — самый обычный парнишка: озорничает, не слушается тетку, хочет завоевать авторитет среди приятелей кулаками, но не может, страдает от отсутствия настоящей дружбы. От сверстников и сверстниц его отличает мечтательность и непреодолимая склонность к вранью, точнее к сочинительству — его как будто разрывает на части безудержная фантазия. Все эти качества унаследует Билли-враль... Но у героя книги «Есть счастливая земля...» имеется нечто общее с самим писателем — трепетное отношение к печатному слову: мальчик «издает» собственную газету, вырезая и наклеивая на чистый лист бумаги заметки из настоящих газет...

Большой успех пришел к молодому писателю в 1960 году, когда увидела свет повесть «Билли-враль». В главной роли в одноименном фильме снялся тогда молодой Том Кортни, один из наиболее известных современных английских актеров. На сценах театров шла драматургическая версия повести. Юный Билли-враль стал популярным среди молодежи — его смутный, стихийный протест оказался близок многим.

Хотя в последних своих произведениях Уотерхаус не обращался к теме молодежи, его всерьез волнует судьба подрастающего поколения:

«Раньше подростки говорили на своем жаргоне, который писатель мог использовать. Сегодня пришедшие на смену хиппи пáнки объясняются жестами и восклицаниями, которые попросту нельзя воспроизвести на бумаге».

Не скрывая тревоги, Уотерхаус в разговоре со мной повторил то, что я не без изумления уже слышал от многих английских знакомых: система образования в Англии в глубоком кризисе — речь, естественно, не идет о немногих привилегированных школах и университетах. В Англии самый большой (из всех западноевропейских стран) процент школьников прерывает образование, не достигнув шестнадцати лет. Сотни, тысячи молодых людей пополняют ряды безработных, ибо не имеют никаких шансов получить квалификацию, необходимую для труда на современном производстве.

Беседа с писателем открыла еще одно измерение в знакомых произведениях: ведь и Билли из одноименной повести, и Клементу Грайсу, центральному персонажу «Конторских будней», прежде всего не хватает образования, общей культуры.

Сопоставление это необходимо, ибо Грайс — повзрослевший Билли, один из возможных вариантов предстоящей судьбы неутомимого фантазера из маленького йоркширского городка. Кстати, с подобной трактовкой охотно согласился и Уотерхаус: ведь и сам Билли понимает, что скорее всего станет рядовым клерком. В постоянной лжи его и самому себе и окружающим есть своеобразный квазиромантический

протест против унылого стандарта повседневности. Обычно романтический герой уверен в своей силе и правоте. Билли же фантазирует и сочиняет от неуверенности в себе.

При всей своей законопослушности Грайс крайне любопытен, а любопытство не поощряется в «Альбионе». Хотя Грайс и не может быть с полным основанием причислен к категории «вралей», он тоже живет в совершенно призрачном мире — мире телевизионных грез. Недаром все люди, с которыми ему доводится встречаться в жизни, напоминают знакомых по светящемуся экрану актеров и политиков. Он даже толком не помнит их имен, а только роли или должности.

Билли сближает с Грайсом то, что он консервативен (речь, разумеется, идет не о политическом консерватизме, а о традиционном английском скептическом отношении к любым переменам). Как и Грайс, Билли осторожен, нерешителен, чтобы не сказать труслив.

В герое ранней повести как бы сосуществовали, и не слишком мирно, два человека: «внешний» — бунтующий, деятельный, язвительный и «внутренний» — неуверенный в своих силах, пугливый, склонный к конформизму, более всего страшащийся неизведанного, словом, типичный обыватель. В Грайсе уже нет столь резкого разрыва между «внешним» и «внутренним». Грайс, можно сказать, гордящийся своим уделом обыватель. Но логика жизни такова, что Грайс, пожалуй помимо собственного желания, втягивается в некую общественную деятельность. Сначала просто из любопытства, потом из чувства добропорядочности и свойственного любому человеку стремления узнать правду.

Собственно, все произведения Уотерхауза 60—70-х годов являются художественным исследованием постепенного взросления Билли, его превращения из наивного фантазера в законопослушного члена «общества благоденствия». Процесс этот идет болезненно.

В 1975 году выходит второй роман о Билли — «Билли-враль на Луне». Как и следовало ожидать, мечты героя не сбылись: он так и не стал литератором и не превратился в лондонца. Однако чисто формально он достаточно далеко продвинулся от мелкого клерка в похоронной конторе. Теперь, в тридцать три года, он проживает в хорошей квартире в одном из городов-спутников столицы и служит в местном муниципалитете в отделе информации и рекламы, сочиняя, правда, не сатирические скетчи, а путеводитель по этому в высшей степени «прогрессивному» городу-спутнику. Одним словом, Билли, как и он сам себе предрекал, стал клерком. У него есть жена, машина, счет в банке — внешние атрибуты благопристойности и благополучия. Перед ним раскрываются реальные перспективы дальнейшей чиновнической карьеры. Но для этого нужно лгать по-крупному, быть если не соучастником, то безгласным свидетелем постоянных незаконных махинаций и афер, в которых погрязли чиновники. Коррупция принимает такие размеры, что мэр города в конце концов оказывается под арестом.

Но Билли, в сущности, мелкий, безобидный враль, а не казнокрад. В тридцать с лишним лет он сохраняет своеобразную инфантильность, свойственную обычно центральному персонажу классического пикарескного романа,— при всех своих пороках и недостатках главный герой все же не в пример лучше большинства окружающих. Не может стать окончательным конформистом и чинуша Грайс. Снедаемый демоном любопытства, он пускается в, как ему кажется, рискованное расследование тайны «Альбиона».

Во втором романе о Билли еще более проясняется главный замысел автора — рассказать о человеке, выбирающем особую форму эскепизма в обществе, где правят многоликая ложь и коррупция. Ведь именно посредством игры, нелепых фантазий и лжи Билли старательно избегает реальных тягот и забот. Но подобная двойная жизнь ему, человеку неглупому, не приносит, да и не может принести, удовлетворения. Поэтому-то он так полностью и не «вписывается» в ту социальную роль, которую ему предлагает общество.

Точно так же, как и Билли, не могут найти себе место в обществе герои двух книг, предшествующих роману «Билли-враль на Луне»,— «Джабб» (1963) и «Антикварная лавка» (1968).

Сирил Джабб из одноименного романа — тридцатишестилетний клерк, сборщик квартирной платы. Он, правда, не такой безудержный враль, как Билли, но неисправимый мечтатель и фантазер. Человек он незлой и, повинуясь естественным импульсам, не хочет причинять окружающим никаких неприятностей, что при его профессии не так-то просто, особенно потому, что в подведомственных ему домах живут люди в основном неимущие. Однако мотивы всех его добрых побуждений окружающие истолковывают превратно. В этой истории, казалось бы, исключительно частной жизни есть немалый социально значимый подтекст: одинокий и никому не нужный Джабб готов примкнуть к тем, кто его примет, даже вступить в расистскую и фашистскую организацию «Британия для британцев». Существенно, что еще двадцать лет назад писатель заметил и счел нужным привлечь внимание к активизации подобных полуфашистских групп. За последние годы расовые отношения на Британских островах заметно обострились.

Напоминает и Билли и Сирила Уильям, владелец крошечной антикварной лавки из следующей книги. У бедняги нет никакой коммерческой жилки, но он держится за свое убыточное «хозяйство», ибо чиновническая служба противоречит его представлению о настоящей, полнокровной жизни. Однако краткая экскурсия в мир богемы, куда его неодолимо влекло, открыла ему печальную истину. Рекламный глянец артистической среды, изготавливаемый на потребу обывателю, на глазах поблек.

Остались все те же будни, изнурительный и не дающий настоящего удовлетворения труд и вечная неуверенность в завтрашнем дне.

Персонажей всех книг Уотерхауса, предшествовавших «Конторским будням», объединял некий парадокс: в силу жизненных обстоятельств, происхождения, образования им была уготована судьба клерка, чиновника, а они жаждали хоть какой-нибудь творческой деятельности, которая оказывалась невозможной, чаще всего из-за отсутствия у них необходимых способностей. Но даже трезвая самооценка не снимала неудовлетворенности, дисгармонии существования...

Как будто иначе, гармонично и счастливо, не предвещая ни бурь, ни перемен, текут однообразные будни Клемента Грайса, который «был вполне удовлетворен ролью рядового клерка» и даже, вспомним, заранее отказался от возможных повышений. Можно ли представить себе бóльшую законопослушность и умиротворенность! Грайс на удивление доволен своей жизнью. Не страшит его даже временная безработица.

Явившись в «Альбион», он с радостью окунается в привычную, родную атмосферу. Все так мило и знакомо — типовые автоматы, отпускающие в бумажные стаканчики кофе или чай, картотеки, проволочные подносы для бумаг, даже письменный стол видится ему давним и близким приятелем: ведь раньше Грайс подвизался в конторе, занимавшейся поставкой учрежденческой мебели, и выписывал накладные именно на такие столы...

На всех одиннадцати этажах здания из стекла и бетона бурно кипит работа: стучат пишущие машинки; склонив головы, чиновники углубленно корпят над бумагами; шуршат бесконечные потоки входящих и исходящих, огромный статистический отдел бешено подсчитывает суммы цифр... телефонных номеров. Но бессмысленность будней «Альбиона» открывается Грайсу не сразу. Писатель умело выстраивает сюжет, привнося в него элемент таинственности. Местами роман даже напоминает детектив.

Но когда выясняется истина, роман «Конторские будни» оказывается более значимым, нежели традиционная, исполненная в духе знаменитого «Закона Паркинсона» сатира на вездесущую бюрократию. Да, Грайс и его соратники — истинные поэты бланков и циркуляров, абсурдная тщета их деятельности изображена в романе точно и остроумно, но особой новизны в этом нет. В книге есть второй уровень сатиры: в гротескной, преувеличенной форме обнажается исходный антигуманизм «общества благоденствия», лишающего сотни и тысячи людей самого главного — осмысленного, общественно полезного труда.

Подлинного драматизма исполнен вопрос одного из персонажей: «Почему правительство дает нам работу, чтоб мы бездельничали, а не дело, чтоб мы работали?»

Конечно, «Альбион», «Экспорт» и иные фирмы подобного рода — плод художественного вымысла. Не надо забывать и о том, что роман увидел свет в 1978 году, когда у власти было лейбористское правительство, не сумевшее решить проблему безработицы. За годы правления консерваторов положение стало еще хуже. Кабинет Тэтчер даже и вида не делает, что защищает интересы трудящихся. Однако создание контор типа «Альбиона» диктуется, как видно из романа, вовсе не благотворительностью. Достаточно вспомнить откровения Лукаса: «...считать вас безработными было бы несколько дороже, чем платить вам жалованье. Да, леди и джентльмены, ваше жалованье обходится налогоплательщикам чуть дешевле пособия по безработице: вы ведь платите подоходный налог и пенсионную страховку; а главное, вас не обслуживает армия чиновников социального обеспечения. Представьте себе эту армию, и вы поймете, что «Альбион» существует не зря».

Действительно, «Альбион» был создан не зря, его гипотетическая структура позволяет писателю обнажить не только экономическую несостоятельность современного капитализма, но и его пропагандистскую изворотливость, давно отработанные приемы сокрытия истины. Устами все того же пресловутого Лукаса, мрачная фигура которого словно возвышается над уродливой коробкой «Альбиона», писатель приоткрывает завесу еще над одной чертой современного западного общества — постоянным контролем за настроениями и мыслями его рядовых членов, перерастающим в тотальную слежку.

И правда, если бы «Альбион» на самом деле существовал, властям предержащим было бы намного проще держать в узде многие сотни, даже тысячи безработных. Нельзя не обратить внимания на откровения Лукаса: «Когда вы поступали к нам на работу, я, беседуя с вами, всячески подчеркивал, что ваша должность не потребует от вас любознательности или инициативы. Вы были выбраны мною именно за вашу инертность, я бы даже сказал — за вашу инертную самоуспокоенность. Ничего обидного в этом нет: инертная самоуспокоенность рождает лояльность, а лояльные, или, как их иногда несправедливо называют, верноподданные, сотрудники — это золотой фонд современного предпринимательства. И примером здесь могут служить гигантские процветающие концерны Соединенных Штатов».

Подчеркнутый интерес, проявляемый руководством «Альбиона» к особенно «любознательным», писателем вовсе не преувеличен. Известно, к примеру, что в компьютере британской контрразведки сегодня содержится досье на 20 миллионов человек. И простаку ясно, что среди них немало безработных — потенциальных смутьянов и бунтарей. Ведь трудно примириться с тем, что ты — лишний, что руки и умение твое никому не нужны. Многие герои «Конторских будней» не склонны безропотно принимать абсурдную трату их способностей и энергии. Конечно, откровенно наивен выход из положения, предложенный в книге,— возрождение старинных маленьких типографий. Но общая идея Уотерхауса понятна и не может не вызвать со-

чувствия. Бережное, можно сказать, трепетное отношение к печатному слову писатель пронес через всю жизнь: ведь еще мальчишкой герой романа «Есть счастливая земля...» аккуратно наклеивал газетные вырезки.

Бесспорно, печатное слово — хлеб мировой культуры, необходимая основа человеческого общения.

Недаром в типографии, расположенной в старинном диккенсовском уголке Лондона, царит совершенно иная атмосфера, нежели в «Альбионе». Здесь люди трудятся вместе, в коллективе, на общее благо. Там — сотни отчужденных одиночек выполняют никому не нужную, бессмысленную работу, бездумно служа циркулярам и предписаниям.

Отпечатанное на типографском станке слово для Уотерхауса реальнее и правдивее красочных телевизионных миражей, которыми заполнен вечерний досуг сотен тысяч грайсов западного мира.

Печатное слово обладает душой, которая утрачивается и обезличивается при ксерокопировании. Сам Уотерхаус считает, что сегодня на подмогу бюрократии пришли могущественные союзники в лице множительных аппаратов. Теперь не составляет никакого труда размножить любую чепуховую инструкцию в пятидесяти экземплярах. Наличие пятидесяти копий предполагает пятьдесят получателей, у которых в свою очередь должно быть пятьдесят секретарш, чтобы эти инструкции принять, зарегистрировать и подать начальству на стол и т. д. Одним словом, симуляция деятельности нарастает, как снежная лавина.

«Конторские будни» — нечастый в современной английской литературе пример противостояния труда и капитала. Роман последовательно опровергает распространенный на Западе миф о том, что, дескать, безработица неизбежна и в общем-то не так уж и страшна, если государство достаточно богато, чтобы содержать в относительном благополучии тех, кому работы не досталось. В книге неоднократно возникает мотив: оплаченное безделье изматывает хуже любой работы. Нельзя не увидеть в этом прочной веры писателя в беспредельные творческие силы человека, его предназначенности к полезной деятельности, необходимости раскрытия потенциала каждой личности. Пафос защиты человеческого достоинства, попираемого бездуховным «обществом благоденствия», пронизывает всю книгу.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ

■

Из венгерской поэзии

С венгерского

МИКЛОШ ВЕРЕШ

Песнь любви

С черешни цветень снеговой
летит качаясь сонно
в какую сказку мы с тобой
отправимся Илона

по синей тверди полечу
подобный отдаленно
шагаловскому скрипачу
летим со мной Илона

во мне тропинки и лужки
признают непоседу
певца увидят чудаки
бредущие по свету

а ты по тверди по земной
гулять пойдешь до ночи
зарницы — заработок мой —
ловя в цветной платочек

ты напоешь мне вновь звезду
чтоб я не заблудился
и глупым лбом о пустоту
как об стену не бился

срывает времени волна
преграды и препоны
как славно нас несет она
ты только глянь Илона

как нас влечет потоком вниз
не кажется ль в бреду нам
что вдруг возникнет жизни смысл
в словах что я придумал

и в царстве контуров где плоть
светла и нереальна
от счастья слезы брызнут хоть
оно и беспечально

и там тобою стану я
соединят нас гены
и заструится кровь моя
в твоих Илона венах

мы сад мы песня бытия
мы вечны и нетленны

© Vasy Géza, editor, 1977.

МИКЛОШ ВЕРЕШ — VERESS MIKLÓS (род. в 1942 г.).

Венгерский поэт, лауреат премии Аттилы Йожефа. Автор сборников стихов «Лес для зверей» («Erdö a vadoknak», 1973), «Жестяной король» («Bádogkirály», 1975) и других. В русском переводе стихи М. Вереша печатались в советской периодике.
Публикуемые стихотворения взяты из антологии «Видящий море» («Tengerlátó», 1977).

Скорбь и надежда

На смерть Альенде

1

Плачь сентябрьский дождик плачь
дождь от горечи горяч
полон пепла и свинца
дождь кружащий у лица
не задев его — оно
далей солнечных полно

плачь и плачься надо мной
дождик долгий проливной
дождь наполненный как воз
гарью танков нефтью слез
не смывающий следов
пуль и кованых подков

окровавлен и горяч
Революцию оплачь

2

Кто Альенде скорбя оплакал —
тот оплакал его дела
наш Альенде убит
однако
Революция не умерла

снова танки грохочут где-то
взял каратель на смерть патент
снова в пламени Ла Монеда
в горе нация континент

в муках
трудно
революционно
мир родился во время оно
из расколотого ядра

кто оплакивает Альенде в
изголовье его одра
тот оплакивает конечно
не сожженный в дыму дворец
а сожженную человечность
и надежды людской конец —
подло
там в свистопляске дикой
пулей срезана точно нить
вера в то что бескровной тихой
Революция может быть

3

Альенде
покоится в Санта-Инес
но тело его
непокорно смерти
под землей оно прорастает
корнями
пронзая всю громаду Южной
Америки

Альенде
в подземном жилище
трудится
пишет речи
звонит по телефону
организует борьбу

каждый день
могилу Альенде
раскапывают
проверяя:
а в самом ли деле он мертв?

в такие минуты
Альенде
лежит неподвижно строго
даже губы не дрогнут в улыбке —
подполье это подполье
дисциплина прежде всего

4

Кто Чили оплакал безмолвно —
тот оплакал народа судьбу
Революция
безусловно
продолжает борьбу:
горе гневно зажатое в кулаки
— Революция
голод костью торчащий из детской
руки
— Революция
злак проросший из мертвых
глазниц
— Революция
свежесть краски на стенах
где убитые падали ниц
— Революция
пробуждение жертв заточенных в
остроГ
пепел — песня летучая книжных
костров
почву горькой земли
увлажнившая кровь
небеса над страною — грядущая
вновь

РЕВОЛЮЦИЯ

5

Затихай сентябрьский дождь
полный нами полный Чили
чтоб скорей мы отточили
Революции мечи
дождь кровавый молчи

Перевод ЛЬВА БЕРИНСКОГО

ЙОЖЕФ РАТКО

Конец лета

Дни летние готовятся к отлету,
включают реактивные моторы
и мчатся по сереющему небу —
стихает гул. А у земли — ожог...
Гуляют ветры в юбках
многослойных,
несут на головах луну пустую,
как вымытый в кипенье горных
речек,
сверкающий от чистоты горшок.
А наших птиц, срывая с
небосвода,
на юг швыряет дикая погода,
бросает их как камни, и кричат,
о горизонт летуньи ударяясь,
и яблони свои одежды — прочь,
и яблоки, что как надежда
сладки,
краснеют и дрожат от лихорадки,
их люди выбивают как глаза.
И ждут беды деревья. И гроза
на них — воды холодную лавину,
их молния безбожно лупит в
спину
подкованным на совесть сапогом.
Земля своих не заслоняет чад,
стихии так безжалостны и грубы,
тут зверь бы заорал,
оскалив зубы,
а яблони униженно молчат.
Я знаю их грядущее. Придет
к ним полное освобожденье
снова,
и мученицы вновь тела расправят,
и станет плоть их нежной и
тугой,
и, чуя соков бег и дрожь зачатья,
потребуют они: вернуть им
платья,
и гордо их наденут принародно,
и человека сделают слугой.
Он их нарядит. Ноющее тело
он будет гладить теплой,
загрубелой
на труд и ласку созданной рукой.

Останься с нами, бедность

С нами останься, бедность,
дай нам семь испытаний,
полы пальто отсеки,
чтоб мы не взлетели до срока,
вытри из глаз сочащийся
свет, промокни наши слезы,
не позволяй бесстыдству
на лоб нам приклеить бумажку,
как делают это сытые,

© Ratkó József, 1970.

ЙОЖЕФ РАТКО — RATKÓ JÓZSEF (род. в 1936 г.).

Венгерский поэт. Автор сборников стихов «Без страха» («Félelem nélkül», 1966), «Безоружный» («Fegyvertelenül», 1968), «Хлебом единым» («Egy kenyéren», 1970) и др.
На русский язык переводится впервые.
Публикуемое стихотворение взято из сборника «Хлебом единым».

заказав цыганскую песню
и сотенную купюру
на лоб первой скрипке
пришлепнув,
сперва поплевав на деньги.
С нами останься, бедность,
верни по домам сыновей,
что землю, живую,
как сердце,
покинуть легко готовы,
и городскому брату,
потерявшему нежность к хлебу,
бесчувственному и безбожному,
в душу перстом постучи.
Бедность, останься с нами,
нам нужна твоя строгость:
чтоб избранные не забывали
матерь родную свою.
Они выбирались из грязи —
мы им подставляли руки...
теперь они, как на ступени,
ноги нам ставят на лоб,
хрустит наше слабое слово
под беспощадной ступней.
Останься же с нами, бедность,
обучи их слову и делу,
на ладони клеймо им выжги
такое же, как у нас:
нам его выжгла вера,
любовь его выжгла к людям,
любовь к земле его выжгла
и каждодневный труд.
Бедность, останься с нами —
пусть тянутся к небу школы,
к воде прорастают колодцы
и зреет доброе слово,
пусть истинный свет грядущего
в каждой душе горит.

Перевод МАРКА СЕРГЕЕВА

ЙОЖЕФ УТАШИ

Видящий море

Иштвану Кормошу

От купины неопалимой
зажглась вечерняя заря,
и вспыхнул берег отдаленный,
и море пенилось, горя.

Был дым над Даниею горек,
стенал и бился бедный Йорик,
на том — в пожаре — берегу.

Я видел огненное море —
молчать об этом не могу!

Рыжели под закатом дюны,
и был неясен мой удел —
вдруг рябь пошла, и ветер дунул,
и в солнце бог меня одел.

Кто мантию сорвет? Кто сможет,
когда пурпур разлит по коже,
а пряжка — светлая луна?

И я почувствовал,
как смело
пылает в каждой клетке тела
неопалимо купина.

И тьма истаивала, тлела,
как перед солнцем фонари...

И море мне сказало смело:
я всемогуще в час зари.

Валы бегут легко и споро.
За ними, точно знак укора,
медведем горбится скала,
там, у подножья,— твердо знаю —
уже скопилась ледяная
всепожирающая мгла.

Она сиянье разрушает,
и что-то шепчет, и внушает.
Что хочет нам сказать она,
пока безбожно, произвольно
качает свой огонь безбольный
неторопливая волна?

Пока, полна отваги редкой,
на море греется Праклетка —
малышка, чудо из чудес —
и делится маниакально,
проста — и все ж универсальна?

Тут Бытие вершит процесс.

Но дальний звук не иссякает.
О чем он шепчет? Намекает
на что? О чем и Смерть — молчок?

Отмахиваюсь:
лопушиной,
и веткой пальмы,
и вершиной —
веселой беличьею кроной
отмахиваюсь, чудачок.

Я видел море в час огня,
и море видело меня
могучим, с дикой силой в споре.
И счастлив, кто увидел море
горящим у прибрежных кущ.
Меня летящий вал касался,
и я в пожар его бросался.
Я видел море,
видел море!

Я — всемогущ.

Перевод МАРКА СЕРГЕЕВА

■

© Vasy Géza, editor, 1977.

ЙОЖЕФ УТАШИ — UTASSY JÓZSEF (род. в 1941 г.)

Венгерский поэт. Автор сборников стихов «Мое пламя, мое знамя» («Tüzöm, lobogóm», 1969), «Сирота звезд» («Csillagok árvaja», 1977) и др. На русский язык переводится впервые.

Публикуемое стихотворение взято из антологии «Видящий море». («Tengerlátо», 1977).

АРАГОН

Рассказы разных лет

К 85-летию со дня рождения

■

С французского

«ЗЕМЛЯ ЕСТЬ ПУТЬ ЛЮБВИ»

Знойным июньским воскресеньем 1982 года в Париже проходила мощная антивоенная манифестация. В первых шеренгах демонстрантов, начавших свой путь от вокзала Монпарнас, медленно шел худощавый человек с мудрым лицом, изборожденным глубокими морщинами. Его узнавали без труда и с видимым удовольствием. «Арагон,— почтительно проносилось по рядам.— Да ведь это сам Арагон с нами!»

Да, это был он, выдающийся поэт, один из ста французских деятелей, по призыву которых и проводился 20 июня этот Марш мира, собравший под свои знамена почти четверть миллиона человек. Несмотря на преклонный возраст и изнуряющую жару, Арагон прошел вместе со всеми добрый километр до бульвара Сен-Жермен и только тут вынужден был оставить демонстрантов, продолживших шествие до легендарной площади Бастилии.

На следующий день в газете французских коммунистов «Юманите» появилось новое стихотворение Арагона:

...Земля есть путь любви.
Все тоньше жизни нить,
Но даже в эти дни,
Дни крови, слез и тьмы,
Нам долженствует жить!
Здесь на земле одной
С людьми соседи мы —
И мы должны любить,
Как никогда — любить...

(Перевод Н. Разговорова)

Эти строки поэт сочинил на пороге своего 85-летия...

Сегодня, когда прогрессивные люди земли отмечают славный юбилей Арагона, мы напомнили об этом эпизоде (сколько таких демонстраций было на его веку!) и привели это его стихотворение (одно из сотен) совсем не в силу какой-то их особенности, исключительности, но как раз потому, что в них отразились удивительное постоянство, верность поэта своим принципам, делу всей своей долгой и прекрасной жизни.

Можно представить себе, что, шествуя в рядах демонстрантов по древним парижским улицам, Арагон припоминал и какие-то страницы своей биографии. (Уж очень многое связывает его с Парижем!)

Будущий поэт родился во французской столице 3 октября 1897 года и воспитывался в семье богатого сановника, который придумал для пасынка звонкую фамилию, скопировав ее с названия одной из областей Испании. Придет время, и фамилия поэта станет не менее известной, чем название этой области. Но какой нелегкий, тернистый путь предстояло преодолеть Арагону, чтобы добиться признания, достигнуть вершины поэтического Олимпа!

Шагая в этот летний день 1982 года в колоннах парижан, Арагон прошел неподалеку от Сорбонны, своей альма-матер, которую он покинул 65 лет назад, чтобы

АРАГОН — ARAGON (род. в 1897 г.). Французский поэт и романист. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и литературных премий. Автор многих книг стихов и романов. В русском переводе помимо многочисленных изданий отдельных произведений вышло его собрание сочинений в одиннадцати томах.

Предлагаемые рассказы Арагона взяты из его книги «Правда-ложь» ("Le mentir-vrai". Paris, Gallimard, 1980).

отправиться санитаром в окопы первой мировой войны. «Мертвы, хотя не скрыты в гроб, но всем надеждам — пуля в лоб»,— вспоминал поэт впоследствии. И не с тех ли сырых, пропахших порохом окопов начался для него великий поход за мир, в котором он неутомимо участвует до сего дня!

В лихолетье мировой войны, в 1917 году, юный Арагон пишет свои ранние стихи. Три года спустя выходит его первый поэтический сборник «Огонь радости» (иногда переводится как «Фейерверк»).

И в то время, и впоследствии многие критики видели в ранних поэтических опытах Арагона лишь формалистические «экзерсисы», нарочитую усложненность, заумную игру слов. Действительно, первые шаги на поэтической ниве он совершал как дадаист, сторонник формалистического течения в искусстве, связанного с именами Тристана Тзара, Поля Элюара, Андре Бретона, Филиппа Супо и других литераторов и художников.

Но разве уже в ранних, нарочито формалистических, зачастую «искусственных» стихах Арагона не чувствуется подлинный талант, который лишь ждал своей поры, чтобы раскрыться в полную силу,— так весной после долгих холодов вдруг буйно расцветает вишневый сад!

Здоровые зерна истинного таланта встречаются и в первых прозаических произведениях Арагона, вышедших между 1921 и 1924 гг.,— таких, как «Анисе, или Панорама», «Приключения Телемака» и «Вольнодумство». Впрочем, и этой прозе Арагона, как и его ранней поэзии, сильно вредила дадаистская игра в форму.

Но вот в 1924 году группа французских дадаистов прекратила свое существование. Большинство участников этого течения, в том числе и Арагон, перешло под знамена сюрреализма, который весьма смахивал на покойный дадаизм, разве что еще более шумно пытался ниспровергнуть «устаревшее» искусство.

Стоит ли удивляться тому, что прокрустово ложе сюрреализма, как и дадаизма, оказалось слишком тесным для могучего таланта Арагона? Во многих его стихотворениях той поры, как и в прозаических произведениях (например, в книге «Парижский крестьянин»), все отчетливей звучит суровое обличение буржуазного общества, все более ясным, целеустремленным становится революционный пафос.

Стремление к социальной справедливости, непрерывный, нередко мучительный поиск правды во всем — в жизни, в обществе, в искусстве — постепенно вели Арагона от индивидуалистического, анархистского бунтарства к осознанному участию в коллективной борьбе за революционное переустройство мира капитала. В начале 1927 года тридцатилетний поэт вступает в ряды Французской коммунистической партии, в которой он по праву видел наследницу лучших свободолюбивых традиций народа Франции.

И не вполне ли логичным, естественным был растущий интерес поэта-коммуниста к стране и народу Великого Октября? В 1928 году Арагон знакомится в Париже с Владимиром Маяковским и Эльзой Триоле, которым суждено было сыграть огромную роль в его судьбе. Эльза Триоле вскоре стала любимой женой и ближайшей сподвижницей Арагона.

Впоследствии Арагон будет не раз писать и говорить о том, какое значение имела для него встреча с великим советским поэтом, чья творческая судьба и личность были очень схожи с его собственными. По его словам, Маяковский, который «сумел сделать поэзию оружием и сумел очутиться на гребне революционной волны, должен был оказаться связующим звеном между миром и мной».

Принимая года два назад автора этих строк на своей парижской квартире, Арагон говорил:

— Маяковский, наподобие маяка, высветил мне в свое время верный путь в литературе, а без Эльзы я замолк бы навсегда.

И на одном из своих сборников стихов поэт написал на память: «Эта небольшая книга нашей жизни — последняя из моих книг, которую могла знать Эльза...» (издана в 1969 году, когда Эльзе оставалось жить всего лишь семь или восемь месяцев).

Знакомство и дружба с Владимиром Маяковским, а затем и с Максимом Горьким и другими советскими мастерами культуры ускорили тот непреоборимый и естественный внутренний процесс, который давно уже происходил в душе Арагона и неминуемо должен был привести его к социалистическому реализму. Отметая утверждения многих западных критиков, считавших, что социалистический реализм — это будто бы чисто «советское явление», Арагон неоднократно указывал на глубокие, неразрывные связи этого передового метода в искусстве с национальными традициями каждой страны. В одной из своих речей он подчеркивал, что перед художниками, писателями Франции, в их извечном стремлении к познанию мира, лежит путь французского реализма. «В любой стране,— заключал Арагон,— искусство социалистического реализма лишь тогда обретет свое мировое значение, когда пустит глубокие корни в ту почву, на которой оно произрастает,— в национальную почву с ее особенностями».

Следует напомнить, что эти слова были сказаны в 1938 году, когда Арагоном уже было создано немало замечательных произведений, в том числе написанная в 1931 году поэма «Красный фронт», в которой поэт живописует два различных Парижа — буржуазный и пролетарский — и предсказывает острые классовые схватки между жрецами капитала и миром труда.

К тому времени относятся и первые произведения Арагона, посвященные Стране Советов. В 1930 году поэт впервые совершает поездку в Советский Союз, участвует в Харькове в международной конференции революционных писателей, затем при-

езжает в Москву в качестве корреспондента газеты «Юманите». Он посещает Урал, знакомится с Днепрострое, едет в другие города нашей страны. В 1934 году выходит из печати его поэма «Ура, Урал!». С восхищением рассказывая о трудовых подвигах советских рабочих, поэт писал: «Это ленинизм с лопатой в руке, ленинизм, который идет в атаку на время...»

Нельзя отрицать, что в поэзию Арагона 30-х годов еще врываются формалистические отголоски времен дадаизма и сюрреализма. Но разве в этом главное? Главное, что в творчестве Арагона этого и последующего периодов все отчетливее заметно стремление правдиво отображать действительность во всей ее сложности и противоречивости. Это стремление отличает не только поэзию, но и прозу Арагона. Недаром свой цикл романов о французском обществе конца XIX — первой половины XX в. он объединяет единым названием «Реальный мир». Первые два романа этого цикла, «Базельские колокола» и «Богатые кварталы», вышли соответственно в 1934 и в 1936 гг., два других, «Пассажиры империала» и «Орельен»,— в годы второй мировой войны и, наконец, пятый роман «Коммунисты» — в послевоенное время.

В 30-е годы Арагон сближается с Роменом Ролланом, Анри Барбюсом, Полем Вайяном-Кутюрье, Жан-Ришаром Блоком, а также с руководителями Французской компартии — Морисом Торезом, Марселем Кашеном, Жаком Дюкло. Поэт активно участвует в международном антивоенном движении, постоянно держит руку на пульсе того тревожного времени. Его произведения проникнуты ощущением надвигающейся военной грозы и горячим желанием во что бы то ни стало предотвратить ее. Когда же война ворвалась на землю Франции, Луи Арагон стал одним из организаторов и певцов движения Сопротивления.

В эту суровую пору муза поэта-коммуниста обретает новую силу и звучание. Находясь в южной, неоккупированной, зоне Франции, Арагон с присущей ему энергией помогает установлению подпольных связей, созданию нелегальных групп Сопротивления и в то же время не перестает писать. В годы войны один за другим выходят сборники его стихов: «Нож в сердце», «Глаза Эльзы», «Паноптикум», «По-французски в тексте», «В чужом краю — в моем родном краю», «Французская заря». Его стихотворения, новеллы, рассказы согреты безграничной любовью и состраданием к поруганной родине, страстным желанием видеть ее свободной и счастливой. В творчестве Арагона тех лет личные мотивы как никогда тесно переплетаются с гражданственными, прекрасный образ любимой женщины сливается с величавым образом Родины:

Вы можете поэта осудить
На вечное молчанье, на тюрьму.
Но в личном плане Францию любить
Не в вашей власти отказать ему.

(Перевод Г. Плисецкого)

Нельзя без волнения читать стихотворения Арагона, которые воспевают подвиги Габриеля Пери, Пьера Семара и других патриотов, павших в борьбе против врага, и прямо призывают французов к вооруженному сопротивлению захватчикам:

Просыпайся, кто спит! Не сгибайся, кто тужит!
Пусть нас горе не гложет, веселье не кружит.
Пусть примером нам русское мужество служит.
Слушай, Франция! На зиму нож припаси!

(Перевод П. Антокольского)

Поэт обращается с такими проникновенными строками к ФКП, которую за жертвы, понесенные в борьбе против фашистских оккупантов, называли «партией расстрелянных»: «Мне партия дала живую суть отчизны. Спасибо, партия, за грозный твой урок».

В послевоенное время патриотическая и вообще гражданственная тема в творчестве Арагона все чаще чередуется с любовной лирикой, с философскими размышлениями о смысле жизни, о назначении человека в этом мире. Крупнейшим произведением этого периода явилась эпопея «Коммунисты», посвященная борьбе французских патриотов против фашистских захватчиков. Шесть томов этой эпопеи вышли из печати в 1949—1951 гг. В 1967 году было опубликовано новое, доработанное, издание романа. По словам самого Арагона, это — «книга о трагедии французского народа, до сих пор надрывающей мне душу, книга о моих соотечественниках, чьи горести и беды я разделил». Можно добавить, что это произведение воспевает патриотизм и мужество французских коммунистов, которыми по праву гордится член ЦК ФКП Луи Арагон.

Обращаясь к прошлому, писатель связывает его с настоящим, стремится заглянуть в завтрашний день своей родины. Эта особенность характерна и для другого романа Арагона — «Страстная неделя», вышедшего в свет в 1958 году. Главному герою книги художнику Теодору Жерико нелегко найти свое место среди противоборствующих сил, действовавших на историческом фоне «ста дней» Наполеона. Но в конце концов художник, отвергая и приверженцев монархии Бурбонов и бонапартистов, приходит к народу.

И разве творческий путь самого Арагона не является ярчайшим примером плодотворного сближения и слияния писателя с народом? Еще в предвоенные годы, выступая на II конгрессе писателей в защиту мира, он обращался к своим коллегам с

таким призывом: «Погрузитесь в национальную действительность, чтобы возродиться во всеоружии подлинного гуманизма. Черпайте свое вдохновение в животворном роднике нации и, выражая ее, выражайте себя; тогда ваше творчество окажется не искрой индивидуального таланта, а воплощением человеческого гения, ибо будет отмечено печатью национальной действительности».

Яркими, сильными мазками написаны и последующие романы Арагона: «Гибель всерьез» (1965) и «Бланш, или Забвение» (1967), не говоря уже о публицистике и в особенности о поэзии послевоенного периода. Стоит ли напоминать о том, что в публицистике писатель достиг тех же высот, что и в других творческих жанрах? Сборники статей и очерков, такие, например, как «Человек-коммунист», поэтический шедевр в прозе «Анри Матисс» и многочисленные эссе об искусстве, бескомпромиссные выступления в защиту мира — все эти труды Арагона вошли в золотой фонд мировой художественной публицистики и продолжают жить и сражаться за торжество на земле самых светлых идеалов.

И наконец, огромный, сложный и прекрасный мир арагоновской поэзии. Вспомним его послевоенные поэтические томики и тома «Снова нож в сердце», «Глаза и память», «Мои караваны», «Неоконченный роман», «Эльза», «Поэты», «Меджнун Эльзы», «Путешествие в Голландию», «Элегия в честь Пабло Неруды», «Комнаты», цикл стихотворений, написанных на смерть Эльзы Триоле,— «Песни Мадлен». Какая бесконечная гамма глубочайших человеческих чувств, раздумий, переживаний!

Арагон не скрывает всей сложности, противоречивости современного мира, не приукрашивает его. Но он верит в торжество жизни, справедливости, добра и видит призвание поэта в самоотверженном служении людям: «Уменье жить в самоотдаче — отдай себя, не смей иначе...»

И любовь... Многие критики справедливо отмечали, что именно Арагон возродил во Франции прекрасную традицию прошлого, когда истинный поэт воспевал любимую женщину, преклонялся перед нею и готов был пожертвовать собственной жизнью ради своей избранницы. Умение любить — это драгоценный дар, который дается далеко не каждому, но каждый должен относиться с глубочайшим уважением и бережностью к этому первейшему человеческому чувству. И можно соглашаться или не соглашаться с известным утверждением поэта: «Счастливой нет любви» (ведь у каждого человека любовь, как и жизнь, складывается совершенно индивидуально, неповторимо), но трудно отрицать силу таких строк:

Нет на земле любви, не знающей страданий,
Нет на земле любви, чтоб мук не принесла,
Нет на земле любви, чтоб скорбью не жила,
И к родине любовь не меньше мне дала,
Чем ты...

(Перевод М. Кудинова)

Любовь к женщине, жизни, к людям, родине — это всепобеждающее чувство поэт пронес через все свое творчество и с непоколебимой убежденностью повторил в свои 85 лет: «Земля есть путь любви».

И можно понять и разделить всю горечь раздумий писателя, когда он на склоне лет взялся за рассказ «Магазин для будущих мамаш», который впервые публикуется в переводе на русский язык в этом номере нашего журнала. Поначалу может показаться, что Арагона лишь забавляет и ситуация, изложенная в новелле, и жаргон известной части молодежи. Но стоит вспомнить, что рассказ написан по следам бурных событий, потрясших Францию весной 1968 года и всколыхнувших молодежь, поднявшуюся против норм и стандартов «мира родителей», против консерватизма, за радикальные перемены. Описанная в рассказе девчонка с телефонным справочником 1963 года издания под мышкой бравирует своим пренебрежением не только к родному языку, но и к общечеловеческим нормам морали: она не знает (и не хочет знать), кто отец ее будущего ребенка. «Да разве я их считала»,— пренебрежительно отвечает девчонка на вопрос о возможных «отцах». Сродни ей и высмеянный Арагоном хлюст в костюме альпиниста-верхолаза. Такие, как эти двое, бездумно шагают по жизни. Арагон наблюдает новое поколение, и оно вызывает у него порой усмешку, ибо это кривлянье молодых эфемерно и недолговечно. Да к тому же он понимает, что лишь часть молодежи такова.

Вот почему так многозначительно звучит финал рассказа Арагона: «Протяни же мне руку, эфемерная речь, которой не дано быть увековеченной на надгробии, дабы я мог пройти по времени с веселой усмешкой на лице — том лице, с каким мне суждено, как это ни трагично, закончить мои дни. С веселой усмешкой».

Разумеется, не все в творчестве Арагона одинаково удачно, не все бесспорно. Он постоянно ищет, экспериментирует, а творческий поиск, как известно, чреват и неудачами, и срывами. Но разве, скажем, искусство Пабло Пикассо становится менее блистательным из-за его спорных экспериментов? А Арагон, крупнейший поэт и выдающийся прозаик современной Франции, принадлежит к той же плеяде великих мастеров, что и Пикассо.

Напомним, наконец, о неоценимом вкладе поэта в священное дело взаимопонимания, сближения и дружбы между народами, в дело мира. Ведь это благодаря неустанным усилиям Арагона и Эльзы Триоле многие произведения советских литераторов вторично увидели свет во Франции. За активнейшее участие во всемирном антивоенном движении он был удостоен международной Ленинской премии «За ук-

репление мира между народами». Учитывая заслуги в общей борьбе против германского фашизма, в деле укрепления дружественных отношений между Францией и СССР, Арагон был награжден в 1972 году орденом Октябрьской Революции.

Несколько лет спустя, получая в Кремле еще один орден — Дружбы народов, поэт вспомнил о своем первом и последующих приездах в Советский Союз и с восхищением говорил о тех огромных переменах, которые произошли в СССР за короткое время. «Спасибо, что вы есть, что живет ваша великая страна»,— сказал он, не скрывая волнения.

И вот еще пять лет пролетело. Пять лет, наполненных тревогами и радостями, непрестанным трудом и новыми произведениями. Еще один арагоновский автограф на объемистом томе его стихов: «В память о прошлом, о счастливых встречах, о написанных книгах, которые доставляли мне немало радостей, и о многом другом...»

Оставляя этот автограф, Арагон заметил:

— Вы ведь знаете, что детей у меня нет. Книги — это мои дети. В них — смысл моей жизни, мое продолжение.

И процитировал одно из лучших своих стихотворений:

Я утверждаю, жизнь, что ты прекрасна,
От всей души тебя благодаря.

(Перевод Г. Плисецкого)

В. СЕДЫХ

Из сборника «Правда-ложь»

Наседка

— Ну, будешь говорить?

Они били его — били долго, неотвязно. Эти двое своих кулаков не жалели. На его спину и бедра страшно было смотреть. Инспектор Беллем вздохнул: ну прямо скоты, а не люди. Ничего не чувствуют, честное слово. Ведь он так ничего и не вытянул из этого негодяя. Начальство еще, чего доброго, решит, что инспектор не умеет работать...

— Убирайтесь! — сказал он уныло.

Арестанту швырнули одежду. Пришлось его даже поддерживать, чтобы он не упал, пока одевался; все это было не слишком-то аппетитно, можете мне поверить.

— Хоть нос затыкай! — жаловался в тот день инспектор одному из своих коллег, сидя в кафе и потягивая сок с сахарином — пойло, которое только и можно получить в четверг, если ты пива не любишь.

Коллега покачал головой:

— При такой работе все же следовало бы нам выпивку выдавать — для подъема духа...

Камера была, прямо сказать, невелика. Уже, наверно, вечерело. Свет в зарешеченном окошке под самым потолком угасал. Скоро, должно быть, совсем стемнеет. Он скосил глаза к параше. Разве до нее доползешь? А крышку как поднять — зубами? Руки в наручниках за спиной — не расстегнешься, а когда все тело в ранах и ссадинах, ходить под себя — хуже некуда. Тюрьма набита до отказа, но для него сделали исключение: он был в камере один. Впрочем, именно это обстоятельство его и утешало немного — ничего он так не боялся, как сидеть вместе с уголовниками... и с наседкой. Он опасался, что к нему подсадят наседку,— это было у него как наваждение.

Он ворочался на зловонном соломенном тюфяке, не зная, как лучше пристроить наболевшее тело: через одну-две минуты боль опять становилась невыносимой. Там, где кожа от побоев не пострадала, она сильно зудела; от летнего зноя и спертого воздуха зуд делался еще мучительнее. Тюфяк прогнил, весь кишел паразитами, по камере полчищами носились мухи, садились на свою жертву — жертва только вздрагивала.

Арестанта преследовало воспоминание о майских жуках, которых в эту весну было в пригороде особенно много. Тяжелые, толстые

© Aragon, 1980.

жуки, упав на спину, никак не могли перевернуться и отчаянно болтали в воздухе ножками. Теперь наступил его черед стать майским жуком. Как была хороша весна! Как славно пахли деревья!.. И каково об этом вспоминать здесь, в камере...

Но страшнее всего был в камере даже не запах — страшнее была солома. Мельчайшие ее частички липли к одежде, забивались между одеждой и телом, от нее невозможно было избавиться, невозможно вытрясти, выбить... Вот ведь чудно́: ты весь покрыт язвами, все тело так и гудит от боли, а больше всего тебе досаждает солома. Кругом чудовищно грязно, воздух просто вдохнуть невозможно, а тебя сильнее и грязи и вони донимает это желтое крошево, этот тонкий, как пыль, порошок, что лежит вокруг отвратительным тюремным налетом...

«Я ничего не сказал...» Он все время твердил эту фразу, она немного подбадривала его. Из распухшей губы сочилась кровь. Исчерпав все аргументы, инспектор ткнул его кулаком в лицо. Арестант трогал языком сломанный зуб — край зуба был острый и соленый на вкус.

«Я ничего не сказал...»

Время от времени надзиратель отворял дверь, чтобы пролаять всего одно слово, точно с китайцем говорил: «Хлеб», или: «Почта», или: «Молчать!..» Потому что порой в приступе ярости арестант начинал колотить кулаками в тяжелую дверь... Это было еще до того, как его так страшно избили... Ему было нужно, любой ценой было нужно кого-нибудь, неважно кого, пусть даже это пепельно-серое лицо с курносым носом,— было нужно кого-то услышать, услышать пусть даже хоть это слово, которое вылетало из серого лица, как пыль из тюфяка: «Молчать!..» Теперь он в наручниках. Теперь ему еще тяжелей. «Молчать!..» — «Я ничего не сказал...»

«Почта...» Но для его камеры почты не полагалось.

«Хлеб...» На полу и вправду валялась половина ломтя, и даже стояла в кружке вода, но добраться до них было так же немыслимо, как доползти до параши. Вывернув шею, арестант прикидывал, как ему дотянуться до кружки, чтобы не опрокинуть ее и хотя бы смочить в воде пересохшие губы. Надо было дожить до утра, когда надзиратель отворит дверь. А сейчас была ночь. Но именно в эти часы тюрьма оживала.

Начинали разговаривать на своем непонятном языке все стены, со всех сторон доносились глухие удары и стуки, то размеренные, то торопливые, все возможные комбинации коротких и долгих ударов — азбука, которую ему давно следовало изучить. Через все здание передавались с одного конца на другой вопросы, ответы. Этот вечерний час становился для скованного человека ежедневной пыткой, когда он изнемогал от бессилия и надежды. Обитатель соседней камеры с величайшим терпением повторял один и тот же сигнал, должно быть надеясь, что кто-то в конце концов ответит ему. Арестант пытался воспроизвести этот призыв, в точности повторить его ударами головы о стену. Но он не знал секрета этого языка. Дальше простого повторения он пойти не сумел. Впрочем, в нынешний вечер он был слишком слаб и для такого сигнала, который мог бы сообщить незнакомому другу, что он еще жив. Многоголосый концерт, шедший изо всех камер, отдавался болезненным звоном в распухшей голове. Было что-то нелепое в том упорном внимании, с каким этот несчастный ловил непонятные ему звуки. Он, пожалуй, и сам не мог бы сказать, чего ему больше хотелось — чтобы все замолчало вокруг или чтобы переговоры узников налились оглушительной силой и сотрясли тюремные стены. Подобно человеку, на которого неожиданно напялили наушники телеграфиста и который, не зная азбуки Морзе, слышит сигналы бедствия с далекого корабля, он скрежетал зубами, закрывал глаза, но не в силах был заткнуть себе уши. У него наверняка был жар. Будь жар посильнее, его, может быть, перевели бы в больницу. Впрочем,

рассчитывать на больницу не приходилось. Ничего, скажут ему, от такого жара не умирают! В ушах звенели колокола. И по-прежнему раздавались глухие удары в стену, упорные, настоятельные. Господи, о чем они могут так долго рассказывать? Ночь давила своей духотой. «Я ничего не сказал... я ничего не сказал...» По нему с жужжаньем ползали тяжеленные мухи. Когда они доползали до затылка, человек вздрагивал, точно конь в упряжке. Внизу живота нестерпимо зудело. Он попробовал почесать это место, ерзая по тюфяку, но его пронзила боль в пояснице. Жар. «Я ничего не сказал...» Но волшебная фраза утратила свою целительную силу. Она прокручивалась теперь в мозгу механически, от нее уже не было никакой пользы. «Я ничего...» Под закрытыми веками мерцали цветные сполохи, фосфоресцируя и угасая; пробегали неясные тени. Чье-то лицо, выражение чьих-то губ, обезумевшие глаза... А может, то был пейзаж вдалеке, под затянутым свинцовыми тучами грозовым небом... И — птичий двор, куры, наседки... Сон упал на него, как сеть на добычу.

Он проснулся от непонятного шума и от вспыхнувшей следом боли. Вокруг по-прежнему было темно. Но на уровне его взгляда что-то двигалось, шарил по камере луч зыбкого света — наверно, от карманного фонарика надзирателя. Упал в темноту конец нерасслышанной фразы, хлопнула дверь. В камере кто-то остался! Человек понял, что мимо прошел кто-то в брюках. Неизвестный возился где-то рядом. Топтался, даже споткнулся. За что задел он ногой? Было слышно дыхание. «Да что здесь такое?» Кто из них двоих сказал: «Да что здесь такое?»

Они не спешили знакомиться. Когда старожил понял, что ему дали товарища, он сразу изготовился к обороне.

Наседка. Это, конечно, наседка. Несомненно, наседка. «Я ему ничего не скажу»,— подумал он, и все его раны дружно подтвердили это решение. Он застонал. Другой отозвался:

— Не будем унывать. У вас тут даже довольно мило! Разрешите представиться — Голье, Жозеф Голье...

Да, забавно, ничего не скажешь. Каков он собой — высокий или низкий, худой или толстый? Одно несомненно: это наседка. Но пришел он, конечно, кстати: теперь будет проще сладить с парашей. Да и с водой тоже! Новичок нащупал кружку, дал напиться.

— Да у вас жар, старина...

Было странно — в темноте только руки, без лица.

Что они подумали утром, когда разглядели друг друга? Гнусная камера в грязном свете начинавшегося дня, лежащее в нечистотах тело, скованные за спиной руки — перед вновь прибывшим раскрылась вся бездна постигшего обоих несчастья. Первый узник чуть приподнялся на боку и взглянул на чужака, на эту наседку. Невзрачного вида субъект, на тошей фигуре болтается широкое, не по размеру белье, глаза чудные... Крыса какая-то... Да, впечатление он производил неважное. А новичок глядел на человека, лежавшего на тюфяке, и у него дрожали губы. Спать ему пришлось на полу.

— Они вас били? — спросил он.

— Похоже! — отвечал тот.

Они не успели привыкнуть друг к другу, как дверь опять отворилась и к ним втолкнули третьего постояльца — верзилу огромного роста с черной копной лохматых волос, распадавшихся посредине лба на прямой пробор. На сей раз оба подумали об одном и том же. Вот этот наверняка был наседкой.

Так или иначе, их было уже трое, трое в этом зловонии, трое в этом скудном пространстве, где и одному-то достаточно тесно; спать им теперь приходилось по очереди, причем у первого узника, израненного, избитого, да еще в наручниках, оспаривать право на тюфяк было трудно. Жозеф Голье оказался самым разговорчивым из троих. Первый лежал, стиснув зубы, и нельзя было понять, молчит ли он потому,

что ему плохо, или он скорее откусит себе язык, чем произнесет хоть слово. Верзила сказал, что его фамилия Дюпоншель и что он попал сюда по ошибке. Мухи казались счастливыми оттого, что в хлеву теперь было уже трое животных.

— Ох, и воняет же здесь,— говорил Жозеф,— просто поверить нельзя, что так может вонять!

По ошибке? По какой же это ошибке? Если ты патриот, об ошибках говорить не приходится.

В подобных местах теряешь счет дням и ночам. Тарелка горячей воды, которую суют тебе под названием супа, порция хлеба, которую надо растягивать на двое суток, наряд по уборке параши — этого все-таки мало, чтобы заполнить как следует время. Понемногу завязывалась беседа. С оглядкой, конечно, потому что все они помнили про наседку. Жозеф был электромонтером, Дюпоншель — приказчиком у мясника. Про первого жильца они не узнали и этого — уж слишком скупо цедил он слова. Судя по манере разговаривать, он был из интеллигентов. Правда, очень уж трудно было вообразить, чтобы этот жалкий тип, избитый, усиженный мухами, мог за стенами тюрьмы что-нибудь собой представлять. Это был мужчина лет сорока, светлый шатен, с тонкими губами и толстой шеей. Лицо у него заросло щетиной самых разных мастей. В то утро с него сняли наручники. На какое-то время тюремщики, видно, отказались от мысли что-либо у него выведать.

Отказались не только тюремщики — отказались и Жозеф с Дюпоншелем. Растирая затекшие запястья, он упрямо твердил:

— Я ничего не сказал... ничего им не сказал...

Больше они от него ничего не добились, разве только что зовут его Андре Менар.

Все трое говорили, что они политические. Может быть, для того, чтобы меньше опасаться друг друга. Но разве в таких делах докопаешься толком до правды?..

Дюпоншель, как попал в камеру, тут же заявил:

— Дорого бы я дал, чтобы узнать, что они сделали с майором Арно!

Голье тоже не вчера родился: у него в организации было известно, что майор Арно, схваченный тремя неделями раньше, возглавлял руководство подпольной армией в этом районе. С туповатым видом Голье стал расспрашивать Дюпоншеля. А третий и ухом не повел — ему и без того забот хватало с его болячками. Чертова наседка! До чего примитивно работает!

Голье разговаривал с первым узником предупредительно и мягко. А вот верзила не церемонился — пер напролом. Да, хорошо бы знать, к каким организациям принадлежат твои соседи... Всякими хитроумными уловками Жозеф пытался выведать правду. Но рядом все время была наседка. А может, это как раз и есть сам Жозеф?..

— Хоть бы они поскорее назначили мне казенного адвоката,— сказал он однажды.— Теперь, когда самому выбирать уже не дают...

И как раз на другой день Дюпоншеля вызвал его адвокат.

— Повезло тебе!

— Так ведь я тоже его не выбирал! — ответил Дюпоншель.

Оставшись с Менаром вдвоем, Жозеф доверительно сказал:

— Парень хитер... Все время намекает, что он в партии... Хочет в доверие втереться...

Менар ничего не ответил на это. Он думал о том, что верзила Дюпоншель и был скорее всего наседкой, но Жозеф... Быть может, и он что-то вынюхивает...

— Мой адвокат со мной встретиться не мог,— сказал Менар.— Я в одиночке сидел.

Очко в пользу Жозефа: он не стал больше ни о чем расспрашивать.

Так или иначе, был верзила наседкой или не был, но спустя несколько дней он сдал. Вообще-то с парнями его комплекции такое бывает: на вид здоровяк и вдруг — с копыт долой! Видно, в этом дворце распорядок дня ему не подошел. У него болел живот, и он единолично захватил в камере места общего пользования. Жозеф не переставая острил по этому поводу. Почему бы не посмеяться.

От врача, к которому Дюпоншель отправился на прием, он вернулся в большой досаде. К врачу можно было попасть не чаще чем раз в три дня: в тюрьме из тысячи двухсот заключенных добрая тысяча была больна. Менару ходить к врачу было не под силу, и Дюпоншель осмелился попросить врача прийти к ним в камеру, на что тот ответил, что не намерен являться с личным визитом ко всякому, кого избили чуть посильнее обычного, иначе этой каши ему за всю жизнь не расхлебать.

Жозефа тоже стал мучить зуд; жить втроем на этом пятачке было с каждым днем все труднее; от жары, от духоты и зловония по утрам с ними случались обмороки.

Когда Дюпоншеля еще раз вызвали к адвокату, Жозеф сказал — кто, мол, приводит слишком много доказательств, тот ничего никогда не докажет. К чему такое усердие? Хочет привлечь к их камере внимание? Но зачем? Врачи, адвокаты... стукачи они все!.. Он повторил потом то же самое и Дюпоншелю, наседке, когда тот, возвратившись в камеру, сообщил, очень гордый собой, что он рассказал своему защитнику о гнусных условиях, в которых содержатся заключенные, и защитник проявил сочувствие к его судьбе.

— Своему защитнику! Да ты совсем спятил! Ты еще свою кормилицу сюда пригласи!

Эх, если бы им хотя бы передачи получать разрешили! Они подыхали с голоду, а чего бы они не отдали за щепотку табака! В первые дни Менар получил одну посылку, но это было уже давно...

— Мы имеем на это право,— говорил Дюпоншель.

— Имеем право! — взорвался Жозеф.— Нет, я сейчас лопну от смеха! Имеем право, не имеем права... Дадут тебе передачу — ты им скажешь спасибо, и все дела!

Они и впрямь подыхали с голоду. Да еще эта проклятущая солома, везде, к чему ни притронься.

Однажды дверь отворилась в неурочный час, и надзиратель, не тот, курносый, а другой, с лицом цвета брюквы, шагнул в камеру — инспекторская проверка? — и за ним следом ввалился детина, длинный и тощий, который по любому поводу чесал себе нос. От этого визита добра никто не ждал. Как же они были удивлены, когда длинный детина вдруг дико взъярился,— они даже не поняли, что́ его так разозлило, и надзиратель тоже ничего не понимал. А детина взял руку Жозефа, раздвинул пальцы.

— Да у него чесотка... И у этого тоже...

Дюпоншель оторопел и все порывался объяснить, что у него вовсе не чесотка, а с животом расстройство...

— А я вам говорю — чесотка!

Ну ладно, пусть будет чесотка, если ему так приятнее. А доктор — это в самом деле был доктор — наклонился над третьим преступником, согнал с него мух.

— Стыд и срам,— сказал он, с силой напирая на «с» в обоих словах,— стыд и срам!

Жозефа это заявление поразило больше всего. Надзиратель попытался было вякнуть, что от этих мерзавцев вонючих никак не добьешься, чтобы они чистоту соблюдали.

О-ля-ля! Ну и дал же доктор этой брюквенной роже нахлобучку!

— Молчите! Стыд и срам! Французов! Так содержать французов!

Раздраженные голоса удалялись по коридору. А Жозеф в камере повторял:

— Стыд и срам! Стыд и срам!

В тот же день всех троих посадили вместе с жандармом в старую, разболтанную машину и повезли в расположенную на холме больницу: тюремный госпиталь был забит уже полностью, и теперь для нужд тюрьмы приспособили частную клинику. Странное их охватило чувство, когда их везли из тюрьмы в больницу, везли через весь город, затаившийся и настороженный, где еще так недавно они жили на воле и участвовали в борьбе, которая продолжалась ныне без них.

Больница была не слишком современная, с большими палатами и низкими потолками. До войны здесь лечили рабочих с больших заводов, больница была связана с ведомством социального обеспечения. Теперь, когда ее передали тюрьме, она представляла собой любопытную картину: среди сестер и санитарок всюду торчали надзиратели; в палатах всю ночь напролет горели синие лампочки, и больные порой просыпались только лишь для того, чтобы после мрака тюрьмы полюбоваться этим слабым мерцанием.

Тот же врач, что определил их сюда, наведался к ним в палату. Их койки стояли рядом, и Жозеф еще теснее сошелся с мсье (как он теперь называл Менара), но мсье по-прежнему был немногословен. И оба остерегались наседки. Тем более что Дюпоншель как-то спросил:

— Скажи-ка, Жозеф, ты ничего не слыхал... про майора Арно? Говорят, его пытали.

Из-за какой-то чесотки держать арестантов в постели — это было неслыханно. Но когда старшая сестра сказала об этом врачу, тот послал ее ко всем чертям. Отличный мужик этот врач! Похоже было, что он собирается перевести сюда всю тюрьму. Он устраивал в связи с этим скандал за скандалом... В тюрьме, утверждал он, свирепствует тиф. Кто знает, может, оно так и было... Во всяком случае, все трое находились у него под постоянным наблюдением.

Когда инспектор Беллем захотел еще раз допросить его пациента, доктор — он занимал должность старшего инспектора всего департамента, был, так сказать, префектом по медицинской части — сурово его отчитал:

— Ни под каким видом! Слышите? Кто здесь хозяин — вы или я? — И наговорил ему еще кучу таких же любезностей.

Больные на койках от души веселились. Даже главное заинтересованное лицо улыбнулось. Инспектор Беллем поджал хвост. Он просто не знал, куда деваться от конфуза.

А доктор все не мог успокоиться:

— Я вас от должности отстраню! Так больше продолжаться не может! Стыд и срам! Стыд и срам!

Когда оба ушли, больные настолько забылись, что даже стали обсуждать это с наседкой. А тот знай свое гнет.

— Я все время думаю,— говорит,— что́ они сделали с майором Арно!..

Тут в палате все замолчали. Жозеф делал знаки Менару. А Менар — он теперь уже мог приподниматься на постели — сидит с перебинтованными руками и молча головой качает, словно говоря: «Погоди, вот на волю выйдем, он у нас получит, наседка проклятая!» Тут пришли сестры, стали разносить лекарства.

Но, конечно же, так не могло тянуться долго. Скоро отвезут нас, голубчиков, домой, говорит Жозеф, а то на этом курорте путевки больно уж дороги. Жратва, правда, не слишком роскошная, но все-таки капуста и вода горячая, а один раз даже картошку дали! И потом опять же есть с кем поболтать, палата-то ведь здесь общая, не то что та клетушка на троих, да там и не особенно-то разговоришься: мсье не так воспитан, чтоб с тобой толковать, а другой — он с таким просто-

душным видом, все время интересуется, не знаешь ли ты такого-рассякого майора, да не случалось ли тебе встречаться с таким-то полковником... Ах, дорогая моя! И туалеты здесь не хуже, чем в собственной квартире, с окошком, в которое небо видать. А по дороге в операционную, мне ребята говорили — потому что Жозефу не повезло: в операционную его не возили,—ребята говорили, что там есть окно, так в нем весь город как на ладони... большой город, разделенный рекой, город, о котором днем и ночью мечтаешь, о людях мечтаешь, о домах, о вещах, обо всех делах, которые мы там заваривали, и о тех, что завариваются теперь уже без тебя, хоть по улицам и вышагивают типы в серо-зеленых мундирах, выскакивают из казарм под грохот своих похоронных маршей и ну печатать шаг. Город с людьми, которые остались на воле и в которых живут дерзость, упорство и отвага.

Время от времени вдали раздавались глухие разрывы, и больные привставали на койках и тихо спрашивали друг друга: «Слыхал, как сейчас там рвануло?» Даже надзиратели в дверях один раз... Жозеф собрался уже высказаться на этот счет, но мсье сделал ему большие глаза. И правда! Он совсем забыл про наседку.

Все шло прекрасно. Но как-то утром в больницу нагрянули боши, один в штатском и двое военных; когда военные вытащили свои пушки — а у ворот их ждала машина с шофером,— что тут могли поделать надзиратели и сестры? Они, конечно, потребовали предъявить им ордер за подписью префекта или какую-нибудь другую бумагу, но немцы предъявили им револьвер и сказали:

— Вот наш ордер!

И тот, что был в штатском, произнес: «Гестапо!», да таким тоном, словно говорил: «Сезам!», и он только отмахнулся, когда надзиратели стали грозить, что будут звонить в префектуру. Боши велели выдать им троих заключенных и прошли за сестрой прямо в палату, не обращая внимания на протесты.

Ну-ка, пусть одеваются, да поживей! И когда Голье, Жозеф,— его выкликнули первым — начал собираться, но, по их мнению, делал это недостаточно проворно, один из солдат ткнул его рукояткой пистолета в бок. А Дюпоншеля, наседку, они подбодрили хорошим пинком в зад. Но хуже всего они обошлись с мсье:

— Менар, Андре, пошевеливайся!

Он еще не мог стоять на ногах, и раны у него, как известно, еще не закрылись. Но фрицам на все наплевать.

Надо было видеть, как они набросились на него. Живей, живей! Больные возмущенно загалдели на своих койках. Немцы пригрозили им револьверами. Больные, конечно, попритихли. Тот, что из гестапо, велел двум другим подхватить мсье под руки и вытащить его из палаты. Всё — под угрозой оружия.

«Плохо наше дело»,— подумал Жозеф. И тут же с усмешкой взглянул на наседку. Бедняга тоже хлебнет лиха: немцы не станут особенно разбираться, кто тут наседка, кто нет. Одна из сестер — Жозеф еще раньше приметил, что она по-доброму относится к заключенным,— вытирала платочком глаза; даже надзиратели были возмущены.

Когда выходили из здания больницы, Жозефа будто ослепило: у подножия холма перед ними раскинулся залитый вольным солнцем город... Он был весь точно серебряный, крыши домов сверкали, светлая извилистая река убегала куда-то, точно дорога. Поодаль дымили заводы, большим зеленым пятном раскинулся парк, а на горизонте вырастали сказочными дворцами высокие белые дома; слышался шум трамвая, улицы были полны народа: только что пробило полдень. Ах, там на воле... На воле — друзья, и они продолжают борьбу...

Весь в своих мыслях, Жозеф не успел поддержать товарища, и тот споткнулся. Гестаповец выругался по-немецки. И тут, к своему великому изумлению, Жозеф услышал, как наседка тихо шепчет мсье:

— Держитесь, держитесь, майор!

Но осмыслить этот странный факт Жозеф не успел. Их торопливо втолкнули в машину. Старая вместительная колымага с буквами WH на номерном знаке. Они втиснулись в нее вместе с четырьмя бошами. Машина рванула с места, описала дугу перед фасадом больницы. Глянь-ка, да ведь мы направо сворачиваем, значит, не в город едем.

И тогда гестаповец с шумом перевел дыхание: «Уф!» — и, нагнувшись к мсье, сказал:

— Уж вы извините, майор. Надеюсь, вам не было очень больно?

Что все это значит?

А наседка как захохочет:

— Ну и рожа была у тебя, бедный ты мой Жозеф, когда я спрашивал про майора Арно! Ну как, Морис, мои сведения верными оказались? Поначалу я не был уверен, что он и есть майор... Но потом пришел доктор и сказал мне, что это и правда майор... Замечательный парень этот доктор!

Человек в штатском подтвердил:

— Да, вам всем нужно его благодарить. Отлично провел операцию... Как только к нему пришел от тебя адвокат... Ах да, чуть не забыл, у меня ведь лежит посылочка для тебя... от твоей жены. А ты чего хмуришься, Голье? Того и гляди, заплачешь!

Голье, разумеется, плакать не собирался. Но он скреб задумчиво голову. Морис... Морис... Где я видел этого парня? А майор Арно проговорил:

— Знаете... я им ничего не сказал...

И Жозеф вдруг вспомнил:

— Ну конечно... В тридцать втором году, у прилавка в В. Ты — Пьеро, я узнал тебя!

А Морис ему в ответ:

— Да говорят тебе, что меня Морисом зовут... Вот ведь сколько лет человек в партии, а так тугодумом и остался!

Машина ехала теперь среди полей. Солдат рядом с Жозефом насвистывал «Марсельезу».

— Этого еще не хватало! — вскричал вдруг Морис, изменившись в лице.

И стал ощупывать свои карманы.

— Что такое?

— Трижды идиот! Размазня, ведь я забыл... простить себе не могу!

Все всполошились.

— Да скажи, что случилось!

Но Морис уже снова просветлел.

— Нет! Вот они! Сигареты!

1944 г.

Слепой

Эти письма валялись уже добрых два дня — одно в Марсель, другое в Японию. Мне без малого семьдесят, я плохо слышу и читаю стихи на языках, которых не понимаю. Получается примерно так же, как при разговоре по телефону: я могу угадать значение фраз, но не способен уловить собственные имена. Поэтому я не знаю, кто со мной говорит и откуда звонят. Особенно с тех пор, как чуть ли не во всех районах перешли на автоматику и вместо «Клебер» говорят 553, а вместо «Ваграм» — 924. Кстати, вы теперь можете определить время действия моего рассказа. Так о чем это я говорил? Ах да: в моем возрасте и в голову не приходит влюбляться. Разве что переспать раз-другой. Ну, а я, видите ли, влюблен. Нет, вы только представьте себе: глухой влюбленный! «Это лучше,— говорит мне М.,— чем если бы ты был слепым!» Что, конечно, тоже не факт. А между тем письма — эти письма как раз она написала — валялись дома уже добрых два дня.

Вчера вечером она мне говорит: «Знаешь, хоть в них ничего срочного нет, а все-таки... Из Марселя я жду ответа, да и из Токио тоже, а то начнется время летних отпусков...»

Итак, сегодня утром. Если бы речь шла только о письме в Марсель, было бы полбеды! Наклеишь тридцатифранковую марку — разумеется, в старых франках,— только и всего. А Япония — это уже авиапочта, значит, надо идти в почтовое отделение, взвешивать, спрашивать, сколько платить, да еще — это самое противное — возиться с международными купонами для ответа; четыре таких купона лежали на конверте как четыре упрека. Я никогда купонами не пользуюсь, даже если пересылка письма в какой-нибудь Массачусетс или Кашмир стоит бешеных денег. В купонах мне всегда чудится что-то нечестное, будто я их украл. Обычно я забываю их где-нибудь, отправляю — или не отправляю — письма без них, а потом, в один прекрасный день, наводя порядок,— знаете, случаются дни, когда разбираешь свои бумаги,— я швыряю эти купоны в мусорную корзину и чувствую себя негодяем. Но все это я проделываю только с моей личной корреспонденцией. А тут мне надо было наконец решиться. В шестьдесят восемь лет терять невинность в связи с почтовыми купонами! Отправляя письма в Японию или Кению! Впрочем, это ненамного экстравагантнее, чем быть в моем возрасте влюбленным.

Итак, сегодня утром. Я ушел из дому украдкой. С письмами. И с четырьмя купонами. Спускаясь по лестнице, я их чуть не выронил, эти купоны. Я остановился и взял в левую руку бумажник. Это было и само по себе не очень удобно, а тут еще купоны все время норовили выскользнуть, да и конверты надо было не упустить. Я вышел на улицу, держа бумажник тем же манером.

Там мне тоже легче не стало. Раскрыть бумажник, сунуть в него купоны, следя при этом, чтобы письма не упали на землю. В бумажнике, кроме внутренних отделений и всяческих прорезей и щелок, на одной стороне есть маленькие кармашки — для марок и еще для чего-то, но я ими никогда не пользуюсь. Впрочем, для купонов они слишком малы, и когда я пытался засунуть купоны в прорезь над кармашками, оттуда что-то выпало. Это была фотография М., маленькая и прелестная. Я подобрал ее и положил все между двумя створками бумажника, вместе с банкнотами. Все вперемешку. Ничего не поделаешь.

Когда я свернул на улицу Гренель, до почты еще надо было идти и идти... Из головы у меня не выходили проклятые купоны. Я уже не в силах был вспомнить, куда я их в конце концов запихнул. В руке я держал два письма. Ах да, в бумажник, ну конечно, в бумажник. Я вытащил его, чтобы проверить. Там были деньги; я уронил тысячу франков — разумеется, старых — и подобрал их с земли. Пересчитал и сложил банкноты. Купоны я класть в бумажник уже не стал. Зажал их в руке вместе с письмами. Бумажник, он меня чуть ли не в голос просил, чтобы я положил его во внутренний карман пиджака... Так со мною всю жизнь: нужные бумаги я сую между подкладкой пиджака и жилетом, марки теряю, в мелкой монете путаюсь, письма отправлять забываю — такой уж у меня характер. Я сразу же забываю, что делаю, потому что мысли у меня витают где-то очень далеко.

Я видел, как вот уже несколько минут со стороны улицы Бургонь. по левой стороне, навстречу мне движется человек — для вежливости скажем: пожилого возраста. Шел он довольно медленно и ощупывал палкой край тротуара. Поначалу я даже не понял, что он слепой, но потом разглядел, что палка у него белая. Слепые на меня всегда производят сильное впечатление, особенно с тех пор, как я оглох. Потому что глухой — это еще куда ни шло, а вот если еще вдобавок и ослепнешь! Я глядел на этого человека, который меня не видел, и представил себе вдруг эту ситуацию, так сказать, в перевернутом виде: я сразу сочинил роман, в котором главный персонаж — а

может быть, даже и не главный — был слепой, но из тех слепых, которые, став слепыми давно, возможно даже с самого рождения, привыкли, приспособились к своему увечью... Все другие чувства... ну, там чутье, обоняние, но главное — слух... заменили собой зрение, так что эти слепые узнают людей, ориентируются в том, чего мы не замечаем, даже видят многое такое, чего мы своими зрячими глазами не видим. Мой роман и был об этом зрении, которое вовсе не зрение,— роман о слепом, которому ведомо то, что для окружающих остается за семью печатями, и так далее... Мозги у меня работали сейчас полным ходом. В несколько секунд я навообразил целую кучу всяческих перипетий. Растормошить меня для такого дела ничего не стоит. Жена слепого — потому что он был, разумеется, женат — говорила ему: «Лучше быть слепым, чем глухим», и это представлялось ему бесспорным. Потому что если бы он оглох, он не мог бы услышать, как бьется сердце мужчины, стоящего рядом с его женой. А глаза — что нового вам откроют глаза?

Человек тем временем приближался, постукивая белой палкой о край тротуара. Он был плохо выбрит, щеки — россыпь серых и белых точек.

Зажав письмо и международные купоны в руке, я все глубже уходил в свой роман. Так уж у меня голова устроена. Каких только чудес не произошло в ней за эти две минуты! Я с первых же мгновений уже ясно представил себе, как будут развиваться в романе события, хотя и... Перипетии. Да. Итак, в одно августовское утро он оглох. Именно в августовское — и прежде всего потому, что сейчас тоже было августовское утро, а еще потому, что в Париже в августе гораздо меньше машин, меньше шума на улицах, и первое время он не замечает своей глухоты, полагая, что все дело в сезоне. А потом — трагедия. Слепой — и вдобавок глухой! Лишь сделавшись глухим, он ощутил себя по-настоящему слепым. Отныне ему будет уже недоступно то, что всю жизнь позволяло различать вещи, людей. Трудно даже представить себе, какой это ужас — кромешная тьма в ушах. Когда ты уже не только не знаешь, откуда идет звук, и не только путаешь собственные имена... Тук-тук. Он колотил палкой по краю тротуара. Не глухой и слепой из романа, нет — просто слепой с улицы Гренель... Он поравнялся со мной и пошел дальше, я обернулся, чтобы посмотреть, как он удаляется: тук-тук — стучала белая палка. Я дошел до почты.

Честно говоря, мы нередко придумываем проблемы там, где их нет. Взять, например, международные купоны. Все ведь так просто. Я спрашиваю себя, почему до шестидесяти восьми лет это являлось для меня такой сложной проблемой. Спрашиваю себя, спрашиваю вас. Наверно, потому, что человек глуп, да, да, глуп. Чтобы отправить письмо в Японию, обращаешься, разумеется, в окошко «Авиапочта». Служащая берет письмо, кладет на весы, затем короткая пауза, и ты недоумеваешь, чем мог ее так удивить вес твоего письма. Потом на листке бумаги она производит подсчет. Потому что купоны ты ей уже отдал вместе с письмом. Да, кстати, ведь я же не посмотрел, в каких деньгах на них указана стоимость — в наших франках и сантимах или в... как же теперь называются японские деньги? Я собирал марки между 1905 и 1910 годами, и тогда на марках Японии стоимость значилась в иенах. Но дама в окошке, видно, привыкла иметь дело с иенами, как со старыми, так и с новыми. Она говорит мне: «Трех купонов достаточно, а стоимость четвертого я могу, если хотите, вернуть вам почтовыми марками». У меня в голове мелькнуло было в ответ: «Да ведь я больше почтовых марок не собираю». Но тут я заметил у себя в левой руке письмо в Марсель и решил не отказываться от марок. Заметьте себе, я не так уж плохо все рассчитал, потому что дама вернула мне в качестве сдачи две марки по тридцать франков, я хочу сказать — по тридцать сантимов. Для письма в Марсель хватает одной. На сей раз

я не торопился; перед окошком был удобный прилавок, так что, ничего не уронив, я аккуратно вложил лишнюю марку в кармашек бумажника, куда не входят международные купоны. Японец, очевидно, ошибся в вычислениях: для ответа не понадобилось так много купонов. Но тем хуже для него. В конечном счете.

На улице Гренель, по пути домой, я попытался вспомнить, на чем я остановился в романе. Никто не знает, видят ли кузнечики. Но они слышат — это бесспорно. В Провансе я часто проделывал такой опыт — в саду или в поле. Берется кузнечик, который стрекочет где-то поблизости. Можете двигаться, можете идти по направлению к нему — он стрекочет по-прежнему. Он не видит, что вы к нему приближаетесь. Потом, на некотором расстоянии от вас, причем всегда на одном и том же, он умолкает. Можете повторить свой опыт хоть десять раз. Отметьте точное место, куда вы ступали, и окажется, что замолчать вы его заставляете всегда с одной и той же точки. С этого расстояния он уже слышит... Какое отношение имеет это к моему роману? Сразу этого не увидишь, но достаточно поразмыслить, чтобы услышать...

Мой недавний слепой снова шел мне навстречу — теперь со стороны улицы Бак. В конце концов это мог быть и другой слепой. Издали его палка не показалась мне белой. Но когда он подошел ко мне на расстояние кузнечика, я совершенно точно узнал и палку, и человека: я услышал, как стучит его палка по краю тротуара — или, может быть, угадал, как она стучит. Это был тот же звук, который я слышал по дороге на почту, и в нем была та же размеренность. Если бы палка говорила, я бы слов не разобрал, но различил бы ритм, в котором бьется ее речь: два удара одинаковых, третий послабее, два удара одинаковых... по стуку можно было узнать этого человека так же безошибочно, как узнают людей по усам или по бородавке на носу. Заметьте, пожалуйста, что это не я слепой, просто я стал воображать слепоту,— улавливаете ход моих мыслей? Теперь, когда он оглохнет, он больше не будет знать, обманывает его жена или нет. Он больше не услышит стука человеческих сердец. Может быть, для него останется запах... или изменение электрического поля...

Едва только я поравнялся со своим слепым, как у меня возникло ощущение, что он меня окликает. Так как я прошел уже мимо, я не видел его, я просто не мог его видеть, не мог видеть его жесты, но палка как будто перестала стучать; правда, я мог и ошибиться. Я обернулся. Слепой тоже обернулся ко мне. И заговорил со мной так, словно видел:

— Мсье! Мсье!.. Это вы? Мне кажется, я вас узнал...

Я даже не успел удивиться; может быть, от меня пахло кофе с молоком; он говорил, он протягивал мне какой-то кусочек бумаги:

— Ведь это я с вами повстречался несколько минут назад, когда шел в ту сторону, да? Значит, это вы... посмотрите, пожалуйста, сами... не вы ли это потеряли? — Он протягивал мне фотографию М., которую я, должно быть, выронил, когда вынимал из бумажника международные купоны. Я оторопел. Как мог слепой... А он добавил: — Очаровательная женщина... Это ваша подружка? В вашем возрасте... Да, вы счастливчик!

И он пошел дальше, постукивая палкой по краю тротуара. Я глядел ему вслед. Когда он удалился от меня на расстояние кузнечика, стук прекратился — это было как зеркальное отражение того, что происходило ночами в Провансе; во всяком случае, я перестал его слышать. Меня вдруг поразила странность всего этого дела, и я вытащил из кармана бумажник — не для того даже, чтобы положить в него фотографию, а чтобы проверить одну вещь...

Но нет, лишняя марка оказалась на месте.

1965 г.

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Магазин для будущих мамаш

Этот магазин, сверкающий тысячью красок, не привлек внимания девчушки с волосами, разлетающимися, как зола. Она смерила скучающим взглядом желто-рыжие в синих подтеках, залатанные тут и там кожей платья, подобные тем, что носят ее старшая сестра и все сестрины подружки. Совсем одинаковые, эти огромные гардеробы «Синей Бороды» появились почти во всех уголках Парижа с тех пор, как одежда стала вдвое короче: там истекают кровью лохмотья обреченных на заклание супруг, подготовленные для убийства манто и всевозможные сапоги, полусапожки, сапожки, сапожищи,— словом, целая выставка отрезанных ног, а ведь есть еще подземные помещения для нижнего белья и балконы, увешанные пестрыми косынками, будто во время парусных состязаний.

Девчонке могло быть лет тринадцать — возможно, меньше. На ней была легкая накидка, которая сзади едва прикрывала ляжки, а спереди доходила до колен. Под мышкой девчонка почему-то несла один из томов телефонного справочника — голубой, тот, что лежит в уличных телефонных будках, 1968 года издания. И от этого она сразу казалась старше. Она состроила рожицу шатену с бакенбардами, в костюме альпиниста-верхолаза, который вот уже некоторое время смотрел на нее двусмысленным взглядом. Когда же он шагнул было в ее сторону, лишь только она миновала бар, где направо-налево геркулесы с непропорционально широкими плечищами трясли игральные автоматы, точно жалких проституток,— девчушка тотчас нырнула в соседний магазин, весь розово-голубой, под успокоительной и глупой вывеской, которая обещала «все» как гипотетическому младенцу, так и будущей мамаше.

Магазин большой, красивый, просторный, много воздуха, в глубине примерочные, по стенам блестящие прилавки, на которых покоится причудливый мир новорожденных — от разнообразных питательных смесей до восхитительных погремушек, пеленки по последнему крику моды, соски по последнему слову асептики. Продавщицы, все как одна, казалось, вышли из гарема соседней «Синей Бороды» — чулки в крупную сеточку, по которым вьется бледно-серый или золотисто-желтый узор, в зависимости от вкуса; свитера, позволяющие судить о многообразии форм женских грудей; юбчонки, которые так и лезут вверх по ляжкам, и при этом ресницы длиной с километр... продавщицы тихонько дремали или зевали в отсутствие покупательниц, которые обычно появлялись сразу после полудня. Они бросились было навстречу вошедшей, но затем слегка опешили: чего ради эта девчонка явилась сюда?

Мадемуазель Амбигю, известная язва, вышла вперед и без малейшей усмешки спросила:

— Что угодно, мадам?

Девчонка пожала плечами с серьезным, слегка озабоченным видом, но ответила непринужденно:

— Во-первых, не мадам, а мадемуазель, а во-вторых, я бы хотела посмотреть все, что у вас есть. Потому как, когда ждешь ребенка, лучше уж просветиться, подготовиться, так сказать, заранее...

Мадемуазель Амбигю была не единственной, кто это слышал. И тотчас же одна из продавщиц машинально придвинула покупательнице стул.

— Вы ждете малыша...— произнесла мадемуазель Амбигю, явно не очень понимая, как же на это реагировать.

— Да,— ответила девчушка,— хотя это может быть и малышка... а что, собственно, тут такого... а вы, вы кого-нибудь ждете?

— О, я,— сказала мадемуазель Амбигю,— я, видите ли, по части детей... и потом, я не замужем!

— И я, представьте, тоже,— сказала крошка и, поразмыслив, спросила:— А вы считаете, это необходимо, чтобы иметь детей?

Мадемуазель Амбигю, девушка совсем молоденькая, пролепетала чуть обиженно:

— Я, знаете ли, еще не очень в курсе того, как обстоит дело в этой области...

Тут малявка, хлопнув себя по ляжкам, заржала, как извозчик, и воскликнула:

— Ну, дает! Вы немного поотстали для вашего возраста, надо будет вас просветить...

Вокруг них тем временем, тихонько посмеиваясь над Амбигю, собралась вся свита, и Амбигю сочла необходимым восстановить свой авторитет.

— Дитя мое,— сказала она,— у нас здесь магазин, так что́ же вам угодно? Мы ведь тут торговлей занимаемся...

Девчонка посмотрела на нее в упор, затем презрительно сморщила нос.

— Если бы я знала, то не стала бы скрывать... Только, понимаете ли, у меня ведь это первенький. Потом, наверное, все пойдет как по маслу. В общем, когда мне стукнет столько, сколько вам, я никого ни с чем спрашивать не буду. Если бы я знала, что купить, я пошла бы не к вам, а в галантерею или к молочнику. Так чего — покажете мне что или нет?

— Но что же вам показать, мадемуазель? Для вас или для ребенка?

— Ладно, начнем с меня. Хотя если вы не пошевелитесь, я разрожусь прежде, чем что-либо купить...

— Гм, что-то незаметно, чтобы срок у вас подошел...

— Не грубите... Уж, конечно, я не стала ждать последней минуты. Но только, знаете, в моем положении...

— А вы уверены, что...

— Вы хотите сказать: что я беременна? Конечно, можно и ошибиться, бывают ведь беременности на нервной почве. Так что же, прикажете дожидаться первых схваток, прежде чем что-либо предпринять... И прекратите так разглядывать мой живот. Моя мама на девятом месяце выглядела как на первом причастии...

— Вам это рассказали или вы сами видели?

— Ох, и чудная же вы: я-то была внутри. Как же я могла видеть? Так ка́к насчет товара — вы его наконец покажете, черт побери, да или нет?

— Мадемуазель, если вы намерены учить вашего новорожденного таким выражениям...

— Ну, знаете ли, в наши дни младенцы уже рождаются просвещенными. Не в этом дело. Что же вы все-таки можете мне предложить?

Мадемуазель Амбигю покраснела и слегка одернула свою юбчонку. Она все никак не могла поверить. Затем, набравшись смелости, спросила опять:

— Но... вы совершенно уверены, что?..

— Уверенной можно быть лишь насчет себя. Отец — он, понимаете ли... Словом, если и я еще стану сомневаться... Так что, понимаете, вот я к вам и пришла... хотя бы чтоб купить какой-нибудь пустяк. А ведь надо еще знать, что купить. Нет ли у вас щипцов?

Жены «Синей Бороды» затряслись от смеха. А к мадемуазель Амбигю немного вернулась уверенность в себе.

— Мы таких предметов не держим,— сказала она,— это скорее в скобяных лавках можно найти...

Гарем забавлялся.

— Что это с ними, с этими курицами? — спросила девчонка.— Раскудахтались — сами не знают чему! Может, они считают, что аку-

шерские щипцы — это такие супер-бицепсы[1] или чего еще? Ну, если у вас их нет, так и быть, покажите мне что-нибудь другое... или эта ваша лавчонка просто для запудриванья мозгов? Да, кстати, не будет ли у вас клубники?

Продавщицы разразились дружным хохотом, отчего малышка сморщила нос.

— А что тут такого смешного?

Мадемуазель Амбигю поспешила объяснить:

— В это время года лучше обратиться к торговцам ранними фруктами. Мы же по части фруктов, понимаете, даже и в сезон...

— Ну, вы даете! Сами же вывесили на улице: «Все для будущих мамаш»... А когда человеку чего-то захотелось, вы отсылаете к фруктовщику... Нельзя людей так накалывать. Но если вы не торгуете тем, что я у вас спрашивала, тогда чем же вы вообще торгуете? Надоело мне вам говорить, чего мне надо. Да уж ладно; теперь сами предлагайте ваш товар...

Между тем субъект с бакенбардами подошел к магазину и, приложив губы к стеклу, оставил на нем запотевший ореол.

— Этот молодой человек с вами? — спросила мадемуазель Амбигю.

А малявка в ответ:

— Что за нескромный вопрос... оно, конечно, может, и так, но... с чего это вы взяли?

Амбигю слегка пожала плечами, едва прикрытыми глубоко вырезанным платьем.

— Просто так, но... это случайно не отец?

— Это я бы и сама хотела знать. Вполне может, что и он. Только я не очень уверена. Другой-то ведь тоже не исключен.

— В конце концов, мадемуазель, я вас не понимаю. Вы что, не знаете, от кого у вас ребенок?

— Такие вещи заранее не узнаешь, вот если бы я его хоть видела, этого малыша, то, может, по сходству... какая-нибудь наследственная черта... ну, а так сразу! И потом, он или другой — какая разница?

От такого цинизма собравшиеся содрогнулись, однако интерес их переключился на мужчину, стоявшего за порогом, и они осуждающе зашипели, ввиду чего покупательница сочла нужным уточнить:

— Я хочу сказать, что нельзя знать того, чего знать не можешь. Ничто ведь не говорит против. Но как определяют, кто отец? Если б люди знали все заранее, ваша лавчонка наверняка захирела бы, разве нет? Одно могу сказать твердо: я жду ребенка, чей бы он ни был.

— Ну что ж,— только и вымолвила мадемуазель Амбигю,— современная молодежь! Но раз уж у нас зашла об этом речь, осмелюсь спросить... Между нами, если отец — не он, то сколько других, на кого вы могли бы подумать?..

— Сколько? Да разве я их считала. И потом, это ведь может быть кто-то совсем другой...

Ну и ну! Тем более что альпинист принялся подмигивать то одной продавщице, то другой. Причем подмигивать — это еще мягко сказано. А девицы — точно из пансиона: хихикают, подталкивают друг друга локтем. Центр интереса полностью переместился. Малышка это заметила.

— Мои милые,— сказала она,— можете не стесняться. Так и быть, этого я вам отдаю. Он еще, знаете ли, ничего. Могли бы нарваться и на кого похуже... Только не все сразу, идет! А то еще повредите его. Вдруг все-таки он — папочка... но я вовсе не уверена. Есть, знаете, такие, которые на вид — ну прямо только этим и занимаются. Настоящие иначе себя ведут. Для меня эксгибиционисты — пройденный этап...

[1] Игра слов: по-французски «акушерские щипцы» (форсепс) по звучанию схожи со словом «бицепсы» (бисепс).

Эта последняя фраза имела большой успех. А за витриной альпинист — он как муха. Ведь стоит одной сесть на стекло, как тотчас со всех сторон налетают другие. «Что этот парень там так разглядывает?» — заинтересовался желто-красный волосатик; ну, а где двое — там и трое. К ним подошел маленький, яблочно-зеленый, взъерошенный. А затем гигант из породы павианов, с глазами, занавешенными челкой, который тут же раздвигает их, то есть любопытных, и упирается своими лапищами убийцы в стекло. Девицы внутри даже побледнели. А их покупательница вполголоса, мечтательно произносит:

— А знаете, вот этот мне куда больше по вкусу как папочка. Только уж больно такие здоровы — весь фарфор перебить могут...

Тем временем к толпе на улице присоединился еще и хиппи — этакий мертвенно-бледный блондинчик с волосами, перехваченными лентой. В руках у него была связка нуги.

Мадемуазель Амбигю больше не в состоянии сдерживаться. Болтовня — еще куда ни шло, но подобное сборище — это же может скомпрометировать магазин.

— Если это вы, девушка, всех их привели, то посоветуйте этим особям мужского пола погулять... ибо мы для них леденцов не держим. Здесь эти дамы и я, мы, представьте себе, как бы священнодействуем или, если быть скромнее, выполняем определенную функцию: в наши обязанности входит подготовить будущую мамашу к появлению новорожденного и обеспечить как ему, так и молодой матери комфорт, гигиену — все, что можно придумать, чтобы младенец развивался гармонично, физически и духовно, иными словами, заблаговременно создать вокруг юного существа нежную и заботливую атмосферу, в которой готовится как его появление на свет, так и его будущее... словом, здесь не то место, чтобы собирать толпу у витрины и смущать тех своеобразных проводниц в жизнь, каковыми мы являемся, вам это понятно?

— Нет,— сказала девчонка,— непонятно. Но до чего же вы, однако, смешно ведете свою торговлю. К вам приходит покупатель и спрашивает, что вы на своем базаре продаете, а вы... такое впечатление, точно ты попала в Армию Спасения!

Между тем одна из проводниц в жизнь, совсем юная, перестав следить за ходом беседы, незаметно повернулась к зрителям за окном — один из них, одетый под Тиля Уленшпигеля, как раз делал какие-то знаки, которые она отнесла на свой счет. Девчонка она была сентиментальная и уже не раз страдала от сердечных ран. Соседка потянула было ее за рукав. Тщетно.

— Так как же? — снова обратилась к малышке мадемуазель Амбигю.— Может быть, желаете посмотреть колыбельки? У нас имеются небесно-голубые, отделанные белым гипюром,— это напоминает маленькие волночки у берега моря. Или, может быть, вас интересовала бы модель с занавесочками, правда, сейчас их больше не делают: не рекомендуют специалисты по психоанализу, тем не менее некоторые молодые мамаши, не знаю уж почему, предпочитают именно такие колыбельки. Так что нам, сами понимаете, приходится их держать. Или, быть может, вас уже интересуют соски? Или, может быть, пока только одежда для будущих мамаш — воздушные халатики, костюмчик свободного покроя, платья с приподнятой талией в стиле ампир, что так удачно при...

— К черту поэзию...— категорически объявила малышка,— и это все, на что у вас хватило воображения в вашем борделе?

Тут она явно перегнула палку. Продавщицы осуждающе зароптали, и по магазину словно прошла зыбь — совсем как в плохую погоду на Лазурном берегу. Но девчонка этого вроде и не заметила.

— А может, у вас есть, наконец, какие-нибудь книжонки для девочек в моем положении,— продолжала она,— которые могли бы про-

светить их о том, что с ними будет, а? Потому как в наших дурацких семьях разве что узнаешь!

— Нет,— сухо сказала мадемуазель Амбигю,— сексуальное воспитание — это не по нашей части.

— А-а, ясно, я, кажется, начинаю понимать: вы, видно, занимаетесь тем, когда уже все произошло? Учтите, меня это тоже интересует, только я полагала... воспитание... видите ли, для меня... профессора и так далее... но в общем просвещаться всегда полезно... Хотя, видимо, я ошиблась адресом. Но, между нами, ваше заведеньице выиграло бы, будь оно более поп... Не вдаваясь в подробности, все, что я здесь вижу, наводит на мысль, что вы обслуживаете беременных папаш...

Тут одна из продавщиц залилась безумным, истерическим смехом. Все остальные разом повернулись — точно вывернули старый носок наизнанку — и строго уставились на нее. Девушка опускает голову и начинает скрести ногтем маленькое пятнышко неизвестного происхождения на своем сиреневом свитере.

— Мне не хотелось бы вас расстраивать, конечно,— говорит покупательница,— но если так вести торговлю в наше время... да вы же прямиком идете к разорению. Вы превращаетесь в торговцев древностями — слепому видно. А ведь мы живем — не лишне вам напомнить — в разгар больших перемен! Заметьте, для меня политика... Я-то лично за вооруженные ограбления, это хоть весело и забавно... но речь не о том. Мне бы хотелось, прежде чем мы расстанемся, сказать вам, что я высоко оценила ваш прием, ваше умение поддержать беседу, несмотря на то что в плане перспектив, мои милые, вы, на мой взгляд, малость ограничены. Словом, когда у вас будет распродажа, бросовые цены, возможно, я, проходя мимо...

Она уже собиралась было уйти, но вдруг спохватилась:

— Да, вот еще что — сигары... вы здесь не продаете сигар? Да, слабовато у вас с воображением. В моем положении ведь не только клубнику любят... Вы что, не читали Фрейда? Да и эту вашу вывеску следовало бы сменить: «Все для будущих мамаш...» Скажите на милость! А вам никогда не приходило в голову, что все женщины — это будущие мамаши, они же все могут забеременеть, верно? Или нет? Так вот, если девчонка лет десяти — словом, малявка — в один прекрасный день придет к вам за советом, постарайтесь понять, что́ у нее в башке, у этой крошки, прежде чем предлагать ей противозачаточное средство. А теперь — приветик!

Она резко толкнула дверь, вихрем выскочила на улицу и, оказавшись в толпе любопытных, которые уже успели распалить себя в буквальном смысле этого слова, поспешно крикнула:

— Эй, мальчики, можете заходить — это скорее для вас, а не для меня подобное заведение со скучающими девицами, которые понятия не имеют, как делаются дети!

О, вокабулярий семидесятых годов, когда уже никто не скажет, что такое монета в двадцать су — разве что старики да бывший зуав с моста Альма, если бы он мог говорить! Протяни же мне руку, эфемерная речь, которой не дано быть увековеченной на надгробии, дабы я мог пройти по времени с веселой усмешкой на лице — том лице, с каким мне суждено, как это ни трагично, закончить мои дни.

С веселой усмешкой.

1970 г.

Перевод Н. ДУБИНИНОЙ

■

АКУТАГАВА РЮНОСКЭ

Миниатюры

К 90-летию со дня рождения писателя

Вступление и перевод с японского В. ГРИВНИНА

В те годы, когда состоялось первое знакомство советского читателя с новеллами Акутагава Рюноскэ (1892—1927), японская литература была известна у нас еще очень мало, и именно Акутагава был тем писателем, который привлек к ней внимание широких читательских кругов. Первые переводы его новелл появились в 1924 году. Это были «Дзюриано Китискэ» и «Тело женщины». В 1926 году была переведена новелла «В бамбуковой чаще».

Однако настоящая встреча с Акутагава произошла в 1936 году, когда был выпущен сборник его новелл, озаглавленный «Расёмон», за двадцать лет до этого принесший писателю славу на его родине.

В 1952 году был выпущен новый, значительно расширенный сборник новелл Акутагава, в 1971-м — двухтомник, в который вошло большинство новелл писателя. Это издание было полностью повторено в серии «Библиотека всемирной литературы» в 1974 году. В 1979 году вышел новый сборник новелл Акутагава. С его появлением на русский язык переведены практически все новеллы писателя. Этот перечень достаточно красноречиво говорит о широкой известности Акутагава в нашей стране.

Акутагава писал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет. Шекспир, Гёте, Тикамацу Мондзаэмон смертны. Но породившее их лоно—великий народ—бессмертен».

Читая произведения Акутагава, убеждаешься, что именно он — родоначальник современной японской литературы, что его творчество способствовало тому, что японская литература вышла на мировую арену. Оставаясь на национальной почве, он воспринял достижения мировой культуры, причем не эпигонски, не эклектически, а творчески, глубоко осмыслив их. Его произведения проникнуты истинным гуманизмом, любовью к человеку, верой в него.

Независимо от того, где находил Акутагава источник сюжета — в древней ли хронике, средневековой повести или современности,— произведения его всегда злободневны. Именно в этом жизненность новелл Акутагава, именно это объясняет огромный интерес, с которым воспринимаются они сегодняшним читателем.

Предлагаемая подборка, в которую включены миниатюры и публицистические эссе, не публиковавшиеся в русском переводе, позволяет увидеть новые грани творчества Акутагава.

Глядя на паровоз

...Наши дети часто подражают паровозу. Разумеется, не стоящему на месте. Они двигают руками, пыхтят, подражая мчащемуся вперед паровозу. И это делают не только мои дети. Почему же они подражают паровозу? Наверно, потому, что в нем они ощущают мощь. Или потому, что хотят, чтобы и у них была такая же бурная жизнь, как у паровоза. Подобное желание испытывают не только дети. И взрослые тоже.

Только паровоз взрослых — не паровоз в буквальном смысле этого слова. Правда, по тому, как он стремительно мчится вперед и сколь четко очерчена его колея, он подобен паровозу. Колея — это либо деньги, либо слава, либо, наконец, женщины. Мы, будь то дети или взрослые — безразлично, полны желания мчаться вперед свободно, но одно то, что мы желаем этого, означает потерю свободы. Это не парадокс. Это парадоксальная жизненная реальность. Однако заключенные в нас бесчисленные предки, социальные условия определенной эпохи определенной страны в той или иной мере играют роль тормоза наших желаний. Но все равно эти желания обитают в нас еще со времен глубокой древности...

Я не мог не подумать об этом, когда, стоя на высокой насыпи, смотрел, как мимо меня мчатся дети и настоящие паровозы. Перед насыпью, где я стоял, была еще одна насыпь, и на ней криво рос уже начавший засыхать каштан. А вот тот паровоз 32-71 — это Муссолини. Колея, по которой он мчится, сейчас ярко сверкает. Но если вспомнить, что любая колея в конце, где не ходят поезда, проржавела, то, возможно, и жизнь Муссолини закончится так же, как кончаются жизни таких же простых смертных, как мы. Более того...

Более того, мы полны желания мчаться вперед, не ограничивая себя ничем, и в то же время движемся по колее. Этого противоречия никогда не следует упускать из виду. Вот тут-то и зарождается то, что именуется нашей трагедией. Макбет — здесь сомнений нет,— но даже и такие персонажи, как Кохару и Дзихэй[1], в конце концов превратились в паровозы. Возможно, Кохару и Дзихэй не обладали столь могучим характером, как Макбет. Но во имя своей любви они очертя голову помчались вперед. (Принципы трагедии, как ее понимают на Западе, здесь, как ни прискорбно, не применимы. Трагедии создаются людьми. А не эстетиками.) Эта трагедия из-за неясности мотивов, которыми руководствуются герои (не исключено, что выяснение мотивов нежелательно и для непосредственных участников трагедии), в глазах непосвященных будет выглядеть так, словно они ради забавы мчатся вперед, ради забавы останавливаются или же терпят крушение. И тогда трагедия превращается в комедию. Таким образом, комедия — это трагедия, не вызвавшая сочувствия непосвященных.

В общем, мы, и взрослые и дети, все без исключения — паровозы. Я, например, ощущаю себя устарелым паровозом 32-36 с высоченной трубой. Паровозом 32-36, установленным на поворотном круге.

Однако как тормозят движение этих паровозов общество определенной эпохи определенной страны и наши предки? Я все время ощущаю тормоз и в то же время не могу не ощущать биения машины, пламени, бушующего в топке. Мы не просто сами по себе. Мы, как паровозы, заключаем в себе многовековую историю. Более того, состоим из бесчисленного количества поршней и зубчатых колес. А колея, по которой мы мчимся вперед, неведома нам так же, как и паровозу. Возможно, она проляжет через туннели и мосты. Колея запрещает нам всякую свободу, любое, даже малейшее, отклонение в сторону. По-

[1] Главные персонажи пьесы Тикамацу Мондзаэмона «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей». Не имея возможности соединиться, они вместе покончили жизнь самоубийством.

жалуй, факт этот страшен. Но хотим мы того или нет, он несомненно существует.

Каким бы решительным ни был машинист, это не даст свободы паровозу. Того или иного машиниста сажает на тот или иной паровоз прихотливая воля богов. Однако почти каждый паровоз, пока весь насквозь не проржавеет, не отказывается от стремления мчаться вперед. В этом и состоит внешняя величавость паровоза.

Каждый из нас — паровоз. Наша работа — не более чем дым и искры, которые мы выбрасываем в небо. Люди, идущие у железнодорожной насыпи, по дыму и искрам узнают, что мчится паровоз. Или что он только что промчался. Дым и искры, если речь идет об электровозе, можно заменить грохотом. Вот почему мне близки слова Флобера: «Человек — ничто, работа — все». Религиозный деятель, деятель искусств, общественный деятель — самые разные паровозы, каждый, следуя своей колеей, неизбежно куда-то стремительно движется вперед. Как можно быстрее — вот единственное, что их волнует.

Ощущать самого себя всякий раз, когда видишь паровоз,— такое присуще, разумеется, не мне одному. Сайто Рёку [1] писал о вздохах паровоза, с трудом перевалившего через горы Хаконэ: «Ух ты, что за горы, ух ты, что за горы». А паровоз, спускающийся вниз с утеса Усуитогэ, полон радости. Он всегда бодро поет: «Как высоко Такасаки, как высоко Такасаки». Если первый — паровоз трагедии, то второй, возможно, паровоз комедии.

Июль 1927

Как я думаю

Больше всего жаждет воды сидящий на верблюде путешественник, не имея бурдюка с водой. Больше всего жаждет справедливости живущий в условиях капитализма революционер, не находя социальной справедливости. Больше всего нам, людям, недостает того, что нам больше всего необходимо. Вряд ли кто-либо может сомневаться в этом.

Но если сказанное мной верно, то тогда больше всего жаждет иметь ноги солдат, у которого их оторвало. Больше всего жаждет любви влюбленный, потерявший возлюбленную. Больше всего жаждут серьезности — я не могу не следовать логике,— жаждут серьезности писатели, жаждут серьезности критики, жаждут серьезности драматурги, которым внутренней серьезности недостает. Во всяком случае, не мне говорить о том, что все люди испокон веку несерьезны. Тем более было бы оскорблением обрушивать обвинения на тех, кто обладает юмором.

История учит, что истинно серьезные художники никогда не щеголяли серьезностью. В их произведениях, чаще или реже, но всегда присутствует непринужденный смех. Даже известный своей суровостью Ибсен никогда не был вознесенным над людьми чудовищем, выставляющим напоказ свою суровость. Вскоре после «Пер Гюнта» появилась «Дикая утка», из которой хлынули громовые раскаты смеха. Не уступает Ибсену и Достоевский, продемонстрировавший свою любовь к шутке в «Крокодиле» и «Дядюшкином сне». Толстой изобразил женщину, которая, целуясь с мужем, беспокоится, что у нее помнется платье. Стриндберг изобразил мужчину, легкомысленного в жизни, но без конца рассуждающего о морали.

Сама логика говорит о несомненности того факта, что у так называемых серьезных писателей, критиков и драматургов недостает серьезности. Было бы неверно утверждать, что к такому выводу никто еще не приходил. В глубине души многие это чувствуют...

По словам Паскаля, человек — думающий тростник. Думает тростник или нет — сказать определенно я не могу. Но то, что тростник не смеется, как человек,— это несомненно. Не видя смеющегося лица,

[1] Сайто Рёку (1867—1904) — известный японский критик и публицист.

я не могу представить себе не только серьезность этого человека, но и вообще наличие в нем человеческих качеств. Вряд ли нужно доказывать, что я не питаю никакого уважения к писателям, критикам, драматургам, стремящимся во что бы то ни стало сохранять серьезность.

Июнь 1923

Лягушка

Я лежу у старого пруда, в нем полно лягушек.

Пруд по краям густо зарос тростником и рогозом. На берегу, склонившись над тростником и рогозом, приятно шелестят на ветру высокие ивы. А над ними — летнее голубое небо, и в нем поблескивают, точно осколки стекла, редкие кружевные облака. И отражение всего этого в пруду выглядит намного красивее, чем в реальности.

Лягушки, живущие в пруду, целый день без устали квакают: ква-ква, ква-ква. Невнимательный слушатель может уловить только: ква-ква, ква-ква. Но на самом деле между лягушками идут ожесточенные споры. Было бы неверно утверждать, что лягушки разговаривали лишь во времена Эзопа.

Одна из лягушек, устроившись на листе тростника и вообразив себя университетским профессором, заявляет:

— Для чего существует вода? Для того, чтобы мы, лягушки, могли плавать. Для чего существуют букашки? Для того, чтобы мы, лягушки, могли ими питаться.

— Правильно, правильно,— кричат лягушки, сидящие в пруду. Вся поверхность пруда, в которой отражались небо, трава и деревья, почти сплошь усеяна лягушками, и поэтому их возгласы одобрения весьма внушительны.

Тут проснулась спавшая у ствола ивы змея, которую разбудили надоедливые ква-ква, ква-ква. Приподняв голову, она посмотрела в сторону пруда и сонно облизнулась.

— Для чего существует земля? Для того, чтобы на ней росли деревья и трава. А для чего деревья и трава? Для того, чтобы создавать тень для нас, лягушек. Следовательно, можно утверждать, что вся земля существует для нас, лягушек.

— Правильно, правильно.

Второй раз услышав возгласы одобрения, змея напряглась, как хлыст. Она бесшумно сползла в тростник и, сверкая черными глазами, стала внимательно приглядываться к тому, что происходило в пруду.

Лягушка, восседавшая на листе тростника, по-прежнему широко раскрывая свой огромный рот, ораторствовала:

— Для чего существует небо? Для того, чтобы на нем висело солнце. Для чего существует солнце? Для того, чтобы сушить наши лягушачьи спины. Следовательно, можно утверждать, что все небо существует для нас, лягушек. Итак, и вода, и трава, и деревья, и букашки, и земля, и небо, и солнце существуют для нас, лягушек. Таким образом, неопровержимым является тот факт, что вся вселенная существует для нас. Разъясняя вам этот факт, я вместе с тем хотела бы от всей души возблагодарить всевышнего за то, что всю вселенную он создал для нас, лягушек.

Устремив взгляд в небо и неистово вращая глазами, лягушка снова широко раскрыла свой огромный рот и возвестила:

— Да святится имя твое, господи...

Не успела она кончить, как к ней метнулась голова змеи и красноречивая лягушка в мгновение ока оказалась в змеиной пасти.

— Ква-ква, это ужасно.

— Ква-ква, это ужасно.

— Ужасно, ква-ква, ква-ква.

Пока потрясенные обитатели пруда кричали, змея спокойно проглотила лягушку и спряталась в зарослях тростника. Тут начался такой переполох, которого еще свет не видывал, во всяком случае с тех

пор, как существует этот пруд. Я сам слышал, как юный лягушонок с плачем вопрошал:

— И вода, и трава, и деревья, и букашки, и земля, и небо, и солнце существуют для нас, лягушек. А как же тогда змеи? Змеи тоже существуют для нас?

— Совершенно верно. Змеи тоже существуют для нас, лягушек. Если бы змеи не ели нас, лягушек, нас бы расплодилось великое множество. А если бы мы так расплодились, то тесно стало бы в пруду — в нашем мире. Вот почему и приползают змеи, чтобы есть нас, лягушек. Нужно исходить из того, что съеденная лягушка — жертва, принесенная для счастья большинства. Ты совершенно прав. Змеи тоже существуют для нас, лягушек. Все в мире, все без исключения, существует для нас, лягушек. Да святится имя твое, господи.

Это был услышанный мной ответ пожилой лягушки.

Сентябрь 1917

Рояль

Однажды в осенний дождливый день я шел по улице Яматэ в Иокогаме, направляясь по делу к одному человеку. Хаос в этом районе был почти таким же, как и в дни землетрясения[1]. Если что и изменилось, так только то, что среди валявшегося на земле шифера с крыш и разрушенных кирпичных стен кое-где вырос бурьян. В развалинах какого-то дома я вдруг увидел влажно блестевший клавишами, наполовину погребенный под остатками стены, искалеченный рояль с открытой крышкой. А рядом в бурьяне мокли разбросанные ноты, на обложках которых розовыми, голубыми, коричневыми буквами были выведены названия произведений.

Мы переговорили с тем человеком по делу. Разговор был неприятный. И я поздно вечером покинул его дом, условившись, что мы вскоре встретимся еще раз.

К счастью, дождь кончился. Временами сквозь разрывы туч, которые гнал по небу ветер, выглядывала луна. Чтобы не опоздать на поезд (разумеется, электричка государственной железной дороги, в которой запрещено курить, мне не подходила), я старался идти как можно быстрее.

Неожиданно я услыхал звуки, будто кто-то играет на рояле. Пожалуй, лучше сказать не играет, а слегка касается клавиш. Я непроизвольно замедлил шаги и стал осматривать развалины. И в свете луны увидел клавиши рояля — того самого рояля, который валялся в зарослях бурьяна. Но нигде ни живой души.

Я услыхал одну-единственную ноту. Но это был несомненно звук рояля. Мне стало немного не по себе, и я снова пошел быстрее. И тут опять за моей спиной отчетливо раздался звук рояля. Не оборачиваясь, я все ускорял шаги, чувствуя, как в спину мне бьет горячий ветер...

Я был слишком большим реалистом, чтобы давать какое-то оккультное объяснение услышанному мной звуку. Там действительно не было ни души, но, возможно, у разрушенной стены притаилась кошка. А если не кошка, то колонок или жаба — перечислял я в уме возможных обитателей развалин. Но все-таки было странно, что рояль заиграл без прикосновения человеческих рук.

Не прошло и пяти дней, как я снова по тому же делу шел по той же улице Яматэ. Рояль по-прежнему лежал в бурьяне. Как и в прошлый раз, вокруг него валялись ноты, на обложках которых розовыми, голубыми, коричневыми буквами были выведены названия. Все это, в том числе и кучи кирпича и шифера, было залито яркими лучами осеннего солнца. Стараясь не наступать на ноты, я подошел к роялю. Теперь я увидел, что слоновая кость клавиш потеряла былой блеск, лак на крышке облез. Вокруг ножек обвилось какое-то ползучее

[1] Имеется в виду так называемое великое землетрясение в Канто в 1923 году.

растение, похожее на дикий виноград. Стоя перед роялем, я испытывал нечто близкое разочарованию.

— Будет он играть наконец или нет? — подумал я вслух. И в тот же момент рояль издал тихий звук. Казалось, он ругнул меня за неверие. Но меня это не поразило. Более того, на моем лице появилась улыбка. Как и тогда. Но сегодня белые клавиши сверкали в лучах солнца. Однако теперь на них валялся одинокий каштан — когда он упал, не знаю.

Вернувшись на мостовую, я обернулся и еще раз бросил взгляд на развалины. Ствол каштана, который я наконец рассмотрел, придавленный обвалившейся шиферной крышей, стоял наклонившись, прикрыв собой рояль. Я не мог оторвать глаз от искалеченного рояля, валявшегося в густом бурьяне. От рояля, хранившего неведомые никому звуки со времени того самого землетрясения.

Апрель 1925

Пятнашки

На одной из отдаленных улочек он играл с девочкой младше него в пятнашки. Хотя было еще совсем светло, на углу уже горел газовый фонарь.

— Давай сюда.

Радостно несясь вперед, он обернулся к бежавшей за ним девочке. Не отрывая от него глаз, она изо всех сил гналась за ним. Увидев ее лицо, он подумал: какое оно у нее удивительно сосредоточенное.

Это лицо надолго сохранилось в его памяти. Но с годами оно бесследно исчезло.

Прошло двадцать лет, и он в поезде на севере Японии случайно встретился с ней. По мере того как темнело за окном, он все острее ощущал запах ее мокрых туфель и пальто.

— Давно не виделись.

Зажав в зубах сигарету, он (всего три дня назад они с товарищем вышли из тюрьмы) внимательно посмотрел ей в лицо. Она недавно потеряла мужа. Подробно рассказывала о своей жизни, о родителях, о братьях. Глядя ей в лицо, он снова подумал: какое оно у нее удивительно сосредоточенное — и тут же снова превратился в двенадцатилетнего мальчишку.

Теперь они поженились, у них свой дом в пригороде. Но с тех пор он ни разу не видел, чтобы у нее было такое же удивительно сосредоточенное лицо.

Декабрь 1926

Женщина

Облитая лучами щедрого летнего солнца, паучиха притаилась в глубине красной розы и о чем-то думала.

Неожиданно на цветок с жужжанием опустилась пчела. Паучиха мгновенно впилась в нее взглядом. В тихом полуденном воздухе еще плыло, затухая, тихое жужжание.

Паучиха бесшумно поползла вверх. Пчела, обсыпанная цветочной пыльцой, погрузила свой хоботок в нектар, скопившийся у основания пестика.

Прошло несколько секунд мучительной тишины. На лепесток красной розы за спиной опьяневшей от нектара пчелы медленно выползла паучиха. И тут же стремительно бросилась на нее. Бешено заработав крыльями, пчела делала отчаянные попытки ужалить врага. Пыльца, покрывшая ее крылья, плясала в лучах яркого солнца. Но паучиха не разжимала челюстей.

Сражение было коротким.

Крылья сразу же перестали слушаться пчелу. Потом у нее отнялись лапки. Последним несколько раз конвульсивно дернулся вверх длинный хоботок. Это был конец трагедии. Конец ужасной трагедии,

под стать смерти человека. Спустя секунду пчела, вытянув хоботок, лежала в глубине красной розы. Ее крылья и лапки были обсыпаны душистой пыльцой...

Паучиха, не шевелясь, бесшумно высасывала кровь пчелы.

Не ведающие стыда солнечные лучи, нарушая вновь вернувшееся к розе безмолвие, освещали победно-самодовольную паучиху, убившую пчелу. Брюшко точно серый атлас, похожие на черные бусинки глаза, сухие, с безобразными суставами, будто пораженные проказой лапки — паучиха, воплощение зла, кровожадно восседала на мертвой пчеле.

Такая же до предела жестокая драма повторялась неоднократно и впоследствии. А красная роза, ничего не подозревая, день за днем лила в знойной духоте одуряющий аромат...

И вот однажды в полдень паучиха, будто вспомнив о чем-то, побежала между листьями и цветами розового куста и добралась до конца тоненькой веточки. Там, издавая сладковатый запах, засыхал бутон, лепестки которого скрутила жара. Паучиха начала проворно сновать между ним и веточкой. И скоро бесчисленные блестящие нити заткали полуувядший бутон и обвили кончик веточки.

Через некоторое время на летнем солнце до боли в глазах засверкал белизной, будто сотканный из шелка, кокон.

Соткав кокон, паучиха отложила на дно этого хрупкого мешочка бесчисленное множество яиц. Отверстие мешочка она заткала толстыми нитями и, усевшись на эту подстилку, натянула тонкий полог, соорудив еще один купол. Полог отгородил жестокую серую паучиху от синего полуденного неба. А паучиха, отложившая яйца, распластав исхудалое тело в своих белоснежных покоях, забыв и о розе, и о солнце, и о жужжании пчелы, лежала неподвижно, погруженная в думы.

Прошло несколько недель.

В коконе, сотканном паучихой, начали просыпаться новые жизни, дремавшие в бесчисленных яйцах. Первой заметила это уже одряхлевшая паучиха-мать, которая лежала в своих белоснежных покоях, не позволяя себе даже есть. Паук, почувствовав под подстилкой нарождение новой жизни, с трудом подполз и прогрыз кокон, в котором укрывалась мать с детьми. Бесчисленные паучата битком набили белоснежные покои. Или, лучше сказать, сама подстилка задвигалась, превратившись в неисчислимое множество крупинок.

Паучки сразу же пролезли через окошечко купола и рассеялись по веткам розы, залитой солнцем и обдуваемой ветром. Одни из них толклись на обжигающе горячих листьях. Другие, как до этого их родители, нырнули в цветы, полные нектара. Третьи — между ветками розы, прочерчивающими вдоль и поперек синее небо, стали ткать нити, такие тонкие, что их даже невозможно было различить глазом. Если бы роза не была нема, то в этот ясный летний день она, несомненно, горестно заплакала бы тонким голоском и показалось бы, что это поет от ветра висящая на ее ветвях крохотная скрипка.

А в это время у окошечка в куполе исхудавшая, как тень, сидела в одиночестве паучиха-мать, не выказывая ни малейшего желания даже пошевелить лапками. Безмолвие белоснежных покоев, запах увядшего бутона розы — под тонким пологом, где соединилась воедино родильная комната и могила, паучиха, произведя на свет бесчисленных паучат, с сознанием беспредельной радости матери, выполнившей свое небесное предназначение, приняла смерть. Приняла смерть жившая в разгар лета и воплощающая зло женщина, которая убила пчелу.

Апрель 1920

Предисловие к сборнику переводов на русский язык [1]

Я, разумеется, очень рад, что мои произведения переводятся на русский язык. Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказала бы на японских писателей и даже скорее на японские читательские слои такое же влияние, как русская. Даже молодежь, не знакомая с японской классикой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Одного этого достаточно, чтобы стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия... Тот факт, что современная японская литература испытала на себе огромное влияние современной русской литературы, объясняется, несомненно, тем, что современная мировая литература в целом испытала на себе огромное влияние современной русской литературы. Но еще более важная проблема заключается в том, что объяснение этому, как мне думается, следует искать в сходстве характеров русских и японцев. Мы, современные японцы, благодаря произведениям великих русских реалистов в общих чертах смогли понять Россию. Постарайтесь и вы, русские, понять нас, японцев. (Мы, японцы, чувствуем себя в мире совершенно одинокими в сфере искусств, исключая изобразительное и прикладное.) Среди современных японских писателей я не самый крупный. Более того, я даже сомневаюсь, являюсь ли самой подходящей фигурой, с которой следовало бы познакомить Россию. Япония после 1880 года родила множество талантов. Эти таланты либо, подобно Уолту Уитмену, восславляли человека, либо, подобно Флоберу, правдиво рисовали жизнь буржуазии, либо, наконец, воспевали традиционную японскую красоту, присущую одной лишь нашей стране. Если вслед за переводами моих произведений русские познакомятся и с произведениями этих талантов, радоваться буду не я один. Мое предисловие кратко. Но его написал японец, который считает ваших Наташу и Соню нашими сестрами. С этой мыслью и читайте написанное мной.

Январь 1927

В связи с великим землетрясением 1 сентября 1923 года

...Я благонамеренный гражданин. Но Кикути Кану [2], на мой взгляд, этого качества недостает.

Уже после того как было введено чрезвычайное положение, мы с Кикути Каном беседовали о том о сем, покуривая сигареты. Я говорю «беседовали о том о сем», но, естественно, наш разговор вертелся вокруг недавнего землетрясения. Я сказал, что, как утверждают, причина пожаров — мятеж взбунтовавшихся корейцев. «Послушай, да это же вранье»,— закричал в ответ Кикути. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться с ним: «Да, видимо, и в самом деле вранье». Но потом, одумавшись, я сказал, что тогда, возможно, это дело рук агентов взбунтовавшихся корейцев и большевиков. «Послушай, да это же в самом деле чистое вранье»,— опять стал ругаться Кикути. И я снова отказался от своего предположения: «Может, и в самом деле вранье».

На мой взгляд, благонамеренный гражданин — это тот, кто безоговорочно верит в существование заговора большевиков и взбунтовавшихся корейцев. Если же, паче чаяния, он не верит, то обязан сделать вид, будто верит. А этот неотесанный Кикути Кан и не верит, и не делает вида, что верит. Такое поведение следует рассматривать как полную утрату качеств благонамеренного гражданина. Являясь благонамеренным гражданином и в то же время членом отряда самозащиты, я не могу не сожалеть о позиции, занятой Кикути.

Да, быть благонамеренным гражданином — нелегкое дело.

---

[1] Издание не было осуществлено. *(Прим. перев.)*

[2] Кикути Кан (1888—1948) — известный японский писатель, ближайший друг Акутагава.

Литературные иллюстрации

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР

Тедди

РАССКАЗ

Перевод с английского С. ТАСКА

— Ты, брат, у меня такой волшебный день схлопочешь. А ну, слезай сию минуту с саквояжа,— сказал мистер Макардль.— Я ведь не шучу.

Он занимал одну из двух коек — дальнюю от иллюминатора. Не то охнув, не то вздохнув, он с остервенением отбросил ногой простыню: видно, прикосновение даже самой легкой материи к обожженной солнцем коже стало ему невмоготу. Он лежал на спине, в одних пижамных штанах, с дымящейся сигаретой в правой руке. Головой он неловко приткнулся почти к основанию спинки, словно хотел доставить себе еще больше страданий. Подушка и пепельница валялись на полу, в проходе, между его койкой и койкой миссис Макардль. Не поднимаясь, он протянул воспаленную правую руку и, не глядя, стряхнул пепел в сторону ночного столика.

— И это октябрь,— сказал он.— Что тут у них тогда в августе творится! — Он опять повернул голову к Тедди, и взгляд его не предвещал ничего хорошего.— Ну вот что,— сказал он.— Долго мне еще твердить? Я кому говорю? Сейчас же слезай, слышишь!

Тедди взгромоздился на новехонький саквояж из воловьей кожи, чтобы было удобнее смотреть из раскрытого иллюминатора родительской каюты. На нем были немыслимо грязные белые полукеды на босу ногу, полосатые, слишком длинные шорты, которые к тому же отвисали сзади, застиранная тенниска с дыркой размером с десятицентовую монету на правом плече и неожиданно элегантный черный ремень из крокодиловой кожи. Оброс он ужасно, особенно сзади,— так обрастают только мальчишки, когда голова уже большая, а шея тоненькая.

— Тедди, ты меня слышишь?

Не так уж сильно высунулся Тедди из иллюминатора—другой бы мальчишка уже, того гляди, вывалился бы из него, а он, хоть и не очень устойчиво, стоял обеими ногами на саквояже, только одна голова торчала наружу. Однако он прекрасно слышал

ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИНДЖЕР — JEROME DAVID SALINGER (род. в 1919 г.). Американский писатель. Широкую известность принес ему роман «Над пропастью во ржи» («The Catcher in the Rye», 1951), с которым познакомила советских читателей «Иностранная литература» (1960, № 11). В сборник под названием «Грустный мотив», вышедший в русском переводе, вошли многие его рассказы (М., изд. «Правда», 1963). Издан также сборник повестей и рассказов «Выше стропила, плотники!» (М., «Молодая гвардия», 1965 и второе изд. 1967). Рассказы Дж. Сэлинджера печатались во многих советских журналах и еженедельниках.

Рассказ «Тедди» («Teddy») был напечатан в сборнике «Девять рассказов», вышедшем в Бостоне в 1953 г. («Nine Stories», Boston, Little, Brown and Company, 1953).

отцовский голос — еще бы не слышать. Мистер Макардль был на главных ролях по меньшей мере в трех радиопрограммах Нью-Йорка, и среди дня можно было услышать его голос, голос третьеразрядного конферансье — глубокий, словно упивающийся своей полнозвучностью, он в любой момент готов был перекрыть все прочие голоса, даже детский крик. Когда голос его отдыхал от профессиональной нагрузки, он с удовольствием то падал до бархатных низов, то вибрировал, негромкий, но хорошо поставленный, с чисто театральной звучностью. Однако сейчас было самое время включить полную громкость.

— Тедди! Ты слышишь меня, черт возьми?

Не меняя своей сторожевой стойки на саквояже, Тедди полуобернулся и вопросительно посмотрел на отца удивительно ясными, все понимающими глазами. Светло-карие и не такие уж большие, они слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изъяном или было слишком заметно. Упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что, глядя на них, вы бы всерьез и надолго задумались — а лучше ли было бы, будь они у него, скажем, без косинки, или глубже посажены, или темнее, или расставлены пошире. Как бы там ни было, в его лице угадывалось, пускай не сразу, какое-то скрытое очарование.

— Немедленно, слышишь, немедленно слезь с саквояжа,— сказал мистер Макардль.— Долго мне еще повторять?

— И не думай слезать, радость моя,— подала голос миссис Макардль, у которой по утрам слегка закладывало нос. Веки у нее приоткрылись.— Пальцем не пошевели.— Она лежала на правом боку, спиной к мужу, глядя в сторону иллюминатора и стоявшего перед ним Тедди. Обернув верхнюю простыню вокруг тела, по всей вероятности обнаженного, она укрылась с руками, до самого подбородка.— Попрыгай, попрыгай,— добавила она, закрывая глаза.— Раздави папочкин саквояж.

— Оч-чень оригинально,— сказал мистер Макардль ровным и спокойным тоном, глядя жене в затылок.— Между прочим, он мне стоил двадцать два фунта. Я ведь прошу его как человека сойти, а ты ему — попрыгай, попрыгай. Это что? Шутка?

— Если он лопнет под десятилетним мальчиком, а он еще весит на тринадцать фунтов меньше положенного, можешь выкинуть этот мешок из моей каюты,— сказала миссис Макардль, не открывая глаз.

— Моя бы воля,— сказал мистер Макардль,— я бы проломил тебе голову.

— За чем же дело стало?

Мистер Макардль резко поднялся на локте и раздавил окурок о стеклянную поверхность ночного столика.

— Не сегодня-завтра... — начал было он мрачно.

— Не сегодня-завтра у тебя случится роковой, да, роковой инфаркт,— вяло сказала миссис Макардль. Она еще плотнее, с руками, завернулась в простыню.— Хоронить тебя будут скромно, но со вкусом, и все будут спрашивать, кто эта очаровательная женщина в красном платье, вон та, в первом ряду, которая кокетничает с органистом. Она такая...

— Ах, как остроумно, только не смешно,— сказал мистер Макардль, снова падая на спину.

Пока шел этот короткий обмен любезностями, Тедди отвернулся и снова высунулся в иллюминатор.

— Сегодня ночью, в три тридцать две, мы встретили «Куин Мэри», он шел встречным курсом. Если это кого интересует,— сказал он неторопливо.— В чем я сильно сомневаюсь.— Голос у него был низковатый, с неожиданно прорывающейся мальчишеской хрипотцой. Каждая фраза казалась древним островком, омываемым винно-желтым морем.— Так было написано на грифельной доске у вахтенного, того самого, которого презирает наша Пуппи.

— Ты, брат, схлопочешь у меня «Куин Мэри». Сию же минуту слезь с саквояжа,— сказал отец. Он повернулся к Тедди: — А ну, слезай! Сходил бы лучше постригся, что ли.— Он опять посмотрел жене в затылок.— Черт знает что, переросток какой-то.

— У меня денег нету,— возразил Тедди. Он покрепче взялся за край иллюминатора и положил подбородок на пальцы.— Мама, помнишь человека, который ест за соседним столом? Не тот, худющий, а другой, за тем же столиком. Как раз рядом с ним наш официант ставит свой поднос.

— Мм-ммм,— отозвалась миссис Макардль.— Тедди. Солнышко. Дай маме поспать хоть пять минут. Будь паинькой.

— Погоди. Это интересно,— сказал Тедди, не поднимая подбородка и не сводя глаз с океана.— Он был в гимнастическом зале, когда Свен меня взвешивал. Он подошел ко мне и заговорил. Оказывается, он слышал мою последнюю запись. Не апрельскую. Майскую. Перед самым отъездом в Европу он был на одном вечере в Бостоне, и кто-то из гостей знал кого-то — он не сказал кого, из лейдеккеровской группы, которая меня тестировала,— так вот, они достали мою последнюю запись и прокрутили ее на этом вечере. И этот человек очень заинтересовался. Он друг профессора Бабкока. Видно, он и сам преподает. Он сказал, что провел все лето в Дублине, в Тринити колледже.

— Вот как? — сказала миссис Макардль.— Они крутили ее на вечере?

Она полусонно смотрела на ноги Тедди.

— Наверное,— ответил Тедди.— Я стою на весах, а он Свену рассказывает про меня. Было довольно неловко.

— А что тут неловкого?

Тедди помедлил.

— Я сказал *довольно* неловко. Я уточнил свое ощущение.

— Я, брат, тебя сейчас *так* уточню, если ты не слезешь с саквояжа,— сказал мистер Макардль. Он только что закурил новую сигарету.— Считаю до трех. *Раз*... черт подери... *Два*...

— Который час? — спросила вдруг миссис Макардль, глядя на ноги Тедди.— Разве вам с Пуши не идти на плавание в десять тридцать?

— Успеем,— сказал Тедди — *Шлеп*.— Неожиданно он высунулся в иллюминатор, потом на мгновение обернулся и доложил: — Кто-то выбросил целое ведро апельсиновых корок из окошка.

— Из окошка... Из *окошка*,— ядовито протянул мистер Макардль, стряхивая пепел.— Из иллюминатора, братец, из иллюминатора.— Он взглянул на жену.— Позвони в Бостон. Скорей свяжись с лейдеккеровской группой.

— Подумать только, какие мы остроумные,— сказала миссис Макардль.— Чего ты стараешься?

Тедди полуобернулся в каюту.

— Красиво плывут,— сказал он.— Интересно...

— Тедди! Последний раз тебе говорю, а там...

— Интересно не то, что они плывут,— продолжал Тедди.— Интересно, что я вообще знаю об их существовании. Если б я их не видел, то не знал бы, что они тут, а если б не знал, то даже не мог бы сказать, что они существуют. Вот вам удачный, я бы даже сказал, блестящий пример того, как...

— Тедди,— прервала его рассуждения миссис Макардль, даже не шевельнувшись под простыней.— Иди поищи Пуши. Где она? Нельзя, чтобы после вчерашнего перегрева она опять жарилась на солнце.

— Она надежно защищена. Я заставил ее надеть комбинезон,— сказал Тедди.— А они уже начали тонуть. Скоро они будут плавать только в моем сознании. Интересно: ведь если разобраться, именно в моем сознании они и начали плавать. Если бы, скажем, я здесь не стоял или если бы кто-нибудь сейчас зашел сюда и взял бы да и снес мне голову, пока я...

— Где же Пупсик? — спросила миссис Макардль.— Тедди, посмотри на маму.

Тедди повернулся и посмотрел на мать.

— Что? — спросил он.

— Где Пупсик? Не хватает, чтобы она опять вертелась между шезлонгами и всем мешала. Вдруг этот ужасный человек...

— Не волнуйся. Я дал ей фотокамеру.

Мистер Макардль так и подскочил.

— Ты дал ей *камеру*! — воскликнул он.— Совсем спятил? Мою «лейку», черт подери! Не позволю я шестилетней девчонке разгуливать по всему...

— Я показал ей, как держать камеру, чтобы не уронить,— сказал Тедди.— И пленку я, конечно, вынул.

— Тедди! Чтобы камера была здесь. Слышишь? Сию же минуту слезь с саквояжа, и чтобы через пять минут камера лежала в каюте. Не то на свете станет одним вундеркиндом меньше. Ты меня понял?

Тедди медленно повернулся и сошел с саквояжа. Потом он нагнулся и начал завязывать шнурок на левом полукеде; отец, опершись на локоть, следил за ним, точно монитор.

— Передай Пушпи, что я ее жду,— сказала миссис Макардль.— И поцелуй маму.

Завязав наконец шнурок, Тедди мимоходом чмокнул мать в щеку. Она стала вытаскивать из-под простыни левую руку, собираясь, видимо, обнять Тедди, но пока она ее извлекла, его уже не было рядом.

Он обошел ее постель и остановился в проходе между койками. Тут он наклонился, а когда снова выпрямился, под левой рукой у него была отцовская подушка, в правой — стеклянная пепельница с ночного столика. Переложив пепельницу в левую руку, он подошел к столику и ребром правой ладони смел с него в пепельницу окурки и пепел. Перед тем как поставить пепельницу на место, он протер локтем ночной столик, очистив стеклянную поверхность от тонкого пепельного налета. Руку он вытер о свои полосатые шорты. Потом он поставил пепельницу на чистое стекло, причем с такой тщательностью, словно был уверен в том, что она должна либо стоять в самом центре, либо вовсе не стоять. Тут отец, неотрывно следивший за ним, вдруг отвел взгляд.

— Тебе что, не нужна подушка? — спросил Тедди.

— Мне нужна камера, мой милый.

— Тебе, наверно, неудобно так лежать. Конечно, неудобно,— сказал Тедди.— Я оставлю ее тут.— Он положил подушку в изножье постели, подальше от отцовских пяток. И пошел к выходу.

— Тедди,— сказала мать не поворачиваясь.— Скажи Пушпи, пусть зайдет ко мне перед уроком плавания.

— Оставь ты ребенка в покое,— сказал мистер Макардль.— Ни одной минутки не дашь ей порезвиться. Сказать тебе, как ты с ней обращаешься? Сказать? Ты обращаешься с ней, как с отпетой бандиткой.

— *Отпетой?* Какая прелесть! Ты становишься таким британцем, дорогой.

Тедди задержался у выхода, вертя в раздумье дверную ручку туда-сюда.

— Когда я выйду за дверь,— сказал он,— я останусь жить лишь в сознании всех моих знакомых. Как те апельсинные корочки.

— Что, солнышко? — переспросила миссис Макардль из глубины каюты, по-прежнему лежа на правом боку.

— Пошевеливайся, приятель. Тащи сюда «лейку».

— Поцелуй мамочку. Крепко-крепко.

— Только не сейчас,— отозвался Тедди рассеянно.— Я устал.

И он закрыл за собой дверь.

Под дверью лежал очередной выпуск корабельной газеты, выходившей ежедневно. Вся она состояла из листка глянцевитой бумаги с текстом на одной стороне. Тедди подобрал газету и начал читать, медленно идя по длинному переходу в сторону кормы. Навстречу ему шла рослая блондинка в белой накрахмаленной форме, неся вазу с красными розами на длинных стеблях. Поравнявшись с Тедди, она потрепала его левой рукой по макушке.

— Кое-кому пора стричься! — сказала она.

Тедди равнодушно поднял на нее глаза, но она уже прошла, и он не обернулся. Он продолжал читать. Дойдя до конца перехода, где открывалась площадка, а над ней стенная роспись — святой Георгий с драконом,— он сложил газету вчетверо и сунул ее в левый задний карман. Он стал подниматься по широким ступенькам трапа, устланным ковровой дорожкой, на главную палубу, которая находилась пролетом выше. Шагал он через две ступеньки, но неторопливо, держась при этом за поручень, весь напружиненный, словно сам процесс подъема по трапу доставлял ему, как и многим детям, известное удовольствие. Ступив на главную палубу, он направился прямиком к конторке помощника капитана по материальной части, где в данный момент восседала хорошенькая девушка в морской форме. Она прошивала скрепками отпечатанные на ротаторе листки бумаги.

— Прошу прощения, вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра? — спросил Тедди.

— Простите?

— Вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра?

Накрашенные губы девушки раздвинулись в улыбке.

— Какая игра, дружок?

— Ну как же. В слова. В нее играли вчера и позавчера. Там нужно вставлять пропущенные слова по контексту.

Девушка, начав скреплять три листка, остановилась.

— Ах, эта,— сказала она.— Я думаю, попозже. Думаю, около четырех. А тебе, дружок, не рановато играть в такие игры?

— Не рановато... Благодарю вас,— сказал Тедди и повернулся, чтобы идти.

— Постой-ка, дружок. Тебя как зовут?

— Теодор Макардль,— ответил Тедди.— А вас как?

— Меня? — улыбнулась девушка.— Меня зовут мичман Мэттьюсон.

Тедди посмотрел, как она прошивает листки.

— Я вижу, что вы мичман. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что когда человека спрашивают, как его зовут, то полагается называть имя полностью. Например, Джейн Мэттьюсон, или Филлис Мэттьюсон, или еще как-нибудь.

— Вот как?

— Повторяю, мне так *казалось*,— продолжал Тедди.— Возможно, я и ошибался. Возможно, что на тех, кто носит форму, это не распространяется. В общем, благодарю вас за информацию. До свидания.

Он повернулся и начал подниматься на прогулочную палубу, и вновь он шагал через две ступеньки, но теперь уже быстрее.

После настойчивых поисков он обнаружил Пуппи на самом верху, где была спортивная площадка, на освещенном солнцем пятачке — этакой прогалинке между пустовавшими теннисными кортами. Она сидела на корточках, сзади на нее падали лучи солнца, легкий ветерок трепал ее светлые шелковистые волосы. Она сидела, деловито складывая две наклонные пирамидки из двенадцати, не то четырнадцати кружков от шафлборда[1], одну пирамиду из черных кружков, другую — из красных. Справа от нее стоял, как сторонний наблюдатель, совсем еще кроха в легком полотняном костюмчике.

— Смотри! — скомандовала Пуппи брату, когда он подошел.

Она наклонилась над своим сооружением и загородила его обеими руками, как бы отделяя от всего, что было на этом корабле,— вот, мол, полюбуйтесь, какое я создала произведение искусства.

— Майрон! — сказала она малышу сердито.— Ты все затемняешь моему брату. Не стой как пень! — Она закрыла глаза и со страдальческой гримасой ждала, пока Майрон не отодвинулся.

Тедди постоял над пирамидами и одобрительно кивнул.

— Неплохо,— похвалил он.— Очень симметрично.

— *Этот тип*,— сказала Пуппи, ткнув пальцем в Майрона,— сроду не слыхал, что такое триктрак. У них и триктрака-то нет!

Тедди окинул Майрона оценивающим взглядом.

— Слушай,— обратился он к Пуппи,— где камера? Ее надо сейчас же вернуть папе.

— Он и живет-то не в Нью-Йорке,— сообщила Пуппи брату.— И отец у него умер. Убили в Корее.— Она взглянула на Майрона.— Верно? — спросила она его и, не дожидаясь ответа, заключила: — Если теперь у него и мать умрет, он будет круглым сиротой А он и этого не знал.— Пуппи посмотрела на Майрона.— *Не знал ведь?*

Майрон скрестил руки и ничего не ответил.

— Я такого дурака еще не видала,— сказала Пуппи.— Ты самый большой дурак на всем этом океане. Понял?

— Он не дурак,— сказал Тедди.— Ты не дурак, Майрон.— Он повернулся к сестре.— Ты можешь меня хоть секунду послушать? Куда ты дела камеру? Она мне срочно нужна. Где она?

— Там,— ответила Пуппи, не показывая, где именно. Она придвинула к себе обе пирамидки.— Теперь мне надо двух великанов,— сказала она.— Они бы играли в триктрак этими деревяшками, а потом им бы надоело, и они забрались бы на эту дымовую трубу, и швыряли бы деревяшки во всех подряд, и всех бы убили.— Она взглянула на Майрона.— И твоих родителей, наверно, убили бы,— сказала она со знанием дела.—

---

[1] Шафлборд — американская игра, в которой разноцветные кружки передвигаются по специально размеченной доске. *(Прим. перев.)*

А если у великанов не получится, тогда знаешь что? Тогда насыпь яду на мармеладины и дай им съесть.

«Лейка» обнаружилась футах в десяти, за белой загородкой, окружавшей спортплощадку. Она лежала на боку, в водосточной канавке. Тедди подошел, поднял ее за ремешки и повесил на шею. Но тут же снял. И понес к сестре.

— Слушай, Пупс, будь другом. Отнеси ее вниз, пожалуйста,— попросил он.— Уже десять часов, а мне надо записать кое-что в дневник.

— Мне некогда.

— И мама тебя зовет,— сказал Тедди.

— Врешь ты все.

— Ничего не вру. Звала,— сказал Тедди.— Так что ты уж захвати ее с собой... Давай, Пупс.

— С какой это стати она хочет меня видеть? — спросила Пупси.— Я вот ее видеть не хочу.— Вдруг она шлепнула по руке Майрона, который потянулся было к верхнему кружочку из красной пирамиды.— Руки! — сказала она.

— Все, шутки в сторону,— сказал Тедди, вешая ей на шею «лейку».— Сейчас же отнеси ее папе. Встретимся возле бассейна. Я буду ждать тебя там в десять тридцать. Или лучше возле кабинки, где ты переодеваешься. Смотри не опоздай. И не забудь: это в самом низу, на палубе «Е», так что отправляйся пораньше.

Он повернулся и пошел.

А вдогонку ему неслось:

— Ненавижу тебя! Всех ненавижу на этом океане!

Пониже теннисных кортов, на широкой площадке, сразу за палубой, отведенной под солярий и открытой со всех сторон, было расставлено семьдесят с лишним шезлонгов; они стояли в семь-восемь рядов с таким расчетом, чтобы стюард мог свободно лавировать между рядами, не спотыкаясь о вещи загорающих пассажиров, об их мешочки с вязанием, романы в дешевых изданиях, флаконы с лосьоном для загара, фотоаппараты. К приходу Тедди почти все места уже были заняты. Тедди начал с последнего ряда и методично, не пропуская ни одного шезлонга, независимо от того, сидели в нем или нет, переходил от ряда к ряду, читая таблички с фамилиями на подлокотниках. Один или два раза к нему обратились — то есть отпустили шуточки, которые иногда отпускают взрослые при виде десятилетнего мальчика, настойчиво ищущего свое место. Сразу было видно, как он сосредоточен и юн, и все же в его поведении, пожалуй, отсутствовала или почти отсутствовала та забавная важность, которая обычно настраивает взрослых на серьезный или снисходительный лад. Возможно, дело было еще и в одежде. Дырку на его плече никто бы не назвал «забавной дырочкой». И в том, как сзади отвисали на нем шорты, слишком для него длинные, тоже не было ничего «забавного».

Четыре шезлонга Макардлей, с уже приготовленными подушками для удобства владельцев, обнаружились в середине второго ряда. Намеренно или нет, Тедди уселся таким образом, чтобы места справа и слева от него пустовали. Он вытянул голые, совсем незагорелые ноги, положил их на подставку и почти сразу же вытащил из правого заднего кармана небольшой десятицентовый блокнот. Мгновенно сосредоточившись, словно вокруг не существовало ни солнца, ни пассажиров, ни корабля, ничего, кроме блокнота, он начал листать страницы.

Кроме нескольких карандашных пометок, все записи в блокноте были сделаны шариковой ручкой. Почерк был размашистый, какому сейчас обучают в американских школах, а не тот, каллиграфический, по старой палмеровской методе. Он был разборчивый, без всяких красивостей. В нем удивляла беглость. По тому, как строились слова и фразы — по одному этому внешнему признаку,— трудно было предположить, что все это написано ребенком.

Тедди довольно долго изучал свою, по всей видимости, последнюю запись. Занимала она чуть больше трех страниц:

Запись от 26 октября 1952 г.

Владелец — Теодор Макардль

Каюта 412, палуба «А»

За находку и возвращение дневника будет выдано соответствующее — и вполне приличное — вознаграждение.

Не забыть найти папины армейские бирки и носить их как можно чаще. Для тебя это пустяк, а ему приятно.

Постараться ответить при случае на письмо профессора Манделя. Попросить профессора, чтобы он больше не присылал стихов. У меня и так уже запас на целый год. И вообще они мне надоели. Идет человек по пляжу, и вдруг — вот беда — ему на голову падает кокосовый орех. И голова его — вот беда-то — раскалывается пополам. А тут его жена идет, напевая, по бережку, и видит две половинки, и узнает их, и поднимает. Жена, конечно, расстраивается и начинает душераздирающе плакать... Дальше я эти стихи читать не могу. Лучше взяла бы в руки обе половинки и прикрикнула на них, сердито так: «Хватит безобразничать!» Конечно, профессору советовать такое не стоит. Вопрос сам по себе спорный, и к тому же миссис Мандель — поэт.

Узнать адрес Свена в Элизабет, штат Нью-Джерси. Интересно будет познакомиться с его женой, а также с его собакой Линди. Однако сам я заводить собаку не стал бы.

Написать доктору Уокаваре, выразить соболезнования по поводу его нефрита. Спросить его новый адрес у мамы.

Завтра утром до завтрака заняться медитацией на спортплощадке, но только не терять сознания. А главное, не терять сознания за обедом, если этот официант опять уронит разливательную ложку. В тот раз папа был просто в ярости.

Вернуть в библиотеку книги и посмотреть в словаре слова и выражения —

нефрит
мириады
дареный конь
лукавый
триумвират

Быть учтивее с библиотекарем. Если он начнет сюсюкать, перевести разговор на общие темы.

Тедди вдруг вытащил из бокового кармана шорт маленькую шариковую ручку в виде гильзы, снял колпачок и начал писать. Блокнот он положил на правое колено, а не на подлокотник.

Запись от 28 октября 1952 г.
Адрес и вознаграждение те же,
что указаны 26 и 27 октября.

Сегодня, после утренней медитации, написал следующим лицам:

д-ру Уокаваре
проф. Манделю
проф. Питу
Бэрджесу Хейку-младшему
Роберте Хейк
Сэнфорду Хейку
бабушке Хейк
м-ру Грэму
проф. Уолтону

Можно было бы спросить маму, где папины армейские бирки, но она скорее всего скажет, что они мне ни к чему. А я знаю, что он взял их с собой, сам видел, как он их укладывал.

По-моему, жизнь — это дареный конь.

Мне кажется, со стороны профессора Уолтона довольно бестактно критиковать моих родителей. Ему надо, чтобы все люди были такими, как он хочет.

Это произойдет либо сегодня, либо 14 февраля 1958 года, когда мне исполнится шестнадцать. Но об этом даже говорить нелепо.

Написав последнюю фразу, Тедди не сразу поднял глаза от страницы и продолжал держать шариковую ручку так, словно хотел написать что-то еще.

Он явно не замечал, что за ним с интересом наблюдают. А между тем наверху, в восемнадцати — двадцати футах от него и футах в пятнадцати от первого ряда шезлонгов, у перил спортивной площадки в слепящих лучах солнца стоял молодой человек и пристально смотрел на него. Он стоял так уже минут десять. Но вот молодой человек наконец на что-то решился, потому что он вдруг снял ногу с перекладины. Бросил на Тедди последний взгляд и исчез. Однако через минуту он появился среди шезлонгов, загораживая собой солнце. На вид ему было лет тридцать или чуть меньше. Совершенно невозмутимо (если учесть, что кроме него здесь никто не стоял и не расхаживал) он направился прямиком к шезлонгу Тедди, шагая через мешочки с вязанием и прочее хозяйство и ничуть не считаясь с тем, что его тень скользит по раскрытым романам, отвлекая пассажиров.

Тедди же как будто и не замечал, что кто-то стоит перед ним, не замечал, что на дневник его легла чья-то тень. Другое дело люди, сидевшие за ним и дальше. Они таращились на молодого человека так, как, вероятно, можно таращиться на кого-то, только сидя в шезлонге. Но молодой человек был, очевидно, наделен завидным самообладанием, и поколебать его, казалось, не так-то просто, пока он так идет, засунув одну руку в карман.

— Мое почтение! — сказал он Тедди.

Тедди поднял голову.

— Здравствуйте.

Он прикрыл блокнот, а дальше тот сам собой захлопнулся.

— Не возражаете, если я тут присяду? — Молодой человек произнес это с нескрываемым дружелюбием.— Здесь не занято?

— Вообще-то эти четыре шезлонга принадлежат нашей семье,— сказал Тедди.— Только мои родители еще не встали.

— Не встали? В такое утро?! — удивился молодой человек. Он уже опустился в шезлонг, справа от Тедди. Шезлонги стояли так тесно, что подлокотники соприкасались.— Но ведь это святотатство! Сущее святотатство,— сказал он, вытягивая ноги.

Ляжки у него были мощнейшие, почти как два туловища. Одет он был — от стриженой макушки до стоптанных башмаков — с почти классической разностильностью, как одеваются, отправляясь в круиз, в Новой Англии: на нем были темно-серые брюки, желтоватые шерстяные носки, рубашка с открытым воротом и твидовый пиджак «в елочку», который приобрел свою благородную потертость не иначе как на престижных семинарах в Йеле, Гарварде или Принстоне.

— Бог мой, какой райский денек,— сказал он с чувством, жмурясь на солнце.— Я просто пасую перед игрой погоды.— Он скрестил свои толстые ноги.— Вы не поверите, но я, бывало, принимал самый обыкновенный дождливый день как личное оскорбление. А такая погода — да это же манна небесная.

Хотя его манера выражаться выдавала человека образованного в общепринятом смысле этого слова, было в ней и нечто такое, что должно было, как он, видимо, считал в душе, придать его словам особую значимость и изысканность, а по возможности даже оригинальность и увлекательность — как в глазах Тедди, к которому он сейчас обращался, так и тех, кто сидел за ними, если они слушали их разговор. Он искоса взглянул на Тедди и улыбнулся.

— А в каких *вы* взаимоотношениях с погодой? — спросил он. Улыбался он вроде бы собеседнику, однако его улыбка, при всей ее открытости, при всем дружелюбии, адресовалась им скорее себе самому.— А вас никогда не смущали загадочные атмосферные явления? — продолжал он с улыбкой.

— Не знаю, я не принимаю погоду так близко к сердцу, если вы это имели в виду,— сказал Тедди.

Молодой человек расхохотался, запрокинув голову.

— Прелестно,— восхитился он.— Кстати, меня зовут Боб Николсон. Не помню, представился ли я вам тогда, в гимнастическом зале. *Ваше* имя я, конечно, знаю.

Тедди слегка отклонился, чтобы засунуть блокнот в задний карман шорт.

— Я смотрел вон оттуда, как вы пишете,— сказал Николсон, показывая наверх.— Клянусь богом, в этой увлеченности было что-то от юного спартанца.

Тедди взглянул на него.

— Я кое-что записывал в дневник.

Николсон улыбнулся и понимающе кивнул.

— Как вам Европа? — спросил он непринужденно.— Понравилось?

— Да, очень.

— Где побывало ваше семейство?

Тедди вдруг наклонился и почесал ногу.

— Знаете, перечислять все города — это долгая история. Мы ведь были на машине, так что поездили прилично.— Он снова сел прямо.— А дольше всего мы с мамой пробыли в Эдинбурге и в Оксфорде. Я, кажется, говорил вам тогда, в зале, что со мной хотели побеседовать. Особенно в Эдинбургском университете.

— Нет, насколько мне помнится, вы ничего не говорили,— сказал Николсон.— А я как раз думал, занимались ли вы там чем-нибудь в этом роде. Ну, и как все прошло? Помурыжили вас?

— Простите? — сказал Тедди.

— Как все прошло? Интересно было?

— И да и нет,— ответил Тедди.— Пожалуй, мы там пробыли слишком долго. Папа хотел вернуться в Америку предыдущим рейсом. Но должны были приехать люди из Стокгольма и из Инсбрука познакомиться со мной, и нам пришлось задержаться.

— Да, вот она — жизнь.

Впервые за все время Тедди пристально посмотрел на него.

— Вы поэт? — спросил он.

— Поэт? — переспросил Николсон.— Увы, нет. Отнюдь. Почему вы так решили?

— Не знаю. Поэты всегда принимают погоду слишком близко к сердцу. Они вкладывают эмоции в то, что лишено всякой эмоциональности.

Николсон, улыбаясь, полез в карман пиджака за сигаретами и спичками.

— Мне всегда казалось, что в этом-то как раз и состоит их ремесло,— заметил он.— Разве в первую очередь не с эмоциями имеет дело поэт?

Тедди явно не слышал его или не слушал. Он рассеянно смотрел то ли на дымовые трубы, похожие друг на друга как два близнеца, то ли мимо них, на спортивную площадку.

Николсон не без труда закурил сигарету — с севера потянуло ветерком. Он поглубже уселся в шезлонге и сказал:

— Насколько я понимаю, здорово вы озадачили...

— Песня цикады не скажет, сколько ей жить осталось,— вдруг произнес Тедди.— Нет никого на дороге в этот осенний вечер.

— Что это? — улыбнулся Николсон.— Ну-ка еще раз.

— Это два японских стихотворения. В них нет особых эмоций,— сказал Тедди. Он вдруг подался вперед, склонил голову набок и похлопал ладошкой по правому уху.— У меня в ухе вода,— пояснил он,— после вчерашнего урока плавания.— Он еще слегка похлопал себя по уху, а затем откинулся на спинку шезлонга и положил руки на подлокотники. Шезлонг был, конечно, нормальных размеров, рассчитанный на взрослого человека, и Тедди в нем просто тонул, но, казалось, он чувствовал себя в нем совершенно свободно, даже уютно.

— Насколько я понимаю, вы здорово озадачили этих педантов из Бостона,— сказал Николсон, глядя на него.— После той маленькой стычки. С этими вашими лейдеккеровскими обследователями, насколько я мог понять. Помнится, я говорил вам, что у меня с Элом Бабкоком вышел долгий разговор в конце июня. Кстати сказать, в тот самый вечер, когда я прослушал вашу магнитофонную запись.

— Да. Вы мне говорили.

— Насколько я понимаю, они были здорово озадачены,— не отставал Николсон.— Из слов Эла я понял, что в вашей тесной мужской компании состоялся тогда, поздно вечером, небольшой похоронный разговорчик — в тот самый вечер, если я не ошибаюсь, когда вы записывались.— Он затянулся.— Вы, как я понял, сделали кое-какие предсказания, которые весьма взволновали всю честную компанию. Я не ошибся?

— Не понимаю,— сказал Тедди,— отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции. Мои родители убеждены, что ты не человек, если что-то не

кажется тебе очень грустным, или неприятным, или... или несправедливым, что ли. Отец волнуется, даже когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный.

Николсон стряхнул в сторону пепел.

— Я так понимаю, сами вы не подвержены эмоциям? — спросил он.

Тедди задумался, прежде чем ответить.

— Если и подвержен, то, во всяком случае, не помню, чтобы я давал им выход,— сказал он.— Не вижу, какая от них *польза*.

— Но ведь вы любите бога? — спросил Николсон, понижая голос.— Разве не в этом заключается ваша сила, так сказать? Судя по вашей записи и по тому, что я слышал от Эла Бабкока.

— Разумеется, я люблю его. Но я люблю его без всякой сентиментальности. Он ведь никогда не говорил, что надо любить сентиментально,— сказал Тедди.— Будь я богом, я бы вовсе не хотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью. Очень уж это ненадежно.

— А родителей своих вы любите?

— Да, конечно. Очень, — ответил Тедди. — Но, я чувствую, вы хотите, чтобы для меня это слово значило то же, что оно значит для вас.

— Допустим. Тогда скажите, что вы понимаете под этим словом?

Тедди задумался.

— Вы знаете, что такое привязанность? — обратился он к Николсону.

— Имею некоторое представление, — суховато ответил тот.

— Я испытываю к ним сильную привязанность. Я хочу сказать, они ведь мои родители, значит, нас что-то объединяет, — сказал Тедди. — Мне бы хотелось, чтобы они весело прожили эту свою жизнь, потому что, я знаю, им самим этого хочется... А вот они любят меня и Пупси, мою сестренку, совсем иначе. Я хочу сказать, они, как видно, не могут любить нас такими, какие мы есть. Они не могут любить нас без того, чтобы хоть чуточку нас не переделывать. Они любят не нас самих, а те представления, которые лежат в основе любви к детям, и чем дальше, тем больше. А это все-таки не та любовь. — Он опять повернулся к Николсону и подался вперед.— Простите, вы не скажете, который час? — спросил он.— У меня в десять тридцать урок плавания.

— Вы не опоздаете, — сказал Николсон, не глядя на часы. Потом отдернул обшлаг. — Сейчас только десять минут одиннадцатого.

— Благодарю вас, — сказал Тедди и сел поудобнее. — Мы можем побеседовать еще минут десять.

Николсон опустил на пол ногу, наклонился и раздавил окурок.

— Насколько я могу судить, — сказал он, откидываясь в шезлонге, — вы твердо придерживаетесь, в согласии с Ведами, теории перевоплощения.

— Да это не теория, это скорее....

— Хорошо, хорошо,— поспешил согласиться Николсон. Он улыбнулся и слегка приподнял руки, словно шутливо благословляя Тедди. — Сейчас мы об этом спорить не будем. Дайте мне договорить.— Он снова скрестил свои толстые ноги.— Насколько я понял, посредством медитаций вы получили некую информацию, которая убедила вас в том, что в своем последнем воплощении вы были индусом и жили в святости, но потом как будто сбились с пути...

— Я не жил в святости, — поправил его Тедди. — Я был обычным человеком, просто неплохо развивался в духовном отношении.

— Ну ладно, пусть так,— сказал Николсон.— Но сейчас вы якобы чувствуете, что в этом своем последнем воплощении вы как бы сбились с пути перед окончательным просветлением. Это правильно, или я....

— Правильно,— сказал Тедди.— Я встретил девушку и как-то отошел от медитаций. — Он снял руки с подлокотников и засунул под себя, словно хотел их согреть. — Но мне все равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на землю, даже если бы я не встретился с этой девушкой, — я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на землю. Другое дело, что, не повстречай я эту девушку, и мне бы не надо было воплощаться в *американского* мальчика. Вы знаете, в Америке так трудно предаваться медитациям и жить духовной жизнью. Стоит только попробовать, как люди начинают считать тебя ненормальным. Напри-

мер, папа видит во мне какого-то урода. Ну, а мама... ей кажется, что зря я думаю все время о боге. Она считает, что это вредно для здоровья.

Николсон пристально смотрел на него.

— В своей последней записи вы, насколько я помню, сказали, что вам было шесть лет, когда вы впервые пережили мистическое откровение. Верно?

— Мне было шесть лет, когда я вдруг понял, что все вокруг — это бог, и тут у меня волосы стали дыбом, и все такое, — сказал Тедди. — Помню, это было воскресенье. Моя сестренка, тогда еще совсем маленькая, пила молоко, и вдруг я понял, что *она* — бог, и *молоко* — бог, и все, что она делала, это переливала одного бога в другого. Вы меня понимаете?

Николсон молчал.

— А преодолевать конечномерность пространства я мог, еще когда мне было четыре года,— добавил Тедди.— Не все время, безусловно, но довольно часто.

Николсон кивнул.

— Могли, значит? — повторил он. — Довольно часто?

— Да, — подтвердил Тедди. — Об этом есть на той пленке... Или я рассказывал об этом в своей апрельской записи? Точно не помню.

Николсон, не сводя глаз с Тедди, снова достал сигареты.

— Как же можно преодолеть конечномерность вещей? — спросил он со смешком. — То есть я что хочу сказать: к примеру, кусок дерева — это кусок дерева. У него есть длина, ширина...

— Нету. Тут вы ошибаетесь,— перебил его Тедди.— Людям только *кажется*, что вещи имеют границы. А их нет. Именно это я пытался объяснить профессору Питу. — Он поерзал в шезлонге, достал из кармана нечто, отдаленно напоминавшее носовой платок,— жалкий серый комочек — и высморкался.— Почему людям *кажется*, что все имеет границы? Да просто потому, что большинство людей не умеет смотреть на вещи иначе, — объяснил он. — А сами вещи тут не при чем —Он спрятал носовой платок и посмотрел на Николсона. — Подымите на минутку руку, — попросил он его.

— Руку? Зачем?

— Ну подымите. На секундочку.

Николсон слегка приподнял руку над подлокотником.

— Эту? — спросил он.

Тедди кивнул.

— Что это, по-вашему? — спросил он.

— То есть как — что? Это моя рука. Это *рука*.

— Откуда вы знаете? — сказал Тедди.— Вы знаете, что так *называется* рука, но как вы можете знать, что это и есть рука? Вы можете доказать, что это рука?

Николсон вытащил из пачки сигарету и закурил.

— По-моему, это пахнет самой что ни на есть отвратительной софистикой, да-да,— сказал он, пуская дым.— Помилуйте, это рука, потому что это рука. Она должна иметь название, чтобы ее не спутали с чем-то другим. Нельзя же взять да и...

— Вы пытаетесь рассуждать логически, — невозмутимо изрек Тедди.

— *Как* я пытаюсь рассуждать? — переспросил Николсон, пожалуй, чересчур вежливо.

— Логически. Вы даете мне правильный, осмысленный ответ,— сказал Тедди. — Я хотел помочь вам разобраться. Вы спросили, как мне удается преодолевать конечномерность пространства. Уж наверняка не с помощью логики. От логики надо избавиться прежде всего.

Николсон пальцем снял с языка табачную крошку.

— Вы Адама знаете? — спросил Тедди.

— Кого-кого?

— Адама. Из Библии.

Николсон усмехнулся.

— Лично не знаю, —ответил он сухо.

Тедди помедлил.

— Да вы не сердитесь, — сказал он. — Вы ведь задали мне вопрос, и я...

— Бог мой, да не сержусь я на вас.

— Вот и хорошо, — сказал Тедди. Он поглубже устроился в шезлонге, по-преж-

нему глядя на Николсона. — Помните, Адам съел в раю яблоко? — спросил он. — Про это есть в Библии. А знаете, что было в том яблоке? Логика. Логика и всякое знание. Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу: главное — это чтобы человека стошнило тем яблоком, если, конечно, он хочет увидеть вещи как они есть. Я хочу сказать: если оно выйдет из вас, вы сразу разберетесь с кусками дерева и всем прочим. Вам больше не будут мерещиться в каждой вещи ее границы. И вы, если захотите, поймете наконец, что такое ваша рука. Вы меня слушаете? Я говорю понятно?

— Да, — коротко ответил Николсон.

— Вся беда в том,— сказал Тедди,— что большинство людей не хочет видеть все вокруг как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить все время из одного тела в другое, вместо того чтобы прекратить это и остаться вместе с богом — там, где действительно хорошо.— Он задумался.— Удивительно, как все набрасываются на яблоки,— сказал он. И покачал головой.

В это время стюард, одетый во все белое, обходил отдыхающих; он остановился перед Тедди и Николсоном и спросил, не желают ли они бульона на завтрак. Николсон даже не отозвался. Тедди сказал: «Нет, благодарю вас»,— и стюард прошел дальше.

— Если не хотите, можете, конечно, не отвечать,— сказал Николсон отрывисто и даже резковато. Он стряхнул пепел. — Правда или нет, что вы сообщили всей этой лейдеккеровской ученой братии — Уолтону, Питу, Ларсену, Сэмюелсу и так далее, — где, когда и как они умрут? Правда это? Если хотите, можете не отвечать, но в Бостоне только об этом и говорят....

— Нет, это неправда,— решительно возразил Тедди.— Я сказал, где и когда им следует быть как можно осмотрительнее. И еще я сказал, что бы им стоило *сделать*... Но ничего подобного я не говорил. Не говорил я им, что во всем этом есть неизбежность. — Он опять достал носовой платок и высморкался. Николсон ждал, глядя на него. — А профессору Питу я вообще ничего такого не говорил. Он ведь был единственный, кто не дурачился и не засыпал меня вопросами. Я только одно сказал профессору Питу: чтобы с января он больше не преподавал, больше ничего. — Откинувшись в шезлонге, Тедди помолчал. — Остальные же профессора чуть не силой вытянули из меня все это. Мы уже покончили с интервью и с записью, и было совсем поздно, а они все сидели, и дымили, и заигрывали со мной.

— Так вы не говорили Уолтону или там Ларсену, где, когда и как их настигнет смерть? — настаивал Николсон.

— Нет. Не говорил, — твердо ответил Тедди. — Я бы им вообще ничего такого не сказал, если бы они сами об этом все время не заговаривали. Первым начал профессор Уолтон. Он сказал, что ему хотелось бы знать, когда он умрет, потому что тогда он решит, за какую работу ему браться, а за какую — нет, и как получше использовать оставшееся время, и все в таком духе. И тут они все стали спрашивать... Ну, я им и сказал кое-что.

Николсон молчал.

— Но про то, кто когда умрет, я не говорил,— продолжал Тедди.— Это совершенно ложные слухи... Я *мог* бы сказать им, но я знал, что в глубине души им этого знать не хотелось. Хотя они преподают религию и философию, все равно я знал: смерти они побаиваются.— Тедди помолчал, полулежа в шезлонге.— Так глупо,— сказал он.— Ты ведь просто бросаешь свое тело — и дело с концом... И все. Тысячу раз все это проделывали. А если кто забыл, так это еще не значит, что этого не было. Так глупо.

— Допустим. Допустим, — сказал Николсон. — Но факт остается фактом, как бы разумно...

— Так глупо, — повторил Тедди. — Мне, например, через пять минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну, а там, допустим, нет воды. Допустим, ее сегодня меняют. А дальше так: я подойду к краю, ну, просто глянуть, есть ли вода, а моя сестренка подкрадется сзади и подтолкнет меня. Голова пополам — мгновенная смерть. — Тедди взглянул на Николсона. — Это вполне возможно, — сказал он.—Моей сестренке всего шесть лет, и она прожила человеком не очень много жизней, и к тому же она меня недолюбливает. Так что все возможно. Но разве это такая уж тра-

гедия? Я хочу сказать — чего так бояться? Произойдет только то, что мне предначертано, вот и все, разве нет?

Николсон хмыкнул:

— Для вас это, может быть, и не трагедия, — сказал он, — но ваши мама с папой были бы наверняка весьма опечалены. Об этом вы не подумали?

— Подумал, конечно,— ответил Тедди.— Но это оттого, что у них на все уже заготовлены названия и чувства. — До сих пор он держал руки под коленками. А тут он оперся на подлокотники и посмотрел на Николсона. — Вы ведь знаете Свена? Из гимнастического зала? — спросил Тедди. Он дождался, пока Николсон утвердительно кивнул. — Так вот, если бы Свену приснилось сегодня, что его собака умерла, он бы очень-очень мучился во сне, потому что он ужасно любит свою собаку. А проснулся бы — и увидел, что все в порядке. И понял бы, что все это ему приснилось.

Николсон кивнул.

— Что из этого следует?

— Из этого следует, что если бы его собака и вправду умерла, было бы совершенно то же самое. Только он не понял бы этого. Он бы не проснулся, пока сам не умер, вот что я хочу сказать.

Николсон в задумчивости медленно потирал правой рукой затылок. Его левая рука — с очередной, незажженной сигаретой — неподвижно лежала на подлокотнике и казалась странно белой и неживой под ярким солнечным светом.

Внезапно Тедди поднялся.

— Извините, но мне в самом деле пора,— сказал он. Присев на подставку для ног, напротив Николсона, он заправил тенниску в шорты. — У меня осталось, наверное, минуты полторы до бассейна,— сказал он.— А это в самом низу, на палубе «Е».

— Могу я вас спросить, почему вы посоветовали профессору Питу оставить преподавание после Нового года? — спросил вдруг Николсон довольно невпопад. — Я хорошо знаю Боба. Поэтому и спрашиваю.

Тедди затянул ремень из крокодиловой кожи.

— Да потому, что в нем сильно развито духовное начало, а эти лекции, которые он читает, только мешают настоящему духовному росту. Они выводят его из равновесия Ему пора выбросить все из головы, а не продолжать забивать ее. Стоит ему только захотеть, и он бы мог почти совсем вытравить из себя яблоко еще в *этой* жизни. Он очень преуспел в медитации.— Тедди встал.— Правда, мне пора. Не хочется опаздывать.

Николсон пристально посмотрел на него, словно хотел удержать его своим взглядом.

— Что бы вам хотелось изменить в нашей системе образования? — спросил он несколько туманно.— Не задумывались над этим?

— Мне правда пора, — сказал Тедди.

— Ну, последний вопрос,— настаивал Николсон.— Педагогика — это, так сказать, мое кровное дело. Я ведь преподаю. Потому и спрашиваю.

— Ммм... даже не знаю, что бы я сделал, — сказал Тедди. — Знаю только, что я не стал бы начинать с того, с чего обычно начинают в школах.— Он скрестил руки и призадумался. — Пожалуй, я прежде всего собрал бы всех детей и обучил их медитации. Я постарался бы научить их разбираться в том, кто они такие, а не просто знать свои имена и так далее... Но сначала я бы, наверно, помог им избавиться от всего, что внушили им родители и все окружающие. Даже если родители успели внушить им только, что *слон большой*, я бы заставил их и это забыть. Ведь слон большой только рядом с кем-то — например, с собакой или с женщиной. — Тедди остановился и подумал. — Я бы даже не стал им говорить, что у слона есть хобот. Просто покажу им слона, если он окажется под рукой, и пусть они подойдут к слону, зная о нем не больше того, что слон знает о них. То же самое с травой и всем остальным. Я бы даже не стал им говорить, что трава зеленая. Цвет — это всего лишь название. Сказать им, что трава зеленая, — значит подготовить их к тому, что она непременно такая, какой *вы* ее видите, и никакая другая. Но ведь *их* трава может оказаться ничуть не хуже вашей, может быть, куда лучше... Не знаю. Я бы сделал так, чтобы их стошнило тем яблоком, каждым кусочком, который они откусили по настоянию родителей и всех вокруг.

— А вы не боитесь воспитать целое поколение маленьких незнаек?

— Отчего же? Они будут не бо́льшими незнайками, чем, скажем, слон. Или

птица. Или дерево, — возразил Тедди. — Быть кем-то, а не казаться кем-то — еще не значит, что ты незнайка.

— Нет?

— Нет! — сказал Тедди.— И потом, если им захочется все это выучить — про цвета и названия и все прочее,— пусть себе учат, если так хочется, только позже, когда подрастут. А начал бы я с ними с того, как же все-таки *правильно* смотреть на вещи, а не так, как смотрят все эти любители яблок. Понимаете? — Он подошел вплотную к Николсону и протянул ему руку. — А сейчас мне пора. Честное слово. Рад был...

— Сейчас, сейчас. Присядьте на минутку, — сказал Николсон. — Вы не думаете заняться наукой, когда подрастете? Медициной или еще чем-нибудь? С вашим умом, мне кажется, вы могли бы...

Тедди ответил, хотя садиться не стал.

— Думал когда-то, года два назад, — сказал он. — И с докторами разными разговаривал. — Он тряхнул головой. — Нет, что-то не хочется. Эти доктора все такие поверхностные. У них на уме одни клетки и все в таком духе.

— Вот как? Вы не придаете значения клеточной структуре?

— Придаю, конечно. Только доктора говорят о клетках так, словно эти клетки сами по себе невесть что. Словно они существуют отдельно от человека.— Тедди откинул рукой волосы со лба.— Свое тело я вырастил сам,— сказал он.— Никто за меня этого не сделал. А раз так, значит, я должен был знать, *как* его растить. По крайней мере бессознательно. Может быть, за последние какие-нибудь сотни тысяч лет я разучился *осознавать*, как это делается, но ведь само-то знание существует, иначе как бы я им пользовался? Надо очень долго заниматься медитацией и полностью очиститься, чтобы все вернуть,— я говорю о сознательном понимании,— но при желании это осуществимо. Надо только раскрыться пошире.

Вдруг он нагнулся и взял правую руку Николсона с подлокотника. Дружески тряхнув ее, Тедди сказал:

— Прощайте. Мне пора.

И он так быстро пошел по проходу, что на этот раз Николсону не удалось его задержать.

Несколько минут после его ухода Николсон сидел неподвижно, опершись на подлокотники и все еще держа незакуренную сигарету в левой руке. Потом вдруг рассеянно поднес правую руку к вороту рубашки, словно не был уверен, расстегнут ли он. Затем закурил сигарету и снова застыл.

Он докурил сигарету до конца, резким движением опустил ногу на пол, затоптал сигарету, поднялся и торопливо пошел по проходу.

По трапу в носовой части он еще поспешнее спустился на прогулочную палубу. И без промедления устремился дальше вниз, все так же быстро — на главную палубу. Затем на палубу «А». Затем на палубу «В». На палубу «С». На палубу «Д».

Здесь трап кончался, и какое-то мгновение Николсон стоял в растерянности, не зная, как ему быть дальше. Но тут он увидел того, кто мог указать ему дорогу. Посреди перехода, неподалеку от камбуза, сидела на стуле стюардесса; она курила и читала журнал. Николсон подошел к ней, коротко спросил о чем-то, поблагодарил, затем прошел еще несколько метров в сторону носовой части и толкнул тяжелую, окованную железом дверь, на которой было написано: К БАССЕЙНУ. За дверью оказался узкий, ничем не застекленный трап.

Он уже почти спустился с трапа, как вдруг услышал долгий, пронзительный крик,— так могла кричать только маленькая девочка. Он все звучал и звучал, будто метался меж кафельных стен.

Сегодняшний читатель открывает Сэлинджера заново. Давно прошло время ожесточенных споров о творчестве этого американского прозаика. Страсти улеглись, и отчетливее, а в чем-то, должно быть, глубже воспринимаются теперь книги, вызвавшие такой взволнованный отклик четверть века назад.

С 1965 года Сэлинджер не напечатал ни строчки. Остается лишь строить предположения о том, чем вызвано его молчание и будет ли оно когда-нибудь прервано. Сам он никак не комментировал свой уход из литературы. Впрочем, окончательный ли? Периодически распространяются слухи о большом романе, который Сэлинджер пишет

уже два десятилетия, и, кажется, скоро закончит. Но это слухи, не больше. Ни один интервьюер не проник в дом Сэлинджера, уединенно расположенный на берегу реки Коннектикут, под Карнишем. Голливуд тщетно соблазнял писателя гонорарами за экранизации, безуспешно пытались заинтересовать его выгодными предложениями организаторы лекционных турне. Дух коммерческого ажиотажа, сопутствующего литературной жизни в США, вызывает у Сэлинджера брезгливость, граничащую с отвращением. И для себя он избрал самое настоящее затворничество.

«Тедди» — старый рассказ, но коллизия, которая в нем развернута, ничуть не устарела. Пожалуй, наоборот, смысл этой коллизии в полной мере постигается как раз в наше время — после битников и хиппи, после несостоявшейся «революции сознания», к которой звала контркультура 60-х годов. Протест, воплотившийся во всех этих движениях, отвергавших уродливую механистичность буржуазного существования, принимал иные формы, но толчок был дан — отсюда преследующее Тедди ощущение, что в Америке трудно «жить духовной жизнью». Удивительно, как много нашлось у Тедди последователей, подобно ему старавшихся преодолеть «конечномерность вещей», бунтовавших против логики, предававших анафеме познание, будто оно и повинно в убожестве «цивилизации потребления»...

Литература умеет предощущать конфликты и проблемы, еще не выявленные самой действительностью. Творчество Сэлинджера подтверждает это давно сделанное наблюдение. Конечно, оно оказало определенное воздействие на бунтующую молодежь шестидесятых, которая прочла его книги поверхностно, восприняв их как апологию своего мятежничества, принявшего характер экстатического разгула. Но на поверку книги Сэлинджера — отнюдь не призыв к бунту или к «медитациям» взамен серьезной и ответственной позиции и не оправдание мечтательности, отчужденности, бегства от жизни, поскольку она тягостна и жестока. Финал «Тедди» фабульно загадочен, но несомненно, что это трагический финал — как, собственно, развязки почти всех произведений Сэлинджера. В подобной недоговоренности есть своя художественная необходимость: раньше других американских писателей Сэлинджер уловил, что среди послевоенных подростков началось духовное брожение, которое не останется лишь мимолетным эпизодом, но он почувствовал и опасности, таящиеся в этом бунтарском умонастроении, и предупредил о них — тональностью своих повестей и рассказов, где читатель раз за разом предчувствует катастрофу.

История продемонстрировала эти опасности с достаточной очевидностью, а Сэлинджер замолчал, точно бы не желая славы пророка в собственном отечестве. Но даже если это молчание так и не будет нарушено, созданное Сэлинджером сохранит свое значение одной из самых ярких страниц в послевоенной литературе США.

А. ЗВЕРЕВ

◆

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

В этом номере Хулио Кортасар, Джойс Кэрол Оутс, Юлиан Кавалец, Радован Зогович и Мануэль Кофиньо, Ясуси Иноуэ, Джованни Джудичи и Любомир Левчев отвечают на вопросы нашей анкеты:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

ХУЛИО КОРТАСАР (АРГЕНТИНА)

Я рад, что ваш журнал интересуется творчеством латиноамериканских писателей, и с удовольствием коротко отвечу на два заданных мне вопроса.

1. Я писатель, в основном обращающийся к вымыслу. Моя работа идет главным образом в сфере воображаемого, и я искренне считаю, что мне много легче выдумывать, чем описывать то, что уже существует. Но хотя большую долю моих произведений составляют рассказы и романы «фантастического» плана, это вовсе не означает, что я не обращаю внимания на все, что окружает меня в мире. Я как раз считаю, что фантастическое лишено всякого литературного интереса, если оно не возникло из самой действительности,— действительность часто содержит элементы, которые может заметить и опознать только воображение. Поэтому мне не очень нравится старое деление на реализм и нереализм, на фантастическое и правдивое. Лично я, убедившись, как много в жизни странного, глубоко полюбил ее и стараюсь узнавать ее все глубже. Потому меня интересуют и волнуют история, наука, социология — полагаю, это отразилось во многих моих книгах.

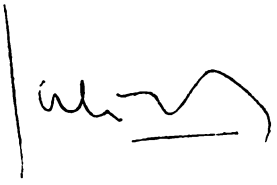
Что же касается текущей работы, могу сказать, что пишу серию коротких рассказов и надеюсь в будущем году объединить их в книгу. Иные из них фантастические, другие связаны с политическими проблемами нашей латиноамериканской действительности, которая очень тревожит меня.

2. Мне думается, что литература может служить делу мира, не превращая это непосредственно в тему произведения,— иначе было бы лучше писать статьи, а не романы и рассказы. Единственный способ служить сохранению мира — это писать все лучшие и лучшие книги и тем самым способствовать умственной и моральной эволюции читателей. Плохая литература (полная бессмысленного насилия, извращенного садизма, секса, оторванного от одухотворенной чувственности, истинной любви) служит делу войны, а не мира, ибо пробуждает в читателях самые низкие инстинкты. Такие инстинкты теплятся в каждом человеческом существе, и отрицать это было бы лицемерием, но задача социалистического общества (а его литература — одно из орудий нравственного воспитания) именно в том и состоит, чтобы показывать людям, что жизнь — это нечто намного большее, чем удовлетворение низменных инстинктов. Поэтому я убежден, что подлинно великая мировая литература служила и всегда будет служить делу мира, поскольку воспитывала и будет воспитывать своих читателей людьми мыслящими, творческими, обладающими богатым воображением, ценя-

Продолжение. Начало см. в «ИЛ», 1982, № 4—9.

щими красоту, чуткими к тому, что предлагает нам жизнь и что мы не всегда принимаем так, как следовало бы.

С сердечным приветом



ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС (США)

1. Самые серьезные писатели всегда пишут о жизненно важных политических и социальных вопросах своего времени — даже в том случае, когда их работа носит сюрреалистический характер или «фантастична». Я заканчиваю роман, относящийся к 1905 году и рассказывающий о деятельности Вудро Вильсона (в тот период он был президентом Принстонского университета, а не Соединенных Штатов); в комической или готической манере в романе раскрываются многие американские темы — например, отношение американцев к зарубежным странам. Среди действующих лиц — и Джек Лондон, герой-социалист.

2. Как может произведение искусства и литературы сохранить мир? Один из самых трудных вопросов! В течение многих веков существовали сотни, тысячи художников, у которых были добрые намерения, но как мало было прочного мира. Вероятно, более скромно и разумно говорить о том, что в мирное время, когда таковое выпадает на нашу долю, ощущение «рушащихся барьеров между людьми», которое рождает литература, качественно влияет на это время. А может быть, это лишь то, на что мы надеемся...

Joyce Carol Oates

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ (ПОЛЬША)

1. Трудные, сложные проблемы современного мира, порождающие беспокойство, напряжение и разлад в жизни современного человека, заставляют людей чутких искать простые, ясные и понятные каждому решения. Но порой они блуждают в запутанном словесном лабиринте, где правда теряется. Отсюда тоска по таким поступкам и словам, по такому литературному оружию, которое, объясняя мир, служило бы одновременно защите человека от угрозы, и тем более от бедствий, которые несут войны. На этом фоне еще отчетливей рисуется этический и нравственный долг литературы.

Как это проявляется в моем скромном писательском труде? Я занят поисками изначальных нравственных истоков среди деревенского люда, из которого вышел сам и о котором пишу, изображая морально здоровых людей тяжкого труда, дающего человеку хлеб. Я противопоставляю их достойный труд гнусным делам кое-кого из тех, кто этим трудом пользуется.

Судьбы современного мира зависят от решений многих проблем, но самой главной я считаю нравственное совершенствование человека. Этому посвящены все мои книги, об этом моя новая книга «Украсть брата», выхода которой я жду; об этом я размышляю и в книге, которую пишу сейчас.

2. Отвечая на первый вопрос, я уже затронул и второй.

Творчество несет мир в себе самом: тишина, сосредоточенность, спокойно текущее время — все, что нужно для интеллектуального созидания, в конечном итоге и есть мир. Настоящий художник по природе своей — враг всего, что нарушает покой, что убивает жизнь, он должен быть и он является противником войны. Это очевидно в каждом художественном произведении, созданном автором, стремящимся к правде и справедливости... Сознание опасности, в которой находится мир, до глубины души сейчас тревожит нас, ранит человеческое достоинство и оскорбляет совесть. Оно накладывает на каждого обязанность противостоять угрозе войны. Художникам, особенно писателям, отводится в этой борьбе особая роль, потому что они работают в области чувств, воображения и эмоций.

РАДОВАН ЗОГОВИЧ (ЮГОСЛАВИЯ)

1. Это может показаться похожим на самооправдание или утешение, но я убежден, что писатель-коммунист, да и вообще любой прогрессивный писатель, пишет об «актуальных проблемах современности» даже в том случае, если он обращается в своих произведениях к прошлому. Более того, я считаю, что последний из моих опубликованных поэтических сборников («Княжеская канцелярия»), который тематически относится к периоду правления сербского князя и турецкого вассала Милоша Обреновича (1815—1839 и 1858—1860 годы), поднимает, в частности, и некоторые морально-политические проблемы, связанные с явлениями, доставшимися в наследство современному социализму от капитализма, прежде всего от такого капитализма, для которого были характерны отсталость и острота классовых противоречий. Однако это отнюдь не единственный или главный в моей работе способ обращения к современности — это далеко не так. Новый сборник моих стихов («Нет добра, кроме добра») посвящен — и на этот раз уже непосредственно — современности, ее актуальным проблемам. Эта книга пока не вышла в свет.

Вот все, что я могу ответить на ваш первый вопрос, разве только добавлю, что уже пять месяцев прикован к постели — то в больнице, то дома.

2. Если когда-нибудь перед писателями, и как перед людьми и как перед мастерами слова, вставала необходимость подняться на защиту жизни на земле, мобилизовав на это все силы, все жанры литературы, общественную деятельность, а прежде всего художественную истину, то это именно сейчас, потому что империалисты, оголтело бряцая самым смертоносным оружием и выдвигая чудовищные по своему цинизму военные теории, изо дня в день грозят миру ядерной войной. Если в прошлых войнах у человека, в частности и у писателя, была возможность сделать выбор, принять ту или иную сторону, то современная, атомная война никакой альтернативы не предлагает: не будь она предотвращена — земля превратится в грандиозную Хиросиму

Но все-таки даже и сейчас, когда каждый человек в каждом уголке земли лицом к лицу столкнулся с угрозой ядерной смерти, кроме откровенно проимпериалистических авторов есть и такие, которые говорят: мы художники, нас не касаются ни война, ни политика. Это главным образом так называемые авангардисты, «независимые», авторы разной зауми, «сексуальной литературы», полупорнографии, проповедники теории «зло в самом человеке», те, кто стремится очистить слово от «балласта» смысла, и так далее. Один из них говорил лично мне: «Беды сербской литературы начинаются еще со Светозара Марковича — он связал ее с социальным движением и политикой». Писатель должен заниматься своим делом, продолжал он, его не касаются движения, войны, мир... А ведь под словом «война» применительно к тому времени, когда мы живем, подразумевается и ядерная война. И я хочу спросить таких людей: зачем, для кого вы тогда пишете то, что вы пишете, даже если это лишенные смысла стихи или «биологистика» и полупорнография?

Максимально эффективно и решительно бороться против войны, прежде всего атомной, средствами литературы, поиском художественной истины — значит укреплять гуманистическую, в первую очередь реалистическую литературу, основанную на марксистском мировоззрении Дегуманизированная, лишенная смысла, замкнутая в себе самой или анархическая литература, несмотря ни на какие личные стремления или декларации ее создателей, не может быть действенной поддержкой борьбе против империалистических организаторов ядерной катастрофы. Напротив, она только вредит делу мира.

Radovan Zogović

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО (КУБА)

1. Я живу и пишу в стране, в которой не так уж давно произошло важнейшее событие — революция. За эти годы на Кубе изменилось все — и внешние условия жизни, и сам человек. Я живу и пишу в первой стране американского континента и в первой стране испанского языка, которая строит социализм в девяноста морских милях от самой могущественной империалистической державы. Когда революция победила, мне было двадцать два года, теперь мне сорок шесть; значит, практически половину жизни я прожил при капитализме и половину при социализме. За эти революционные годы были у нас периоды трудные, бурные, суровые; были и иные — славные, героические и прекрасные. Все мои романы и рассказы — об этих годах борьбы с врагом, годах строительства социализма. Таким образом, мой литературный труд непосредственно связан с современностью. Думаю, долг писателя быть хроникером, судьей и участником жизни, которую ему довелось прожить. Я говорил уже не раз, что каждую из моих книг можно было бы озаглавить «Время перемен», как назывался первый сборник моих рассказов, но раз это не принято, приходится давать им разные названия.

Достоверно отражать современность — дело далеко не простое. Особенно трудно отражать революционный процесс, когда события следуют одно за другим с уди-

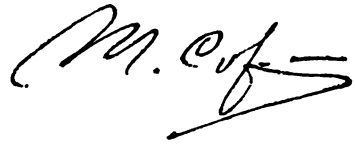
вительной динамичностью и быстротой. Чтобы это удалось, надо окунуться самому в водоворот преобразований, быть не только наблюдателем, но и активным участником революционного процесса. Мне кажется, что жить в такие годы — удача для любого художника, в особенности для писателя. Кроме того, мне нравится писать только о том, что мне хорошо известно, а что же я знаю лучше, чем эти прожитые мною дни? Все мои литературные планы отражают и будут отражать проблемы моих современников. Мои герои вместе со мной идут по улице, мы встречаемся в театрах, на воскресниках, на собраниях, видим друг друга в траншеях, вместе сражаемся с врагами и обнимаем друзей, вместе празднуем, вместе горюем,— короче говоря, живем общей жизнью, и это очень помогает и мне самому, и моим героям, моим современникам.

Сейчас я пишу серию рассказов, темой которых, конечно, будет наше время — время борьбы и перемен.

2. Впервые в своей истории человек держит в руках средства, которыми можно — и даже без особого труда — полностью уничтожить все человечество. Империализм неумолимо нагнетает напряженность, надеясь, быть может, на то, что при военной конфронтации в живых останутся только они, агрессоры; они как будто не понимают, что ядерная война — это хаос, катаклизм, подлинный конец света; и когда все окончится, наверное, некому даже будет испытывать угрызения совести, потому что не останется на земле живых существ, а если немногие и останутся, они будут завидовать мертвецам.

С древнейших времен человечество переживало бедствия, вызванные естественными причинами,— наводнения, землетрясения, ураганы, засухи, эпидемии, мор; но тогда не человек вызывал их, он был лишь их жертвой. Теперь же мы стоим перед кризисом глобального характера, к которому привела деятельность самого человека. Мы стоим перед явлением, ранее неизвестным, сейчас все решают не силы природы, а человеческое сознание. У нынешнего кризиса есть особые, этические аспекты, и сам человек должен выбирать, победить ему или быть уничтоженным.

Каждый писатель прежде всего человек и потому не может забывать об ответственности за свои поступки, не может не думать о будущем человечества. Агрессивная, авантюристическая и крайне опасная позиция, которую с большей безответственностью, чем когда-либо, занимают самые реакционные силы,— это результат эгоизма. Эгоизм отчуждает, лишает человека его лучших черт, отнимает разум. Дело искусства и литературы, а следовательно, художников и писателей — защищать и обогащать духовный мир человека, его целостность как индивидуума, беречь покой людей. Отсюда огромная важность литературы. Даже в период, когда здравомыслие, казалось, терпит поражение, литературное произведение покажет читателю, что в мире есть любовь, неизмеримые духовные ценности, щедрость дружбы и братства; что красота живет и в сумерках и простая прелесть золотистого лимона радует глаз даже в серый вечер, когда небо затянуто темными тучами; что вечно будет освещать мир улыбка ребенка, и пусть даже он играет на краю пропасти, миллионы рук в любую минуту готовы подхватить его, спасти и защитить.



ЯСУСИ ИНОУЭ (ЯПОНИЯ)

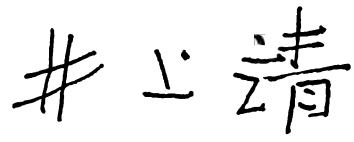
1. Над чем я сейчас работаю? Собираюсь написать роман о деятельности рожденного Китаем великого мыслителя Конфуция и его школы. Мне думается, что идеи Конфуция, жившего в VI—V веках до нашей эры, в течение многих поколений находили отклик и уважение во всем мире благодаря тому, что они основываются на универсальной человечности. Важно еще и то, что в основе его идей лежит утверждение человека. Конфуций считал, что человечество, сколько бы оно ни совершало в пути временных ошибок, в конечном счете движется к созиданию своего идеала. Именно такой идеей проникнуто все содержание «Лунь юй»[1]. Именно в этом, и только в этом,— объяснение тому, что в нынешние времена я решил написать о Конфуции. Хочу попытаться возродить Конфуция для современности и заставить громко зазвучать в нынешнем мировом хаосе его утверждения.

2. Как я представляю себе мир? Кончились времена, когда каждый требовал счастья только для самого себя. Разве можно быть счастливым самому, если другие люди несчастливы? Кончились времена, когда требовали счастья только для своей страны. Разве может стать счастливой твоя страна, если другие страны несчастливы? Для того чтобы понять такую очевидную истину, человечеству потребовалось поисти-

[1] «Лунь юй» («Беседы и суждения») — книга Конфуция, представляющая собой запись его изречений и бесед с ближайшими учениками и последователями. *(Прим. ред.)*

не долгое время. Теперь постепенно оно начинает это осознавать, но по-прежнему слышны отзвуки тех времен и продолжается хаос.

Истинным будет мир, когда он наступит на всем земном шаре. Каждый человек, раз он родился на этой земле, должен стать счастливым. Человек имеет право на счастье.

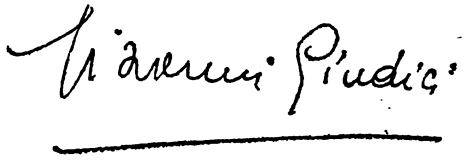


ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ (ИТАЛИЯ)

1. Затрудняюсь сказать, как отражаются актуальные проблемы современности в моем творчестве. Могу лишь надеяться их отразить, а вернее, надеюсь, что мои читатели увидели и хоть в какой-то мере узнали себя в моих произведениях. Для меня это было бы вдохновляющим свидетельством авторской удачи — значит, я немного помог этим читателям осознать свои личные и общие проблемы, проблемы индивидуумов и граждан. Ну, а на вопрос, как я стремлюсь достичь таких результатов, ответить легко. Остаюсь верным старому средству, которое называется «вдохновение». Когда оно заговорило, пишу, когда оно молчит, не беру пера в руки. Как писатель (моя журналистская работа стоит особняком) я уже тридцать лет занимаюсь одним и тем же — стихами. Через год-два я их все до одного перечитаю и тогда решу, *составляют* ли они вместе книгу.

2. Писатель может служить сохранению мира на земле, оставаясь верным вдохновению и внутренней потребности. Ведь в мире, где господствует ложь, Истина остается самой большой и мощной силой на службе делу Мира. Это относится и к моему скромному и весьма уязвимому поэтическому творчеству.

С сердечным приветом!



ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (БОЛГАРИЯ)

1. То, о чем я пишу,— это непрерывная и очень долгая личная исповедь. Через мое сердце, как и через сердце любого человека, вместе с кровью течет современность с ее страшными порой проблемами, взывающими к ответственности. Я не могу отделить себя от своих стихов и в них стремлюсь полностью отдаваться жизни.

Только что вышла в свет новая книга моих стихотворений «Заклинания». Сейчас работаю над биографическим очерком о Людмиле Живковой. Пишу новые стихи. А в более отдаленной перспективе — я постепенно к ней приближаюсь — художественная автобиографическая книга, первая часть которой будет нарочито называться «Железный человек» (очень уж часто повторяется это название).

2. Главное для писателя — учить людей человечности. Но при этом нельзя скрывать от них правду, ужасную правду о реальной опасности гибели цивилизации в термоядерном огне. Надо укреплять веру в то, что человек не бессилен перед угрозой войны и, следовательно, обязан взять на себя свою долю всеобщей ответственности за будущее. Мне кажется, литература все еще остается должницей перед самой важной из всех тем — темой борьбы за мир, борьбы, которая, подчас неприметно, однако ведется каждое мгновение.

■

Критика

ДМ. ЛИХАЧЕВ

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА И МИР

Мы должны в полной мере осознать тот знаменательный факт, что нашим братским литературам — украинской, белорусской и русской — исполнилась тысяча лет.

Почему мы *должны* это осознать? Что за обязанность лежит на нас? Прежде всего это наш долг перед нашими героическими предками. Героями делаются не только на войне — герои и те, кто вопреки трудностям создают новое, новую культуру, новую форму культуры.

Далее. Мы должны осознать этот факт для того, чтобы оглянуться назад, подвести итоги тысячелетия и с новыми силами, новым взглядом на самих себя продолжать наш путь, раз он того стоит... Мы должны проверить наш компас, нравственный компас, по которому мы движемся в бурном океане современных проблем. Часы, по которым мы, люди письменной культуры, живем, отсчитывают уже второе тысячелетие. Стрелка компаса имела отклонения, но в целом служит нам верно.

Что сохранить нам из наших традиций? Чем мы сильны? Что мы сделали не только для себя, но и для всего мира и мировой культуры, для человечества и человечности? Шли ли мы — украинцы, русские, белорусы — в ногу друг с другом и в ногу с мировой литературой? Что мы *взяли* у других и что мы им сами *дали*?

Служили ли мы прошедшую тысячу лет делу *мира* — мира во всех его смыслах: миру — «тишине», «спокойствию», «мирному времени», и миру — «вселенной», «земному шару», и миру — «человечеству»? (Все три значения слова «мир» не случайно сходятся на одном слове!)

Стремились ли наши литературы развлекать и отвлекать, или, напротив, они влекли к поискам истины, правды (опять-таки в специфически русском значении этого слова, совмещающего в себе истину и справедливость: правда-истина и правда-справедливость)?

Над всем этим вы должны сейчас задуматься, именно сейчас, когда кончается первое тысячелетие существования у нас письменной культуры.

Восточнославянская письменная культура, а в недрах ее и наша восточнославянская, еще не разделенная, литература — литература Древней Руси — возникли одновременно и *постепенно*, и *внезапно*...

От самого начала до нас дошли только «признаки» и «знаки» существования письменности и деловые тексты.

В пространных «Житиях» Кирилла-Константина, относящихся к IX веку, говорится о том, что в Крыму, где издавна были поселения Руси, Кирилл-Константин нашел евангелие, писанное по-русски — «русьскими» письменами, то есть, по-видимому, на языке Руси, восточнославянском, ибо сам Кирилл-Константин легко стал его понимать. Впрочем, ученые спорят — был ли это язык Руси или какой-то иной — «рушьский». Но вот более достоверное известие и вместе с ним документы: договоры русских с греками — 911 и 941 годов. Там сказано, что договоры Руси с греками составляются на двух языках и один экземпляр хранится у греческой стороны, а другой — у русской. Дошедшие до нас тексты в «Повести временных лет», несомненно, как это доказал академик С. П. Обнорский, X века, то есть перед нами па-

ЛИХАЧЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1906 г.).

Советский литературовед и историк культуры, академик, лауреат Государственной премии СССР. С 1938 г. ведет научную работу в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Автор многих трудов по истории русской культуры начиная с древнейших времен. Иностранный член Болгарской, Австрийской, Сербской, Венгерской АН, член-корреспондент Британской Академии, почетный доктор Оксфордского, Эдинбургского университетов.

мятники письменности первой половины X века. Письменности (!), но еще не литературы!

Но уже существование на Руси староболгарских книг — переводных с греческого и оригинальных — было явлением восточнославянской литературы, ибо книги эти были понятны на Руси, язык их оказался очень близким к русскому разговорному и деловому, хотя более сложным. Еще до официального признания христианства Киевским государством христианство на Руси было уже распространено. Христиане были в составе тех дружин, которые ходили на Константинополь, христиане были и в Киеве, где на Подоле стояла церковь Ильи Пророка. Раз были официально признанные христиане, была церковь, то было и богослужение, совершавшееся по книгам, и тексты в книгах были рассчитаны и на эстетический эффект, а это уже ближе к литературе...

Из этого следует факт более раннего проникновения на Русь *чтения*. Чтение в широком плане предшествовало на Руси письму, а переводы — собственным произведениям. Как и всякие младенцы, наши предки в X веке раньше научились читать и слушать читаемое, чем писать. Но ведь и это нелегкое дело! Правда, искусство слова существовало издавна, и нельзя даже указать, сколько веков оно существовало, ибо фольклор — ровесник устной речи, а сама устная деловая речь имеет разные эстетические формы: воинские речи, произносившиеся князьями перед битвами и выступлениями в поход (вспомните знаменитые речи князя Святослава), речи на княжеских съездах, на вече, судебные установления, облекавшиеся в кратчайшую и выразительнейшую форму, речи, передававшиеся через послов союзным или враждебным князьям.

Как я предполагаю, еще до официального принятия Русью христианства возникло произведение, пропагандирующее новый христианский взгляд на всемирную историю,— «Речь философа», включенная впоследствии в «Начальную летопись». Это полукомпилятивное произведение должно дать представление вновь обращаемому в христианство народу о всемирной истории, народу — и его правителю.

Можно спорить о том — была ли «Речь философа» русской по происхождению и была ли она уже произведением литературы, но факт тот, что силы, знания, навыки, необходимые для образования литературы в полном смысле этого слова, литературы как особой области культуры, накапливались постепенно в течение и IX и X веков. Накопление это было незаметным — для современников, восточных славян, и для глаз наших исследователей.

Но вот внезапно (подчеркиваю — *внезапно)* из этого незаметного «накопления» родилась литература очень высокого уровня — уровня идейного, уровня литературного умения, уровня великолепного литературного языка, как бы сразу достигшего изумительного совершенства.

Литература внезапно поднялась как огромный защитный купол над всей Русской землей, охватила ее всю — от моря и до моря, от Балтийского до Черного, и от Карпат до Волги.

Я имею в виду появление таких произведений, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, как «Начальная летопись» с различным кругом произведений, в нее входящих, как «Поучения» Феодосия Печерского, «Поучение» князя Владимира Мономаха, «Жития Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского» и т. д.

Весь этот круг произведений знаменуется высоким историческим, политическим и национальным самосознанием, сознанием единства народа, особенно ценным в период, когда в политической жизни уже начиналось дробление Руси по княжествам, когда Русь стала раздираться междоусобными войнами князей. Именно в этот период политического разобщения литература осознает, что князья не в «худой» и не в неведомой стране княжат, и занята вопросом, «откуда пошла» Русская земля; произведения призывают к единению и писаны не в одном центре, а по всему пространству Русской земли — так составляются летописи, проповеди, «Киево-Печерский патерик», так ведется переписка Владимира Мономаха с Олегом Гориславичем и т. д. и т. п. В литературное творчество удивительно быстро втянуты многочисленные русские города и монастыри: помимо Киева — Новгород Великий, оба города Владимира на разных концах Русской земли — Владимир Волынский и Владимир Суздальский, Ростов, Смоленск и даже маленький Туров. Всюду писатели и особенно летописцы пользуются трудом своих собратьев из самых отдаленных мест восточнославянской равнины, всюду возникает переписка, писатели переезжают из одного княжества в другое.

В пору упадка политического единства и военного ослабления литература заменила собой государство. Отсюда с самого начала и на протяжении всех веков громадная общественная ответственность наших литератур — русской, украинской и белорусской.

Вот почему я употребил выше выражение: литература поднялась над Русью громадным защитным куполом,— стала щитом ее единства, щитом нравственным.

Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за весь мир стали также отличительной особенностью всех восточнославянских литератур и отчасти были унаследованы ими через единую литературу Древней Руси от славянских просветителей — Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны, каждого народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о служении каждой страны человечеству. Для Кирилла и Мефодия это была Болгария, для писателей Древней Руси — Русь.

Благодаря этой особенности «литературного мировоззрения» восточнославянских литератур они всегда были литературами с «открытыми границами». Переводная литература занимала в них такое же место, как и оригинальная. Рукописи из балканских стран ввозились и здесь «смешивались» со своими — переписывались на равных с ними основаниях, составлялись

сводные редакции — болгаро-русские, сербо-украинские, молдаво-влахийско-болгаро-русские и т. д. Вместе с тем до очень поздней поры литературы трех братских народов воспринимались и развивались как единая литература. Едиными они были и в глазах их авторов, переписчиков, печатников, и в глазах самих читателей. Характерна в этом отношении деятельность первопечатника Ивана Федорова: перенося свою деятельность из Москвы во Львов, он не был ни перебежчиком, ни изменником — он делал одно дело.

Не случайно на Русь в XIV—XVI веках переезжали сербские и болгарские писатели и чувствовали себя здесь как на родине, защищали общее дело восточного славянства, а в монастырях Афона, Болгарии, Сербии, Молдаво-Влахии работали восточнославянские переписчики и книжники. Книжники из Руси работали и в Будапеште, учились в Кракове.

Мысль о каждом народе как о части *всечеловечества* дожила до нашего времени и в XIX веке получила яркое выражение в знаменитой речи Достоевского при открытии памятника Пушкину. Достоевский только в силу ограниченности представления своего времени о древнерусской литературе не знал, что приписываемые им Пушкину «чувства-идеи» и необыкновенная восприимчивость Пушкина ко всем явлениям культуры Европы существовали уже в Древней Руси, и существовали в полной мере.

Другая особенность наших восточнославянских литератур, также появившаяся как бы сразу, во всяком случае «повзрослевшая» в течение очень короткого времени,— это их учительный характер.

«Неправду» князей уже в середине XI века разоблачал летописец Никон, затем летописец Нестор и его преемники, потом — составители повестей о княжеских преступлениях (об ослеплении Василька Теребовльского, об убийстве Игоря Ольговича, об убийстве Андрея Боголюбского, о клятвопреступлении Владимирки Галицкого и пр.), далее с призывами к князьям обращался автор «Слова о князех» и автор «Слова о полку Игореве» (в период монголо-татарского завоевания на неправильное поведение князей указывали авторы северо-восточных повестей о событиях Батыевщины и т. д.).

Характерно и чрезвычайно важно, что изобличение неправд идет параллельно с поисками положительных решений. Это не критика ради критики, не дискредитация княжеской, а впоследствии царской власти ради ее дискредитации, а поиски решения вопроса — и об укреплении власти, и о создании справедливого общества. Это особенно характерно для первой половины XVI века, для сочинений Ивана Пересветова, Ермолая Еразма, Вассиана Патрикеева, Федора Карпова и многих других авторов. Литература становится «вторым государством», она тоже полна государственных забот, и не случайно это понимают и сами князья и цари, когда берутся за перо,— Владимир Мономах, Иван Грозный, Алексей Михайлович, Петр Великий и др.

В этом году исполнилось триста лет со дня сожжения протопопа Аввакума, и хотя он был по официальному приговору сожжен «за великий на царский дом хулы», но на самом деле «хулой» он был озабочен меньше всего, а стремился убедить царя до последнего дня и решить проблемы путем слова и убеждения, путем создания положительной программы, которая виделась ему в возврате к прошлому по целому ряду вопросов.

Новый подъем государственного и исторического, общественного значения литературы наступает с конца XVIII — начала XIX века в сочинениях Радищева, Новикова, поэтов-декабристов и т. д.

Общественная и национальная миссия литературы в полной мере осознает себя в творчестве Пушкина и Шевченко. Не случайно именно эти два имени стояли на знаменах литературы русской и украинской.

Ни в одной стране мира с самого начала ее возникновения литература не играла такой огромной государственной и общественной роли, как у восточных славян.

И с этим связана характерная черта художественной формы наших литератур. Общественная ответственность ведет за собой ответственность перед словом и своеобразный лаконизм наших литератур. Необычайной лаконичностью отличается и проза Пушкина, и проза Лермонтова, и проза Тургенева. Их романы и повести сравнительно невелики по объему. Все существенное вырезано в них почти что резцом — с ювелирной точностью. Но ведь и кажущаяся многословность Толстого и Достоевского тоже свидетельствует об особой ответственности перед словом. Недаром, знакомясь с черновиками Толстого, мы замечаем, что первоначальный текст был как будто бы глаже: глаже, но не точнее. Во внешне неряшливой и корявой форме сказывалось другое — то, что я бы назвал характерной для всей русской литературы «стыдливостью формы». Писатель заботится прежде всего об истине, о правде и не заботится о красивости сказанного, постоянно нарушает законы жанра, привносит в литературу жанры деловой письменности, изобретает новые жанры или берет жанры «низкой литературы» — рецензии, фельетоны, письма, разного рода документы и т. д. Это в высокой степени свойственно Лескову, Некрасову. Документ говорит читателю больше, чем литература, документу читатель больше доверяет, и вот писатели пишут свои произведения в форме писем, хроник, открытых писем в редакцию, дневников, а то нарушают жанры — объявляют поэму романом в стихах, а роман поэмой. Не важно *как*, написать лишь бы правду, лишь бы воздействовать на поведение людей, пробудить в них общественное сознание.

С этим связана всегдашняя конструктивность критики наших литератур: наличие большого и общественно-ответственного мировоззрения за всеми критическими выступлениями. С этим связано и единство литературы и критики, литературы и публицистики. История литературы всегда была у нас и историей общественной мыс-

ли, всегда включала в себя и историю критики.

Обращаясь к настоящему советских литератур, не найдем ли мы в них все те же черты, присущие всему тысячелетию развития восточнославянских литератур? Разве не для решения важных общественных проблем пишут наши писатели-современники — В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, писал Ю. Трифонов, пишет В. Быков, Ч. Айтматов и многие другие. Все они не только заинтересовывают своими произведениями, восхищают лаконизмом, но и тревожат, будят, заставляют думать, призывают к общественной ответственности. Все эти писатели — наши современники — вышли из школы Аввакума, Радищева, Пушкина, Достоевского, Толстого... А если охватить более широкий круг писателей, то и круг непосредственных учителей окажется гораздо шире — вся наша тысячелетняя литература. Если материалом лучших современных произведений оказывается село и даже появился несправедливый термин «деревенская проза», то ведь круг решаемых проблем отнюдь не сводится к тем, что могут быть интересны лишь деревенским читателям. Если сводить все темы литературных произведений только к их материалу, тогда окажется, что и Достоевский интересен лишь жителям Петербурга и в лучшем случае Старой Руссы, а Аввакум — староверам... Писатели поднимают общие вопросы на частных случаях — это почти закон художественного творчества. Но характернейшей чертой нашей советской литературы, продолжающей традиции шестидесяти лет советской литературы и тысячелетия литератур разных народов нашей страны, из которых многие стали обладать письменностью уже в условиях советской действительности и поэтому следуют по-своему опыту других литератур, необходимо признать большие общественные и мировоззренческие вопросы, поднимаемые всегда с большой душевной болью, страстью и стремлением к лучшему.

Спрашивается: можем ли мы определить точную дату тысячелетия наших братских литератур? Даты юбилеев по большей части условны. Условны даты юбилеев наших исторических городов, многих учреждений. Мне думается, что для тысячелетия наших братских восточнославянских литератур условной даты устанавливать не следует. Литература — это процесс. Возникновение литературы тоже было процессом. Тысячелетие восточнославянских литератур — это процесс. Такой юбилей не может быть отпразднован одним заседанием, открытием одного памятника или созданием одного труда. Весь конец XX века есть дата юбилея. От него надо ждать многих совместных конференций, обобщающих трудов и отдельных глубоких исследований.

Нам нужна не дата, а своего рода юбилейные десятилетия. Они будут полезны в мировом и мирных аспектах и раскроют нам многое в наших собственных достижениях.

Вместе с тем тысячелетие литератур будем рассматривать как часть тысячелетия нашей письменной культуры, восходящей к единым корням и распространившейся в виде кириллицы у многих народов Советского Союза.

Нам, людям конца XX века, следует подвести итоги того, что достигли литературы трех братских народов и *как* достигли, обратив особенное внимание на все, что свидетельствует в наших литературах о совместном решении общественных и художественных вопросов. Эти итоги должны подводиться вдумчиво, несуетно, неторопливо, путем исследований, совместных конференций писателей и литературоведов трех братских народов.

Нам необходимо осознать самих себя, понять наши пути, а исходя из понятого, наметить пути на будущее. Под прошлым я понимаю и то прошлое, что ушло под сень веков, и то прошлое, что еще живо в нашей собственной памяти, что мы еще не перестали считать настоящим. Итоги прошлого есть всегда и планы на будущее.

Литературные портреты

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

МЯТЕЖНОЕ СЕРДЦЕ ЖОРЖИ АМАДУ

Жоржи Амаду в Бразильской академии литературы.

«В ваше именитое общество я вступаю с чувством полной удовлетворенности, поскольку был непримиримым противником этого учреждения...» — столь неожиданно и своеобразно начал свою речь Жоржи Амаду, впервые появившийся июльским днем 1961 года в расшитом золотом традиционном академическом мундире, с золотой цепью и шпагой, в треуголке с плюмажем на торжественном заседании Бразильской академии литературы по случаю приема писателя в число «сорока бессмертных».

В стенах Малого Трианона — помпезного здания, выстроенного лет шестьдесят назад Францией к Международной выставке в Рио-де-Жанейро в архитектурном стиле одноименного версальского дворца и позднее переданного Бразильской академии литературы,— подобных заявлений еще не произносилось.

Возмутитель академического спокойствия тем временем продолжал: «Что касается меня, то, к счастью, много камней я бросал в ваши оконные стекла, много крепких слов потратил по поводу вашей индифферентности, много колкостей выкрикивал в связи с вашей позицией, много боев вел против вашего властвования».

Это отнюдь не было исповедью раскаивающегося в своих прегрешениях, равно как не являлось какой-то экстравагантной выходкой, не диктовалось желанием романиста, который любит порой ставить читателя перед непредсказуемым сюжетным поворотом в произведении, просто эпатировать новых и чинных коллег — академиков.

Объявляя «войну» Бразильской академии литературы в конце двадцатых годов, семнадцатилетний Жоржи Амаду и его друзья-ровесники действительно предпринимали нечто небывалое — в противовес официальному научному учреждению они основали собственную литературную академию в Салвадоре, главном городе штата Баия.

Вероятно памятуя о том, что двести с лишним лет назад именно в Салвадоре, в те времена столице Бразилии, была основана первая в стране академия, объединявшая поэтов,— «Бразильская академия Забытых», а затем на смену ей появилась литературная «Академия Возрожденных» Жоржи Амаду, Диас да Коста, Эдисон Карнейро и иные юные литераторы Салвадора свой кружок назвали вызывающе «Академией Мятежных» В ту же пору трое упомянутых «мятежных» коллективно написали повесть «Ленита», публиковавшуюся вначале из номера в номер местной газетой «О жорнал», но после, посчитав повесть незрелой, каждый из соавто-

ДАШКЕВИЧ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1913 г.).

Советский литературовед, критик, переводчик. Заслуженный работник культуры РСФСР. Печатается с 1933 г. Автор многих работ о литературах Латинской Америки, о творчестве латиноамериканских писателей; ряд их произведений издан в его переводе.

ров изъял ее из библиографических перечней собственных сочинений.

Пылавшие жаром бескомпромиссной юности «мятежные академики» обрушились, как сказал Жоржи Амаду, «с проклятиями на Бразильскую академию литературы и вообще на всю существовавшую в ту пору литературу»... «Мы были убеждены, что литература начинается с нашего поколения... Первой и не терпящей отлагательств целью мы поставили: ликвидировать Бразильскую академию литературы, заменив ее нашей «Академией Мятежных»,— добавил он.

Что же разожгло гнев «мятежных»? Кое в чем их можно было понять: в бразильской литературе тех лет — за известными исключениями — доминировала тенденция «бегства от действительности», элитарностью характеризовалась и деятельность национальной академии литературы, замыкавшейся в своей раковине и отстранявшейся от требований времени, что признавали и другие писатели. Не считаясь с особенностями народного португальского языка в Бразилии, некоторые академики-пуристы продолжали стоять на позициях так называемого португальского классицизма, привнесенного в ту эпоху, когда Бразилия была колонией Португалии.

«Мое поколение, всплывшее на волне народного вооруженного движения,— говорил Амаду, став членом Бразильской академии литературы,— сочло необходимым вымолвить свое слово, подсказанное суровой действительностью и глубокой надеждой. Мы видели нашу страну и наш народ, у которого были отняты его богатства, который оказался жертвой чужеземных алчных хищников, величие которого было унижено,— и наши сердца переполнялись болью и горем. Мы должны были проломить все стены, чтобы разнеслось эхо нашего слова, нашего резкого протеста. Мы выступили в поход против всего, что нам казалось олицетворявшим прошлое, включая и Бразильскую академию литературы... Все-таки я не думаю, что существование «Академии Мятежных» было бесполезным и неплодотворным. Литературная атмосфера определялась господством закоснелого консерватизма... Пустая риторика душила творческие устремления и сводила на нет благородные баиянские традиции литературы, обращенной к важнейшим проблемам, к делу народа... пустословие, доведенное до высшего предела, скрывало отсутствие идей... Мы выступали за литературу, отражающую действительность, отражающую чаяния народа».

Нет сомнения, что относительно быстро угасшее выступление юных салвадорских бунтарей, вдохновлявшихся «благородными баиянскими традициями» великих предшественников в Баие — поэта XVII века Грегорио де Матоса или поэта XIX века Антонио де Кастро Алвеса, было искренним, хотя незрелым, как незрелым получился дебют в литературе трех авторов «Лениты». Однако, бесспорно, это выступление все же не могло не сказаться в формировании сознания его участников, прежде всего Жоржи Амаду.

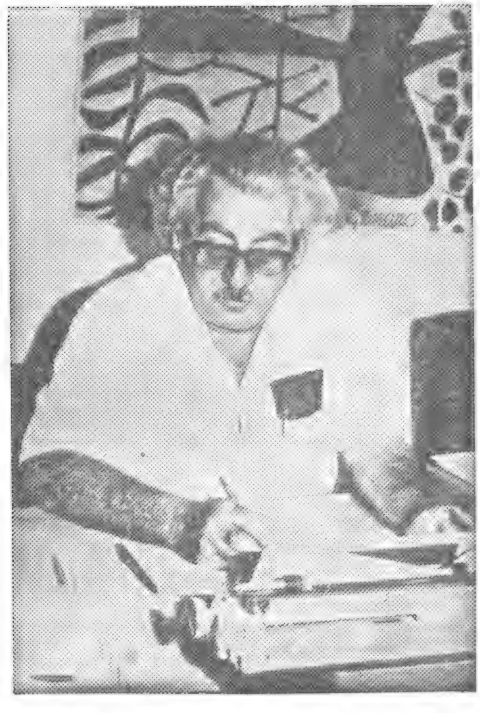
С тех пор многое изменилось в Бразилии. Тяжелый удар по стране нанес мировой экономический кризис 1929—1933 годов, обострivший и классовые противоречия. Вспыхивали народные восстания. В результате гражданской войны в 1930 году к власти пришел Жетулио Варгас, представлявший националистические круги буржуазии. Фашистские Германия и Италия открыто вмешивались в экономическую и политическую жизнь Бразилии, оказывая всемерную помощь реакционным элементам. В стране разгоралось вооруженное движение под руководством антифашистских, антиимпериалистических сил во главе с коммунистами. Диктатура ввела осадное положение, начались массовые репрессии. В ноябре 1937 года Варгас обнародовал корпоративную конституцию, наподобие конституции фашистской Португалии 1933 года, провозгласив Бразилию «новым государством» (этот термин, также позаимствованный Варгасом у португальского диктатора Салазара, сохранялся до 1945 года). Трагические годы «нового государства» потом будут описаны Жоржи Амаду в романах «Подполье свободы» (1954) и «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» (1979) [1].

В 1942 году в связи с ростом антифашистского движения в своей стране и во всей Латинской Америке правительству Бразилии пришлось разорвать дипломатические отношения с державами «оси», через несколько месяцев формально объявить войну Германии и Италии (лишь в июле 1944 года бразильский экспедиционный корпус прибыл на итальянский фронт, включившись в Пятую армию США).

[1] Роман «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» опубликован в «ИЛ», 1982, № 8,9.

За работой над романом «Тереза Батиста, уставшая воевать».

(Фото Зелии Гаттаи Амаду, жены писателя.)



Разгром итало-германского фашизма привел к краху диктаторского режима «нового государства», послужил мощным толчком к развитию демократического движения в Бразилии. Народные массы заставили правительство амнистировать политических заключенных, разрешить деятельность политических партий, в том числе коммунистической, установить дипломатические отношения с СССР.

Немалую роль в борьбе с фашистским засильем внутри страны и свержении «нового государства» сыграла Ассоциация бразильских писателей, созданная еще в годы войны.

Свежий ветер ворвался и в Бразильскую академию литературы.

Разве не примечательно, что в ноябре 1947 года Бразильская академия литературы принимала в качестве официального гостя кубинского поэта-коммуниста Николаса Гильена? Ведь только за несколько месяцев до этого бразильская реакция, поднявшая было голову, развернула наступление на демократические силы, очередной диктатор генерал Дутра, в свое время награжденный Гитлером и затем ставший фаворитом Вашингтона, запретил коммунистическую партию и другие прогрессивные организации, а в октябре, то есть за месяц до встречи академиков с Николасом Гильеном, разорвал дипломатические отношения с Советским Союзом.

В апреле 1961 года в члены Бразильской академии литературы был единогласно принят писатель-коммунист Жоржи Амаду.

17 июля того же года выступивший на торжественном заседании видный литературовед академик Раймундо Магальяэнс Жуниор приветствовал не только нового академика, но и героев его произведений: «Вы, сеньор Жоржи Амаду, приобрели тридцать девять друзей, которые были тридцатью девятью вашими поклонниками. Более того — неизмеримо более — выиграли мы, потому что сюда вы прибыли не один. С собой вы привели по меньшей мере сотню персонажей — столь живых, столь полнокровных, столь реальных, как и вы сами. Привели — я неудачно сказал. Потому что, по правде говоря, они еще до вас прибыли... И сюда они пришли без всяких церемоний, не стали просить разрешения, да еще проникли так незаметно, что никто не отдал себе в том отчета. А посмотрите вокруг. Не видите? Быть может, потому, что они не выделяются своей одеждой, скромно стоят в коридорах либо в темных уголках... Проходите, раз вы уже тут! Проходите, никто из вас не может здесь отсутствовать, вы же всюду идете во главе с вашим творцом, освещая ему путь. Проходите и встаньте рядом с ним! Это — высшее мгновение его славы и отражение вашей чудесной вечности!».

Чтобы по достоинству оценить сказанное, следует вспомнить слова выдающегося бразильского писателя, автора известных и нашим читателям романов «Иссушенные жизни» и «Сан-Бернардо» [1] Грасилиано Рамоса, который с горечью свидетельствовал, касаясь не таких уж давних времен: «Из нашей литературы были изгнаны простонародные выражения. Стало неприличным писать о неграх. Литературные персонажи «обелялись». Академизм проникал во все жанры...». Можно ли было вообразить тогда и Жоржи Амаду, и героев его романов — простых людей, негров, мулатов, метисов с их безыскусным языком — под сводами Малого Трианона! Народ вторгся благодаря романам Амаду в бразильскую литературу.

Но все это произойдет спустя много лет — после того июньского дня 1930 года, когда молодой Жоржи Амаду, работавший репортером салвадорской газеты «Диарио да Баия», распростится с «Академией Мятежных» и отправится в Рио-де-Жанейро — путь, который приведет его в большую литературу, к мировой известности.

На первых порах в Рио будущий романист возобновляет работу в периодических изданиях, одновременно посещая лекции на факультете права («Правда, и адвокат из меня не получился, и не научился я носить академический мундир»,— признался как-то в беседе Жоржи Амаду). В газете «А маньян», которой руководил писатель-коммунист Педро Мотта Лима, он печатает статьи на политические темы.

А в сентябре 1931 года девятнадцатилетний Жоржи публикует свой первый роман — «Страна карнавала», навеянный впечатлениями о жизни в фазенде — усадьбе среди плантаций какао на юге Баии, где он родился 10 августа 1912 года, о пребывании в Салвадоре и Рио. Эта книга, по сути развенчивавшая туристское представление о Бразилии как о «стране карнавала», вышедшая тиражом в тысячу экземпляров, сразу же была замечена и положительно оценена критикой, выдержала в Бразилии около сорока изданий, но оказалась единственной из произведений Амаду не переведенной на другие языки: автор не давал на то разрешения. В следующем году он работал над книгой «Руи Барбоза № 2», несколько повторившей роман «Страна карнавала», возможно поэтому так и не увидевшей света.

Кажется невероятной работоспособность молодого писателя, собственно делавшего первые шаги на литературном поприще. Чуть ли не беспрерывным потоком из-под его пера следуют — написанные уже по возвращении из Рио в Баию — остросоциальные романы «Какао» (1933), «Пот» (1934), «Жубиаба́» (1935), «Мертвое море» (1936). И все произведения — каждое со своей палитрой ярких красок — неизменно встречают теплый отклик читателей, критики, таких крупных писателей, как Монтейро Лобато, Грасилиано Рамос, Граса Аранья, Мурило Мендес, встретивших в этих книгах необычайно живые образы батраков, работавших на плантациях какао, ремесленников квартала бедноты, людей, оказавшихся за бортом жизни, рыбаков, на утлых парусных плотах-жангадах идущих на схватку с коварной морской стихией.

Писатель не остается равнодушным перед картинами голода, нищеты, бесправия, эксплуатации народных масс. Он выступа-

[1] Роман «Сан-Бернардо» опубликован в «ИЛ», 1976, № 11, 12.

ет обличителем, обвинителем правящих классов, чужеземных хищников. Борьбу против фашизма и империализма он ставит своей задачей. За политические выступления в печати Жоржи Амаду арестовывают. В Бразильской академии литературы он вспомнит: «Если не ошибаюсь, это было в апреле 1936 года. Террор царил в нашем мире, нацизм подавлял свободу, растаптывались права человека. В Бразилии начался процесс ликвидации демократии, приведший к несчастным годам «нового государства». Вместе со многими другими я оказался в тюрьме Центрального управления полиции».

После освобождения Жоржи Амаду уезжает за границу, предприняв длительное путешествие на каботажном судне вдоль тихоокеанского побережья — от Аргентины до Мексики и Соединенных Штатов. В пути он пишет роман «Капитаны песков» о беспризорных детях Салвадора; книга вышла в 1937 году, но тотчас же была запрещена властями «нового государства» наряду с другими произведениями Жоржи Амаду, а сам он, как только вернулся на родину, опять был арестован и два месяца провел в тюрьме города Манауса.

Выйдя из тюрьмы — власти не подыскали, что можно инкриминировать писателю, кроме его таланта,— он столкнулся с немалыми материальными трудностями, заставившими его искать заработок в Сан-Паулo, в штате Сержипе, в Рио. Далее на родине оставаться ему невозможно, он уезжает в Аргентину, где создает книгу о певце бразильской свободы Кастро Алвесе, в Буэнос-Айресе на испанском языке публикует книгу «Рыцарь надежды» (1941), в Уругвае работает над романом «Бескрайние земли» (издан в конце 1941-го), рисующим сцены ожесточенной борьбы за землю между помещиками-фазендейрос в штате Баия,— это произведение отражает детские воспоминания автора о тех годах, когда, по его же словам, мать будущего писателя не ложилась спать без ружья возле кровати, а отец был обстрелян кем-то, кто хотел захватить принадлежавшую семье Амаду плантацию, и не потому ли роман предваряют строки народной песни: «Я расскажу вам историю — историю, что ужасает...».

Узнав, что Бразилия объявила войну Германии и Италии, Жоржи возвратился из эмиграции, однако по прибытии в южнобразильский город Порто-Алегре его арестовали, препроводили в Рио.

Политическая полиция «нового государства» и на этот раз не нашла какого-либо юридического обоснования держать Жоржи Амаду в заключении, но вместе с тем не разрешила ему оставаться в столице или в Сан-Паулo. Писателя отправили в Баию — под домашний арест, полиция пригрозила применить другие кары в случае неподчинения.

Находясь в Салвадоре, писатель не имел возможности публиковать новые произведения или переиздавать старые: его книги фигурировали в индексе запрещенных «новым государством». Жоржи возобновляет журналистскую работу. В редакции газеты «О импарсиал», фактически ставшей рупором антифашистских сил в штате, ему поручили редактирование и комментарии сообщений о ходе второй мировой войны — это, конечно, было ответственно и привлекало особый интерес читателей, а ему давало возможность высказывать свое мнение о событиях. Ежедневно за его подписью стали появляться статьи под рубрикой «Час войны».

Вопреки полицейским запретам в штате Баия развивалось демократическое движение. Поскольку политические партии — по крайней мере легально — не существовали, а деятельность профсоюзов запрещалась, то здесь возникали такие организации, как «Легион медиков против фашизма», «Легион коммерческих служащих», «Союз студентов Баии», проводившие собрания в закрытых помещениях, а как только поступали вести о новом поражении итало-германских войск, эти же организации приглашали население на «прогулку». Со своей стороны Жоржи Амаду достаточно умело отзывался на подобного рода демонстрации, эзоповским языком многое он поведал читателям и в колонке «Это не точно». Перу сосланного романиста принадлежали также другие публикации в газете под разными заголовками «вегетарианского» толка, но по существу направленные против диктатуры.

В 1944 году «новое государство» уже агонизировало. Власти, терявшие опору под ногами, были вынуждены наконец разрешить писателю выехать из Баии, снять запрет на его произведения.

В который раз сорвались попытки реакции заглушить голос Жоржи Амаду! Еще в 1933 году полиция обязала книготорговцев изъять из продажи роман «Какао» — этот факт получил огласку в печати, по просьбе издателей вмешался влиятельный министр Освалдо Аранья (о котором, между прочим, говорится и в романе «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка»), полиции и департаменту «охраны социально-политического порядка» пришлось отменить свой приказ, в итоге — четыре тиража романа в кратчайший срок были раскуплены читателями. Популярность произведений Амаду не уменьшилась и после того, как в 1937 году в Салвадоре его книги вместе с книгами других прогрессивных авторов были сожжены местными фашистами-«интегралистами», действовавшими вкупе с гитлеровской агентурой, естественно, гитлеровскими методами. К чему только не прибегали реакционеры! Первое издание книги «Кастро Алвес» в 1941 году появилось почти нелегально — оценив это произведение Амаду как вызов «новому государству» и все же учитывая, что великий поэт XIX века Кастро Алвес является национальной гордостью бразильцев, власти приказали книготорговцам не выставлять издание в книжных витринах. В том же году против Амаду был возбужден процесс в связи с публикацией его книги «Рыцарь надежды» — дело пришлось сдать в архив, автор находился за пределами Бразилии...

После краха «нового государства» в жизни страны как будто открывался путь к демократии.

Увидел свет написанный еще в годы ссылки в Баие роман Амаду «Сан-Жоржи

дос Ильеус», в известной степени продолжающий роман «Бескрайние земли» — действие нового романа, правда, происходит примерно через четверть века, в иных социально-экономических условиях (у нас и в некоторых других странах роман выходил под названием «Земля золотых плодов»).

Амаду участвует в первом конгрессе бразильских писателей, созванном в Сан-Паулo в январе 1945 года; его выбирают вице-президентом конгресса, на котором прогрессивные литераторы выказали свою решимость бороться против диктатуры.

Спустя три года после ссылки писатель прибывает в Рио-де-Жанейро уже не под конвоем полиции. Он — федеральный депутат от штата Сан-Паулo в Национальную учредительную ассамблею. В парламенте депутат-коммунист выдвигает целый ряд законопроектов, главным образом по вопросам развития и защиты отечественной культуры. Парламентская деятельность не препятствует активной — как всегда напряженной — литературной работе. Амаду пишет поэму в прозе «Бухта Всех Святых — путеводитель по улицам и тайнам города Салвадора» (город расположен на берегу бухты этого названия) и роман «Красные всходы». Вернувшись к образу столь близкого ему поэта, он создает свою единственную пьесу «Любовь Кастро Алвеса» (со второго издания — а она поныне выдержала двадцать три издания в Бразилии, что само по себе поразительно, коль скоро речь идет о драматургическом произведении,— пьеса называется «Любовь солдата»).

Зловещие тучи опять сгущаются над Бразилией. Реакция пытается взять реванш. Пришедшее к власти антинародное правительство генерала Дутры вводит диктаторский режим. Запрещено свободное слово. Свирепствует террор, напоминающий о годах «нового государства». В январе 1948 года Жоржи Амаду, как и остальные депутаты-коммунисты, лишен парламентского мандата. Вынужден снова покинуть родину. Годы изгнания проходят во Франции, где писатель включился в движение сторонников мира. Затем он побывал в Советском Союзе, жил в Чехословакии, в других странах. А мысли его не расстаются с родной землей. Неустанно работает над эпической трилогией «Подполье свободы», воспроизводящей эпизоды жизни и борьбы патриотов в «новом государстве», изобличающей врагов бразильского народа. Неистанно бьется мятежное сердце.

В 1951 году Жоржи Амаду был удостоен международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Еще до выхода из печати в 1954 году в Сан-Паулo «Подполья свободы» писатель приезжает в Бразилию. Здесь его подстерегают жандармы Дутры: ссылаясь на реакционный «закон о безопасности», они привлекают писателя к суду за публикацию в 1952 году книги «Мир, где царит мир», написанную по впечатлениям от поездок в страны социализма. К счастью для автора, судья закрыл дело, определив, что «эта книга не подрывная...».

В творческой жизни писателя 1958 год ознаменовался появлением романа «Габриэла», вызвавшего бурные дискуссии как в бразильской, так и в мировой критике по поводу якобы нового направления литературного пути Амаду (в Советском Союзе роман издан впервые в 1961 году).

В беседе с автором этих строк, тогда работавшим над предисловием к первому советскому изданию «Габриэлы», Жоржи Амаду говорил: «Мне хотелось написать солнечную книгу, которую читали бы все и которая не только развлекала бы читателя, но и заставила бы его задуматься над многими явлениями нашей бразильской жизни».

На мой взгляд, это высказывание писателя может восприниматься как удар камертона, настроивший все его творчество последних лет. За внешней развлекательностью в произведениях Амаду таятся очень серьезные, очень важные проблемы современности, и важные не только для бразильца.

Писатель вскрывает и показывает подлинные ценности человеческой души — и творчество его жизнеутверждающе. Вспоминается, как в нелегкую для бразильского народа годину — после реакционного переворота 1964 года, осуществленного ультраправой военщиной при прямой поддержке империализма США,— Жоржи Амаду опубликовал (из вполне понятных соображений на издании не было указано полных выходных данных) роман «Пастыри ночи» [1], призывающий не терять надежды, верить в наступление лучшего будущего, бороться за него, как бы тяжелы ни были условия. Знаменательно, что роман открывался словами Горького: «Человек — это звучит гордо».

В одном из недавних интервью, отвечая на вопрос о значении романа «Тиета из Агреста, пастушка коз» (в «ИЛ», 1980, № 7—10, опубликован под вторым названием «Возвращение блудной дочери»), Жоржи Амаду сказал: «В этой книге мне хотелось затронуть очень важную и серьезную проблему, касающуюся в настоящее время всех стран, но особенно Бразилии: проблему индустриализации и загрязнения окружающей среды. Например, в Баие рядом с городом построили завод, производящий ядовитые вещества. Он похож на тот, который я описал в своем романе. Отходы от него погубили рыбу и другие дары моря — то есть все, чем жили рыбаки... Так называемый «прогресс» в Бразилии выражается в обогащении меньшинства и обнищании широких народных масс...

Речь идет и о все возрастающем проникновении западногерманского капитала в нашу экономику, и о североамериканском империализме... Герои моей книги — жители Агресте, простые, бедные люди, ведущие борьбу против ухудшения жизненных условий и загрязнения окружающей среды... Я борюсь за то, чтобы главным героем произведений всегда оставался народ. И оставался героем непобежденным».

Героем любого произведения Жоржи Амаду выступает народ, автор рисует многоликий портрет народа. «Я не способен выдумывать персонажей своих романов,—

[1] Под названием «Мы пасли ночь» напечатан в «ИЛ», 1966, № 2, 3.

поделился как-то Жоржи Амаду с пишущим эти строки,— персонажи и ситуации я беру из жизни, видимо поэтому люди узнают себя в моих произведениях»

Трудно удержаться, чтобы не привести кое-какие цифры, недавно опубликованные в бразильской печати. Это — убедительное свидетельство большой популярности писателя на его родине: роман «Бескрайние земли» выдержал к концу прошлого года 45 изданий. «Подполье свободы» — 31 издание, «Пастыри ночи» — 34 издания, «Дона Флор и два ее мужа» — 35 изданий, «Лавка чудес» — 25 изданий и т. д. Две повести «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» [1] и «Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган», вышедшие у нас одной книгой — «Старые моряки», в Бразилии издавались отдельно, первая сравнялась по числу изданий с «Габриэлой» (шестьдесят изданий!), вторая имеет 45 изданий. По подсчетам бразильской печати, на родине автора общий тираж его книг достигает десяти миллионов экземпляров.

Цифры красноречивы, но мне думается, заслуживает внимания и другое: пусть давно прочитав тот или иной роман Амаду, мы не забываем это произведение и его героев, ставших хорошими нашими знакомыми и друзьями. Да и как можно забыть поэтичнейшую «Габриэлу», сверкающих народным юмором «Старых моряков» или «Пастырей ночи», беспощадно высмеивающую буржуазное общество дону Флор, страстно защищающих народные традиции, народную культуру персонажей «Лавки чудес», мужественно отстаивающих достоинство и свободу, жизненные интересы людей Терезу Батисту и Тиету!

Наши читатели познакомились с новым романом Жоржи Амаду «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» только что. И хотя действие его происходит в сороковых годах, когда бразильский народ страдал под гнетом жесточайшей диктатуры «нового государства», когда в стране беспрепятственно орудовали гитлеровский посол Карл Риттер и «ландескрайслейтер» Ганс Геннинг фон Коссель, их подручные — агенты гестапо, «зеленорубашечники» из местной фашистской организации «Интегралистское действие», разномастные антипатриоты,— этот роман бразильскими читателями, по сообщениям печати, не воспринимался как историческое произведение. Ныне на родине писателя пытаются орудовать представители дипломатии, спецслужб и монополий другого государства, у них иные имена, иные имена у их пособников. Но герои романа — деятели бразильской творческой интеллигенции — твердо и решительно заявляют: «Они не пройдут!» Бразильские читатели сумели прочесть, понять и оценить и этот роман, поднимающий важную проблему выбора позиции перед угрозой фашизма и империализма, своим острием нацеленный против врагов Бразилии, всей Латинской Америки.

Лет пятнадцать назад Жоржи Амаду, посетив редакцию «Иностранной литературы», делился с нами своими творческими планами: «Сейчас обдумываю, перебираю в памяти то, другое, отбрасываю ненужное. За что примусь — еще не могу определенно сказать... пока трудно сказать, какое влияние окажут на задуманное события в моей стране (имеются в виду последствия реакционного переворота 1964 года.— *Юр. Д.).* Мне, например, очень хочется написать какую-то вещь, в которой шла бы речь о военщине в Бразилии, о деятельности милитаристских кругов и групп. Сюжет пока не созрел...».

«Внутреннее созревание романа», по словам писателя, продолжается порой весьма долго. Так, очевидно, происходило и с работой над романом «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка», окончательный текст которого был написан в течение каких-то шести месяцев. А до этого — на протяжении многих лет — Жоржи Амаду разрабатывал сюжетное построение книги, которая вначале была им задумана объемом всего лишь в 60 или 70 страниц. «Возможное сходство с отдельными лицами, организациями, академиями, классами и кастами, деятелями и событиями реальной жизни — чистое и простое совпадение, ибо повествование представляет собой исключительно плод воображения и познаний автора»,— пишет Жоржи Амаду. Как бы то ни было, самое важное заключается в том, что писателю и на этот раз удалось подтвердить свою веру в «способность человека противодействовать силам зла», в народ, сумевший выдержать тяжелые испытания.

Народность творчества и правда жизни — ключи к уяснению «секрета» популярности произведений выдающегося романиста бразильского народа, как его называют. Такая оценка прозвучала и в поздравлении ЦК Бразильской коммунистической партии, направленном писателю по случаю пятидесятилетия его литературной деятельности.

Народность творчества. Это подтверждают буквально все произведения Амаду. Писатель отмечал: «Мудростью народа я питался, и если что-то мною создано, этим обязан я народу». «Жоржи Амаду — высший толкователь души народа в бразильской литературе»,— подчеркивает поэт и критик Флорисвалдо Маттос в салвадорской газете «А тарде» уже в наши дни.

Правда жизни. Много лет назад Амаду выбрал эпиграфом к роману «Подполье свободы» строки сонета Камоэнса: «Одну лишь правду рассказать хочу я,— ее мне опыт жизни подсказал, от сердца речь веду и не солгу я». А незадолго до своего избрания в члены Бразильской академии литературы, заканчивая работу над рукописью «Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Арагана», Амаду задался вопросом: «Скажите мне, сеньоры, вы, обладающие знаниями и опытом, где же все-таки в конце концов правда?.. Где искать правду?.. Долог и труден путь, пройденный человечеством, но что заставляет людей взбираться к сияющим вершинам?.. Что движет рукой ученого, когда он нажимает на рычаг, отправляя спутник в бескрай-

[1] Напечатана в «ИЛ», 1963, № 5.

нюю даль, и в небе — в этом предместье Вселенной — возникают новые звезды и новая Луна?

Правда идет по земле, освещая людям дорогу. Кто возглавляет ее триумфальное шествие? Почтенный судья или нищий поэт?».

В триумфальном шествии по земле — книги Жоржи Амаду, рассказывающие правду о его народе, о его родине, полные веры в человека, в счастливое будущее человечества.

В 1948 году наши читатели прочли первый переведенный на русский язык роман Жоржи Амаду «Земля золотых плодов» («Сан-Жоржи дос Ильеус») и впервые увидели автора на московских улицах.

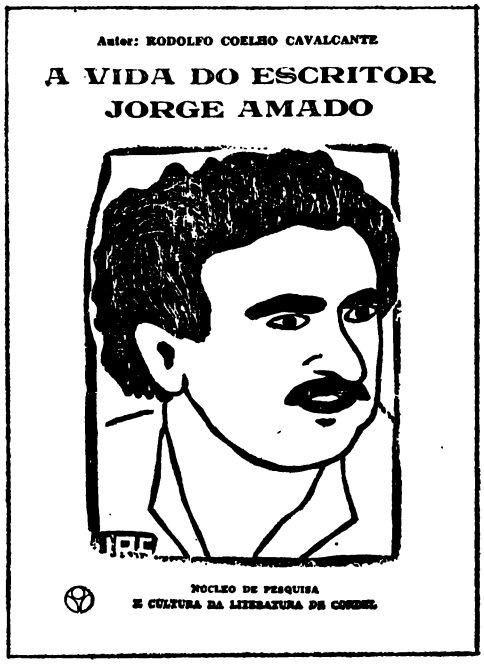
Однако писателя мы знали задолго до встречи с ним и с его книгой. В 1933—1934 годах, как уже упоминалось выше, в Бразилии появились его первые социальные романы «Какао» и «Пот», и в том же, 1934 году, выходивший в Москве журнал «Интернациональная литература» сообщал об этих произведениях молодого бразильского писателя, едва перешагнувшего через свое двадцатилетие (тогда у нас не было каких-либо официальных или культурных связей с далекой заморской страной). Мы узнали писателя и полюбили его. С тех пор книги его, издаваемые в Советском Союзе, не покоятся на полках библиотек или книжных магазинов. Почти два десятка его произведений издано в СССР на русском языке и на языках народов нашей страны — многие романы были напечатаны в «Иностранной литературе». О творчестве Жоржи Амаду опубликован ряд работ советских литературоведов, также и на страницах «Иностранной литературы» [1]. Поэтому, видимо, нет необходимости здесь подробно останавливаться на анализе книг писателя, столь широко известных у нас.

Нам памятны высказанные Амаду «слова любви к земле моей любви» — Советскому Союзу. Нам памятны высказывания Амаду об «огромнейшем, несравненном влиянии Максима Горького, первого учителя моего поколения», о том, что еще в тридцатых годах «на творчество молодых бразильских писателей в большой степени воздействовали книги Серафимовича («Железный поток»), Фадеева («Разгром»), Бабеля («Конармия») и других советских авторов».

Надо ли говорить, что нам близок двойной юбилей нашего бразильского друга — семидесятилетие со дня рождения и пятидесятилетие литературного труда. Советские читатели посылают ему, члену Всемирного Совета мира, искренние пожелания новых успехов на поле битвы за торжество идей гуманизма, демократии, прогресса.

На пороге наступающих лет — жизни и труда — Жоржи Амаду, человек мятежного сердца, не подчиняющегося годам, напряженно работает. Вот и сейчас, когда пишутся эти строки, передо мной лежит его письмо, присланное из Сан-Луиса де Мараньяна: Жоржи сообщает, что начал работать над новым романом — действие его будет развертываться опять в «краю какао», о котором он писал еще полвека назад.

...А бродячие певцы на улицах и площадях баиянских городов и селений под собственный аккомпанемент исполняют созданную прославленным народным поэтом-«тровадором» Родолфо Коэльо Кавалканти балладу «Жизнь писателя Жоржи Амаду» — в ней ведь говорится: «Всегда был он человеком народа и не мог никогда быть иным...».



Салвадорское издание баллады Родолфо Коэльо Кавалканти «Жизнь писателя Жоржи Амаду».

[1] В последние годы в «ИЛ» опубликованы: И. Тертерян. «Национальное, но не традиционное» (1968, № 9); Юрий Дашкевич. «Поэма о человеке» (1965, № 1), его же «Жоржи Амаду, его герои; его друзья» (1968, № 4), его же «Мастер из Рио Вермельо» (1972, № 4), его же «Жоржи Амаду: песнь любви Терезы Батисты» (1975, № 12). *(Прим. ред.)*

◆

Наш календарь

25 лет журналу «Надьвилаг»

ЛАСЛО КЕРИ: «БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМ К БЛАГОРОДНОМУ И НУЖНОМУ ДЕЛУ...»

В этом году исполнилось 25 лет венгерскому журналу «Надьвилаг», который, как и «Иностранная литература», ставит своей целью знакомство читателей со всем тем значительным, что появляется сегодня в мировой литературе и культуре. Редакция журнала «Иностранная литература» поздравляет венгерских коллег с юбилеем и желает им дальнейших творческих успехов.

С просьбой рассказать о деятельности «Надьвилага» советскому читателю мы обратились к видному венгерскому критику и литературоведу Ласло Кери, который возглавляет журнал с 1973 года.

— Двадцать пять лет в жизни журнала — срок немалый. Поэтому естественно было бы в начале беседы остановиться, хотя бы вкратце, на его истории. Как возник «Надьвилаг»? Какие задачи ставит он перед собой? Каковы критерии отбора материалов для публикации в вашем журнале?

— Первый номер «Надьвилага» появился осенью 1956 года. Затем последовал полугодовой перерыв, связанный с событиями венгерской контрреволюции. А с апреля 1957 года журнал выходит ежемесячно, на 160 страницах. Оглядываясь в его четвертьвековое уже прошлое, с признательностью и удовольствием хочу вспомнить своих предшественников, с чьими именами связаны становление и рост журнала, поднявшегося на волне благотворных перемен принесенных в нашу жизнь, как и в жизнь других социалистических стран, XX съездом КПСС. Это прежде всего Ласло Геребьеш — выдающийся знаток и исследователь французской культуры, в годы, предшествовавшие Освобождению, он активно участвовал в рабочем движении, был членом Венгерской коммунистической партии. Ласло Геребьеш руководил журналом в течение двух лет. Его сменил на посту главного редактора Ласло Кардош — известный литературовед, критик и переводчик, много лет заведовавший кафедрой мировой литературы Будапештского университета. Он и поныне принимает активное участие в работе журнала, возглавляя его общественную редколлегию.

Если говорить о задачах нашего издания, то они состоят в том, чтобы знакомить венгерского читателя с новинками зарубежной литературы. Но при этом нужно иметь в виду ту роль, которую мы стремимся играть в нравственном и эстетическом воспитании соотечественников: с этим связаны критерии отбора материалов для публикации. Мы оцениваем произведение в первую очередь с точки зрения его идейно-художественного уровня. Вместе с тем в качестве иллюстрации знакомим читателей, например, с «драматургией абсурда» С. Беккета или «постмодернистским» романом Дж. Барта. Не уклоняемся мы и от необходимости ликвидировать «белые пятна», существующие еще для венгерского читателя на литературной карте мира.

Напомню, что начинался «Надьвилаг» в пору, когда советская литература, даже в классических образцах, была мало известна нашей публике. Надо было заполнять лакуны — и сегодня я могу с гордостью сказать, что, скажем, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского на венгерском языке впервые появилась именно на страницах нашего журнала (апрельская книжка 1957 года).

Вместе с тем мы всегда стремились (стремимся и сейчас) к оперативному отклику на события текущей литературы. Так, в 1962 году мы познакомили читателя с творчеством совсем молодого тогда Андрея Вознесенского, а в самые последние годы опубликовали поэтические произведения нынешних дебютантов советской литературы — Галины Щербаковой и Меружана Тер-Гуланяна.

Осмелюсь предположить, что доброй репутацией журнал и обязан в немалой сте-

пени своей оперативности, а также попыткам серьезного осмысления мирового литературного процесса. Дабы слова об авторитете журнала не показались пустой похвальбой, обращусь к языку цифр. Первые номера «Надьвилага» выходили тиражом в пять-шесть тысяч экземпляров. А в шестидесятые годы в наших выходных данных значилось уже 25 тысяч — для такой небольшой страны, как Венгрия, это, поверьте, весьма внушительная цифра. Правда, в последующие годы тираж несколько упал, но это объясняется активностью «конкурентов»: к популяризации произведений иностранной литературы подключились многие издательства, радио, телевидение, а с 1975 года начал публиковаться журнал «Советская литература» на венгерском языке. Впрочем, такое соревнование только на пользу читателям.

— Из ваших слов следует, что в своей редакционной политике вы придаете значение публикации произведений советских авторов...

— Очень большое: нет такого номера, в котором не были бы напечатаны стихи, рассказы, отрывки из романов, критические статьи или рецензии советских авторов. И это естественно — нас к тому побуждает реальный идейно-художественный уровень советской литературы. При этом мы стремимся помимо русской как можно шире знакомить читателя с образцами литератур и других народов СССР. За последние годдва, например, были опубликованы произведения украинских, эстонских, латышских, грузинских, армянских, узбекских, балкарских писателей.

Следим, разумеется, и за литературами всего социалистического мира, и за творчеством писателей развивающихся стран. На венгерском языке ныне заговорили превосходные мастера латиноамериканского романа, африканские прозаики и поэты. Обращаемся мы и к творчеству писателей Азии, хотя, честно признаться, этот литературный материк освоен нами еще недостаточно.

Из литератур западного мира наиболее широко нам удается знакомить читателей с произведениями американских, французских, английских, итальянских авторов. На мой взгляд, предоставив свои страницы творчеству таких писателей, как Мишель Турнье, Патрик Модиано, Маргерит Юрсенар, Даниэль Буланже, Робер Линар, мы опровергли ходячее заблуждение о мнимом упадке нынешней французской литературы.

— Каковы, с вашей точки зрения, наиболее значительные публикации журнала за последние год-два?

— О, с таким вопросом лучше было бы обратиться к нашим читателям. Но все же несколько имен и заглавий — из тех, что мы сами числим в своем активе,— я назову. Это повесть В. Катаева «Уже написан Вертер». Это цикл автобиографических рассказов Ю. Трифонова. Это интервью Е. Евтушенко с Грэмом Грином. Сюда же следует отнести и образцы прозы и поэзии Мигеля Отеро Сильвы, публикация которых сопровождалась эссе Н. Федоренко об этом выдающемся венесуэльском писателе.

Удачными, как нам кажется, были и публикации произведений Г. де Бройна (ГДР), Й. Радичкова (Болгария), словенца Ч. Злобека. Из американцев назову Дж. К. Оутс, Т. О'Брайена, из англичан Э. Бонда, У. Голдинга, Э. Уилсона; назову южноафриканскую писательницу Н. Гордимер, японца А. Носаки.

— Если говорить о вашей собственной работе, что приносит вам наибольшее удовлетворение в редакторской деятельности и что вы любите меньше?

— Самая большая радость для меня — радость открытия, которым можно поделиться с читателем. А самый тяжелый крест, конечно, чтение и редактура слабых вещей (и, добавлю, слабых переводов).

Быть может, вам покажется это странным, но среди положительных факторов я хотел бы назвать и «географическое положение» нашей редакции: она находится на пештском берегу Дуная, откуда открывается вид на самую красивую часть Буды — Вархедь. Для меня огромное удовольствие дважды в день проходить по берегу между Цепным мостом и улицей Сечени.

— Коль скоро вы заговорили о переводах, нельзя не вспомнить, что в Венгрии существует сильная переводческая традиция. Что нового в этой области, как работают венгерские переводчики сегодня?

— Вы правы, переводческая традиция у нас сильная. Наши лучшие поэты всегда охотно переводили. Но, увы, в последнее десятилетие ситуация несколько переменилась. Опытные мастера все реже берутся за переводы, сосредоточившись на оригинальном творчестве, а молодежь в целом порой недостаточно владеет языками, даже наиболее распространенными. Дабы стимулировать активность в этом виде литературной деятельности, мы провели два конкурса: на лучший перевод новеллы (в 1977 году) и на лучший стихотворный перевод (в 1980 году). Результаты получились разными. Если первый конкурс открыл, можно сказать, плеяду талантливых переводчиков (многие из них стали нашими постоянными сотрудниками), то второй оказался малопродуктивным — мы даже не смогли присудить первой премии. Молодые переводчики не были должным образом подготовлены к работе ни с силлабо-тоническим, ни со свободным стихом. Кстати, конкурс лишний раз подтвердил закономерность: кто не умеет переводить классические размеры, тот плохо переводит и верлибр.

И все же я оптимист. Тем более что на кафедре иностранных языков нашего университета все чаще проводятся семинары по художественному переводу. Из числа их слушателей мы в первую очередь и ждем пополнения.

— Вы ведь и сами переводите?

— Нерегулярно, в свободное, так сказать, от основной работы время. Когда-то

перевел несколько английских романов, среди них «Путь всякой плоти» С. Батлера; переводил также Свифта, Конгрива, Уичерли. Недавно вышел ряд новелл — в том числе У. С. Притчетта — в моем переводе.

— Будучи профессором английской кафедры Будапештского университета, вы, видимо, систематически занимаетесь исследованием английской литературы?

— Да, особенно в последние годы. Более всего меня привлекают литература Ренессанса и роман XX века. Этой проблематике и посвящены мои работы, как давние, так и сравнительно новые: «Трагедии Шекспира» (1959), «Комедии Шекспира» (1964), «Английские писатели» (1975), монография о Д. Х. Лоуренсе (1978).

— Чем вызван ваш интерес к Лоуренсу?

— Я изучаю творчество этого писателя со студенческих лет, когда-то написал о нем докторскую диссертацию. Несомненно, он художник крупного масштаба, оказавший влияние на всю англоязычную литературу. Но фигура эта чрезвычайно сложная. С одной стороны, он может считаться преемником выдающихся реалистов XIX века. С другой — это «закоренелый» иррационалист и индивидуалист. При свойственном ему романтическом бунтарстве против капитализма иные из его идей ошибочны, а иные и просто вредоносны. Вот мне и хотелось проследить, как сочетаются в его творчестве столь противоречивые явления.

— А если вернуться к предмету вашей постоянной творческой привязанности, к Шекспиру, есть ли у вас новые планы, связанные с шекспироведением?

— Да, я хотел бы написать две широкоохватные книги. На одну из них — она будет называться «Мир Шекспира» — у меня даже есть заказ издательства «Эуропа». Речь в ней пойдет о мире, в котором писатель жил, из которого выросли его произведения,— и о художественном мире, им созданном. Вторая книга задумана как продолжение первой: это будет детальный анализ драматургии и поэзии великого мастера, по возможности отличающийся обзорной полнотой.

— Насколько нам известно, вы занимаетесь и театральной критикой?

— Верно, но и к этому жанру литературной деятельности я обращаюсь, чтобы лучше понять художественную вселенную Шекспира, возможности сценического воплощения его драм. В одной из книг (она вышла в 1968 году) я собрал свои театроведческие работы о Шекспире. Впрочем, в нее вошли и очерки о Брехте, а также о некоторых других драматургах.

— А было время, когда вы писали и новеллы...

— О, это было в далекой молодости. И уже тогда судьба готовила меня к редакционной работе. Сразу после Освобождения мне довелось в течение двух лет редактировать журнал — первый литературный журнал того времени «Мадьярок» («Венгры»).

— В чем был смысл такого названия?

— Понятием «венгры» так злоупотребляли и спекулировали на протяжении двадцати пяти лет до Освобождения, что нам хотелось возродить уважение к нему и верность слову подлинный смысл. Журнал, как мне кажется, не грешил замкнутостью, мы стремились объединить несколько поколений венгерских писателей. В последнее время о журнале «Мадьярок» много пишут — в разного рода воспоминаниях и литературно-исторических очерках.

— А теперь вы снова редактируете журнал. И работаете в университете. И пишете...

— И еще, добавьте, в течение двадцати с лишним лет являюсь генеральным секретарем венгерского ПЕН-клуба.

— Да, обязанностей немало...

— Очень много. И честно сказать, от этой последней я хотел бы освободиться. Но, разумеется, не потому, что не вижу пользы в творческом и личном содружестве писателей мира. Напротив, убежден, что такое сотрудничество необходимо, и счастлив тем, что участвую в работе журнала, которому, мы надеемся, в меру сил удалось послужить укреплению интернациональных литературных связей — и в добрые времена, и во времена дурные, когда враги мира и гуманизма пытаются заминировать поле человеческой жизни. Общение культур, которого мы стремимся достичь на страницах журнала, призвано помочь людям лучше понять друг друга в наш сложный век, а следовательно, и служить укреплению мира. И каким бы ни был мой собственный вклад, я хотел бы всегда быть причастным к этому благородному и нужному делу.

Интервью подготовила И. ЗОРИНА
Перевод с венгерского Н. ПОДЗЕМСКОЙ

◆

Наши интервью

МАРИЯ КОРТИ (Италия)

До знакомства с Марией Корти я слышал о ней много, и от самых разных людей; определения были только в превосходной степени — опытнейший лингвист, авторитетнейший критик, прекраснейший романист. А потом записал и такие слова: «Если Мария Корти скажет, что эта книга хороша, значит, успех автору обеспечен... Она — одна из тех немногих, кто в Италии действительно решает, поэт ты или не поэт, писатель или так себе...»

И вот встреча. Вернее, две: одна здесь, в Москве, другая — в Милане.

Невысокого роста, с лучистой улыбкой, мягким, но очень внимательным взглядом, эта женщина покоряет своим обаянием. Кажется, что она знает абсолютно все и обо всем. Суждения ее всегда очень точны, предельно ясны и столь же предельно тверды — ученый с мировым именем. Мария, при всей своей кажущейся мягкости, очень строга, а порой даже беспощадна в своих оценках...

В миланской квартире Марии Корти всюду книги — их тысячи, они вольно и уютно расположились повсюду: на полках от пола до потолка, на нескольких рабочих столах (период Возрождения, семиотика, современная литература), в обширной мансарде, на тумбочке возле телефона. Звонки здесь раздаются ежечасно: из Бостона и Льежа, Цюриха и Парижа, Рима и Палермо...

Мы начинаем нашу беседу с биографии Марии Корти.

— Много училась. Первую кафедру получила в университете Лечче в 1962 году.

Я прерываю Марию, чтобы хотя бы в нескольких словах рассказать об этом периоде между «много училась» и первой кафедрой.

Это были пятидесятые годы, когда итальянская реакция наступала по всем фронтам — получить в те времена кафедру в университете для женщины казалось делом попросту неосуществимым: «бум» феминизма (который впрочем, по словам Корти, по существу так и не добился радикальных сдвигов в этой сфере) если и виделся кому-то, то только за самыми далекими горами.

Мария кафедру получила.

— Плата оказалась огромной. Мне пришлось сделать очень суровый и жестокий выбор: между семейной жизнью — и Наукой. К сожалению, Италия тех времен, как во многом и нынешняя, не оставляла для женщины ни малейшей лазейки: или — или. Я решилась...

— И не сожалеете сейчас об этом?

— Как всякой женщине в зрелом возрасте конечно, мне грустно, порой обидно. Но как ученый, я понимаю: того, чего я достигла, можно было добиться лишь этим путем. Увы, это — Италия...

С 1964 года Мария Корти работает в старейшем и одном из самых «престижных» университетов страны — Павийском: заведующей кафедрой истории итальянского языка и литературы, директор Института истории языка. В 1975—1978 годах она профессор в Женевском университете, присвоившем ей звание доктора — «хонорис кауза». Действительный член Национальной Академии языка и литературы делла Круска и Академии Аркадии, директор двух серий в издательстве «Бомпиани» — литературной и лингвистической, главный хранитель Фонда рукописей современных авторов, содиректор журналов «Струменти критичи» (лингвистика) и «Альфа и Бета» (общественно-литературный). Лауреат важнейших итальянских премий в области лингвистики, прозы и журнализма. Автор трех романов, два из которых переведены на многие языки («Звездный час» и «Бал мудрецов»), многочисленных рассказов, около 200 критических исследований и статей, опубликованных как в Италии, так и в США, Франции, Бельгии, Швейцарии, ФРГ.

Это все — очень коротко о Марии Корти из справочника «Кто есть кто в Италии».

— Учитывая ваши столь разносторонние интересы, Мария, что же все-таки вы считаете для себя самым главным?

— Конечно же, историю языка и литературы.

Наш журнал в последние годы опубликовал целый ряд интервью с итальянскими писателями. В них шла речь в основном о творчестве этих авторов, об их взглядах на литературу сегодняшнего дня. И вот я думаю, что читателю будет интересно взглянуть теперь на современную итальянскую литературу — взглянуть глазами академика-литературоведа.

— «Республика Слова», как называл литературу Тибо, живет своей собственной специфической, многообразной и многоплановой жизнью. Однако сразу же хочу уточнить: развитие литературы всегда прямо и непосредственно связано с жизнью всего общества, порождающего на различных этапах своего существования различные идеологические направления, которые, в свою очередь, являются первоосновой для появления тех или иных социальных моделей, а следовательно, и моделей «прочтения» реальности.

В истории всех литератур бывают моменты, когда эта «республика» являет собой единое целое: налицо мощные и эффективные течения, имеющие даже соб-

ственных «президентов», определяющих их лицо. Зачастую, однако, выявление четко выраженных тенденций представляет собой дело необычайно трудное в силу развития бурных многоступенчатых процессов, ведущих к образованию того, что я называю «моментами напряженности», когда на поверхность волнами появляются все новые и новые пласты Слова.

Итальянская литература в этом смысле — вполне типичное явление, и если обратиться к послевоенному периоду, то есть к периоду, который и определяет для Италии понятие «современности», то здесь, на мой взгляд, четко прослеживаются три основополагающих момента напряженности. Этот термин, подчеркиваю, как, впрочем, и сама периодизация, определяет мой личный взгляд на современную итальянскую литературу, и, как всякий личный взгляд, он, разумеется, может быть подвергнут сомнению и оспорен. Однако во всех случаях справедливость подобного подхода подтверждается хотя бы тем фактом, что все критики, определяя эти моменты, единодушно использовали приставку «нео» — неореализм, неоавангардизм и неоэкспериментализм.

Социально-историческая и идеологическая основа этих трех периодов в литературе, в полной мере отражающая различные этапы жизни итальянского общества в сороковые, шестидесятые и семидесятые годы,— вот та база, из которой следует исходить для понимания глубинной сути этих трех «нео».

«Момент напряженности» создается именно тогда, когда внутри общества, а следовательно, и внутри литературы зарождается новое социально-идеологическое направление, нуждающееся и в новых моделях трактовки жизни. Это новое закономерно появляется на свет — такова диалектическая логика общественного бытия — и приходит в столкновение со все еще живущим, а порой даже и процветающим старым.

Обращу ваше внимание на еще один важный момент: анализ позиций социально-исторического и идеологического характера помогает нам также понять и те связи, которые внутри литературы устанавливаются между различными ее жанрами, в наибольшей мере отражающими определенные модели видения жизни как с точки зрения тематики, так и в плане формальной критики. Именно в этой историко-социальной сфере следует искать объяснение, к примеру, всеобщей веры неореализма в жизненную необходимость рассказывать о фактах. Отсюда и «бум» прозы — рассказа, романа хроникальной повести.

— Вы, Мария, подняли проблему, которая до настоящего времени остается предметом самого пристального внимания наших исследователей,— неореализм. Этот интерес, как вы понимаете, конечно же, не случаен: именно неореализм стал для советского читателя тем исходным рубежом, с которого, собственно, для нас и начинается современная итальянская литература. Моравиа, Пратолини, Кассола, Кальвино — я мог бы назвать и десяток других имен, которые показали нам совершенно новую Италию и, как сейчас выясняется, пожалуй, самую истинную.

— Насчет «самой истинной» я все-таки возражу. Истинность можно постичь только через анализ всего многообразия форм и моделей, хотя мне понятна ваша мысль, поскольку неореализм, как никакое другое течение, отразил самые глубины реальной жизни Италии.

К сожалению, в Италии социально-политические преобразования никогда не шли до конца в результате чего прошлое и поныне живет рядом с настоящим, и именно в силу этого обстоятельства в общественно-политической, а следовательно, и в литературной сфере нашей страны неизменно налицо предпосылки, а не результаты. Иными словами — война и движение Сопротивления создали предпосылки для глубинных перемен, однако резкий бросок назад (1948 год, изгнание левых сил из правительства и начало «холодной войны») помешал развитию и реализации результатов массового освободительного движения. Эта же участь постигла и такое великое литературное движение, каким, несомненно, мог стать неореализм.

— Чего же, на ваш взгляд, не удалось достичь неореализму?

— Все без исключения писатели неореалистического направления осознавали необходимость создания новых форм, соответствующих новому содержанию: массы, пролетариат в первую очередь, вышедшие на страницы книг, не могли быть описаны традиционными средствами. Однако добрые намерения, в том числе и лингвистического характера, отнюдь не соответствовали полностью их практической реализации. На страницы книг действительно вылилась итальянская действительность, именно итальянская, связанная с трудным и медленным историческим процессом формирования итальянского языка как языка всей нации. И все же неореализм не породил стойких и самобытных литературных моделей. Он не стал моментом окончательного разрыва с прошлым, а потому и не имел тех последствий, какие характерны, скажем, для неоавангарда. Иными словами, в этом первом в итальянской литературе «нео» нельзя выделить того абсолюта, который и создает лицо всего движения. Весьма характерен в этом плане и тот факт, что неореализм не создал своей собственной поэзии, как это было, к примеру, в эпоху французского натурализма. Это течение, по моему глубокому убеждению, наложило свой отпечаток на все последующее развитие итальянской литературы. И при всех оговорках неореализм — обязательный этап для каждого, кто стремится понять до конца сущность современного итальянского литературного процесса.

На начало 60-х годов, как известно, приходится «взрыв» в области поэзии. Критика начинает говорить о неоавангардизме...

Зарождение этого течения также, безусловно, имеет свое социально-политическое обоснование. На фоне «экономического чуда», которое, как и всякие чудеса, в конце концов теряет свою волшебную оболочку, в Италии в этот период наблю-

дается бум коммерческой литературы, в первую очередь весьма низкопробных романов, нацеленных на уже достаточно четко определившуюся «среднюю массу». В этой обстановке появление авангардистского течения стало своеобразным барометром атмосферы недоумения, недовольства и ожидания, охватившей сферу культуры и литературы прежде всего.

Главной задачей в этот период стало вторжение поэзии в область массовых коммуникаций при обязательном сохранении ею всех поэтических начал. Таким образом, неоавангардизм в Италии лишний раз доказывает, что в определенные моменты своего развития всякая литература неизбежно порождает авторов, которые считают невозможным свое сосуществование со всем предыдущим опытом, заявляя, что находятся среди застывших памятников. Происходит «взрыв».

— Итак, «взрыв». А между тем многие критики находят прямые связи между неореализмом и неоавангардизмом...

— Это более чем верно. И заметьте: ведь и я сказала: «взрыв», а не полный разрыв. Для неореализма и неоавангардизма в некоторых их наиболее типичных проявлениях общим является реалистический словарь: это поиск моментов объективности, это слова, становящиеся фактами, мысли, обретающие материальную оболочку. Кроме этого общего словаря и те и другие высказывают одинаковые намерения, которые, однако, разительно отличаются после их реализации на практике. Неореалисты в соответствии с собственными целями, отвечая на потребности реальной действительности, проектировали ее в поэтику фактов, которые говорили сами за себя, находясь разумеется, под влиянием событий прошлого, в то время бывшего почти настоящим. Это — сверхредкая возможность, о которой неоавангардисты, погруженные в аквариум неокапиталистического благополучия даже и мечтать не могли. Именно «благодаря» отсутствию этой возможности неоавангардизм передвинул значительно дальше границы объективного, в чем и заключается главный самобытный элемент их опыта.

И все же сыграв определенную положительную роль, неоавангардизм тем не менее не смог, а может быть, и не пожелал пойти дальше «конструктивных намерений». И само это движение сошло с литературной сцены, оставив нас «в ожидании... чего-то»

— Этим чем-то, имея в виду уже сказанное вами выше, стал неоэкспериментализм.

— Неоэкспериментализм, органически связанный с неоавангардизмом,— это очень важно отметить,— ставил перед собой не столько, если так можно выразиться, «подрывные», сколько конструктивно-экспериментальные цели. В первую очередь это относится к поискам в области языка. Главная задача, которую выдвигают представители этого направления, заключается в том, чтобы создать новый тип связи между литературным языком и языком «средней массы», задача более чем злободневная, поскольку в этот период (60—70-е годы) сам итальянский общенациональный язык претерпевает глубинные изменения, идущие в двух направлениях: снизу и сверху.

Снизу носителями этого процесса становятся массы из новых социальных слоев — не буржуазных и не капиталистических, — тех, которые впервые приобщаются к общенациональной культуре после веков диалектальной раздробленности и безграмотности. Этот процесс размывает традиционные лингвистические структуры, значительно упрощая их в интересах массовой коммуникации. Сверху этот процесс также ведет к дальнейшей рационализации языка в силу бурного развития научно-технического прогресса.

С точки зрения неоавангардистов с опасностью стандартизации языка и превращения его в еще более расхожий потребительский товар можно было бороться не путем полного отрицания всего прошлого, то есть не «подрывными», как я уже говорила выше, методами, а последовательными и настойчивыми, то есть конструктивными, поисками как на формально лингвистическом, так и на тематическом уровне.

— Я знаю, Мария, что вы обещали редакции свою статью о литературе конца 70-х — начале 80-х годов. Поэтому очень коротко: какое бы вы дали ей общее определение. Критики к примеру и итальянские, и советские, часто говорят или о «кризисе литературы», или о «литературе кризиса». Какое из этих определений, на ваш взгляд, в большей степени отражает сущность итальянского литературного процесса?

— Ни то, ни другое. Наша литература ныне переживает очень сложный и мучительный период, который, безусловно, самым прямым образом связан с кризисом итальянского общества. И все же это прежде всего — литература поиска, который, несомненно, не мог бы стать реальностью, не пройди Италия через три «нео», о которых мы уже подробно говорили.

Беседу вел А. ВЕСЕЛИЦКИЙ
Москва — Милан

◆

Культура и современность

КУЛЬТУРА В ИЗГНАНИИ

В конце 1981 года транспортные агентства в Уругвае с удивлением отметили небывалый интерес к бразильскому городу Сан-Паулу: его причиной оказались представления уругвайского театра «Эльт Гальпон». Вот уже много лет театр не может выступать на родине. Да и спектакль, особенно привлекающий публику — «Гардель запрещается»,— не может быть сыгран в Уругвае: ведь в нем высмеивается правящая страной диктатура, которая запретила танго легендарного Карлоса Гарделя, кумира многих поколений уругвайцев. В его саркастических песнях диктатура, видимо, усмотрела аналогии с сегодняшним днем.

Оценивая встречу уругвайцев со своим театром на бразильской земле, орган Коммунистической партии Уругвая «Болетин экстериор» писал:

«Уругвайские зрители увезли с собой на родину живое свидетельство того, что уругвайская культура в изгнании направлена на восстановление демократии в стране».

Что же представляет собой уругвайская культура в изгнании?

В течение последних десяти лет за пределами небольшой латиноамериканской страны — Уругвая — сформировался культурный поток, который, развиваясь в магистральном направлении традиционной уругвайской культуры, всегда пользовавшейся авторитетом на континенте, намного превзошел ее интенсивностью, актуальностью и международной значимостью. Это явление стало предметом обсуждения; поскольку, как отмечает мексиканская газета «Эксельсиор»:

«В эмиграции деятели уругвайской культуры публикуют книги, завоевывают престижные международные премии, сотрудничают в газетах и журналах, на телевидении, радио, кино, принимают участие в конгрессах, семинарах, встречах, конкурсах... переводят — и их тоже переводят. Они трудятся не покладая рук, чтобы обеспечить солидарность со своим народом».

Эмиграция, обескровливающая Уругвай,— а эмигрировал уже каждый пятый житель страны — это трагедия национального масштаба, которая складывается из сотен тысяч личных трагедий.

Изгнание, или вынужденная политическая эмиграция, как явление характерно для многих стран латиноамериканского континента и карибского региона. Уругвайский поэт, критик и журналист Саул Ибаргоэн Ислас, посвятивший этой проблеме серию статей, справедливо отмечает, что главной причиной массовой политической эмиграции служат фашистские режимы и антинародные диктатуры, возникающие при непосредственной поддержке американского империализма. Вместе с тем уругвайской эмиграции свойственны и специфические черты, которые во многом предопределили ее достижения в культурной сфере.

Эмиграция из Уругвая по политико-экономическим причинам имела место и в 60-е годы, и в начале 70-х годов. Однако подлинный исход из страны в невиданных доселе масштабах начался сразу после реакционного переворота в июне 1973 года. Анализируя это явление, руководитель Коммунистической партии Уругвая Родней Арисменди пишет в теоретическом органе партии журнале «Эстудиос»:

«Фашизм изгнал из страны полмиллиона уругвайцев — при том, что ее население не достигает трех миллионов человек».

Но это — только количественная сторона дела. Не менее важен и качественный состав эмиграции:

«Среди людей, покинувших страну, — продолжает Родней Арисменди,— 20% рабочей молодежи в возрасте от 20 до 29 лет, 18% — людей с университетским образованием, 19% — квалифицированных рабочих, обучившихся специальности в университете труда, 13% — жителей, имеющих законченное среднее образование, и 70% — университетской профессуры... Словом,— заканчивает автор,— это было жестокое кровопускание, которое продолжается и по сей день...»

Как видим, поток эмигрантов состоит прежде всего из высококвалифицированных рабочих и представителей интеллигенции. Напомним, что в течение многих десятилетий Уругвай называли Швейцарией Латинской Америки, отдавая должное его высокому экономическому развитию, богатейшим культурным традициям, демократическим свободам, завоеванным народом в упорной, хорошо организованной экономической и политической борьбе.

Важно отметить, что деятелям уругвайской культуры, находящимся в изгнании, свойственно прогрессивное мировоззрение, они имеют большой опыт политической борьбы. Ведь эмигрировали в первую очередь представители именно той части уругвайской интеллигенции, которая в рядах широкого фронта боролась за социальные преобразования в стране, выступала в под-

держку революционной Кубы, боролась против неоколониалистской политики американского империализма, добивалась укрепления и расширения связей с Советским Союзом. Ее цементирующим и направляющим началом выступали и выступают коммунисты. Известный уругвайский писатель, поэт и критик Марио Бенедетти, отвечая на вопросы журнала «Либертад», специально подчеркивает:

«90% уругвайской интеллигенции вообще и уругвайских писателей в частности — люди левой ориентации: это и объясняет, с одной стороны, жестокость нападок правящего сейчас режима на нашу культуру, а с другой — делает понятным, почему для уругвайской эмиграции развитие культуры в условиях изгнания стало формой борьбы с диктатурой».

Другой известный писатель, Эдуардо Галеано, в статье, опубликованной в журнале «Скрипта», метко определил уругвайскую культуру в изгнании как «культуру освобождения», потому что сильнейшим ее импульсом продолжает оставаться борьба против реакции и фашизма, за сохранение гуманистических традиций страны. В то время как культурная жизнь внутри страны находится под прессом военного режима и фактически лишена возможностей развития, культура в изгнании взяла на себя выполнение наиболее актуальной для сложившейся ситуации функции — сохранения культурной преемственности и организации духовного и морального сопротивления режиму. Нельзя здесь не вспомнить замечательные слова, сказанные недавно членом ЦК КПУ товарищем Энрике Родригесом:

«Наша борьба едина. Не существует разделения на борьбу в стране и борьбу в изгнании. Нет двух полей сражения, есть только одно поле — наша родина».

Говоря об успехах уругвайской литературы нельзя, конечно, не упомянуть имена мастеров старшего поколения, получивших мировое признание и отмеченных в последние годы высокими литературными премиями: Хуана Карлоса Онетти, Альфредо Гравину, Марио Бенедетти, творчество которых в изгнании приобрело новые краски, не утратило связи с родной почвой.

В 1980 году Хуан Карлос Онетти был награжден премией в Италии как один из выдающихся мастеров современной латиноамериканской прозы, затем премией критики в Испании, и в декабре того же года министр Испании вручил ему премию имени Мигеля Сервантеса, присуждаемую за общий вклад писателя в испаноязычную литературу. Это событие продолжает освещаться прессой. Так, в мексиканской газете «Диа» была опубликована статья Нико Шварца «Культура в изгнании», где, в частности, говорится:

«В то самое время, когда Онетти был удостоен в Испании премии имени Сервантеса, в Монтевидео на XXI книжной ярмарке была запрещена продажа его книги. В заявлении для печати по поводу вручения ему премии Онетти сообщил, что уругвайские власти вообще предложили ему не возвращаться больше в страну. В связи с этим следует напомнить, что Онетти был арестован военными властями и провел несколько месяцев в заключении».

Так же широко обсуждается творчество Альфредо Гравины, известного советскому читателю по переводам его романов «Границы, открытые ветру» и «От страха к гордости», а также последняя пьеса Марио Бенедетти «Педро и капитан», отмеченная на театральном фестивале в Гаване в январе 1982 года (творчество М. Бенедетти также знакомо нашему читателю по переводу романа «Спасибо за огонек», опубликованного в журнале «Иностранная литература» [1]). Признанием литературного и общественного авторитета Гравины и Бенедетти, как и многих других деятелей уругвайской культуры, служит их привлечение к ответственной работе в различных общественных, творческих и государственных организациях. Так, А. Гравина, Ф. Бутассони, О. де Леои, М. Бенедетти неоднократно входили в жюри латиноамериканского литературного конкурса «Каса де лас Америкас», Бенедетти, кроме того, член международной группы писателей, работающих в Испании, критик и поэт Саул Ибаргоэн Ислас был приглашен в состав жюри III международного конкурса поэзии имени Рубена Дарио в Никарагуа.

Красноречивым контрастом высокой оценке международной общественностью заслуг уругвайских писателей старшего поколения явился разразившийся в стране скандал в связи с решением властей лишить одного из старейших писателей и поэтов Уругвая Ильдефонсо Переды Вальдеса национальной литературной премии, присужденной ему в августе 1981 года. Ильдефонсо Переда Вальдес, родившийся в 1899 году, зачинатель негритянской темы в уругвайской литературе, автор многих романов, эссе, сборников стихов, был подвергнут травле за «марксистское содержание» его творчества, 26 января 1982 года правительство аннулировало решение жюри о присуждении ему премии.

Среди писателей среднего поколения, живущих в эмиграции, особо следует выделить Антонио Ларрету, получившего премию крупнейшего испанского издательства «Планета». Испанская и латиноамериканская критика живо откликнулась на решение жюри, отдавшего предпочтение роману «Волаверунт» среди 330 произведений, представленных на конкурс. Успех романа, отмечается в антифашистском бюллетене «Десде Уругвай», противостоит политике «культурного геноцида», которую проводит правящая в Уругвае хунта. Прогрессивная критика высоко оценивает деятельность Ларреты и как сценариста, режиссера, критика.

Так, видный деятель уругвайской культуры Мойсес Ласка в статье, опубликованной на страницах «Эстудиос», писал:

«Онетти, Бенедетти, Мартинес Морено, Гравина, Галеано, Ларрета и многие другие пишут не в Уругвае, но их книги являются в высшей степени уругвайскими: изданные в разных частях света, они въезжают в страну на дне чемоданов и

[1] См. «ИЛ», 1969, № 8, 9.

пополняют книжные фонды, спасенные от изъятий и сожжений».

Панораму уругвайской литературы в изгнании, самых последних ее достижений по соображениям места придется обрисовать простым перечислением некоторых имен и премий.

Премия «Каса де лас Американас» была присуждена Марии Гравине за неизданную книгу стихов, Хорхе Мусто за роман «Пассажир», Фернандо Бутассони за книгу рассказов «Дни нашей крови», Эдуардо Галеано за роман «Наша песня»; Кристина Пири получила несколько премий в Испании за стихи и рассказы, Карлос Мартинес Морено — премию мексиканского издательства «Нуэва имахен» и журнала «Просесо» за роман «Цвет, темным адом скрытый».

Самое свежее в этом ряду сообщение из Мексики: литературная премия «Каса де ла культура» за лучший латиноамериканский рассказ 1981 года присуждена уругвайскому автору — писателю и музыканту Эльбио Родригесу Барилари. Его книга «Возможный вариант Кордеса» была признана лучшей среди 810 произведений писателей разных латиноамериканских стран.

Бесспорно, перечень лауреатов литературных премий дает весьма неполное представление о масштабе литературного процесса. Ведь продолжают работать в различных странах мира известные, хотя и не удостоенные престижных премий, уругвайские прозаики, поэты, критики, такие, как Матильда Бьянчи, Клаудио Тробо, Нико Шварц и многие другие, в том числе недавно умершие Карлос Чассале и Альберто Медиса. Эти люди внесли и вносят свой вклад в то, что Саул Ибаргоэн Ислас назвал формированием иового корпуса латиноамериканской литературы.

Театр в изгнании — редкое явленне, просто в силу чисто технических причин. Разумеется, нетрудно представить себе в условиях эмиграции то, что принято называть театром одного актера. И уругвайская политическая эмиграция действительно породила такой театр, о котором сейчас пишут газеты многих латиноамериканских стран, а также Испании и Швеции, где с триумфальным успехом прошли выступления актрисы и певицы из Уругвая Дад Сфеир.

Дад Сфеир создает свои спектакли на основе стихотворений Хосе Марти, Федерико Гарсиа Лорки, уругвайской поэтессы Идеа Вилариньо, использует прозу Чехова, Хулио Кортасара, Хулио Сесара Кастро, песни Виктора Хары, Оскара Чавеса, уругвайских певцов и композиторов Альфредо Ситарросы, Даниэля Вильетти и других.

Помимо сольных выступлений Дад Сфеир принимает также участие в спектаклях Латиноамериканского театра имени Сандино. Этот театр представляет достаточно симптоматичное явление в развитии латиноамериканской культуры и заслуживает особого упоминания. Он возник в Швеции, в Стокгольме, где весьма представительна и многочисленна колония прогрессивной политической эмиграции из различных стран Латинской Америки. Руководителем театра является чилиец Игор Кантильяна, а в составе труппы — уругвайцы, аргентинцы, эквадорцы — все эмигранты.

Говоря о театре в изгнании, нетрудно представить себе также самодеятельный театральный коллектив. Таких коллективов в уругвайской эмиграции существует, конечно, немало. Их скромная деятельность не часто освещается большой прессой и иными средствами массовой информации, но о молодежной театральной группе в маленьком шведском городе Векшё следует сказать особо. Руководит этой группой молодой еще человек, бывший преподаватель одного из лицеев Монтевидео Артигас Лемес. Артигас Лемес бежал из Уругвая в Бразилию — и этот случай обошел страницы газет во многих странах. Потому что «бежал» не слишком точно выражает то, что произошло на самом деле. Лемеса нелегально переправили через границу в кресле-каталке, к которому он прикован уже более десяти лет.

Нет сомнений, что такой режиссер, как Артигас Лемес, которого в трудные годы поддерживал пример Николая Островского, научит уругвайскую молодежь, живущую в шведском городе Векшё, не только технике сценического искусства.

Гордостью уругвайского и всего латиноамериканского искусства является упоминавшийся широко известный театр «Эльт Гальпон». Он возник в 1949 году как независимый театр. С самого начала его руководители поставили перед собой задачу синтезировать высокий профессионализм и четкую политическую направленность спектакля. После переворота «Эльт Гальпон» подвергся яростным нападкам реакции и был вынужден эмигрировать в Мексику. Впоследствии диктатура конфисковала его помещение в Монтевидео, подвергла аресту и пыткам ряд выдающихся актеров.

В 1978 году «Эльт Гальпон» посетил Москву, познакомив москвичей со спектаклем «Гардель запрещается». За годы изгнания «Эльт Гальпон» поставил 18 пьес и показал их в четырнадцати странах Латинской Америки и Европы.

В феврале 1982 года в городе Панама «Эльт Гальпону» была присуждена премия лучшего зарубежного театрального коллектива за 1981 год. Почти одновременно мексиканский союз театральных критиков и журналистов премировал старейшего деятеля латиноамериканского театрального искусства, режиссера и директора театра «Эльт Гальпон» Атауальпу Сиоппу. Вместе с ним был премирован как драматург Марио Бенедетти, автор пьесы «Педро и капитан».

Последняя работа театра, показанная в начале 1982 года в Мехико,— спектакль «Артигас — генерал народа» по пьесе Рубена Яньеса, в котором автор исполняет заглавную роль борца за национальную независимость страны.

Среди наиболее известных художников уругвайской эмиграции следует упомянуть Эухенио Дариета (живет во Франции); Гаудина Боливара (живет во Франции, персональная выставка в Париже); Хосе Га-

марру (живет во Франции, персональные выставки в Париже, Мадриде, Барселоне); Анело Эрнандеса (живет в Мексике, первая премия на конкурсе картин, посвященных танцам, персональная выставка в Мехико в 1981 году, получившая высокую оценку критики); Карлоса Пальейро (живет в Мексике и на Кубе, по заказу Министерства народного образования Мексики оформил школьные буквари и книги для чтения, по которым сейчас учатся мексиканские дети).

В 1981 году скончался выдающийся деятель современного уругвайского изобразительного искусства, член ЦК КПУ, большой друг Советского Союза и социалистической Кубы, один из зачинателей всемирного движения за мир Армандо Гонсалес [1].

Пользуется заслуженным признанием и уругвайская музыкальная культура, развивающаяся за пределами страны. Успешно работает в Венесуэле композитор Уго Лопе. Исполнительское искусство гитариста Леонардо Паласиоса было отмечено премией в Испании, в Испании же завоевала первую премию на конкурсе Моцарта выдающаяся уругвайская певица Ракель Пьероти. С огромным успехом в различных странах мира проходят выступления знаменитого уругвайского ансамбля «Камерата Пунта дель Эсте». Одна из последних пластинок ансамбля, посвященная выдающемуся уругвайскому ученому и общественному деятелю Луису Хосе Массере, который до сих пор находится в заточении, выпущена в Мексике в конце 1981 года.

Особый интерес представляет большая группа певцов, исполняющих фольклорные песни, песни борьбы и протеста, а также свои собственные произведения. Это в первую очередь Нума Мораес, живущий в Голландии, переложивший на музыку стихи многих латиноамериканских поэтов. Маркос Веласкес, живущий в Париже, известен также как поэт. Его произведения публикует журнал «Эстудиос». Альфредо Ситарроса живет в Испании и Мексике. Следует упомянуть также Даниэля Вильетти, Яманду Паласиос, Хосе Карбахаля, Роберто Дарвина, Мануэля Капелья, Вильсона Прието, Рикардо Комбо, Хосе Бритоса и фольклорный ансамбль «Олимареньос». Все они вносят заметный вклад в современную песенную культуру. Мексиканская газета «Диа» писала:

«Они несут миру народные ритмы своей маленькой и далекой родины... Они оживляют эти ритмы в сердцах людей разных стран и в сердце своих соотечественников, находящихся в изгнании, рассеянных по всей земле, они не покладая рук ведут работу, призванную обеспечить солидарность с уругвайским народом в его борьбе против диктатуры».

Нельзя не сказать несколько слов и о такой важной области культуры, как образование и воспитание молодого поколения. С одной стороны оно должно естественно включиться в жизнь чужой страны, а с другой — стать наследником и восприемником культурной традиции родины, влиться в ряды борцов за демократические преобразования, которые должны открыть двери для реэмиграции. Конкретное содержание и формы этой деятельности зависят от социокультурных факторов: осуществляется ли она в социалистических странах — на Кубе, в Болгарии, ГДР, где существуют многочисленные уругвайские колонии, или, скажем, в Швеции, ФРГ, Канаде, Франции, Австралии, Мексике, где также живет много уругвайцев. Первостепенное значение имеют и социолингвистические условия, которые резко отличают жизнь уругвайских эмигрантов в испаноязычных странах и странах с другими языками. Отметим лишь несколько наиболее заметных явлений в этой сфере. В 1981 году в Болгарии вышел «Сборник уругвайской поэзии», составленный и подготовленный к печати уругвайским педагогом и общественным деятелем Альсирой Легаспи де Арисменди. (В Советском Союзе уже издавался русский перевод ее капитального труда «Педагогика и марксизм».) Книга, адресованная детям и юношам, включает произведения 56 уругвайских поэтов, начиная от одного из основоположников уругвайской поэзии, соратника Артигаса Бартоломе Идальго и кончая стихами современников, написанными в изгнании. Уругвайская критика отмечает, что составитель блестяще решил трудную задачу согласования дидактического и эстетического принципов отбора.

«Все включенные в сборник стихотворения,— говорится в рецензии, опубликованной в журнале «Эстудиос»,— обладают высокими эстетическими достоинствами и выражают лучшие традиции нашего народа, любовь к свободе, к человеку, к природе верность нашему общему латиноамериканскому делу».

В настоящее время антология уругвайской поэзии готовится к переизданию на Кубе, с тем чтобы общий тираж книги сделал ее доступной для уругвайских детей и подростков, живущих в различных странах. Одновременно с антологией уругвайской поэзии, адресованной уругвайским детям, в том же 1981 году в Москве был издан составленный Альсирой Легаспи де Арисменди сборник «Песни Латинской Америки», адресованный советским школьникам, изучающим испанский язык. Большой вклад в работу над сборником принадлежит недавно скончавшейся в Москве уругвайской писательнице, переводчице и педагогу Марии Виньярски (Марисе Виньярс), деятельность которой получила высокую оценку в советской и прогрессивной уругвайской прессе.

Отметим в заключение премию испанской культуры, присужденную в 1981 году известному уругвайскому историку и критику Карлосу Рамо за его книгу «Исторические связи Испании и Испаноамерики в 1810—1898 годах».

Такова самая общая картина того явления, которое именуется сегодня «уругвайская культура в изгнании». Знакомство с различными аспектами этой культуры уместно завершить словами уругвайского музыканта и общественного деятеля Мойсеса Ласки:

[1] См. статью М. Мержанова «В гостях у Армандо Гонсалеса» в «ИЛ», 1964, № 8.

«Диктатура стремилась уничтожить достижения уругвайской культуры, но добилась лишь того, что эта культура стала более общечеловеческой и в то же время, как это ни парадоксально, еще более уругвайской: эта культура превратилась в действенную силу в борьбе за свободу и демократию в Уругвае».

Ю. ВАННИКОВ

«ФАКЕЛ»

Рождение нового журнала — событие, которое не всегда верно целиком отождествлять с выходом первой его книжки: конечно, появление первого номера с новым титулом — праздник для читателя, но подлинное «лицо» периодического издания можно разглядеть только с известного расстояния, когда у него появятся свои традиции, когда в нем будет виден журнал «с направлением», определится его читатель.

Болгарский двухмесячный журнал «Факел» (главный редактор — Любомир Левчев) существует уже полтора года, и теперь, оценивая его опыт, убеждаешься, что это издание отвечает поставленной им цели: знакомить болгарского читателя с «наиболее значительными фактами и явлениями», характерными для литературной жизни Советского Союза и — шире — его культуры. Необъятная, казалось бы, сама по себе духовная задача «материализуется» на страницах журнала, благодаря глубокому знанию его редакторами истории советской литературы, ее нынешнего повседневного бытия и высокой издательской культуре.

С самого начала «Факел» пошел по необычному для журнала, рассчитанного на широкого читателя, пути: не устрашась «академизма», открыл первый номер «Песней о Буревестнике» в оригинале и четырьмя ее переводами на болгарский язык, сделанными разными переводчиками и в разное время. Последующие номера показали, что этот зачин одна из составляющих хорошо продуманной программы — «введения» болгарского читателя в историю советской литературы. Публикация, в которую вошла «Песня о Буревестнике», положила начало своеобразной рубрике, хочется назвать ее «горьковскими чтениями»: произведение писателя дополнили размышления о нем Л. Леонова и «Встречи с Максимом Горьким» Вс. Иванова.

Во втором номере читателю был представлен и по-русски и в нескольких переводах отрывок из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», затем — полный перевод автобиографии «Я сам», несколько не переводившихся ранее на болгарский язык стихотворений, отрывки из воспоминаний о поэте Н. Асеева, Л. Брик, В. Мейерхольда, Р. Ивнева, С. Чиковани, Н. Луначарской-Розенель, Н. Тихонова, В. Шкловского. В следующей книжке журнала за переводом ранних рассказов Шолохова шла статья о нем П. Палиевского и воспоминания писателей о встречах с Шолоховым. Далее последовали блоковские, есенинские, фадеевские «чтения». Сложилась традиция: в этом году ее продолжили публикации, посвященные К. Федину и И. Эренбургу. Каждую из них всегда дополняет подборка фотографий, иногда редких.

Был найден принцип, в котором отражена очень характерная для позиции «Факела» черта,— сближение истории и современности. Притягательная достоверность напечатанного по-русски текста (а большинство болгар русский знает) сочетается с непривычным восприятием давно известного произведения, по-новому прозвучавшего на журнальных страницах в 80-х годах, наконец, параллельные переводы дают даже неискушенному читателю почувствовать, сколь тонкое дело — литературный перевод, наглядно показывают, что два переводчика, подобно двум музыкальным инструментам, очень по-разному могут быть «настроены», обращаясь к одному и тому же тексту.

При этом внимательном и последовательном интересе к истории «Факел» — остро современен в буквальном смысле слова. Литературные материалы каждого номера предваряют публикации, непосредственно соотносящиеся с сегодняшним днем: выступления по вопросам культуры Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС и Т. Живкова на XII съеде БКП, «Воспоминания» Л. И. Брежнева, доклад Г. М. Маркова и выступления советских писателей на VII съезде ССП, постановление о присуждении Р. Гамзатову Ботевской премии.

Современность — главный нерв «Факела». Он даже ухитряется «забегать вперед», соперничая с нашими периодическими изданиями, первым знакомить читателей со стихами, рассказами, публицистическими работами советских писателей. Для этого у «Факела» есть заманчиво звучащая заставка «Публикуется впервые». И опять-таки стихи из уважения к поэту и своим русскоязычным соотечественникам печатаются обычно сначала в оригинале, затем в переводе. Так впервые на страницах болгарского журнала увидели свет лирические произведения Ю. Кузнецова, А. Кушнера, Р. Рождественского, рассказ В. Распутина, критическая статья С. Залыгина об А. Киме.

Рубрика «Публикуется впервые» — это внешнее, самое бросающееся в глаза выражение интереса журнала к сегодняшнему дню нашей литературы. Вместе с тем «Факел» продемонстрировал глубокое понимание современности. Оно проявляется в многообразии литературных явлений, множестве писательских имен, жанров, направлений, привлекших внимание редакции, которая считает своей обязанностью помочь читателю понять, сколь многогранна наша литература. Журнал ведет его не только «в глубь», в ее историю, но и в ее «ширь», произведения русских писателей соседствуют на его страницах с прозой и поэзией писателей из национальных республик.

Две главные направляющие движения журнала — историзм и современность — воплощены в ощущении близости культур наших стран, которая и проявляется прямо и звучит в «подтексте» многих публикаций.

Один из примеров — постоянно ведущаяся рубрика «Мгновенья».

Известный болгарский переводчик Н. Христозов, поясняя ее смысл, писал:

«Наверное, у всякого поэта бывают мгновенья, когда он внезапно открывает себя в поэзии другого поэта. Состояния, для которых он не успел найти поэтического выражения, отражены в стихах другого, притом в таком графически ясном и завершенном рисунке, который невольно порождает благородную творческую зависть. И единственное, что может сделать в таком случае поэт...— через свое вторичное переживание вложить частицу самого себя в эти чужие стихи».

Каждая новая работа в рубрике «Мгновенья» — свидетельство об увлеченности еще одного болгарского литератора творчеством наших поэтов. Почти всякий раз «Мгновенья» завершают несколько строк прозаических — чаще всего это глубоко личное «слово» переводчика о причинах, побудивших его сделать свой выбор. Н. Христозову близки стихи Есенина, Евтушенко, Казаковой, Лотяну, Солоухина. Н. Кынчеву — лирика грузинских поэтов. З. Кисьова привлекли ритмы прибалтийской поэзии. По признанию К. Кадийского, «часть его пристрастий» — переведенные им произведения А. Ахматовой, Б. Пастернака, Д. Кедрина, А. Вознесенского, Б. Окуджавы, С. Орлова.

Разумеется, для читателей «Факела» интересны все конкретные проявления отношения к Болгарии, к ее культуре писателей нашей страны. Отвечая этому интересу, редакция напечатала «Вечно зеленое путешествие» Ю. Трифонова, провела среди советских писателей совсем неофициальную анкету: «Какое место занимает в Вашем сердце Болгария? А в Вашем творчестве?», тем самым дав простор для столь же неофициальных, лирических или сдобренных юмором ответов. Ощущением общности наших культур, их открытий и потерь, проникнуты написанные и русскими и болгарскими писателями скорбные строки в память болгарского поэта и переводчика советской поэзии Андрея Германова.

«Факел» ищет пути к читателю, выдумывая, изобретая, творчески усваивая опыт других журналов, в том числе «Иностранной литературы», вероятно, «Юности», может быть, румынского «XX века». Вместе с тем, в отличие от русских «толстых» журналов, в прозе журнал более всего привлекает рассказ; повести или романы с продолжением редки и не стали его традицией. И тут возникает первый вопрос к редакции «Факела»: а не обедняет ли этот принцип представление о советской литературе, в которой на первом месте стоят все-таки роман и повесть? В разделе публицистики рядом со статьями постепенно укоренилась рубрика «Диалоги» — беседы корреспондентов журнала с советскими писателями. В отделе критики статьи советских литераторов соседствуют с рецензиями болгарских критиков на болгарские издания наших книг. Свою задачу «гида» по советской литературе журнал выполняет с большим тщанием, оснащая почти каждую публикацию кратким «введением» в творчество писателя или критика, сообщая к тому же, какие его произведения вышли в болгарских издательствах или готовятся к печати. Это, несомненно, одно из проявлений высокой культуры издания. Ею отмечено и художественное оформление «Факела». На обложках и на вклейках — цветные копии работ советских живописцев. Отличная бумага, удачный в большинстве случаев цвет. Их дополняют черно-белые работы графиков. Маврина, Кончаловский, Хуцишвили, Пименов, Фальк, Красаускас— в каждом номере около десяти работ, представлены все шесть десятилетий советского искусства. Иллюстрации ни к чему не приурочены, ничего не «иллюстрируют», а присутствуют как составная часть той атмосферы, которая создается на страницах журнала. И здесь у читателя может возникнуть второй вопрос к редакции «Факела». Почему под работами художников нет дат? Небрежность? Вряд ли. В издании, скрупулезно внимательном к датировке литературных произведений, такой просчет сразу был бы замечен. А может быть, сам вопрос рожден под влиянием стереотипа, и такая подача живописи и графики отвечает осознанной цели: показать не время через советскую живопись, а живопись как часть современной духовной культуры, и пусть уж читатель судит, что здесь сегодня «звучит», а что устарело.

Перелистываешь полуторагодовую подборку и испытываешь невольную зависть — так много примечательных имен, прекрасных стихов, заставляющих думать, и трогающих рассказов. Рассыпанное для нас во времени сконцентрировано в красных книжках «Факела». Разумеется, можно найти поводы — и немало!— чтобы задать ие один еще вопрос, почему не напечатано то или иное произведение. Однако и здесь редакция, словно желая предвосхитить подобные упреки, «забежала вперед» и переадресовала этот вопрос самим же советским писателям, обратившись к ним с просьбой назвать наиболее выдающиеся, на их взгляд, произведения минувшего года и опубликовав ответы на эту анкету в первом номере, вышедшем в нынешнем году. Скорее всего, многое из того, что признано нашими прозаиками, поэтами, критиками лучшим, появится в «Факеле», которому предстоит, думается, долгая жизнь. Главное все же то, что вопроса, почему то или иное произведение попало на его страницы, почти не возникает,— и тут, вероятно, кроется главное достоинство нового журнала.

Е. ПОМЕРАНЦЕВА

«ПАНОРАМА»

Софийский журнал «Панорама» молод, но он уже успел завоевать авторитет и в Болгарии, и за ее пределами. Определился особый профиль этого издания, четко выявилась его общественная и литературная позиция. «Панорама» — орган Союза пере-

водчиков Болгарии, это «журнал современной иностранной литературы, критики и проблем перевода». С первых же номеров редакция, возглавляемая председателем СПБ Ледой Милевой, стремилась к тому, чтобы тесно совмещались, образуя единство, три основных направления работы журнала: публикация наиболее значительных произведений литературы нашего времени, их критическое осмысление и анализ перевода — его теоретических вопросов, его практических задач.

Современный литературный процесс предстает на страницах «Панорамы» в своем многообразии. Идет разговор о важнейших тенденциях не только в литературе, но и в сфере общения культур разных народов — той сфере, где первостепенную роль играет художественный перевод. Эта тесная взаимосвязь проблем литературы и проблем перевода выявляется в материалах «Панорамы» органично и наглядно, придавая своеобразие многим публикациям журнала.

Здесь уже стали традиционными и выступления мастеров перевода, рассказывающих о своем опыте, и статьи, посвященные теории этого «высокого искусства», как характеризовал перевод К. И. Чуковский, и критические разборы новых переводческих работ. Читатель «Панорамы», знакомясь с произведением крупного современного художника, получает ясное представление и о труде переводчика, сделавшего это произведение фактом болгарской культуры. Литературное явление осознается и в контексте художественной жизни нашего времени, и в свете тех особых задач, которые оно ставит перед искусством перевода. Нередко такой подход позволяет глубже постичь эстетическую специфику тех или иных произведений, обнаружив в них и устойчивость традиций, и приметы подлинного новаторства.

Советскому читателю облик «Панорамы» станет яснее, если он представит себе издание, совмещающее черты «Иностранной литературы» и периодически выходящих у нас сборников «Мастерство перевода». Подобное совмещение — в рамках журнала, обращенного к широкой аудитории,— конечно, дело непростое. «Панорама» ищет наиболее эффективные формы, в которых оно могло бы быть осуществлено. В этом отношении опыт молодого журнала особенно важен.

Не приходится говорить о том, как высока и ответственна в наши дни роль перевода, непосредственно помогающего диалогу культур и взаимопониманию людей разных стран, которое крепнет, вопреки всем попыткам возродить дух «холодной войны». Известно и другое: в силу давних предубеждений перевод все еще порою рассматривают как периферийную область литературы, а поэтому неразработанными остаются даже некоторые его важнейшие категории и понятия.

Чем значительнее задачи, которые выдвигает перед художественным переводом само время, тем ощутимее потребность в серьезном, аналитичном размышлении о специфике перевода как вида литературы, о его творческих исканиях и нерешенных вопросах.

Анна Лилова, автор фундаментального исследования «Введение в общую теорию перевода» (1981), вызвавшего оживленную дискуссию в Болгарии, выступая на страницах «Панорамы», подчеркивала, что

> «первый и основной аспект понятия «перевод» — это его социальная природа и общественная функция... в качестве явления культуры как национальной, так и мировой».

В статье Анны Лиловой были сформулированы принципы, положенные в основу подхода «Панорамы» к проблемам переводческого искусства: перевод осознается как феномен эстетический, обладающий особой образной системой и собственными законами построения художественной реальности. Созданное переводчиком произведение должно оцениваться не только по принципу смыслового соответствия оригиналу, но и как самостоятельное явление, «обладающее единством содержательного и структурно-формального плана». Применительно к переводу правомерны такие категории, как эстетическое отражение действительности и творческий метод.

Публикуемые «Панорамой» материалы, в которых анализируются методологические основы искусства перевода и его современное состояние, неизменно отмечены высокой требовательностью критериев. Это закономерно: ведь перевод последнее время развивается в Болгарии необычайно бурными темпами и осмысление его идейно-художественных принципов становится одной из насущных задач литературной мысли.

Впрочем, задачи «Панорамы», разумеется, не ограничиваются разработкой теоретических и практических проблем искусства перевода. Журнал — это именно панорама новейшей мировой литературы, в нем отражаются основные направления развития современной прозы, поэзии, критики. Болгария сегодня играет особенно заметную роль в международной литературной жизни. По инициативе болгарских литераторов София избрана местом проведения традиционных писательских встреч в защиту мира и гуманизма. Каждая такая встреча становится крупным культурным событием. С трибуны софийских форумов многие выдающиеся художники нашего времени говорили о единстве демократической культуры всех стран, выступающей в поддержку разрядки, за идеалы социального прогресса и духовного сближения народов. «Панорама» видит свое призвание в том, чтобы служить этим благородным идеалам.

Шесть книжек годового комплекта «Панорамы» дают читателю возможность составить достаточно широкое представление о многообразии тенденций и поисков в литературе наших дней. Перелистаем несколько последних номеров: нам встретятся имена Юрия Трифонова и Иштвана Эркеня, Ван Мина и Нгуги Ва Тхионго, Грэма Грина и Марио Бенедетти, Маргерит Юрсенар и Луизы Риндзер...

Советской литературе и литературам других социалистических стран «Панорама» уделяет первостепенное внимание. Многими своими публикациями и критическими разборами журнал показывает подлинное

эстетическое богатство художественной культуры социализма.

Обращаясь к литературам Запада, «Панорама» стремится поддержать явления реалистической художественной природы и предоставляет свои страницы тем мастерам, в чьем творчестве отражаются большие социальные проблемы современности, тревоги и заботы, волнующие миллионы людей. Подход журнала к этим литературам и строго принципиален, и глубоко объективен. В критическом комментарии «Панорамы» к печатающимся на ее страницах произведениям вскрываются как сильные стороны творчества публикуемого писателя, так и его противоречия идейного и эстетического характера.

Вот только один пример такого рода. «Панорама» поместила большую подборку рассказов Джона Чивера и откликнулась на изданный в Болгарии том его новелл. Критик Н. Аретов справедливо писал о том, что в творчестве Чивера находят органичное продолженне гуманистические традиции американской литературы. Однако журнал не прошел мимо кризисных черт, вычившихся в последних произведениях замечательного прозаика. Статью Н. Аретова заключает редакционное примечание, где отмечено, что в книгах, созданных на закате жизни, «Чивер во многих отношениях отступал от завоеванных им позиций». А помещенный в следующем номере обстоятельный разбор повести «Да ведь это райский уголок!» которая появилась незадолго до смерти Чивера, подкрепляет это наблюдение.

Аналитичный взгляд, учитывающий реальную сложность современного литературного развития и многих писательских судеб, отличает многие критические выступления «Панорамы». Журнал ведет специальную рубрику, в которой освещаются явления экспериментальной и авангардистской литературы как прошлого, так и современности. Читатели «Панорамы» уже познакомились с прозой Вирджинии Вулф и эссе Андре Моруа, посвященном этой видной представительнице английского модернизма, с рассказами Д. Г. Лоуренса, с принципами и практикой хэппенинга (был напечатан сценарий одного из хэппенингов, принадлежащий творцу этого жанра К. Олденбургу) и некоторыми другими произведениями, чужеродными эстетике реализма. Каждая такая публикация сопровождается вдумчивой, аргументированной статьей, в которой показано и истинное место того или иного авангардистского произведения в истории искусства XX века, и объективная бесперспективность лабораторного формотворчества, подменяющего истинное постижение действительности.

О заметном творческом росте болгарской критики свидетельствуют многие материалы «Панорамы»: и обширные подборки проблемных, подчас остро злободневных рецензий в каждом номере, и регулярно помещаемые теоретические статьи, и обмен мнениями о латиноамериканской прозе, переросший в жаркую дискуссию. Традицией «Панорамы» становится подведение итогов литературного года с помощью анкеты, в которой критиков приглашают охарактеризовать наиболее заметные переводные произведения и в этой связи высказать свои наблюдения над новыми тенденциями, которые выявляет движение литературы.

Такого рода заочные «круглые столы» проводились по итогам и 1980, и 1981 года. Они продемонстрировали растущий интерес критики к двум характерным особенностям современного художественного мышления, по-разному проявляющимся в различных литературах: это тяготение к мифологизму и философской обобщенности художественного свидетельства, а с другой стороны — продолжающийся «бум» документальных жанров, которые все активнее воздействуют на традиционную литературу вымысла. Оценки подобных исканий не совпали у различных критиков, но единодушно отмечалось, что и художественно переосмысленный миф, и документ в его эстетической функции занимают очень важное место в литературе последних лет. При этом указывали и на произведения, опубликованные «Панорамой» и вызвавшие особенно заинтересованный читательский отклик,— такие, как «Хроника объявленной смерти» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Гагачье озеро» Э. Л. Доктороу.

На страницах «Панорамы», предоставленных для разговора о состоянии и перспективах современной литературы, развернулась дискуссия и о самом журнале, его достижениях и задачах. Эта дискуссия носила доброжелательный характер, что не помешало обоснованной критике недостатков. Наташа Манолова высказала справедливый упрек в том, что авторы и переводчики «Панорамы»

> «интересуются почти без исключения книгами представляющими англоязычную, французскую, немецкую, итальянскую литературу... Ну а где же новинки литератур Японии, Африки, арабских стран?»

Важного вопроса о целостности картины мировой литературы, предлагаемой болгарскому читателю, коснулась и Вера Ганчева:

> «Необходимо достичь координированности в издании переводных произведений. Еще приходится наблюдать недостаточно продуманный выбор переводимых авторов и произведений, своего рода «анархию», нисколько не помогающую систематической ликвидации существующих у нас «белых пятен», когда речь идет о целых литературах и об отдельных школах, направлениях, художниках».

Журнал «Панорама» находится лишь в самом начале пути. Ему еще предстоит выработать формы, которые позволят в полной мере совладать с масштабными, ответственными задачами которые ставит перед собой это издание. В том, что такие формы будут найдены, убеждает уже и знакомство с первыми номерами «Панорамы», занявшей свое место среди наиболее интересных и ярких журналов Болгарии.

А. З.

◆

Публицистика

ТАКЭСИ ИТО

6 АВГУСТА 1945 ГОДА— ХИРОСИМА ОБВИНЯЕТ

Фрагменты книги

Перевод с японского Б. РАСКИНА

Тридцать восемь лет минуло с тех пор, как Америка сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, но страдания, причиненные этим чудовищным преступлением японскому народу, продолжаются по сей день. Еще сегодня умирают японцы, подвергшиеся атомной радиации.

Японские сторонники мира уже давно включились в борьбу за запрещение ядерного оружия и ведут ее упорно, активно, целеустремленно— ведь их родина на себе испытала весь ужас атомной бомбардировки.

Сейчас в Японии появился ряд книг, авторы которых выступают против ядерной войны. Например, издательство «Иванами сётэн», одно из крупнейших в стране, за последние несколько лет выпустило свыше сорока книг, посвященных одной теме — борьбе за ликвидацию ядерного оружия. Среди них и «Хиросимские записки» Кэндзабуро Оэ, неоднократно переиздававшиеся, и опубликованная в прошлом году книга «6 августа 1945 года — Хиросима обвиняет». Очень важно, что эта книга рассчитана на молодежь, родившуюся много лет спустя после хиросимской трагедии.

Автор книги Такэси Ито, ныне профессор педагогического факультета в университете Яманаси, родился в 1929 году в Хиросиме. 6 августа 1945 года он находился в Хиросиме, где учился в средней школе и работал по мобилизации на заводе. Там и застала его атомная бомбежка.

Такэси Ито сам был очевидцем ядерной трагедии, подвергся облучению, долго болел и поклялся посвятить свою жизнь борьбе за то, чтобы она не повторилась. Много лет отдал он исследованию истинных масштабов ущерба, который нанесла японцам атомная бомбардировка. Такэси Ито — активный участник движения за принятие закона о помощи пострадавшим от атомной бомбардировки. Ему принадлежит научный труд «Идеи и движение противников атомной бомбы».

Его книга «6 августа 1945 года — Хиросима обвиняет» — страстный призыв к молодежи Японии включиться в борьбу за мир, не допустить повторения хиросимской трагедии в масштабах всей планеты.

Во фрагментах из книги Такэси Ито, публикуемых на страницах журнала, приведены подлинные дневники школьников — свидетелей тех страшных дней. Правда, некоторые из отрывков, очевидно, подверглись литературной обработке автора либо составителей многочисленных сборников, где первоначально публиковались. Один из примеров — символический пролог ко всей книге. Его образует первый отрывок, который написан в форме обращения к потомкам девочки, погибшей при варварской бомбардировке Хиросимы.

Книга Такэси Ито вновь страстно напоминает людям: боритесь за мир, отстаивайте самое священное право человека — право на жизнь!

Полностью книга «6 августа 1945 года — Хиросима обвиняет» будет опубликована на русском языке издательством «Детская литература».

ОДНАЖДЫ ВНЕЗАПНО ВСПЫХНУЛО НЕБО

На дне моря

Кикуко стояла последней в шеренге. Ничего не поделаешь — в классе она была ниже всех ростом.

© Ito Takeshi, 1981.

Учитель, как всегда, строго предупреждал:

— Будьте внимательны, чтобы во время работы не пораниться.

Над головой простиралось голубое-голубое небо. Без единого облачка. Шестое августа.

Наверное, сегодня опять будет жарко. Нас заставляют разбирать остатки домов, чтобы удобнее было спасаться во время воздушных налетов. Сегодня предстоит ло-

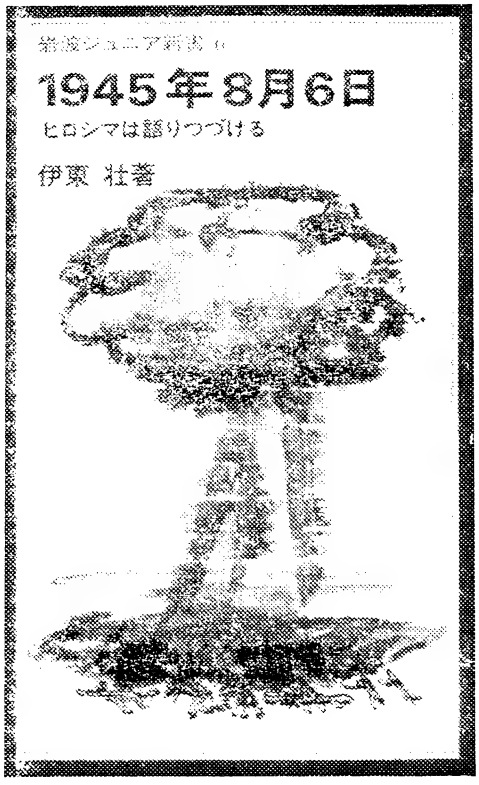


Иллюстрация художницы Тоси Маруки

мать их отсюда до угла. Как сказал учитель, надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не напороться на гвоздь. Интересно, кто жил в этом двухэтажном доме, который мы сейчас разбираем. Может, как и у нас, отец ушел на войну, а здесь остались бабушка, мать и дети, такие же, как я и мои младшие братья. Мне говорили, будто вышел приказ: в течение трех дней эвакуироваться! А как быть таким, как мы? У нас ведь нет в деревне родственников, не к кому ехать...

Где-то высоко в небе послышался рокот самолета. Вначале я решила, что это мне показалось. Я прислушалась: в самом деле, самолет! Странно, неужели вражеский? Не может быть — иначе уже давно заревели бы сирены воздушной тревоги.

Я подняла голову и стала внимательно вглядываться в небо. Ничто не нарушало его по-летнему яркую голубизну. Если бы пролетел американский Б-29, похожий на зловещую птицу, в небе остался бы след. Но рокот мотора приближался, и я все глядела в небесную высь, пытаясь отыскать в ней самолет.

И тогда это случилось! Внезапно все вокруг вспыхнуло красным, и в следующий миг будто все небо обрушилось на меня. Мне показалось, будто я плавлюсь, становлюсь все меньше и меньше, и земля вбирает, засасывает меня. А кругом крики:

— Что это?! Умираю!

— Спасите! Мамочка, мама-а-а!

. . . . . .

Все это длилось какое-то мгновенье. Я умерла. Мой труп сбросило в реку с насыпи, на которой я стояла. Мои глаза, которые так нравились отцу, теперь выпучены, как у лягушки, между губ, похожих прежде на два цветочных лепестка, вылез непомерно распухший язык, густые волосы обгорели и напоминают засохшие съежившиеся клочья, лицо, руки и ноги обгорели до мяса. Вот какая я плавала в реке Мотоясугава...

Земля, казалось, вернулась к первым дням сотворения мира, и нельзя было различить воду от тверди. Все окутала тьма, вокруг царило безмолвие. Время исчезло? Солнце упало с небес? Что же случилось? Что?!

Тьма понемногу рассеивалась, сквозь нее стала проступать тянувшаяся вдоль берега каменная ограда. Она была вся в красных языках пламени. По реке ходили волны. Они набегали на берега, то засасывали в водовороты мое тело то снова выбрасывали на поверхность, кидали то вправо, то влево, будто сорванный с дерева лист.

Когда волнение на реке утихло, оба берега уже пылали, словно раскаленная доменная печь. Дождь искр сыпался в реку, отчего вода в ней казалась кроваво-красной. Неожиданно подул сильный ветер. Начался отлив, и меня вместе с тысячами других трупов понесло мимо пылающей Хиросимы к морю. Мужчина без головы, грудной ребенок с оторванными руками, женщина с черными, как головешки, ногами. Река несла к морю не только останки людей, но и трупы собак, кошек, лошадей и даже дохлых рыб, плывущих вверх животами,— белыми-белыми! Река словно вспухла от множества раздувшихся, изуродованных трупов.

Прошло много дней с тех пор, как нас унесло в море. Наши тела начали разлагаться. Сначала нас объедали стайки мелких рыбешек, потом настал черед крупных — острыми, как бритва, зубами они жадно отрывали от нас большие куски. Мое тело все более теряло человеческий облик.

Потом этому страшному плаванию пришел конец, и мои останки лишенные рук и ног, медленно опустились на песчаное дно моря. Где-то далеко наверху остались и блеск солнца, и шум ветра. Теперь я сплю вечным сном в холодной тьме среди водорослей...

. . . . . .

Мамочка! За какие прегрешения мне суждено было в тот день испытать все это? Разве я такая уж плохая, что заслужила смерть?

Может, я училась не так хорошо, но наш классный руководитель всегда хвалил меня за прилежание. Меня не награждали грамотой за успехи в учебе, зато в начальной школе я удостоилась грамоты за то, что не пропустила ни одного урока... И тебе, мамочка, я всегда помогала. Разве по утрам я не вставала раньше всех, чтобы сварить рис? И уборкой каждый день занималась...

Вот и бабушка часто говорила: «Кикуко — примерная старшая сестра!»

Во время ужина я незаметно перекладывала младшим братьям картофель из своей тарелки. Однажды бабушка это заметила и рассердилась. «Тебе самой надо есть»,— сказала она. А я ответила, что не голодна, хотя потом выпила несколько чашек воды — так хотелось есть! Я и потом подкармливала братьев — разве могла я спокойно глядеть, как по ночам они плакали от голода?

Так скажи мне, мамочка, в чем я провинилась и почему не могла остаться живой, быть вместе с вами?

Я не просила новое кимоно, не клянчила сладости. Я довольствовалась стареньким платьем и шароварами, никогда не жаловалась на голод.

Учитель нам говорил: «Может случиться, что вражеская армия высадится в Японии. Тогда и женщины должны быть готовы умереть». Слушая его, я думала: когда наступит этот час, я тоже буду готова. А бабушка все время твердила: «Помирать — так всем вместе».

Почему же мне было суждено погибнуть в одиночестве, вдали от мамочки? И никто мне даже не дал времени, чтобы приготовиться к смерти.

Теперь я тихо лежу на дне моря и думаю: вот она какая, война! Беспощадная, убивающая даже ни в чем не повинных детей...

Мамочка, когда у моих младших братьев вырастут дети, скажи им вместо меня,— меня ведь они уже не смогут услышать:

— Не нужно больше войн!

— Не нужно атомных бомб!

Ведь они убивают всех, даже самых хороших и послушных детей!

Разрушенная школа

Сегодня опять выдался жаркий денек. Ты пишешь, что плавал в школьном бассейне. Сколько удалось проплыть? Метров пятьдесят? Ты сердишься на меня, что с детских лет не научил тебя плавать. Понимаешь, сынок, это произошло не потому, что я, твой отец, плавать не умею. Просто с бассейном у меня связаны очень тяжелые воспоминания. Сразу перед глазами встает другой бассейн, куда набилось столько людей, что даже воды не было видно. И меня начинает трясти как в лихорадке.

Я и раньше собирался рассказать тебе об этом, да все не было подходящего случая.

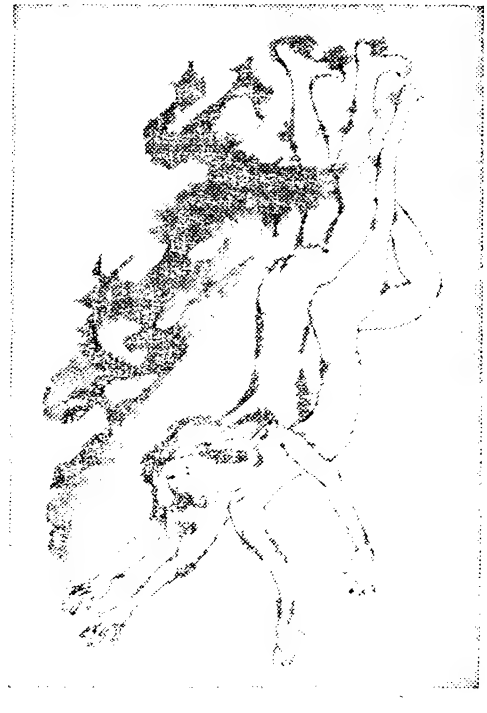
Тогда я, как и ты сейчас, только перешел в первый класс средней школы второй ступени. Школа, где я учился, была самой старой в Хиросиме и имела давние традиции. Здание было не новое, но прочное, и в школьном дворе росли тополя — такие высокие, что казалось, их верхушки подпирают небо.

Война на Тихом океане уже приближалась к концу, и в мае, когда я перешел в первый класс средней школы, Германия капитулировала перед союзниками. В июне японская армия потерпела жестокое поражение на Окинаве, и враг должен был вот-вот высадиться в Японии. В те дни был брошен клич о решительном сражении на территории самой Японии, и весь народ призвали драться до последнего. Вам теперь этого не понять, но в ту пору, если бы твоему отцу приказали: «Бери динамит и кидайся под танк», он бы, не колеблясь, это сделал. В средней школе оставались только ученики первого и второго классов — остальные были мобилизованы на заводы.

Утром шестого августа нас всех отправили на разборку домов. Было приказано разрушить и разобрать часть домов, которые мешали своевременно прятаться по убежищам во время воздушных налетов. Мы работали посменно, меняясь каждый час. Нашему классу выпала вторая смена, и мы собрались в аудитории в ожидании своей очереди. Одни болтали, другие, раскрыв учебники, зубрили задание или списывали новое расписание занятий. Неожиданно послышался гул самолета. Несколько ребят высунулись из окон и стали всматриваться в небо. К тому времени американская авиация уже полностью господствовала в воздухе, и все мы почти привыкли к вражеским налетам.

Вдруг что-то ослепительно вспыхнуло... Не знаю, сколько прошло после этого времени. Когда я открыл глаза, то почувствовал, что лежу чем-то придавленный. В нос ударил резкий запах, как будто поблизости жгли серу. В рот набилась земля. Я стал звать на помощь, но никто не откликался. Потихоньку шевеля руками и ногами, я стал выбираться из-под придавивших меня досок и стропил. Наконец мне это удалось, и я пополз к видневшемуся впереди пролому в стене.

Я выбрался наружу. Вокруг царила тьма. Временами становилось немного светлее, и



тогда я видел солнце, напоминавшее просвечивающий сквозь облака диск луны. Вокруг громоздились груды черепицы и осколков стекла.

«Эй, кто-нибудь!» — крикнул я и в ответ услышал доносившиеся будто из-под земли стоны. Потом кто-то закричал: «Мамочка!» и еще: «Ура императору!» Вскоре ко мне подползли два школьника. Мы стали разбирать груду досок, черепицы и стекла и вытащили из-под нее еще двоих. Один сразу же упал на колени, и его стало рвать. Наверно, ему раздавило грудь: рубашка спереди была вся в крови. У второго были переломаны ноги.

— Скиньте с меня доску, больно! — вновь услышали мы. Я с трудом отодвинул доску и увидел голову, залитую кровью. «Помоги, Каваи!» — услышал я, но не узнал говорившего. «Это же я, Ямада!» Я ухватил его за голову и стал тянуть. Но безуспешно Ямаду придавило тяжелой балкой, и вытащить его мы были не в силах.

Тем временем там и сям стали появляться языки пламени. Огонь подступал все ближе, на меня пахнуло невыносимым жаром. «Ямада,— крикнул я,— прости меня! Я обязательно отомщу за тебя! Непременно!» И побежал прочь. А позади все слышались крики Ямады: «Каваи, Каваи, где же ты? Мама, мамочка!»

У бассейна толпилось множество пострадавших. Я обратил внимание на то, что у всех обгорели волосы. Они сохранились лишь в той части, которая была прикрыта головным убором. Рядом со мной оказался мой однокашник Сато. У него обгорели веки, кожа клочьями свисала на глаза. «Ничего не вижу, ничего не вижу»,— без конца повторял он. К бассейну сбежались девочки из ближайшего женского колледжа. Вокруг бассейна, да и в нем самом, собиралось все больше людей

Прошло еще какое-то время, когда я заметил, что ранен Из глубоких царапин на голове и левой руке сочилась кровь. Очень болела нога, правая штанина намокла от крови. Я размотал обмотки, перевязал голову и руку. Мой однокашник отдал мне свои обмотки, чтобы я перевязал ногу.

Загорелись школьное здание и росшие во дворе тополя. Воздух раскалился настолько, что даже в бассейне оставаться становилось опасно Прибежал наш учитель Фурумото. Он был босиком и в одних трусах. На нем клочьями висела кожа. Мы обмотали ему ноги полотенцами, чтобы он мог идти Вместе с учителем мы покинули бассейн и сквозь пылающую Хиросиму побежали в горы.

Мы бежали, оглядываясь на школу, где горели сотни наших друзей. Мы бежали и кричали: «Да здравствуют ученики Первой хиросимской школы!»

Потом я узнал, что в бассейне оказалось столько трупов что не было видно воды. Вот почему, сынок, твой отец так не любит бассейны.

(Этот отрывок взят из дневников оставшихся в живых учащихся Первой хиросимской средней школы Дневники были собраны и изданы Такэо Кадзута под названием «Как мы выбирались из разрушенной школы».)

Нас выжило трое

Я училась в третьем классе молодежной школы в городе Нагасаки, а днем подрабатывала в начальной школе. Мне всего шестнадцать лет — тот самый возраст, когда девушке хочется развлекаться, но не тут-то было: в нашей семье помимо меня было шестеро младших братьев и сестренок — вот и приходилось работать, чтобы помочь родителям прокормить такую большую семью.

Девятого августа было ясное летнее утро. Небо синее-синее, светило золотое солнце. В такое утро и в голову не приходит, что где-то идет война. Так не хотелось идти сегодня на работу, и только я собралась, как объявили предупреждение. Значит, ожидают воздушный налет. Я обрадовалась и сказала матери:

— Раз так, значит, в школе занятий не будет. Пойду-ка я в книжную лавку Сейбундо — может, куплю интересную книжку.

Мать тогда и говорит:

— По пути загляни на делянку, что на холме позади городского управления, и помоги тетке окучить картофель — она просила.

Не хотелось мне, но матери перечить нельзя. Добралась до делянки, и стали мы вдвоем с теткой окучивать картофель. Вдруг послышался рокот мотора. Мы решили передохнуть, разогнули спины и стали глядеть в небо. Тогда-то мы и увидели самолет. Кажется, это был американский Б-29.

— Чего ему надо? — сердито сказала тетка.— Летит в одиночку. Наверно, потому и тревогу не объявляют.

Самолет резко взмыл вверх.

— Странно он ведет себя,— сказала тетка.

И в следующий миг меня ослепило. Словно сотни, тысячи фотовспышек одновременно зажглись перед глазами. Нестерпимая жара!

Что случилось? Кажется, это не бомба. Ах, теперь все равно. Дева Мария, защити меня! Это мне наказанье — потеряла вчера в бане образок девы Марии! Надо молиться: Иисус, Мария, Иосиф... не то... Во время учебной тревоги нам говорили, что надо ложиться на землю. Вот так! Что же случилось? Продолжая лежать, чуть-чуть приподымаю голову. От подножия холма надвигается черный вал. Он во много раз выше, чем дом.

Оглядываюсь — и ничего не узнаю. Вместо зеленого картофельного поля вокруг черная земля. Небо тоже черное. Кажется, будто неожиданно наступил вечер Тишина. Ни человеческого голоса, ни звука. Может, мне все это снится? Вдалеке пляшут алые огненные языки. Конец света? Может, и вправду наступил конец света... Что это, кровь? Я провожу рукой по лицу. На ладони остается что-то липкое. Нет, это не кровь. Похоже на воду но какой отвратительный запах. Куда-то исчезли рукава от платья, полосатые шаровары висят клочьями. Пропали соломенные сандалии. На руках лопнула кожа и сочится гной. Ноги в ожогах. Я вся исхожу гноем, будто

внутри не осталось крови — один гной! Может, тот самый самолет что-то страшное сбросил. Как же я ободралась... Наверно, когда упала на землю. И все же это не конец света. Надо встать и оглядеться. Сумею ли подняться? Встала. А где же тетка? Кричу: «Тетушка, отзовитесь!» Ее нигде нет.

Пойду-ка к ней в дом, он здесь поблизости. Подобрала обломок бамбука и, опираясь на него, как о посох, побрела в сторону тёткиного дома. Вскоре дорогу преградили развалины большого здания. Вокруг ни живой души, ни человеческого голоса. Вдали загорелись дома. Голову пронзила мысль: а как там отец и мать, младшие братья и сестры — живы ли и цел ли наш дом?

Пробираюсь босиком среди осколков черепицы и стекла. Внезапно хлынул странный черный дождь. Его крупные капли оставляли на земле черные пятна. Навстречу бежит человек в красной одежде. Наверно, арестант. Когда он приблизился, я с ужасом поняла, что никакой одежды на нем не было вообще, просто со всего тела слезла кожа, обнажив красные мышцы. Где-то заплакал ребенок. Вроде бы плач доносится из-под развалин дома, что рядом с лавкой продавца тофу[1]. Наверно, родители его погибли. Я подошла поближе и поглядела на огромную груду черепицы. «Прости, маленький, я не в силах тебе помочь»,— прошептала я и пошла дальше. По обочинам дороги валялись трупы людей, издохшие лошади. Прямо на шоссе я едва не споткнулась о труп, раздавленный буквально в лепешку. Невозможно было понять, мужчина то был или женщина.

Наконец я добралась до нашего дома, он покосился, но, к счастью, еще не горел. Я позвала мать. Ответа не последовало. В доме было пусто. Я постучала к соседям. Навстречу вышла женщина. Кожа на лице у нее свисала клочьями, волосы сгорели, и голова напоминала голову Большого Будды в Наре.

— Ты ли это, Фусако? — спросила она, и лишь по голосу я узнала тетушку Осуги.

— Тетушка! — закричала я и кинулась к ней, не в силах произнести хоть слово. Неужели это та самая женщина, которую до сих пор все называли не иначе как «красотка Осуги»?!

Собрались другие соседи. От них я узнала, что отец и мать живы. Пожар придвинулся вплотную к нашим домам. Кто-то сказал: «Вот идет Киндзо». Я кинулась к нему, крича: «Дядюшка, дядюшка. Как я рада, что вы живы!» — «Неужто Фусако?» — изумился он. В тот момент я не поняла, чему он удивляется Глянув в осколок зеркальца, я сама себя не узнала — лицо обгорело, голова распухла и походила на тыкву.

Потом меня в сопровождении двоюродной сестры посадили в санитарный поезд. Когда поезд тронулся, сестра, сидевшая у окна, вдруг закричала:

— Фусако! Гляди, кажется, ваш дом загорелся!

Значит, дошла очередь и до нас, подумала я, приподняла пальцами распухшие веки и поглядела наружу. Я увидела в кромешной тьме взвившиеся кверху языки пламени, которые на миг осветили наш дом. И потеряла сознание.

Я пришла в себя в больнице Исахая. Минуло несколько дней. Двигаться я не могла. Зашел меня проведать отец. А вскоре в больницу привезли мою мать. Голова у нее была забинтована. Мать была очень худая и бледная. Вместе с ней поместили сестренку и брата — самых младших. Мать подошла ко мне и не смогла сдержать слез.

— Прости меня, Фусако! И зачем только я просила тебя помочь тетке на этом проклятом картофельном поле! Как же теперь ты, молодая девушка, будешь жить с таким обезображенным лицом!

— Не расстраивайтесь, мама! Знай я заранее, что так случится, я и сама бы вас не послушалась. Разве может кто-нибудь знать, что его ожидает,— успокаивала я мать.

Она рассказала, что один из моих младших братьев погиб на заводе, а другого доставили в больницу — он как раз кончил разносить газеты и входил в дом, когда внезапно обрушилась застекленная дверь, и его сильно поранило осколками. Вечером того страшного дня скончалась младшая сестра. Остались в живых два самых младших брата и сестренка.

— Завтра опять зайду тебя навестить,— сказала мать и пошла в свою палату. Но она не появилась ни на следующий день, ни через неделю.

Двадцать девятого августа в мою палату

[1] Соевый творог.

вошла медсестра с младшим братом и сестренкой на руках.

— Вы ведь Фусако Фукахори,— сказала она.— Вот примите, пожалуйста, Кэньити и Масако. Их привезли в больницу вместе с вашей матерью, но она умерла.

Они были такие худые и бледные, что я поначалу их не узнала.

— Наверно, вы ошиблись, Кэньити и Масако совсем недавно были здоровенькие и краснощекие. А Масако вообще не нужно держать на руках — она прекрасно ходит сама,— сказала я.

— А вы позовите их,— предложила медсестра.

— Кэньити! Масако! — крикнула я.

Они сразу открыли глазенки и удивленно поглядели на меня. Тогда я еще не двигалась и попросила поставить вплотную к моей еще одну койку, с тем чтобы можно было дотянуться до четырехлетнего Кэньити и малютки Масако, которой исполнилось всего два года и четыре месяца.

Вскоре скончался еще один брат, которого привезли в больницу израненного осколками от свалившейся на него стеклянной двери.

От отца никаких вестей. Почему он так нехорошо себя ведет? Ведь здесь, в больнице, почти вся его семья. Конечно, поезда теперь, наверно, забиты до отказа, но все же... Я попросила медсестру послать ему телеграмму: «Мама умерла. Приезжай немедленно».

Утром тридцать первого мне показалось, что у Масако какой-то странный вид. Коекак повернулась на бок и пощупала ей лоб, ручки и ножки — вроде бы теплые. Но дыхания нет. Волосенки на голове вылезли. «Масако, Масако»,— позвала я. Никакого ответа... Пеленки и белое детское платьице стали ее последним нарядом. Масако умерла через три дня после матери. А отец и сегодня не приехал.

Вечером меня навестил Хасимото — учитель начальной школы, где я подрабатывала. Сначала поговорили о школьных делах, потом он как-то замялся и, с трудом выдавливая из себя слова, произнес:

— Прошу тебя, не волнуйся. Твой отец умер, но некому было сообщить тебе об этом.

В голове у меня что-то закрутилось. Наверно, я потеряла сознание. Потом открыла глаза и решила, что схожу с ума: отец скончался в тот же день, что и мать.

Отец! Мамочка! Простите меня! Как это страшно — рядом с вами никого не было, чтобы в ваш смертный час подать хоть чашку воды.

(Взято из «Свидетельств о Нагасаки». Фусако Катаока. «Как мы выжили». 1971 год.)

И японцы, и корейцы

В 1935 году отец и мать вместе со мною и младшей сестренкой приехали из Кореи в Японию. Мне тогда было пять лет.

Вначале отец взял в аренду у японца клочок земли и попробовал заняться сельским хозяйством. Но ничего не вышло, и, распродав всю мебель, мы переехали в Фукуоку, к тетке.

Был самый разгар мирового экономического кризиса, и даже сами японцы нередко сидели без работы. В Корею пришел голод, и многие наши собратья-крестьяне отправились в поисках работы кто в Маньчжурию, кто в Японию. Долго отцу не удавалось нигде найти подходящую работу. Наконец он устроился старьевщиком. Нам, корейцам, приехавшим в Японию, предлагали лишь самую черную работу, от которой отказывались японцы.

Мы поселились в грязном, сыром, полуразвалившемся доме у дороги. Да и дом-то был — одна комната, устланная наполовину истлевшими циновками. У входа всегда валялась груда старья: газеты, журналы, тряпье, ржавые чайники — все это собирал и продавал отец.

Поблизости стояли еще два дома, в которых жили наши собратья-корейцы. Остальные дома в округе принадлежали японцам. У них было много детей, и мы часто вместе играли. Но стоило вспыхнуть малейшей ссоре, как они начинали нас дразнить и оскорблять. Обзывали корейскими свиньями.

Корейцы не могут произносить правильно японские твердые согласные, и это тоже становилось предметом насмешек, которые больно ранили наши детские сердца: «кореец, кореец — ты турак». Они высмеивали и нашу бедность: «Увител плестит на семле. Тумал тенешка. Потнял — а это крышка от пивной путылки».

Когда я после ссор и драк возвращался домой, отец горестно глядел на меня и приговаривал:

— Проиграть — значит выиграть! Проиграть — значит выиграть! Запомни: победить нетрудно, труднее стерпеть поражение и издевательства. На такое способен только настоящий мужчина.

Невдалеке от нас на большой улице была харчевня, где продавали «окономияки»[1] — порция стоила одну сэну[2]. Иногда я тоже ходил в эту харчевню, когда в кармане заводилась мелочь. Покупателями в основном были дети. Они обычно выстраивались в длинную очередь. Японские дети чаще всего выталкивали меня из очереди и становились впереди. «Ты, кореец! Твое место в самом конце»,— насмехались они. Бывало, я бесконечно долго стоял в очереди, судорожно зажав в кулаке единственную сэну.

Когда я перешел во второй класс начальной школы, мою корейскую фамилию Ким поменяли на японскую Канаяма. Вначале я никак не мог к этому привыкнуть, и когда учитель вызывал меня к доске, не сразу соображал, что он обращается именно ко мне, чем вызывал хохот всего класса. Вернувшись из школы домой, я нередко глядел на себя в зеркало и мысленно спрашивал: «Так кто же ты такой на самом деле?» Конечно, получив японскую фамилию, я вроде бы стал полноправным японцем, и мне было приятно сознавать, что теперь ребята в школе не посмеют надо мной издеваться. Наверно, поэтому отец и переменил мою фамилию на японскую.

Когда я приходил после занятий домой, мать сразу же отправлялась на работу, и мы оставались вдвоем с младшей сестрой. Правда, без дела мы не сидели: часто приходилось помогать отцу собирать старье.

Потом мы переехали в Нагасаки, где отец стал работать на стройке. Я окончил пять классов, но в среднюю школу второй ступени не пошел, а нанялся на работу учеником землекопа.

В тот день мы рыли противовоздушные щели. Помню, прораб послал меня в муниципалитет по какому-то делу. Выполнив его поручение, я пошел к станции. Внезапно все вокруг будто вспыхнуло. От яркого света я зажмурился. В следующий момент меня сбило с ног и отбросило в сторону.

Когда я пришел в себя и открыл глаза, я увидел странно покосившиеся дома, груды черепицы и стекла на дороге. Вокруг царила тишина. Я ощупал себя и убедился, что лицо у меня в крови. Кровь стекала и по рукам. Я снял с себя рубаху, разорвал ее и обмотал голову и руки. Попытался двинуться вперед, но чуть не закричал от боли. Наверно, вывихнул ногу. Я подобрал валявшуюся поблизости палку и, опираясь на нее, медленно пошел туда, где мы рыли щели

Вскоре навстречу стали попадаться люди. Их становилось все больше. Но какой у них был вид! Ободранные, почерневшие, окровавленные — они брели с остановившимся взглядом, словно привидения, вытянув вперед руки. У одних на голове не осталось ни единого волоска, у других кожа клочьями свисала с лица, а глаза буквально вылезали из орбит. Они шли, ничего не видя вокруг, обходили меня, словно неодушевленный предмет.

Вдруг ко мне подскочил человек, лицо которого настолько обгорело, что невозможно было на нем различить ни носа, ни глаз.

— Канаяма, это ведь я, Судзуки, неужели не узнаешь меня? — закричал он. Это был тоже кореец, сменивший свою фамилию на японскую. Мы учились с ним в одной группе. Он относился ко мне с презрением, поскольку я был среди отстающих. В ту пору я его просто ненавидел, а сейчас встретил как лучшего друга. Он был очень слаб и едва держался на ногах. Я взял Судзуки под руку, и мы поплелись, насколько позволяли силы, вслед за другими в сторону Ирабаяси.

Судзуки рассказал, что его ранило близ завода Мицубиси. Школьную форму и фуражку он скинул. Все его тело было в страшных ожогах. Видимо, он стал терять зрение, потому что приговаривал: «Как темно! Неужели уже ночь?»

Наконец мы добрались до школы, зал был переполнен. Многие лежали на полу. Я пристроил Судзуки в уголке, рядом с женщиной, судорожно прижимавшей к груди младенца, голова которого была рассечена глубокой раной. Со всех сторон доносились стоны. Кто-то кричал: «Воды, пожалуйста, воды!» Мне и Судзуки смазали ожоги зеленкой. Потом меня долго рвало. Совершенно обессилев, я свернулся калачиком на полу и замер. В полусне я услышал, как кто-то по-корейски просит воды, но я не в силах был шевельнуться и с неожиданно закипевшей злобою глядел в потолок.

Отец часто говорил: «Уж если суждено быть бедняком, так лучше у себя на родине. И если суждено погибнуть в этой войне, так лучше на родной земле Кореи». Теперь мне кажется, что именно так думали тогда все мои соотечественники, кого насильно пригнали из Кореи в Нагасаки на завод Мицубиси.

Когда над нами навис атомный гриб, не разбирали, кто японец, а кто кореец. От одного человека, который находился в лагере военнопленных в Нагасаки, я узнал, что жертвами атомной бомбы стали и пленные американцы, и англичане. Все были равны в тот миг, когда на них свалилась эта бомба. Те, кто не сильно пострадал, помогали тяжелораненым. Тогда, в нашей школе, мне тоже оказали первую помощь японцы — учителя и медсестры.

Но было и другое. В ту пору на предприятиях компании «Мицубиси дзюкогё» работало около трех тысяч корейцев, насильно пригнанных из Кореи. Кто-то пустил слух, будто они готовят нападение, и штаб сухопутных войск в Нагасаки приказал приготовиться, чтобы встретить их пулеметным огнем. Похоже, те, кто привык унижать других, среди всеобщего смятения насмерть перепугались нависшего над ними призрака возмездия униженных. А на самом деле чуть меньше половины корейцев, работавших на заводе Мицубиси, стали жертвами атомной бомбы. А двести сорок человек, оставшихся в живых, попытались, когда война окончилась, вернуться на маленьком суденышке на родину, в Корею, но попали в тайфун и все до одного нашли смерть в морской пучине.

Вспоминаешь все это — и не можешь удержаться от горькой усмешки: японцы нас унижали, а вот атомная бомба нет.

[1] Блины с овощами.
[2] Сотая часть иены.

Она убивала всех подряд, без всякой дискриминации. И поныне многие корейцы страдают от последствий атомной бомбардировки.

Так пусть же наступит мир, где никогда не унижают человека! Мир без атомных и водородных бомб, которые убивают солдат и младенцев, друзей и врагов, людей и все живое — всех без разбора.

(Из «Свидетельств из Нагасаки».)

Крест на всю жизнь

Потерявшая родителей девочка с келоидом на лице, которую поместили в лагерь для бездомных детей в Хиросиме, писала своему учителю — бывшему воспитателю лагеря.

С тех пор как мы с Вами расстались, минуло десять лет. Многое мне пришлось испытать, за эти годы. И все же самое страшное — это атомная бомбежка. Тот день наложил отпечаток на всю мою жизнь.

Среди всеобщих страданий и хаоса, в которые оказалась ввергнута Япония после войны, я чувствовала себя как в аду и каждый день рыдала, не зная, куда обратиться за помощью, кому пожаловаться на свою судьбу.

Маленькие дети, которым неведомы ужасы атомной бомбежки, завидев меня, убегают с криком: «Черт идет, черт идет!» И я, плача, гонялась за этими детьми так, будто в меня действительно вселился черт. В такие минуты я завидовала погибшим. Безутешно рыдая, я возвращалась домой и изводила мать криками: «Лучше бы меня убили, лучше бы меня убили!» Страдания таких, как я, были страшнее самой смерти. Но жизнь входила в свою колею, и я понемногу стала успокаиваться, понимая, что ничего изменить уже нельзя, сколько ни мучайся, ни переживай и ни плачь...

Выход один — самой постараться переломить свое настроение. Но ведь это не такое простое дело, да и сам процесс чрезвычайно болезненный.

Я окончила школу и выбрала специальность телефонистки, так как считала, что для такой несчастной девушки, как я, наиболее подходящая работа, когда никто твоего лица не видит, а слышит только голос. На этой работе у меня не будет причин стыдиться своего изуродованного лица, а значит, не придется горевать, думала я. И вот уже четыре с половиной года я работаю телефонисткой. Наконец я познала истинную радость жизни. Мои надежды сбылись, и я каждый день испытываю благодарность за то, что мне предоставили эту работу.

На службе все ко мне относятся благожелательно. У меня появились друзья, которые помогли мне преодолеть мрачное настроение. Конечно, иногда меня охватывает грусть, но с кем этого не бывает. Я очень полюбила свою работу и стараюсь всю свою душу вкладывать в голос — главное орудие моей специальности.

Немало в Японии юных жертв атомной бомбы — таких, как эта девушка-телефонистка. Им выпала судьба всю жизнь нести тяжелый крест. И все же они живут, стараясь не сгибаться под его тяжестью. Но ох как тяжел этот крест! Один лишь келоид способен превратить человеческую жизнь в немыслимый ад!

Меч, который Америка подняла над Хиросимой и Нагасаки, сейчас навис над всем человечеством: теперь он столь мощен и страшен, что может многократно погубить всех людей на земле. О том, сколь ужасающие бедствия он принесет человечеству, нельзя справедливо судить, закрывая глаза на трагедию Хиросимы и Нагасаки, на страдания жертв атомной бомбы. Трагедия этих двух городов не окончилась тридцать с лишним лет назад — она продолжается по сей день.

Прикасаясь к имени погибшего друга

Холодным декабрьским вечером я вновь, спустя двадцать с лишним лет, стоял у входа в родную школу. Я прибыл в Хиросиму, чтобы подготовить встречу членов Токийской ассоциации пострадавших от атомной бомбы, которые намеревались приехать сюда впервые с тех пор, как они покинули этот город. За четверть века многое изменилось, и я решил сначала сам посетить те места, куда поведу потом остальных. Вместе со мной был работник секретариата Ассоциации Одзима...

Мы молча стояли перед памятником, с трудом различая в сгущающейся тьме выбитые на нем имена. Я снял перчатку и провел ладонью по именам — именам своих школьных товарищей. Многим из них не исполнилось и пятнадцати лет, когда они сгорели в адском пламени атомной бомбы, облетели, словно листья с деревьев. Мне рассказывали, как мои сверстники, выбравшись из Хиросимы, попросили в медпункте сначала оказать первую помощь детям и женщинам, а сами, взявшись обгорелыми руками друг за друга, запели нашу школьную песню и умирали с ее словами на устах...

Я тихо касаюсь пальцами высеченных на памятнике имен моих школьных товарищей.

Такахаси Кадзутоси. Здоровый и ласковый парень. Помнишь ли, как в дни, когда заводу не давали электричества, мы с тобой уходили в горы и под гитару — тогда она была в новинку! — пели «Кто-то забыл свою родину». Ведь это ты говорил: «Надо больше думать о других, чем о себе».

Тэраока Кодзи. Каждое утро ты всегда заходил за мной по дороге в школу Ты не любил занятия по военному делу, но когда тебя стал избивать старшеклассник. ты не распустил нюни и тоже смазал ему по физиономии.

Мацуда Такума. Ты был выдающейся личностью в нашем классе. Помню, как ты обрадовался, когда мы решили выпускать

литературный журнал. У тебя были добрые глаза.

Я проводил пальцами по их именам, и мне начинало казаться, что мои школьные друзья поднимают над памятником свои остриженные наголо головы и кивают мне.

Пока я предавался воспоминаниям, в спортивном зале зажглись огни и послышались веселые, возбужденные голоса школьников. Я проводил пальцами по именам сверстников и в то же время прислушивался к молодым, оживленным голосам, доносившимся из спортивного зала. И я подумал, что гибель моих школьных друзей не прошла даром.

Дети, которые не погибли тогда, и дети, которые родились после,—они живут и учатся здесь, живут, преодолев неописуемые физические и душевные страдания, которые им пришлось испытать после того, как была сброшена атомная бомба. *Живут*, не сломленные трудностями, выпавшими на их долю. Но ведь и мои погибшие школьные друзья тоже хотели жить... Вот какие мысли приходили мне в голову, когда я прислушивался к веселым голосам юношей, доносившимся из спортивного зала.

И еще я думал о том, что сам остался в живых, и какая это ценность — жизнь, и сколь нужен мир, чтобы ее сохранить, и сколь страшна атомная бомба, которая этот мир разрушает. И я решил: отныне и всегда буду говорить людям об этом.

И есть, есть среди нас люди, которые прислушиваются к словам правды и воспринимают просьбы, требования пострадавших от атомной бомбы как свои собственные. Среди них и Одзима, стоящий сейчас рядом со мною, и многие-многие юноши, которые не испытали ужасов атомной бомбы, но всегда готовы поддержать пострадавших от нее.

В марте 1954 года во время испытаний американской водородной бомбы был нанесен ущерб рыболовной шхуне «Фукурюмару-5» и погиб Кубояма Айкити. С тех пор японский народ развернул широкое движение за запрещение атомной и водородной бомбы. Это движение, несмотря на препятствия и раскольническую деятельность, не прекращается по сей день, и многие люди, узнавая правду из уст пострадавших от атомной бомбы, продолжают поднимать голос за запрещение этого бесчеловечного оружия. Их голоса нашли отклик в сердцах людей всего мира, которые выступили в поддержку этого движения. Оно отражает чувства простых людей, всего человечества, его волю к сохранению жизни и надежду победить, невзирая ни на какие трудности.

Ядерное оружие создано руками человека. И руками человека оно должно быть уничтожено. Ничего невозможного в этом нет. Голоса сторонников запрещения ядерного оружия раздаются во всем мире. И если они смогут с помощью своих демократических систем удержать за руки тех, кто правит, атомное оружие будет обречено на исчезновение. И, напротив, если Хиросима и Нагасаки будут преданы забвению, если хиросимская и нагасакская трагедии будут представлены в искаженном свете, неизбежно наступит день, когда человечество будет вынуждено их снова вспомнить. Вот о чем мои погибшие школьные товарищи говорили мне, а через меня юношам новых поколений — всем тем, кто не испытал ужасов атомной бомбы.

Внезапно я ощутил, как мои замерзшие пальцы, которыми я ощупывал имена погибших, стали наливаться теплом.

«Учить — значит вселять надежду. Учиться — значит впитывать правду». Это слова французского поэта Луи Арагона из его «Песни Страсбургского университета».

Повествуя о трагедии Хиросимы и Нагасаки, я не ставил своей целью посеять в людях отчаяние. Я хотел, чтобы молодое поколение узнало от пострадавших от атомной бомбы, которые, преодолев страдания, продолжают жить, сколь драгоценна человеческая жизнь. И если оно, молодое поколение, поняло смысл жизни не только для себя, но и ради существования человечества, значит, оно сумело преодолеть отчаяние.

Жизнь в атомную эпоху, в которую вступило человечество, полна трудных испытаний. И для нас остается только один путь — вперед, к будущему, преодолевая разочарования. Это тернистый путь, но в то же время это путь к новому, к созиданию. И ради собственной жизни, ради своих детей, ради любви ко всему человечеству без различия рас и государств мы пойдем по пути созидания мира, в котором не будет места ядерной бомбе.

◆

ЧЕМ ЖИВ ПИСАТЕЛЬ

Французские зарисовки: интервью нашего специального корреспондента ЕВГЕНИИ СТОЯНОВСКОЙ

«Ecoute, s'il pleut...» [1]

Арман Лану [2]

Обычно я очень долго работаю над своими романами. Приступаю к писанию лишь после того, как обдумаю всю основную линию и полностью уясню для себя содержание: я часто повторяю, что роман нужно крепко держать в руках.

Сейчас я размышляю — будучи гостем в вашей редакции, я об этом рассказывал — над романом о жизни моей бабушки. Молодость ее пришлась на 80-е годы прошлого века. Она была родом из Труа, традиционной области трикотажного производства, работала ткачихой и мечтала вырваться к «другой жизни». В Труа познакомилась с солдатом-фехтовальщиком, тренером по фехтованию, отправилась вместе с ним в Париж и поселилась на Монмартре. Это было в разгар всеобщего увлечения французским канканом, вальсами; бабушка выучилась и танцевать, и фехтовать. Потом она стала портнихой, точнее, корсетницей — специальность, которая сейчас почти исчезла. С дедом они прожили много лет; он давал уроки фехтования, а она шила корсеты и платья.

Довольно скоро бабушка поняла, что обеспечить себе клиентуру во Франции нелегкое дело — рынок предметов роскоши держали в своих цепких руках несколько крупных фирм, практически они никого к нему не подпускали. Тогда вместе с мужем и малолетней дочерью — моей матерью они уехали в Соединенные Штаты. Там дела семьи пошли в гору. Бабушка шила корсеты, платья и театральные костюмы для актрис драмы, мюзик-холла и эстрадных ревю, а дед продолжал давать уроки фехтования. Друг с другом, судя по тому, что я знаю, они ладили плохо, нередко случались бурные ссоры. Бабушка была более крепкого закала, чем ее фехтовальщик, она была гораздо более сильной натурой и в конце концов «подавила» мужа.

Когда моя мать выросла, она встретила земляка, родом из тех же мест, что и они сами, из Шампани близ Шато-Тьери. Подобно многим другим эмигрантам из Франции, работавшим здесь метрдотелями, поварами и т. п., он служил в гостинице. Они поженились и в 1912 году вернулись во Францию. Я родился в октябре 1913 года, а бабушка возвратилась на родину как раз в тот момент, когда началась война; ей надоело жить в Америке, а главное, наскучило жить в одиночестве, тем более что она так и не выучилась как следует говорить по-английски. Вот отправной пункт истории, которую мне хотелось бы рассказать.

Загвоздка в том, что, хотя я и помню бабушку, для романа-биографии мне не хватает фактического материала. Когда я подрос настолько, чтобы задавать ей вопросы, я этого не сделал, и теперь мне недостает многих конкретных данных, многих подробностей. Удастся ли сейчас восполнить недостающее воображением, тем, что Арагон называет «выдуманной правдой»? Пока я еще не нащупал верную тональность. Вот уже несколько лет бьюсь над этой проблемой. В последнее время мои мысли целиком поглощены ею, настолько, что все это мне даже во сне снится. Когда я ее решу, напишу роман очень быстро, он пойдет сам собой. Но надо найти ключ...

А еще я мечтаю написать биографию Флобера, но приняться за нее смогу

Окончание. Начало см. в № 8, 9, 1982 г.

[1] «Послушай, не идет ли дождь» *(франц.)* — название виллы Армана Лану в Шан-сюр-Марн, под Парижем.

[2] Арман Лану — Генеральный секретарь Академии Гонкуров.

только после того, как завершу роман. Вообще в своей литературной работе я строго следую намеченному плану и по этой причине работаю медленно и публикую мало. Правда, за период обдумывания романа у меня вышел сборник стихотворений и кроме того я закончил беллетризованную биографию другой женщины, жившей в ту же эпоху, что и моя бабушка,— Маргерит Стенэль — возлюбленной президента Феликса Фора. (Между прочим, Феликс Фор был первым президентом Франции, которого принял русский царь. Их встреча положила начало франко-русскому сближению. Как раз в этот период Маргерит Стенэль была фавориткой, маркизой Помпадур президента III республики.) Я рассказал ее биографию, тут в моем распоряжении было достаточно документов, и домысливать пришлось немного; эта книга уже закончена и скоро выйдет из печати.

Как видите, спать мне не дают проблемы профессионального характера. Вопросы всеобщего мира, угрозы войны в силу профессионального эгоизма отступают на второй план. Недавно на заседании Обществ СССР — Франция и Франция — СССР — вы знаете, что я довольно активно участвую в его деятельности,— обсуждались проблемы мира и войны. Мы рассмотрели различные гипотезы возникновения тотальной ядерной войны, в том числе гипотезу внезапного развязывания войны по вине какого-нибудь одержимого или психически больного. То есть, если вдруг кто-то нажал бы на кнопку и на мир обрушилась бы ядерная катастрофа. Другая гипотеза — сейчас ее усердно распространяют на Западе, у всех она, кстати, вызывает ужас — это концепция пресловутой «ограниченной войны», которая будет якобы вестись «традиционными средствами». В ходе заседания мы обсудили самые разные предположения. Одно из них — если бы грядущая война разразилась, вряд ли она могла бы вестись традиционными средствами, с неизбежностью она приняла бы тотальный характер. Я заметил, что необходимо рассмотреть и предположение, что третьей мировой войны не произойдет. Как будут тогда обстоять дела в мире? Если конфликт выливается в форму, например, «холодной войны», тогда мир выглядит как своего рода вариант войны — конечно, насилие — в меньших масштабах, менее разрушительными средствами, однако конфликт остается конфликтом... Все это весьма волнует многих на Западе и меня, в частности. При этом, размышляя о будущем, превыше всего мы озабочены тем, как сохранить в неприкосновенности независимость своих стран.

Соображения по этому поводу высказывались и обсуждались в ходе этой дружеской встречи. Я говорил о том, чего опасаются французы. Будущее покажет, оправданны ли их страхи...

Должен вам сказать, что я не политик, не слежу за развитием политических событий, как это делают журналисты-международники. Мои интересы лежат не в области политической повседневности, а скорее в сфере философии политики. Предмет ее простирается на гораздо более продолжительные сроки, он не привязан строго к событиям сегодняшнего дня. Высказываться по поводу текущих событий мешает и недостаточная информированность. Впрочем, будь я и лучше информирован, я все равно не мог бы знать, что на самом деле происходит, например, в голове Рейгана,— вряд ли кто-нибудь в состоянии по-настоящему проникнуть в смысл его рассуждений...

Повторяю, мои размышления касаются скорее философии истории. В этом смысле противоборство двух идеологий, двух стилей цивилизации следует рассматривать более широко. Я считаю, что Франции, стране Великой революции и Коммуны, гораздо ближе советская политическая линия и советская цивилизация.

Склоняясь к советскому, а не американскому типу культуры, я тоже исхожу из гораздо более устойчивых критериев, чем соображения сиюминутно-злободневного порядка. Здесь не могут играть роль ни те, а не иные результаты только что прошедших выборов во Франции, ни сегодняшние заявления в печати того или иного министра иностранных дел... Американская цивилизация нам чужда, я, например, чувствую себя далеким от нее. И я остро ощущаю, как бы это сказать, навязывание нашей культуре американского образа мыслей, более чуждого французскому духу, чем советский. Угроза американской сателлитизации Европы мне кажется довольно серьезной.

Советской культуре лишь ценой немалых усилий удается открывать для своих писателей путь к французскому читателю, тут нет и близко того напора, который осуществляют американцы. Нет никакого сравнения.

Вы, наверно, знаете, что я состою членом Комитета французского языка, облеченного высокими полномочиями. В рамках деятельности этого комитета приходится сражаться с растущим засилием английского языка. Американцы — несравненно сильнее, чем англичане,— через свою прессу, песни, фильмы воздействуют на французскую молодежь, так что иной раз даже закрадывается мысль, нет ли тут целенаправленной кампании. Это очень серьезно. Серьезнее, может быть, чем проекты американских штабов или их политического мозгового треста. При том, что я лично сомневаюсь, чтобы у американцев была отчетливая программа на этот счет. Ведь капитализм — это прежде всего отсутствие порядка. Это всеобщий хаос, отсутствие общих руководящих идей. Не думаю, чтобы тут был осмысленный план. Просто, увы, я наблюдаю общую тенденцию — человечество идет к цивилизации потребления, к культу никому не нужных и все новых товаров, пропагандируемых рекламой, к легко доступ-

ным развлечениям, на приманку которых быстрее всего попадает молодежь.

Вот именно в этом, заметьте, именно в этом направлении, я не говорю во всем, я одобряю линию министра культуры месье Лана и президента Миттерана, их последовательные усилия остановить проникновение во французскую культуру американских влияний, в частности эстрадной песни и фильмов. Эти проблемы нашей современной действительности меня тоже волнуют. Когда министр культуры месье Лан отказался присутствовать на форуме американских кинематографистов, он, сам того не зная, действовал в том же направлении, что и я, когда, приняв предложение участвовать в работе жюри фестиваля американских фильмов, созданного лет десять тому назад, я вышел из него ровно через один год. Значит, и я, и он рассуждаем сходным образом.

На мой взгляд, происходит не просто американизация, но внедрение, хотя не скажу, что оно осуществляется систематически. Скорее нечто вроде эпидемии — слишком много было бы чести утверждать, что в американском образе действий можно усмотреть систему. Поверьте мне, мистер Рейган неспособен к масштабному концептуальному мышлению. Мистер Никсон был способен. Мистер Кеннеди тоже. А другие нет.

Эскалация насилия? По-моему, это опять же — порождение системы. Не зря ведь говорится, что у капитализма нет головы. Не помню, не ленинская ли это мысль... Я бы назвал феномен насилия порождением экономико-социальных условий.

Первая причина — стремительный рост населения планеты. Чем больше увеличивается население и усугубляется его скученность, тем шире распространяется насилие. Представьте себе на минуту стадо любых животных, собранных в чрезмерном количестве на одном квадратном километре,— среди них тоже возникнут тенденции к насилию и самоуничтожению.

Другая — в специфике проблем, связанных с обилием перенаселенных мест обитания. Такая ситуация создает социальные предпосылки для организации банд, то есть для возрождения мировоззрения, свойственного примитивным обществам. Об этом свидетельствуют и многие другие примеры, вспомните хотя бы общественный климат, сложившийся в период завоевания американцами Дальнего Запада в XIX веке, когда насилие стало бытом. Оно сделалось настолько привычным, что даже сегодня попытки запретить американскому гражданину носить оружие воспринимаются им как наступление на его свободу. Для него это ущемление основных гражданских прав. Иными словами, право на ношение оружия составляет для американцев неотъемлемый элемент жизни.

Итак, с одной стороны, обнищание, с другой — перенаселенность. Чем тут можно помочь, это уже иной вопрос. Терроризм в наши дни — это чаще всего насилие, поставленное на службу политических сил, недостаточно многочисленных, чтобы обеспечить себе главенство. Насилие стало системой политического действия реакционных сил общества — идет ли речь о Западной Германии с бандой Баадера или Италии с ее «красными бригадами». Оно вербует себе сторонников, эксплуатируя благородные побуждения молодежи. В восемнадцать лет лишь немногие способны подключить к своим порывам контроль разума,— а за внешней видимостью иных благородных побуждений нередко скрывается фанатизм — это явление довольно распространено, к несчастью. Боюсь, тут, к сожалению, нечем помочь. Естественный враг всякого насилия — здравый смысл, разум, а как вы знаете, к великому нашему огорчению, количество разума в мире не увеличивается с математической неуклонностью. И тот факт, что численность человечества превышает уже четыре миллиарда, вовсе не означает, что люди стали вдвое разумнее, чем в то время, когда их было два миллиарда. Увы, это не так...

Что может зависеть от установок культуры? Цель ее — запечатлевать, исследовать тенденции развития общества, помогать человеку осмыслить свои возможности, вооружить его этическими ориентирами. Западная культура весьма мало стремится воспитывать людей с помощью разума. Многие ее деятели сегодня ограничивают свою задачу отображением мира таким, каков он есть.

Не знаю, следили ли вы за недавней дискуссией на французском телевидении в связи с передачей прямых репортажей с улиц Манилы; общественное мнение было потрясено и шокировано документальным фильмом, показавшим детскую проституцию. Это был честный и точный фильм. Смотреть его было тяжко, почти невыносимо. Какова в данном случае роль культуры? Представить в смягченном виде подобные явления, затушевав их самые страшные стороны, или же, напротив, давать предельно объективную информацию? Ответ не столь очевиден, как могло бы показаться на первый взгляд.

В принципе я высказался бы за второе, однако не берусь утверждать, что такой подход хорош в любых случаях. И внутри французского общества он годится не для всех социальных слоев, то есть я имею в виду не социальный слой в собственном смысле, а различия в образе мыслей у разных людей. Тут нужно действовать с выбором. Показывая картины насилия, можно помочь выбить из-под него почву, но есть и опасность, наоборот, способствовать его популяризации. Умолчание, с другой стороны, ведет к духовному застою, оказывает на общество парализующее воздействие. Убаюкивая общественное мнение, культура утрачивает тем самым свою истинную роль. Короче говоря, обнажать зло — трудное дело; если говорить *обо* мне самом, есть темы, за которые я лично не смог бы взяться. Так что мои размышления в данном случае носят

умозрительный характер, я рассуждаю вообще — как гражданин, как человек. Сам я и рамки проблем, близких мне, гораздо более узки, по личной склонности я гораздо более, так сказать, моралистичен. Но это уже индивидуальная особенность. Это связано с характером моих индивидуальных писательских представлений.

Пожалуй, в связи с нашим с вами обсуждением этой проблемы я бы вспомнил о дискуссиях по поводу положительного героя, которые велись в вашей стране лет пятнадцать назад. В отличие от многих моих французских коллег, меня это понятие вовсе не шокирует. Я даже склонен думать, что некоторые персонажи моих книг встретили понимание и любовь со стороны советских читателей именно потому, что они — положительные герои. Надеюсь, впрочем, что это не единственное их достоинство. В целом идея положительного героя мне не чужда, хотя значительная часть французской интеллигенции ставит под сомнение и самую постановку вопроса, порой заявляя по этому поводу невесть что и невесть где,— каждый ведь имеет право говорить, что ему вздумается. Хотя я думаю, что пользоваться им уместно только в эпоху устойчивого мира. В эпоху, над которой не висит угроза войны или социальных переломов. Такие эпохи очень редки, во всяком случае наша не такова...

На вопрос ваш о главных решениях в жизни нужно ответить в том же широком плане, в каком он был вами сформулирован. В принципе человек принимает не так уж много решений в течение своей жизни. Вот я, например, приближаясь к семидесяти годам, не могу сказать, что проблема серьезного выбора возникала передо мной слишком часто. Даже в чисто профессиональном плане нечасто возникает ситуация, ставящая перед необходимостью решать. Я думаю, чаще над нами властвуют силы общего порядка и обстоятельства, от которых мы не можем уклониться.

Моменты, когда я должен был принимать решение... До войны я жил в относительной бедности. К тому времени, когда я получил наконец место младшего учителя начальной школы, успел перепробовать немало профессий. Казалось, теперь мог бы рассчитывать на спокойное, обеспеченное существование. Но я знал себя, свою непоседливую натуру и понимал, как трудно мне будет смириться с буднями учительского существования, с размеренным ритмом школьной жизни, где нервы призваны выполнять роль электрических предохранителей. Да, именно электрических предохранителей: прочных предохранителей, способных выдерживать сильные перегрузки, у меня не оказалось. И я сказал себе, что это нелепость, что никогда мне не быть учителем, даже если и удалось какое-то время справляться с этой работой. И не плохо справляться.

В итоге я решил уйти из школы.

А вскоре меня призвали на военную службу. Образованный молодой человек, которому наскучила жизнь, заполненная рутиной школы, очутился в частях, расквартированных в восточной Франции. Там тоже все ему было не по нраву — ни солдатская служба, ни армейские порядки.

Вот тут мне вновь пришлось принимать решение. С одной стороны, руководили соображения политического порядка, в то время меня уже привлекали идеи социализма. В частности, ленинское положение о том, что, если ты получил возможность поучиться у буржуазии владеть оружием, не упускай ее, не пренебрегай этой возможностью [1]. Но эти доводы, как бы вам сказать, они скорее были попытками убедить самого себя. На самом деле претила мысль о солдатской службе, да еще на долгое время. Это уж меня точно не привлекало.

И вот я стал офицером. Выдержал очень трудный конкурс: на одно место в офицерском училище приходилось примерно двадцать кандидатов. Окончил училище — и вновь та же проблема, что и при поступлении в армию. Шел 1935 год. Мне было объявлено, что, если я желаю остаться в армии, надо поступать в Сен-Сир, раз попал в офицерское училище, сумею попасть и туда, стану профессиональным военным. И тут я сказал «нет». Твердое «njet». В 1935 году я еще не думал о приближении войны, просто не хотел становиться кадровым офицером. И отказался.

После демобилизации меня ждала безработица. Я отказался быть учителем, отказался быть офицером. Занялся журналистикой и перебивался, как мог, до 1939 года. Притом — заметьте, ни разу не пожалел о своем уходе из армии.

Вот и все решения, которые поначалу мне пришлось принять. Как видите, до 1939 года их было только два. Два момента, когда молодому человеку нужно было действовать на свой страх и риск, ибо ваш вопрос в сущности сводится к вопросу о свободе выбора.

В какой мере мы можем быть ответственны за свою судьбу? Чаще всего люди просто отвергают открывающуюся возможность — и этим решают свою судьбу. Другие пассивно принимают то, что предлагает им жизнь. Есть и такие, кто активно ищут свой путь, добиваются задуманного. Мне свойственно первое, то есть последовательно негативная позиция.

Я воевал и старался воевать как можно лучше, ибо быстро понял, что сражение против Гитлера — не просто рядовая война, потом я объяснил это в «Майоре Ватрене», в этом смысле книга была автобиографичной.

Один из вопросов, вставших передо мной потом, возник, когда я оказался в плену. Я знал, что ряд людей, чьих взглядов я не разделял и с кем не мог в тот момент контактировать, стреми-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30. «Военная программа пролетарской революции», с. 137—138.

лись вызволить меня из лагеря и вернуть на родину. С другой стороны, мои друзья по лагерю активно готовились к побегу. Следовало ли мне присоединиться к ним, зная, что в условиях немецкого лагеря для военнопленных шансы на успех составляли едва ли два на тысячу?

При этом мне было известно, что моя семья тоже хлопочет о моем возвращении во Францию. И я решил не участвовать в подготовке к побегу, правда, приложил все усилия, чтобы помочь друзьям в их попытках; все они потерпели неудачу, кроме двух, впоследствии оба они стали генералами, один — генерал Ален Буасье, зять де Голля, имя другого я сейчас не могу вспомнить, бежали они незадолго до гитлеровского вторжения в Советский Союз, и их путь пролегал через Прибалтику и Советскую Россию.

Мне и теперь случается размышлять над вопросом, прав ли я был тогда. Вдруг мне повезло бы с побегом? Но кто мог бы за это поручиться? Даже много позднее я не был в этом уверен...

Итак, мне удалось вернуться во Францию. Вы тут смотрели у меня наверху мои живописные работы, примерно так я писал в те годы. Но после всего, что я перевидал на войне, я больше не хотел писать подобные картины. Даже если такая манера действительно была для меня органичной, она не соответствовала впечатлениям, которые я вынес с войны. Так я стал писателем: то, что я собирался рассказать, что требовало выхода — я имею в виду жизненный опыт военных лет,— не могло обрести его в картинах, живопись моя для этого не годилась, нужно было придумать что-то другое.

И я стал писателем — не из потребности таланта, а по сознательному выбору. Это было мое четвертое важное решение. Конечно, были еще и другие, позднее пришли проблемы семейного характера. И тут тоже требовалось принимать решение, но в общем, должен признаться, обычно стараюсь выждать, пока события сами не подскажут единственно возможный вариант — я предпочитаю ждать, а не предлагать свой. Как видите, я не любитель испытывать судьбу.

Правда, когда невозможно поступить иначе, не прячусь и не уклоняюсь. Я только хочу сказать, что такая необходимость настигала меня редко, пожалуй, не больше десятка раз за всю жизнь,— у других людей, я думаю, дело обстоит примерно так же, ведь в действительности нам редко выпадает возможность осуществить то, что мы называем свободой воли. Не так уж мы свободны, не так уж щедро жизнь позволяет нам в самом деле распорядиться своей судьбой. Во всяком случае, я не Наполеон, и ничего тут не поделаешь. Быть может, литературные герои куда больше, чем создавший их автор, наделены правом на свободный выбор, да и то...

Поведение майора Ватрена определяется социальной средой, где он вырос, профессией офицера. И если к концу жизни он становится убежденным противником войны, значит, что-то в нем незаметно для него самого изменилось и он уже не тот, кем был прежде; в то же время лейтенант Субейрак, антимилитарист и антагонист героя книги, оправдывает войну против Гитлера. Так что в конечном итоге и тот и другой что-то взяли от автора...

А вот герой «Пчелиного пастыря» стал героем по своей воле (реальным прототипом этого персонажа был каталанский революционер). Он — член коммунистической партии и живет убеждением, что даже если ты совсем один, ты в себе одном представляешь партию всю целиком. Если все связи с миром порваны, твое сознание отражает сознание всей партии. Вот это подлинный положительный герой.

Повествование ведется от лица художника Э. В его взглядах на живопись можно обнаружить немало черт, свойственных мне самому. Это сомневающийся, колеблющийся человек, раздираемый между двумя путями: вступить в ряды коммунистов, при том что его собственные либеральные взгляды находятся в противоречии с их платформой? Присоединиться ли ему, испанцу, к воюющей французской армии? В конце концов он делает свой выбор, но без настоящей убежденности. Люди, не ведающие колебаний, очень редки. В особенности склонны к рефлексиям интеллектуалы.

Вехи духовного возмужания? Большое влияние на меня оказали книги. Особенно сильное впечатление на меня обычно производили книги о войне. И в моем собственном творчестве военная тема занимает важное место, тут я не виноват: сам я всегда был антимилитаристом. Но, как видно, к этому у меня призвание, военные вещи мне в самом деле удавались: писал я о Клаузевице, о Макиавелли...

Вспоминаю одно знакомство з пору своего отрочества — мне шел четырнадцатый год, может быть пятнадцатый. Жил я в ту пору в Иль-де-Франс, совсем близко от дома, где мы сейчас беседуем. В шести километрах отсюда жили мои родители. Это было наверно... в 1927 или 1928 году. Среди людей, близких моему отцу, был юноша — наборщик из типографии. Он был коммунистом. В те годы я уже начал слегка интересоваться политикой — в самом общем плане. Должен вам сказать, политическая игра, как таковая, никогда меня не привлекала, выборы, депутатство наводят на меня скуку, я чувствую себя совершенно неспособным всем этим заниматься. Я не мог бы стать активным членом партии, потому что не люблю дисциплину, словом, в этом отношении по сравнению с тем, что я представлял собой в пятнадцатилетнем возрасте, я вряд ли сильно переменился.

Я часто беседовал с этим наборщиком и привязался к нему. Как-то раз он дал мне книгу, которая сыграла особенную роль в моей жизни. Это была «Мать» Горького. После того как я ее прочел, я был уже не тем, кем был раньше.

Я до сих пор помню, как поразила меня жизненность горьковских персонажей. Мать, сын — совершенно живые лица. Мотивы деятельности агитаторов, которых мне доводилось в ту пору встречать в пригородных поездах, оставались мне непонятны. Я находился примерно в положении матери в начале книги. Вы, конечно, помните роман Горького. Мать учится читать ради того, чтобы понять мысли сына и разделить их, чтобы быть ему близкой. Нечто в этом роде испытал и я.

Мне хотелось понять, чем занимались молодые люди, бескорыстно отдававшие большую часть своей жизни делу, которое не сулило им никакой личной выгоды, не улучшало их материального положения. Чем они руководствовались в своем идеализме? Книга Горького объяснила мне это, и объяснила очень убедительно.

В этот период я много ездил в пригородных поездах сначала в школу, а затем в разные учреждения, где проходил обучение, в частности в банк — я служил в банке, прежде чем стал учителем. По утрам я видел людей, вставших на заре, и понятие о существовании класса, эксплуатируемого другим классом, складывалось у меня одновременно и из дорожных впечатлений, и из книги, которую я читал. Она была непосредственным отражением жизни, которую я наблюдал. Значит, есть достаточно полное совпадение между произведением писателя и действительной жизнью, так что можно сверить одно с другим. Из-за болезни отца и его смерти мне пришлось довольно скоро оставить школу, и я автоматически влился в поток этих людей. Я походил на свою бабку — не на тех, кто заранее смиряется с поражением. Я не хотел быть побежденным. И это я нашел в книге Горького. Литературные достоинства романа я сумел понять позднее. Персонажи, содержание, точность описаний представляли для меня тогда большую ценность, чем авторская манера. Оценить Горького как художника мне удалось гораздо позже...

Литература других стран меня вообще очень интересовала, это уже позже я начал понимать, что нельзя интересоваться разными зарубежными литературами одновременно. Вначале меня привлекала американская литература, поскольку мама почти все свои молодые годы прожила в Штатах. Как я вам рассказывал, вернулась она, так и не набравшись американского духа. Но все же многое повидала и чувствовала американскую культуру. Итак, я читал по-английски, знал многих американских писателей, главным образом крупных — Хемингуэя, Стейнбека. Они продолжают интересовать меня и сегодня.

С этого же времени я начал читать, в переводе разумеется, и русских авторов. И постепенно передо мной предстала во всей очевидности преемственность между русской классической литературой и советской литературой. Среди старых писателей прежде всего я должен назвать Льва Толстого, хотя не он принадлежит к числу самых любимых моих авторов. Вслед за Эренбургом я предпочитаю ему Чехова. Да, я больше люблю Чехова, чем Толстого. Но еще более сильный отзвук в моей душе вызывает Гоголь, он представляется мне самим воплощением русской натуры. Несмотря на то что конец его жизни был омрачен душевной болезнью, он все равно остается великим провидцем. Достоевский далек мне. Мне чужды его нескончаемые копания в самом себе, комплекс вины, нравственной и религиозной ответственности, что-то во всем этом до меня не доходит. Конечно, ограничивает и незнание русского языка, великая русская поэзия, например, доступна мне только в переводах, и все же удалось прикоснуться к гению Пушкина и Лермонтова. Но центром, связующей нитью между двумя мирами по-прежнему остается для меня Горький...

В 1959 году я впервые посетил Советский Союз и лично познакомился с рядом писателей. Я близко сошелся с Константином Симоновым и полюбил его, подружился и с другими советскими литераторами. Очень ценю талант Чингиза Айтматова, на мой взгляд, это — современный классик, почти так же высоко я ставлю Валентина Распутина, книги его я очень люблю. Чрезвычайно мне близок Василь Быков, его военные повести. И сам он, как личность, внушает мне большое уважение. У меня к нему такое чувство, словно он мой родственник. Я хочу сказать, что концепция войны в его произведениях, по-моему, близка к моей. Очень, очень близка. Конечно, наши встречи и контакты имели достаточно беглый характер, но все же они были достаточно живыми...

Рассказать о моих успехах на поэтическом поприще... Видите ли, о поэзии трудно говорить. Я не люблю выставлять свою живопись и публиковать свои стихи. Да, не люблю. Я издал очень мало стихов. Тоненькие книжечки, всего их вышло три: «Разносчик», «Лубочные картинки» и последняя — «Тюльпан в грозу». Это единственные поэтические сборники за все пятьдесят лет моей литературной работы. Остальные стихи печатались в небольших и малотиражных журналах. Вам в Советском Союзе следует знать, что положение поэтов во Франции совершенно иное, чем в вашей стране. Или в России, ибо Россия и Советский Союз в этом отношении — одно и то же. В вашей литературе поэт занимает почетное место. У нас он занимает почетное место в учебниках по литературе, но не в витринах книжных магазинов. Так что поэтическое творчество до известной степени скрыто от публики. Я играл в эту игру, по выра-

жению Андре Бретона, отца сюрреализма, наряду с Арагоном; при этом сам Бретон совсем не похож на Арагона: Арагон гораздо доступнее и гораздо больше открыт для социальных мотивов. Я писал умышленно темным языком почти все время, пока сочинял стихи. Постоянно вкрапливалась поэзия в мою прозу. Теперь я достиг некоего предела, пятьдесят лет в литературе достаточное время для раздумий. И потому захотелось собрать вместе все мои стихи. Это — немалое испытание для меня, но хочется посмотреть, составляют ли они какое-то единое целое, можно ли усмотреть в них единство пути или же они всего лишь конгломерат разрозненных стихотворений. Такая книга будет поучительной для меня самого, если угодно. Только она по-настоящему покажет мне, кто я такой...

Не подлежит забвению

Владимир Познер

Вы, может быть, слыхали — существует Товарищество бывших узников Аушвица (заметьте, я против того, чтобы называть по-польски — Освенцимом — эсэсовский лагерь, пусть уж он останется в истории со своим именем — как его называли фашисты). Сам я не пережил заключения в лагере, но прежде с некоторыми членами этого Товарищества встречался, даже работал вместе.

Года два назад они обратились ко мне с предложением принять участие в работе над новой книгой воспоминаний об этом — одном из самых страшных — нацистском лагере смерти. Им удалось собрать уникальный документальный материал — воспоминания узников, написанные в годы заключения, записи погибших в самом лагере или скончавшихся после войны — и свидетельства, совсем недавно увидевшие свет, полученные из многих стран, на разных языках, непохожие одно на другое — каждый видит все по-своему, это понятно...

Словом, это — как течение большой реки — все несет и несет сквозь годы правду о преступлениях фашизма, до сих пор она током высокого напряжения бьет...

Между прочим, и воспоминания самих эсэсовцев там тоже были — тех, кто служили надзирателями, и материалы крупных послевоенных процессов, когда их главарей судили...

Я был согласен с моими друзьями — очень важны такие документы: опасения, что люди забывают то, что забывать мы все не имеем права — не только молодые поколения, но даже и взрослые,— вполне основательны.

«Не знали мы никогда, что такое действительно могло быть», «а может, и не было всего этого» — подобные заявления сейчас не так уж редко можно услышать у нас на Западе. Очень смутно многие представляют себе, что́ в Европе, да и во всем мире творилось, начиная с тридцать девятого года, что́ такое фашизм в действии...

Ну и, хотя я собирался писать совсем другую книгу, можно ли было отказать в такой просьбе? Я даже думаю, это — единственная просьба, в которой я не мог бы отказать в тот момент, при том, что речь шла о довольно серьезной ломке моих собственных планов. Я только-только перешагнул особенно для меня мучительный период, который обычно предшествует началу работы над новым романом.

Вот при таких обстоятельствах состоялась встреча с идеей этой книги — «Нисхождение в ад», о ней сообщали в вашем журнале, кажется в хронике. Года полтора назад она вышла во Франции...

Я предполагал просто смонтировать материал, который друзья мне дали, недели за две рассчитывал справиться, но эти две недели разрослись почти до полугода. Частично это время ушло на монтаж — тут пригодился опыт сотрудничества с кинематографом — за свою жизнь я написал немало сценариев, ну, и около половины объема книги занял мой собственный текст. Подлинники документальных свидетельств я оставил в первозданном виде, включая орфографические ошибки. Вмешиваться в это, причесывать как-то не хотел.

И теперь книжка существует. Очень взволнованно отозвались в «Юманите» на ее выход во Франции мои коллеги Мадлен Риффо и Андре Вюрмсер. Документами, пронзительными по силе воздействия, назвала ее Мадлен Риффо. Я сейчас разыщу этот номер, прочту несколько строк ее отклика. «Без комментариев, без упрощений, без пропусков позволили эти документы воссоздать во всей его жуткой яви образ этой «обыкновенной преисподней». С ее фабриками уничтожения, промышленным использованием миллионов трупов, ежедневными «заботами» начальника лагеря... С перекличкой ее голосов — мертвых, живых, всех тех, кто был там,— голосов миллионов мужчин, женщин, детей, превратившихся в дым: евреев, цыган, русских, чешских патриотов, французов — участников Сопротивления и коммунистов. Со смертью за несколько капель воды, за то, что упал в грязь, за вошь. С ужасом последней ночи. И... с красотой утра, красотой человека. Потому что и в этом аду, где все было сделано для того, чтобы осквернить самую сущность человека, людям удавалось поддерживать и согревать друг друга...»

Книгу «Нисхождение в ад» «мы не имеем права не прочитать» — это из отклика Вюрмсера.

На днях эта книга выходит в немецком переводе в Берлине в ГДР.

Вас интересует мое содружество с кино и телевидением... Недавно один молодой, очень интересный режиссер решил поставить телефильм по моему роману «До свидания, Париж» — вы знаете его, он переведен на русский, сюжет его — шесть недель нашей «странной войны» лета сорокового года, все мы были тогда солдатами. Четыре сценария пришлось написать для четырех частей фильма — каждый идет по часу. Сейчас съемки почти закончены — остались кое-какие технические доделки. Эта работа тоже довольно много времени потребовала...

Судьба у моих книг такая — даже не вспомню, сколько раз режиссеры ко мне обращались с идеями экранизации,— Ренуара привлекла описанная мною история жизни восьмилетней девочки, дочери знаменитой киноактрисы; Де Сика собирался поставить другую мою книгу — о последней неделе жизни Толстого, к несчастью, он умер, не успев осуществить замысел. Мы не были знакомы с ним, просто он прочитал эту книгу — у меня замечательные его письма остались в связи с этим его намерением. Еще один — первый мой роман — «На полпути» — о гражданской войне в Сибири и Монголии — хотел ставить Джозеф Лоузи — тоже известный режиссер...

Что в моих книгах привлекает кинематографистов? Не знаю, быть может, «зрительно-слуховые акценты» моего восприятия? О чувствах я мало говорю — это не моя забота, пусть у читателя они возникнут...

Действительные события и творческий импульс — какая здесь связь... Никогда толком не знаешь этого. Есть книга у меня — повести о войне в Алжире, на русском языке ее печатал «Новый мир» — одна из первых у нас книг на эту тему, оасовцы мне за нее отплатили бомбой. Да, ровно двадцать лет назад в этой самой квартире, на этой самой моей улице Мазарини, где мы разговариваем,— седьмого февраля она взорвалась — вот тут, за дверью — в той комнате. Потом я в вашей стране лечился, Союз писателей СССР все это организовал тогда. Следы на лице, как видите, на всю жизнь остались, нерв поврежден необратимо... Другую бомбу тогда в дом, где жил Андре Мальро, бросили — она этажом ниже взорвалась, четырехлетнюю девочку ослепила, третья Раймону Гюйо предназначалась — самого его не задело взрывом, жену ранило в руку...

Да, в такой форме я принял участие в алжирской войне. Девиз тогда был — отклик немедленно... А иногда по-другому случается. В «Иностранной литературе» у вас печатали мой роман об Испании — в самих сражениях я не участвовал, но к концу войны, когда республиканцам пришлось бежать от франкистов во Францию, меня послали — это было партийное задание — на южную границу организовывать помощь беженцам-реслубликанцам. А писал я об этом, как видите, тридцать лет спустя. Кто знает почему?

О чем будет новый роман? Если бы я мог ответить, это означало бы, что я его кончил, а до этого еще далеко. Могу только сказать, что действие происходит в США, в 1938 году. В какой среде? В разных. Пишу словно в первый раз — никогда еще в такой манере не пробовал писать, не строил книгу, как сейчас,— все целина. Сюжет? Есть, хотя и не сквозной. Что же до психологии, то, как я уже говорил, она меня очень мало интересует.

Пока не окончу, на написанные страницы никогда не оглядываюсь — иду вперед, потом перечитываю — не раз, не два — больше...И переписываю.

Вообще объяснить что-то конкретно, когда над чем-то работаешь, очень трудно, пока вещь не написана. Потом, когда закончишь, когда, по крайней мере, листы какие-то лягут на стол заполненные печатными знаками, тогда уже легче рассуждать обо всем этом...

В молодости — не в том дело, что опыта было меньше, иногда меньше опыта как раз и полезно — просто начинал писать и писалось «само собой», просто текло повествование, как поток. Например, «До свиданья, Париж» — случайно я могу точно сказать, что работал над этой книгой ровно тридцать один день. Не то что задание такое себе поставил — это всего лишь совпадение. И довольно длинный роман. Правда, работал запоем — с раннего утра до позднего вечера.

Вот так со мной и случается — десять месяцев могу не подойти к столу. Или работать над чем-нибудь более легким, чем роман. Конечно, в статье, очерке тоже хватает проблем, но для меня они менее сложны...

Короче говоря, я не очень представляю, как удается иным писателям железная регулярность — встал, позавтракал и за письменный стол; в полдень — посмотрел на часы, остановился, пообедал и в два часа снова за стол. Очень завидую этому, хотел бы, чтоб и со мной так происходило. Но почему-то не происходит (с м е е т с я).

Но вот на одиннадцатый месяц сажусь — и тогда уж не отрываюсь до той минуты, пока не закончу. Наша сегодняшняя беседа с вами — это, по-моему, первое мое отвлечение от работы с тех пор, как я начал писать. И встреча наша состоялась потому, что вы приехали сюда специально, что вы не живете в Париже, что я не мог вам ответить на ваш звонок: «Миленькая, позвоните мне через месяц, тогда уже, быть может, мне будет виднее, на каком я свете...»

Пока поднимаешься в гору, идешь тяжело, медленно, сомневаешься, доберешься ли вообще доверху, и никогда не уверен, что осилишь еще хоть одну книгу (с м е е т с я). Спуск под гору — дышать легче. Хотя я, наверное, предпочту не дышать, пока не допишу до конца.

...А пишешь все медленнее, ни в одной фразе не уверен, пока не повертишься как следует вокруг нее. Знаете, хитрая это штука — выбор слова, иногда от него и сюжет может зависеть. Слова обладают свойством выплывать как-то «сами по себе». Вроде бы ищешь что-то другое — и вдруг фраза в голове, не знаешь, откуда она взялась, бывает, вовсе и не соответствует тому, о чем только что думал, писал. И ты подскакиваешь: «А, вот оно!» И эта фраза уже ведет за собой, может даже изменить течение темы... Особенно это важно — первую фразу найти, даже если потом выяснится, что не только ее — всю первую страницу придется вычеркнуть, ее не останется в книге, но ход дан, мотор заведен...

Вот так сейчас — уже третий месяц подряд — я работаю над новой книгой. Если бы вы на три месяца раньше приехали, я бы рассказал вам, как я работаю, когда работаю. Теперь — не то, теперь я — внутри, тут уж и во сне сочиняешь...

Возвращался ли к тому, что написано? Почти никогда. Три года назад вышел последний большой мой роман — «Лунная болезнь». Действие происходит на Луне, время — неопределенное. И оттуда туристы ездят иногда посмотреть на бывшую Землю. Меня часто спрашивают: почему не пишу продолжение, что потом случилось? Но я не знаю, что случилось потом, пусть сами читатели додумывают, теперь это их дело, мысли какие-то на этот счет я поселил у них... А я стараюсь книгу написать до конца. Правда, разве бывает у книги настоящий конец? Если она живая, то продолжает жить и после того, как ты ее дописал...

Почему стал писателем? Просто мне повезло, первое стихотворение я написал лет в пять с небольшим: отец купил пишущую машинку — писать я уже умел тогда... это было событие, не то что сейчас — подумаешь, пишущая машинка... И показал, как ею пользоваться. Когда он ушел, я решил испробовать, что получится. Воспроизвести первую пришедшую в голову фразу показалось недостойным этого чуда техники. И я решил сочинить стихотворение. С тех пор так никогда и не переставал сочинять, кстати, всегда пишу на машинке — черновики всех моих романов, всех книг на машинке написаны...

Так мы говорили о том, что бывает, когда пишется... День за днем, неделя за неделей, отрешившись от всего на свете, поднимаешься в гору; медленно, но поднимаешься... А иногда вдруг — выйдешь ли на улицу, возьмешь ли газету, включишь ли на десять минут ТВ или радио — и такой, до костей, озноб проберет: вот ты тут работаешь, и время идет, и что-то устраивается в конце концов, а завтра, послезавтра или не знаю когда все это атомная война разнесет вдребезги, быть может, само существование наше оборвет до того, как мы узнаем, что она началась...

И тогда думаешь — а стоит ли писать? Потом другая мысль — не один ведь я об этом думаю, не одного меня в жар-холод от этих мыслей бросает, ведь весь мир поднимает эта тревога, может, мы выручим друг друга, может, удастся мне мою книгу закончить...

Самосознание коммуниста в творческом процессе... Яснее всего оно в результатах, в написанных книгах, в подходе. Технически каждую новую вещь стремишься решить по-новому, а взгляд на человека, на мир, ключ к его восприятию — видимо, они определяются этим самосознанием.

В будущем году уже полвека исполнится, как я коммунист. Когда я вступал в партию, сколько нас было, боже мой, тысяч тридцать? В 16-м округе — на весь этот округ одна ячейка действовала, восемь человек, и над ячейкой не существовало секции. Сейчас во Франции семьсот тысяч коммунистов, сразу после конца войны даже больше было, сейчас в одном 6-м, например, округе три секции, не знаю уж, сколько ячеек...

Я вспоминаю о персонажах своего давнего репортажа, о коммунистах моего квартала. Да, да, той самой улицы Мазарини, где живу до сих пор, и двух-трех прилегающих улиц. Я выбрал его не только потому, что встретил здесь своих друзей и единомышленников, о которых рассказал в этом репортаже, но и потому, что мой квартал вобрал в себя воспоминания многих столетий, истории жизни этих моих друзей тоже пересекались с историей Франции...

В самом деле — не потому ли Бальзак в «Жизни холостяка» поместил свою героиню в конце моей улицы, что, должно быть, сам часто проходил по ней, направляясь к типографии, — она была в трехстах метрах отсюда, на маленькой улочке. Там, где двумя веками раньше жил Расин.

И вообще, где кончается наше прошлое? Где начинается настоящее? Робер Деснос — он жил по соседству с семейством бальзаковской мадам Бридо — умер в гитлеровском концлагере. А в начале улицы, на перекрестке Бюси, в 1792 году помещался первый вербовочный комитет, здесь в первый день революции 1848 года была воздвигнута баррикада. Отсюда, как говорят, впервые раздался клич: «Да здравствует Республика!» И на этом самом перекрестке мои друзья — коммунисты Ивонна, Раймон и Жак, о которых я писал, пятнадцать лет назад продавали «Юманите»...

И я задавал себе вопрос: кто из старых завсегдатаев моего квартала, случись ему проходить мимо, отказался бы купить эту газету? Вольтер? Дидро? Робеспьер? Жорж Санд? Анатоль Франс, сотрудничавший в «Юманите»?

Движение времени... Конечно, в самих людях оно особенно видно. Вот у меня — дети, внуки, правнуки. Когда вы позвонили в воскресенье, мы шестилетие правнучки праздновали. Подумайте! Ее бабушка — моя дочь! Ну, не смешно ли, не комедия ли?

А в этой комедии как раз и запечатлено, можно сказать физически, движение времени. Города меняются, природа меняется, но это не так заметно, не так замечательно, как движение человека сквозь время...

Слагаемые призвания

Робер Андре

Сейчас я тружусь над третьей частью трилогии, которую начал книгой «Дитя-зеркало», у вас ее недавно издали на русском языке. Подошел ко второму этапу.

Рассказать о «технологии» ремесла? Сначала я всегда пишу черновик от руки, потом перепечатываю его, тут, собственно, начинаешь главную работу над текстом: на печатной странице недостатки, несовершенства чернового варианта проступают как в переводной картинке. И, наконец, перепечатываю текст в третий раз. Здесь уже работа другая: над языком, над стилем, я занимаюсь ею довольно придирчиво — к форме я очень требователен.

Итак, сейчас вторая стадия — та, когда получаешь от работы наибольшее удовлетворение. Тревоги первого черновика остались позади — там движешься, так сказать, в пустоте, а тут уже есть опора, пусть даже текст пока выглядит хаотичным, пусть он пока тебя не устраивает...

Одну истину, быть может, я и усвоил за свою писательскую жизнь: гревог, разочарований в нашем деле с избытком, однако впадать в отчаяние не следует никогда. Терпение и, главное, труд до седьмого пота позволят добиться того, к чему стремишься, я убежден в этом. Обучаясь писательскому ремеслу, к этому выводу в конце концов приходишь...

Дописав «Дитя-зеркало», я спросил себя: как дальше быть? Остановиться там, где поставлена точка, или продолжать дальше? Последние страницы эта книга позволяет воспринимать как действительный ее конец. Долго колебался: с одной стороны, потому что читатели приняли книгу хорошо, я получил много писем с просьбами продолжить ее. Кроме того, признаться, первоначальный мой замысел был шире. Хотелось, очень хотелось замахнуться на трилогию, куда вошли бы и «Детство», и «Отрочество», и «Юность». Разумеется, я не собирался заимствовать названия у Толстого, это был всего лишь общий план. И я написал вторую книгу — об отрочестве, назвал ее «Наивная страсть», уместил там свою жизнь от десяти до шестнадцати лет. Но на этот раз уже в самом тексте предусмотрел возможность для третьей части, при том, что и она выглядела вполне самостоятельной, законченной. Потом сделал перерыв. С одной стороны, слишком сам жанр автобиографии затягивает — как в воронку. С другой — искушение поставить точку: устаешь копаться в себе, хочется обратиться к внешнему миру, к современности...

В конце концов я все-таки взялся и за эту, последнюю часть — «Незаконченное воспитание», говорю «последнюю» с некоторой осторожностью, зарекаться боюсь, о каждой книге по очереди говоришь «последняя».

Здесь то, что мы обычно называем юностью, то есть моя жизнь от семнадцати-восемнадцати до двадцати пяти лет. Темой ее стала не только юность в собственном смысле слова, но и то, что движет молодым человеком, избирающим для себя стезю писателя, каким образом его жизнь подводит к такому выбору...

Думал ли над тем, как избежать повторения того, что уже найдено предшественниками в этом жанре?

Я часто размышляю над этой проблемой. Написано действительно множество автобиографий, и среди имен их авторов есть такие, что после них, конечно, страшно браться за перо: назвать хотя бы Шатобриана с его «Замогильными записками» или Руссо, а сколько еще других! У вас — Толстой и, конечно же, его знаменитая трилогия. К тому же несколько лет назад я перечитывал Толстого и хорошо его помню. Разница в том, и читатели, возможно, ее заметят, хотя я и не вполне поручился бы за это, что нужна моя автобиография была прежде всего мне самому, не буквально, конечно... В том смысле, что писал я ее, больше всего желая в конце концов уяснить для себя самого, кто я есть, это было для меня самым главным. Это, а не рассказ о своей жизни. События моей жизни не были такими уж примечательными,— есть много жизней, куда более ярких, чем моя. Нет, я писал, чтобы понять себя самого.

И еще: если эти мои книги заинтересуют читателя, то потому, думаю, что я стараюсь быть в них как можно более искренним. Это далеко не так легко, как может показаться,— барьеры предрассудков, искус тщеславия, вовсе не всегда предстаешь в выгодном свете, признаваться в этом не так уж приятно... Другая трудность — избежать искажения фактов, когда восстанавливаешь в памяти время с такой дистанции. Вот, по-видимому, как я мог бы ответить на ваш вопрос — конечно, взгляд самого писателя на свою книгу неизбежно субъективен...

В какой мере вторгались в процесс работы мои наблюдения над современной молодежью? Вопрос по существу: в этом смысле я нахожусь в особом положении — начать с того, что я постоянно соприкасаюсь с подростками, будучи педагогом, профессором. Кроме того,

у меня есть свои дети, тоже подростки, и, наконец, третье действующее лицо здесь — я сам, когда был подростком. Хотя с тех пор, увы, прошло уже столько лет!

Все это, вместе взятое, не упрощало поисков ответа на главный вопрос. Изо дня в день передо мной разворачивается панорама отрочества современных подростков, да еще отрочество собственных детей — представляете, сколько тут всего переплетается? С одной стороны, их понимаешь: ведь они — то, чем ты сам был когда-то, с другой — они тебя ставят в тупик, потому что ты гораздо старше их, да и условия их жизни совсем другие. Именно из этого я, очевидно, должен был исходить. Отключаться от современности и восприятия современных подростков и пытаться воскресить собственное отрочество и атмосферу иной эпохи, так далеко от нас отстоящей!

И это, разумеется, было чрезвычайно трудно. Я убеждался, до какой степени некоторые реакции довоенных подростков совпадали с современными, и в то же время понимал, насколько нынешние подростки иные, насколько они изменились.

Взаимодействие, взаимовлияние человека и среды задают немало загадок. Мир, в котором я жил, мир людей, которым сейчас под шестьдесят, по сути выглядит сегодня доисторическим. Так что я полагаю, что и сам я в этой книге — персонаж вполне доисторический...

Отрочество — возраст расплывчатый, без ясно очерченных границ: «подростком» можно назвать мальчика или девочку четырнадцати лет, а иногда и семнадцати-восемнадцатилетнего. И, разумеется, их мироощущение будет разным. Больше всего, пожалуй, бросается в глаза пестрота, неустойчивость склонностей, настроений.

Например, десять лет назад — я говорю о Франции — молодежь буквально помешалась на политике, вспомните хотя бы майские события шестьдесят восьмого года и их последствия. А вот теперь — почти без исключения — от политики они, можно сказать, демонстративно отворачиваются. По разговорам старшеклассников, по обстановке, по самой атмосфере можно почувствовать, насколько она им безразлична. Заинтересует ли их политика вновь через какое-то время? Трудно сказать. Но умонастроения их меняются гораздо быстрее, чем, по-моему, было в наше время.

И еще — гораздо более беззаботны они по отношению к будущему. Я очень хорошо помню, что... Ну, что бы мы ни делали, нас весьма занимало, к чему это приведет, как мы будем жить дальше, не правда ли? Теперь, напротив, соображения такого рода — исключения. Конечно, и они бывают, однако господствует пресловутое «здесь и сейчас»: так сказать, пользуйся моментом, пока есть возможность, а там видно будет. Нужно ли всерьез отнестись к той или иной ситуации, будет видно потом...

По правде говоря, вопрос о будущем всегда не легок для молодежи при всех обстоятельствах, но у нас сейчас он особенно труден — из-за кризиса перспективы особенно мрачны, надежды найти себе место в жизни малы. Безработица, отсутствие возможности устроиться в некоторых случаях приводят просто к трагедиям...

Ну и, наконец, третье различие, которое я нахожу особенно важным: перед нами еще оставались довольно устойчивыми нравственные опоры, порой даже слишком жесткие, в то время как у современной молодежи их, пожалуй, нет совсем. Этот момент весьма серьезен, по-моему. Возьмите, например, отношение к девушкам — оно коренным образом изменилось, и это след общих глубинных перемен в области нравов. Конечно, на смену и этому может прийти что-то другое... Да, чуть не забыл — еще одна весьма характерная черта: взрослеют сейчас куда позже, чем раньше. Что-то вроде продления детства в отрочество, раньше приходит зрелость физическая и куда позже — духовная. Это довольно тревожный симптом, затянувшийся...

Счастливые моменты... Не так-то много их выпадает в жизни писателя. И все-таки бывают, конечно. Один такой момент достался мне на долю сравнительно недавно. Иногда получаешь письма по поводу своей книги — но одно дело ответ от кого-то, кому ты сам послал свою книгу, дело вполне обычное, и даже если такое послание изобилует комплиментами, на него обращаешь мало внимания. Гораздо реже случается, во всяком случае во Франции, чтобы написал читатель, к тому же совершенно тебе незнакомый, который просто купил твою книгу в книжной лавке.

Вот такое письмо я и получил недавно, оно было особенно мне дорого, потому что пришло очень уж издалека. Оно пришло из Канады — не из большого города, а из какой-то деревушки, где-то около Гран-Рапидс. И не от какого-нибудь интеллектуала, нет, это было просто письмо одной крестьянки. Она писала, что моя книга «Дитя-зеркало» помогла ей скоротать очень длинную зиму и что в персонажах моего детства, особенно в прабабушке, бабушке и дедушке, она узнавала черты своих бабушек и дедушек, и это принесло ей много радости, и она благодарит меня за эту радость. Вот это письмо подарило мне момент настоящего удовлетворения. Нередко ведь посещают сомнения — есть ли реальная польза от твоих писаний? Сидишь, запершись у себя в кабинете, рождаются под твоим пером строки, а чему они способствуют в жизни? И вот — отзвук, для чего-то реального пригодились строчки, кого-то задели за живое, кому-то принесли пользу...

Как совмещаю творческую деятельность с общественным амплуа, не мешает ли последнее первому... Признаюсь, никогда не думал об этом. Конечно, время свое делишь между творческой работой и обязанностями президента Меж-

дународной ассоциации критиков. Дни обычно очень загружены. Но я считаю, что эти две формы деятельности не противоречат друг другу. Контакты между писателями разных стран, взаимное знакомство литератур — не ясно ли, как много от этого зависит. Должен сказать, занимаюсь я этим делом с большим удовольствием, хотя по многим причинам — политики, международного положения — само по себе оно нередко оказывается довольно сложным.

Некоторое время назад ситуация была лучше, чем теперь. Приходится смотреть в лицо фактам — сейчас существует угроза возвращения к «холодной войне». Мы в своем МАЛК'е долго обдумывали, какой может быть наша роль во всем этом. Резолюция, которую мы приняли — сознавая, впрочем, что влияние наше не так уж велико,— была бескомпромиссной. Мы решительно возражаем против возвращения к «холодной войне». Опасность ее для всех очевидна, гонка вооружений — величайшая из угроз для всеобщего мира — разрушила бы контакты и, несомненно, усилила бы напряженность с обеих сторон. Между нетерпимостью и «холодной войной» существует прямая связь...

Сама идея такой Ассоциации, как наша, подразумевает поощрение контактов, расширение обмена культурными ценностями, всемерное содействие выполнению соглашений, принятых в Хельсинки. Недавно мы совместно с писателями ГДР и ФРГ подписали и опубликовали соответствующее обращение в этом духе, вы знаете, что к нему уже присоединились многие мои коллеги...

Марсель, Эстремадур, Парк короля Испании...[1]

Андре Ремакль

Рассказать о моем городе? Вы спрашиваете, вероятно, еще и потому, что видели мою книгу «Марсель с открытым сердцем». Да, недавно я ее закончил, год назад вышла в свет.

Начать с того, что Марсель — самый древний город Франции: две тысячи шестьсот лет назад основан греческими мореплавателями. Во внешнем его облике почти вся его история, можно сказать, как в зеркале. Как видите, обращен он к морю и замкнут тесным кольцом холмов. Раз обращен к морю, значит, обращен к другим странам и тем самым — к надежде.

Есть еще одно. История Марселя — это история прамот о вольностях. Вовсе не сразу он осознал себя частью Франции, не сразу согласился отказаться от родного языка, который восходит к старопровансальскому языку, языку, на котором говорили жители Прованса до Мистраля...

Очень многое в его своеобразии — от «пришельцев». Население его пополнялось не за счет особой плодовитости самих марсельцев — наоборот, с античных времен здесь существовали, да и сейчас остались традиции препятствовать росту рождаемости. Нет, Марсель рос и развивался благодаря вкладу людей, прибывавших извне, переселявшихся сначала из Франции (в Марселе было французское консульство) лангедокцев, жителей Альп, а затем итальянцев, армян, испанцев и прочих. Так что теперь в Марселе не наберется и пятидесяти процентов коренных марсельцев, людей, чьи семьи жили здесь дольше двух поколений.

Ну и еще недаром, конечно, Марсель называют Воротами Востока. Еще в далеком прошлом его так называли. Почти не развернутый вовнутрь, в сторону Франции, он на протяжении всей своей истории поддерживал связи с другими странами, со знаменитыми портами Леванта и особенно, я думаю... то есть я не думаю, я знаю — связи со странами Черного моря и, в частности, с русскими городами на Черном море. И на протяжении веков этот город всегда боролся за свободу, за мир. Против Цезаря, когда тот напал на него; против Карла Пятого — помните, как он выдержал знаменитую осаду? За все свое долгое существование впервые он был оккупирован в тысяча девятьсот сорок втором году, когда немцы заняли юг Франции, и тогда он тоже защищался, был одним из оплотов Сопротивления.

Вот почему, мне кажется, Марсель и марсельцы стоят в первых рядах борцов за мир, вот почему у нас в городе так часты демонстрации, собрания и манифестации в защиту мира. И еще потому, что очень давно существует дружба между Марселем и Россией, между Марселем и Советским Союзом. Я думаю, все в моем городе помнят, что после окончания второй мировой войны первым судном, прибывшим в Марсель, был пароход с зерном из Советского Союза. Факт, который многого стоит, марсельцы его не забыли.

Есть у марсельцев сегодня и особые поводы для тревог. Они знают — если завтра разразится ядерная катастрофа, Марсель с его окрестностями, где расположены предприятия, работающие на ядерном сырье, оказались бы превосходной мишенью для бомб...

За последние годы многое у нас в городе переменилось. Промышленность заметно сократилась: изменились условия ввоза нефтепродуктов — упал тоннаж посещающих его судов, уменьшилась

[1] Марсель, Эстремадур, Парк короля Испании — почтовый адрес Андре Ремакля (многие здания во Франции имеют не номера, а названия: так, дом в Антибе, где живет Грэм Грин, называется «Резиденция цветов»).

численность рабочего класса — для Франции это довольно редкое явление. Уровень безработицы в Марселе сейчас самый высокий во Франции, хотя кажется, что от самых холмов он весь обращен к порту, только им и живет, есть в нем и металлургические заводы...

Короче говоря, оснований для тревог хватает с избытком. Для тревог и для возмущения. Взять хотя бы кампании ненависти, которые бушуют на Западе, в эфире, в прессе. Столько в последние месяцы здесь болтовни — нелепой, вздорной, мне кажется, никто ей не в состоянии поверить, столько информации ложной, подтасовываемой изо дня в день, обрушивается у нас на читателя газет, телезрителя, радиослушателя — о советских вооружениях, о мнимой угрозе со стороны Советского Союза всему миру, Европе и, в частности, Франции...

Между тем всякий, кто хоть немного подумает, кто захочет подумать, тут же вспомнит, что за всю историю Франции и Советского Союза, а если пойти дальше, то за всю историю отношений Франции и России, если исключить наполеоновский период — краткий эпизод, когда один честолюбец хотел завоевать Европу и весь мир,— между Францией и Россией никогда не было споров. Мне кажется, об этом говорил и генерал де Голль, когда был в Москве, в Советском Союзе. Между народами Франции и России существовала прочная дружба. А после Октябрьской революции существует тесная дружба между французским рабочим классом и тружениками Советского Союза.

И разве это не факт, что Советский Союз никогда не вел завоевательных войн? Всякому добросовестно рассуждающему человеку ясно, что за всю свою историю Советский Союз брался за оружие, только чтобы защищаться. Кто не знает, какую цену заплатил этот народ за победу над фашизмом?..

Все, кто побывал в Советском Союзе, возвращаются с одной мыслью: народ, потерявший двадцать миллионов убитыми, народ, которому такого труда стоило восстановить свои разрушенные города, вернуть к жизни свои выжженные поля, не может желать войны. Поговорите с прохожими на улицах Советского Союза — разве мыслимо встретить хотя бы одного человека, у которого было бы воинственное настроение? А ведь такое увидишь вовсе не во всех странах. К несчастью, хотя народы, взятые сами по себе, в подавляющем большинстве хотят мира, хотят защищать мир, все-таки есть некоторые лидеры, некоторые люди, думающие иначе.

Антисоветизм сегодняшний мало чем отличается от того, как выглядел он шестьдесят лет назад. Быть может, он просто маскирует ту панику, которая охватила буржуазию перед лицом огромных социальных перемен в современном мире?

Маркс говорил в «Коммунистическом манифесте» о призраке, который бродит по Европе. Я думаю, что этот призрак до сих пор бродит по всему миру, хотя теперь он и выглядит по-иному. И как когда-то суеверные люди боялись, что тысячный год несет с собой конец света, так теперь нас пытаются пугать двухтысячным годом. А по-моему, призрак двухтысячного года должен, наоборот, оказаться прекрасным и счастливым, должен принести в мирный мир взаимное согласие и взаимопонимание — вспомните и мысль о том, что люди должны иметь хлеб и розы...

Последний раз мы с вами виделись в Москве, в вашей редакции, верно? Я очень часто вспоминаю свою поездку в Советский Союз, особенно те несколько месяцев, которые мы с женой провели в Набережных Челнах, знакомясь с тем, как там строится завод грузовиков «КАМаз». Все это вошло потом в книгу, ее печатали у вас, вышла она и здесь и имела некоторый успех. Некоторый успех во Франции и, я надеюсь, в Советском Союзе.

Я вспоминаю памятник в Набережных Челнах, о нем как будто у вас спорили — не всем нравится такая смелая архитектура... Стоит он как раз напротив горсовета — по-моему, там — во всяком случае, напротив здания, которое соответствует нашей мэрии,— так вот я вспоминаю, как молодожены после окончания церемонии бракосочетания направляются к этому памятнику Матери-Родины, к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

В первые минуты своей семейной жизни молодые люди считают своим долгом положить букеты цветов у памятника павшим... Приехавшие сюда со всех концов Советского Союза, собравшиеся здесь, чтобы строить город, чтобы строить завод, эти молодые люди, молодые мужчины и женщины, вступающие в брак, собирающиеся растить детей, убеждены, что войну следует сделать навсегда невозможной.

По-моему, таков обычай во всех советских городах — я видел то же самое в Москве у Красной площади, разве что там людей было гораздо больше, чем в этом юном городе Татарии.

Так вот, когда молодые люди у нас во Франции возлагают цветы — не к памятнику павшим, а по старинной традиции украшают статую Девы Марии,— я думаю, все они в глубине души мечтают о том же, что и молодые люди в Советском Союзе, они хотят заслонить свое счастье от угрозы уничтожения в ядерном пожаре, защитить мир.

В последние месяцы угрозу войны чувствуешь как-то особенно сильно. Сегодня мы крайне встревожены. Конечно, это не первый случай угрозы миру, и все мы не впервые думаем, какими способами можно его защитить. Люди моего поколения, увы, две войны пережили: войну четырнадцатого года, когда мы были еще детьми, и более близкую к нам, ту, которую перенесли на своих плечах мы сами, войну тридцать девятого — сорок пятого годов.

Не раз и не два тогда были основания решить, что все погибло. Особенно у нас, во Франции, оккупированной

гитлеровской Германией. И все же мы никогда не теряли надежды; все, что было в наших силах, делали, чтобы оказать сопротивление оккупантам, чтобы снова на земле воцарился мир.

И сегодня в борьбе за мир, доставшийся такой дорогой ценой, все люди доброй воли должны объединить свои усилия в борьбе. Вопреки всем угрозам, которые тяготеют над миром, возникая то тут, то там, вопреки заявлениям, нередко пустым, а порой и опасным, вопреки нередко столь опасным действиям, мы тем не менее хотим сохранять надежду...

Без малого сорок лет прошло со времени окончания второй мировой войны. Не раз мы сталкивались за эти годы с ситуациями не менее опасными, чем сегодня, а порой, быть может, даже более опасными. Мы помним, как во времена «холодной войны» действовали борцы за мир. Я помню, как мы ходили тогда из дома в дом, с этажа на этаж и собирали подписи под знаменитым Стокгольмским воззванием против атомной бомбы. Миллионы людей в нашей стране и миллионы и миллионы людей во всем мире подписали его. В то время, несомненно, это помогло отвести угрозу войны...

И сегодня писатели должны объединиться в борьбе за мир. Вы упомянули призыв, опубликованный на днях немецкими писателями в Мюнхене, его подписали и некоторые писатели у нас, среди них имею счастье и честь быть и я. По моему глубокому убеждению, если писатели всего мира, художники всего мира, ученые всего мира смогут объединиться на этой совершенно конкретной основе — любой ценой защитить мир,— тогда нам удастся помешать поджигателям войны, сломать их чудовищные планы истребления человечества...

Недавно, роясь в своих бумагах, я нашел фотографию одного моего гостя, моряка. Так вот, судно, на котором он служил когда-то, не помню точно, когда это было, но, кажется, во время первой мировой войны или вскоре после нее,— его судно стояло в Одессе. Теперь, когда Одесса и Марсель стали городами-побратимами, эта фотография показалась мне особенно значительной. Как далеко отодвинулось наше прошлое, насколько ушло вперед время...

Повторяю, я был горд и счастлив, что смог подписать Обращение против нейтронной бомбы, за мир в Европе и во всем мире вместе с такими писателями, как Гюнтер Грасс, вместе с французскими писателями Эрве Базеном, Робером Сабатье, Андре Стилем и другими. Это, несомненно, необходимо и полезно. И не менее счастлив я был, получив предложение от советского журнала «Произведения и мнения» высказаться в связи с Мюнхенским воззванием — принять участие в заседаниях «круглого стола», организованных вместе с некоторыми европейскими писателями для обсуждения современных проблем, проблем мира.

Сначала я задумался: чем мог бы именно я, так сказать, обогатить эти обсуждения? Но ведь в конечном счете это то самое главное, чему отдана, в сущности, вся моя жизнь — с того момента, когда я вступил в ряды борцов Сопротивления, когда я стал членом Французской коммунистической партии, чтобы защищать свободу моей страны, чтобы защищать свободу и мир повсюду, где будет необходимо...

В заключение хочу рассказать, что недавно я перевел несколько стихотворений советских поэтов для марсельского альманаха «Юг», скоро они будут напечатаны в специальном номере, посвященном советской поэзии.

Дальнейшие творческие планы? Уже лет двадцать меня преследует одна старинная история, случившаяся в Провансе в семнадцатом веке. Стоит мне начать какой-нибудь роман, глядишь, эта история опять тут как тут. Видимо, для того чтобы она «унялась», придется в конце концов заняться ею всерьез...

Париж — Шан-сюр-Марн — Марсель — Антиб — Тулон — Монтаржис — Москва, март — май 1982 года

◆

Антирубрика

ЛЕН ГРЕЙ (США)

МИЛАЯ СТАРУШКА ИЗ КРИКЕТ КРИК

Перевод с английского ВИКТОРА ВЕБЕРА

Мы с Артом Боуэном обсуждали прикидочные расчеты, когда в кабинет вошла Пенни Торн, моя секретарша.

— Да, Пенни, в чем дело?

— Мистер Каммингс, к нам пришла какая-то женщина. Она хочет поступить на работу. Регистратором.— Пенни подошла к столу и положила передо мной заявление.

— Отлично, отлично. Надеюсь, она не из тех бездельниц...— я замолчал, вглядевшись в заявление.— Возраст пятьдесят пять? Что у нас здесь, дом престарелых?

Арт пододвинул заявление к себе.

— Не шуми, Ральф. Возможно, старушка — отличный работник. Нельзя дать ей пинка только за то, что она прожила на пару лет больше. Что там еще написано?

Дружище Арт. Миротворец.

— Ну,— с сомнением продолжал я,— кажется, ее зовут Мейба Джампстоун. Точно, Джампстоун. Большой опыт работы. Высокая квалификация. Ты предлагаешь интервью?

— Конечно. Почему бы и нет. Давай проведем его вместе, что в общем, противоречит правилам «Грейт Риверроук иншуренс компани». Каждый из нас должен лично переговорить с человеком, желающим работать в нашей фирме. Но обычно мы стараемся сэкономить время.

Пенни по-прежнему стояла у моего стола, постукивая карандашом по полированной поверхности.

— Ну?— спросила она.

— О'кей, Пенни. Пригласите сюда миссис Джампстоун.

Она вошла в оффис, улыбаясь и кивая головой, как старая серая кобыла. Ее черный костюм, вероятно, был в моде до начала первой мировой войны. Да еще лиловая шляпка с розовыми пластмассовыми цветочками. Она напоминала мою экономку, мисс Иду Крабтри, которая больше всего на свете любила давить уличных котов на своем желтом «паккарде».

— Привет всем,— сказала она, сев на стул.

Я искоса взглянул на Арта. Тот наклонился вперед с открытым от удивления ртом и выпученными глазами.

— Э... миссис Джампстоун,— начал я.

— Пожалуйста, Мейбл.

— О'кей, Мейбл. Это мистер Боуэн, мой помощник,— я махнул рукой в сторону Арта, и тот пробормотал что-то невразумительное.— Мы внимательно рассмотрели ваше заявление, Мейбл. Значит, вы родились в Крикет Крик, Калифорния?

— Совершенно верно, молодой человек. Родной город Джона и Мэри Джексон.— Она ослепительно улыбнулась.

— Джона и Мэри Джексон?— переспросил Арт.

— О да,— ответила Мейбл.— Они разводят гладиолусы.

Арт попытался улыбнуться в ответ.

— Гл... о... да, конечно. Как же я мог забыть об этом. Дай-ка мне заявление, Ральф.— Он схватил листок бумаги и несколько минут внимательно изучал его. Мейбл и я смотрели друг на друга. Иногда она мне подмигивала, но в эти моменты я старался отвести взгляд.

Наконец Арт поднял голову.

— Вы работали в «Апстейт Калифорния иншуренс» десять лет. Почему вы ушли оттуда?— Умница Арт. Каждый раз пытается на чем-нибудь подловить человека.

— Молодой человек, вы когда-нибудь жили на севере? Это другой мир. Холод и туман. Мне ничего не оставалось, как уйти. Я сказала Гарри (это мой муж, он недавно умер), что мы должны переехать южнее. Мистер Боуэн, вы представить себе не можете, как я люблю солнце. Конечно же, вы никогда не были в Крикет Крик.— И это соответствовало действительности. Я очень сомневался в том, что Арт вообще слышал об этом городишке. Мне показалось, что он вообще предпочел бы в этот момент находиться подальше от моего кабинета. А

Мейбл по-прежнему радостно улыбалась, кивая головой.

— Мейбл,— я пришел на помощь своему помощнику,— нам нужен человек для работы с личными делами наших сотрудников. Нагрузка очень большая и...

— Действительно?

— Действительно. И придется много печатать. Вы умеете обращаться с пишущей машинкой?

— Конечно. Хотите меня проверить?

— Э... да, это неплохая идея. Пойдемте искать машинку. Ты с нами, Арт?

— Обязательно.— Он улыбнулся.

Мы вышли в приемную.

— Держу пари, не больше десяти слов в минуту,— прошептал он мне на ухо.

Оказалось, что девяносто. Я дал Мейбл один из наших отчетов о текучести рабочей силы. Она строчила как пулемет. Каретка ходила взад-вперед так быстро, что Арт, следя за ней, чуть не свернул себе шею. Наконец, Мейбл протянула мне три листа. Я не смог найти ни единой ошибки. Арт разглядывал каждый лист, будто искал отпечатки пальцев. Но, покачав головой, он сдался. Мейбл вернулась в мой кабинет, а мы с Артом задержались в приемной.

— Ну, что ты думаешь? — спросил он.

— Она — лучшая машинистка в нашем оффисе. Без сомнения.

— Тут ты прав. Проверь ее рекомендации.

— И если с ними все в порядке?

Он пожал плечами.

— Придется взять на работу старушку из Крикет Крик.

На следующий день Арт сразу пришел ко мне.

— Ну, как наше печатающее чудо?

— С рекомендациями все в порядке. Я только что звонил ей.

Он рассмеялся.

— Держу пари, у нас многие ахнут.— Разумеется, он не ошибся.

За два последующих месяца Мейбл стала самым популярным человеком в нашей фирме. Если у кого-то был день рождения, она обязательно приносила торт. Люди шли к ней со своими радостями и горестями. Она появлялась рано утром и уходила поздно вечером. Она не пропустила ни единого рабочего дня.

Через шесть месяцев Арт, с побледневшим лицом, вошел в мой кабинет и тяжело опустился на стул.

— Что случилось? — спросил я.

— Денежные переводы,— простонал Арт. Мы получали значительные суммы от наших клиентов по почте. Раз в неделю, в пятницу, деньги отвозили в банк. Сегодня была пятница.

— При чем здесь переводы, Арт? Объясни, в чем дело?

— Харви отвозил их в банк. Он звонил десять минут назад. Его ограбили. Дочиста. И знаешь, кто это сделал?

— Кто?

— Мейбл. Мейбл Джампстоун. Наша милая старушка.

— Ты шутишь. Ты, должно быть, шутишь, Арт.

Он покачал головой.

— Харви говорит, что Мейбл попросила подбросить ее к банку. А когда они повернули за угол, достала из сумочки пистолет и приказала ему остановиться и выметаться из машины. Деньги и машина Харви исчезли. Вместе с Мейбл.— От изумления у меня отвисла челюсть.

— Я тебе не верю.

— Но это правда. Каждое слово. Что нам теперь делать?

— Заявление! — Я щелкнул пальцами.— Пошли.

Мы подбежали к ящику с личными делами наших сотрудников. Естественно, заявления не было. Мы нашли лишь листок бумаги с четко напечатанными словами: «Ухожу по собственному желанию. С уважением, Мейбл». Она напечатала даже имя. И потом мы не нашли ни одной ее подписи. Ни единого слова. Она печатала решительно все.

Арт вопросительно посмотрел на меня.

— Ты помнишь, что написано в заявлении? Ну хоть что-нибудь? Кто ее рекомендовал?— В его голосе слышалась мольба.

— Ради бога, Арт, прошло шесть месяцев! — На мгновение я задумался.— Подожди, я вспомнил.

— Что?

— Она родилась в Крикет Крик. Интересно, есть у нас такой город?

Мы проверили.

И не нашли ничего похожего.

В этот день я пришел домой поздно. Полиция отнеслась к нам с симпатией. Они даже не засмеялись, когда узнали, что нас ограбила милая леди пятидесяти пяти лет. Они попросили фотографию или образец почерка.

У нас не было ни того, ни другого.

Я достал из холодильника банку пива и прошел в спальню. Мейбл сидела на кровати и аккуратно раскладывала в две стопки семьдесят восемь тысяч долларов.

— Привет, ма. — Я посмотрел на нее и улыбнулся.

РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА (ИСПАНИЯ)

ГРЕГЕРИИ

Перевод с испанского Натальи МАЛИНОВСКОЙ

Грегерию — вот что мне подарила судьба.

Это случилось в правом крыле первого этажа дома номер одиннадцать по улице Прузба в столице нашей родины — Мадриде.

Сдавило голову — я вышел было на балкон, но вернулся в комнату, сел.

Тогда еще был жив дон Хасинто Октавио Пикон — бессмертный глава Академии, и я был по горло сыт доном Хасинто Октавио Пиконом.

На столе, раскрытые, как пеликаний клюв в жару, лежали ножницы, грозя проткнуть мысль. Я встал, закрыл их.

Наконец, опять же по дороге на балкон — узнать, что все-таки происходит между небом и землей,— споткнувшись, я выдумал грегерию.

Вот как это произошло. Я задумался, мне хотелось выразить вот что... Мне вспомнилась Флоренция, Арно, дом, где я жил... другой берег... А ведь тому берегу хотелось быть здесь, на этом берегу,— хотелось быть этим берегом! Несусветное, но могучее желание — этот мятежный порыв берега высвободиться, переменить место... Что это? Это — грегерия. Мне вдруг пришло в голову это слово. Я толком не знал, что оно значит, и полез в словарь...

Душа наша состоит из грегерий. Если разглядывать душу в микроскоп, увидишь, как живут в ней — шевелятся, копошатся, снуют, как и положено живым существам,— миллионы грегерий. Душа состоит из грегерий, как из атомов, но чтобы расслышать их голоса, нужен тонкий слух. А в них — все. Миги изумленья, прозренья, сомненья, победы, заблужденья, печали, навязчивые идеи. Сколько же набралось их за полвека! Малость, мелочь, скажете вы. Но ведь это они, пустяки и безделицы, складывают мозаику жизни. Исчезни все тривиальное — и пропадет вообще все: не будет атомов, и ничего не будет. Так вырвем же из потока нашей мгновенной, обреченной жизни хоть немногое — то, что мы в силах спасти.

Литература сейчас, как и наука, оставив глобальное, ищет тайну мироздания в атоме.

Грегерия ловит мгновенье, готовое к перемене, схватывает эфемерную реальность, обреченную гибели,— но разве не гибелью чревато все, чего касается человек? И разве спасти от гибели не долг человеческого — человечного — искусства?

Грегерия поможет грядущим поколениям понять, что интимное ощущение мира человеком не менялось. Хотя некоторые грегерии старятся — так связаны они со своим временем.

Грегерия — это оттенок, оттиск, словцо — красное словцо! — штришок, промашка, галочка, невнятица — пусть даже несуразица! — осколочек, черточка, камушек, цифирка, штучка, ошибка.

Грегерия — дичок, нечаянность, случай. Грегерия дерзит и робеет.

Грегерия — это порыв определить неопределимое, схватить ускользающее. Так вскрикивают, столкнувшись невзначай, вещи и души. и не надо делать эти крики поэтичнее, чем они есть.

Грегерия — не общее место, не прописная истина. Грегерия — не афоризм, высокопарный, не терпящий возражений.

Грегерия — это необходимая перемена точки зрения. Внезапно изменяя ракурс, грегерия ловит черты вечно рождающегося мира.

...Как только не обращается грегерия со словом: спросит, ответит, вытрясет, выспросит, умолит, накрошит, нашепчет, как ребенок, когда играет сам не зная во что — то запоет, то затихнет, то потянется к скрипке и тронет струну, то крутанет колки, то состроит гримасу, то плюхнется на клавиши — едва не расколотит рояль! — то расплющит шляпу отцовского гостя, то день-деньской будет копаться в земле на задворках — ищет клад (а чем не клад фольга да зеркальные осколки?) — да измыслит еще целую историю (трагедию! драму!), а глядь — и нет его: ускакал, покатился, ускользнул от ракетки беленький целлулоидный шарик, а дробинка внутри все звенит, все бьется...

Грегерия — дуновение ветерка воспоминаний, которых никак недовспомнишь, которые и не вспомнились бы, если бы не сбился с пути игрушечный паровозик памяти...

Думать легко. Писать трудно.

Кот лезет на дерево насладиться независимостью.

Камни умеют ждать.

На охоту всегда прихватывают никчемного робкого малого — это делегат от зайцев.

Радуга — ленточка, которой природа повязывает волосы после купанья.

Какое униженье — чесать за ухом задней лапой! И ведь собака это понимает!

Как хочется ложке высвободиться из меда!

Микрофон — ухо общего пользования.

Отпустил бороду и облысел — закон сохранения материи.

Хорошо воспитанные лошади не оглядываются.

Карандаш пишет тени слов.

Медицина обещает вылечить через сто лет тех, кто умирает сегодня.

Кажется, что панегирик питателен, но только кажется.

Минута — век в миниатюре. Что век, что минута.

Труднее всего всаднику удержаться на отражении коня в реке.

Снег в воде гаснет.

Вода беспамятна, поэтому она так чиста.

Сколько пуговиц посеял, а ни одной рубашки не выросло!

Пещера — зевок горы.

Вор, надев резиновые перчатки, чувствует себя хирургом.

Сирень — батистовая блузка весны.

После каждого выстрела ствол орудия отшатывается.

Памятникам следовало бы размножаться и производить на свет памятнички.

В венах географических карт — голубая кровь.

Пишущая машинка — алфавит улыбается, сияя вставными челюстями.

Библиоман — книжная разновидность клептомана.

Художник с палитрой похож на птицу об одном крыле.

Крепче всех спят ночами башни.

С тех пор как яблоко услыхало, что сказала Адаму Ева, яблоки краснеют.

Как хочется быть не собой! Вот подтяжка — ей хотелось быть штопором.

Он играл на лире, а казалось — на спинке стула.

На петушином гребне до сих пор заметен след божественных ножниц — последний штрих творенья.

Пианисту снится кошмар — рояль с километровой клавиатурой.

Старая пишущая машинка лучше новой — она опытней и грамотней.

Верблюд волочит на себе линию горизонта и далекую гору.

Двери питаются одними орехами.

Всегда прощаются — словно и созданы прощаться — белые рукава Пьеро!

Небо такое, будто сотня художников вытирала об него кисти.

Жирафа — лошадь, преображенная любопытством.

Чайка — платок, которым махнули вслед кораблю.

А море все обливает землю водой — словно надеется привести ее в чувство!

Паук штопает ветер.

Когда уходило море, рыбы бежали за последней волной, как кролики.

Хлопнули дверью, прищемив пальцы тишине.

Павлин — миф в отставке.

Так и кажется, что у лебедя под крылом — тетрадь со стихами.

Ласточка, когда летит, пожимает плечами.

Суперфилософский ответ: «Сфотографируйся и узнаешь, существуешь ты или нет».

Пейзажист может работать спокойно — природа никогда не настаивает на сходстве.

Зажмурьте глаза и увидите иероглифы.

Внутри каждого слова есть кость, которую не раскусишь,— его этимология.

Древесные корни скрестили руки.

Черепаха не спешит, потому и живет долго.

Писатель сочиняет ложь, а пишет правду.

Начало весны — мальчик на пустой карусели.

Кипарис — это колодец стал деревом.

Осел все взвешивает на чашах ушей.

Играть одним пальцем — тыкать роялю пальцем в живот.

Художник был так стар, что даже кисти у него облысели.

Сквозь дыру в ботинке явственно проглядывало будущее.

В комнате густо пахло графоманством.

Ветер не умеет читать — и листает книгу с конца.

Все мы любили гоголь-моголь в детстве, но разве не предали мы его при первой же возможности — и вы, и я, и все остальные?

Книга — тысячекрылая птица.

Китайцы пишут сверху вниз — как будто собираются складывать столбики и подводить итог.

Атомы — косточки невидимых вишен.

Лучшие киносценарии уже написаны в XVI веке — Шекспиром!

Что такое смерть, не знают даже мертвые.

Гений — это тот, кто живет неведомо чем и не умирает.

Едва занесут молоток, гвоздь падает. Так, думает он, спасусь.

В буквальном смысле теряет голову только молоток, когда отваливается рукоятка.

Когда битва проиграна, бьют барабан. За что?

«Мыслитель» Родена — шахматист, у которого отняли доску.

Книга — спасательный круг, кинутый в одиночество.

Мед всегда краденый.

Сонет — бархатный жилетик поэзии.

Смерть — и лунное и солнечное затмение сразу.

Другой берег тоскует, что он не этот. И мост — не спасенье.

Девственный лес — это лес, куда не ступала рука человека.

Только астроном, когда глядит на луну, не похож на идиота.

Всякая клякса высыхает. Такова жизнь.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ (АНГЛИЯ)

ОХОТА НА ЗМЕРЯ

Перевод с английского и вступление ВЛАДИМИРА ОРЛА

В этом году все, кому удалось сохранить чувство юмора, отмечают 150-летие со дня рождения замечательного английского сказочника, эксцентрика и математика Льюиса Кэрролла, автора прославленных «Алисы в стране чудес» и «В Зазеркалье». К сожалению, меньше известно у нас другое произведение Кэрролла, предназначенное специально для взрослых (как для тех, кто сохранил чувство юмора, так и для всех остальных). Это поэма в восьми частях («приступах») под интригующим названием «Охота на Змеря». Увы, взрослые читатели обманули ожидания Кэрролла. Даже поклонники поэмы осаждали автора письмами, задавая лишь один волновавший их вопрос: «Что все это значит?» А на это у Кэрролла был один ответ: «Понятия не имею». И не в том было дело, что поэма пестрила известными всем по книге «В Зазеркалье» «словами-бумажниками», «словами-вешалками», на которые повешено сразу два смысла, вроде «убовато», «засвиреветь» и «Крюкодил». Даже искушенных кэрроллианцев сбивая с толку сам загадочный сюжет, загадочный Змерь, его загадочный двойник Огогон, небывалая птица Каквас и тьма других загадочных фактов, например, то, что охотиться на Змеря отправились герои, профессии которых все как одна начинаются на букву «Б». И все же забавную, абсурдную, а местами и жутковатую историю любят и читают, вероятно, потому, что каждый может оживить ее силой своего воображения. Многое в поэме стало афористичным, например, дурацкий (но, увы, живучий) тезис Боцмана — «правда — то, что повторено трижды».

Вчитываясь в «Охоту на Змеря», убеждаешься, что это не только любопытный образец английской поэзии нонсенса, но и жестокий сарказм по отношению к бесчестному богатству, филистерству, неправому суду — всему тому, что Кэрролл видел вокруг себя и над чем смеялся.

Приступ второй

РЕЧЬ БОЦМАНА

Был Боцман на судне всему головой —
Такой непреклонно суровый,
Такой моложавый, такой деловой,
И сразу видать, что толковый.
Он купил себе карту далеких морей
Без намека на скучную сушу.
Все кричали: «Сойдет! Поплывем поскорей!
Не томи нам, пожалуйста, душу!»
«Это все скукота — широта, долгота,
Глобус, полюс, зенит и экватор»,—
Боцман пылко кричал. Экипаж отвечал:
«Зря все это придумал Меркатор!
Острова, города, берега — ерунда,
Просто переплетение линий.
Эта чушь не нужна, наша карта должна
Быть пустой и желательно синей».

...

Капитан был умен, но командовал он
Чересчур энергично и браво,
И дрожал рулевой от команды такой:
«Правь налево, но только направо!»
Ну, а где расположены нос и бушприт,
Боцман знал (но не слишком уверенно,
В чем никто его попусту не укорит:
Все заранее было измерено).

...

Но прошли стороной беды все до одной,
И на берег ступили матросы.
Чемоданы свесли, осмотрелись — вдали
Только мрачный овраг да утесы.

...

Боцман их попросил на песочек прилечь
И накапал им грогу в стаканы,
А потом произнес бесконечную речь,
И все слушали, как истуканы.

«Братья, римляне, други, услышьте меня!»
(Разомлев от цветистого слога,
Все привстали, стаканами грога звеня,
Постояли и выпили грога.)

«Много дней и недель бороздя океан
(Как известно, семь суток в неделе),
Признает не без горечи ваш капитан:
Змеря, кажется, мы проглядели!
Пять признаков (пять, повторю вам опять),
По которым всегда мы проверим,
Столкнулись ли мы среди бури и тьмы
С настоящим, доподлинным Змерем.
Пойдем по порядку. На вкус он хрустит,
Но тускло и как-то рывками.
Как тесный пиджак, будит он аппетит,
Зато отдает светляками.
Он поздно встает, ибо времени нет —
Делами он так перегружен,
Что утром съедает вчерашний обед,
А завтрак съедает на ужин.
Рискните, скажите при нем каламбур —
Поймете: ему не до шуток.

Он от каламбуров рассеян и хмур,
От шуток — неистово жуток.
Он парочку пляжных кабин норовит
Таскать за собою и даже
Считает, что так улучшается вид
Морского прибоя и пляжа.
Он страшный завистник. А кроме того,
Есть две разновидности Змеря:
Он кусается, если есть шерсть у него,
И царапается, если перья.
Змери — дело нехитрое, но среди них
Можно встретить, скажу вам заранее,
Огогона...» Тут Булочник вскрикнул, затих
И упал на песок без сознания.

Приступ третий

РАССКАЗ БУЛОЧНИКА

В сознанье они приводили его
Салатом и чайной соломкой,
И добрым советом будили его,
И путаной головоломкой.
Он глаза приоткрыл, он собрался начать
Свою полную горестей повесть.
Боцман гаркнул на всех: «Эй, молчать! Не кричать!
Да заткнитесь, имейте же совесть!»
«Я родился в приличной, но бедной семье...»
Боцман рявкнул: «Давай покороче!
Чем без толку болтать, лучше Змеря поймать.
Мы не можем трепаться до ночи».
«Опущу сорок лет! — Булочник отвечал.—
Все печали, утраты, потери.
Начинаю с того, как пришел на причал,
Возмечтав об охоте на Змеря.
Расставаясь со мною, мой крестный отец
Так сказал мне и горько заплакал...»
Боцман рявкнул: «Да хватит болтать, наконец!» —
Так, что колокол злобно зазвякал.
Булочник продолжал: «Он мне ясно сказал —
Если Змерь просто Змерь, все в порядке.
Керосинку и печь можно Змерем зажечь,
Посадить можно Змеря на грядке.
Надо, чтобы в наперстке искали его,
Ловили годами и вилками,
Ласкали его, полоскали его
Обмылками и ухмылками».

...

«Но знай: если только по воле небес
Оказался бы Змерь Огогоном,
Ты бы в то же мгновенье бесшумно исчез,
Змерь остался бы непобежденным!
До сих пор вспоминаю я эти слова,
Эту каплю — последнюю в чаше,
И кипит, и трясется моя голова,
Как горшок с закипевшею кашей.
До сих пор, до сих пор...» — «Сколько можно болтать!» —
Крикнул Боцман, от гнева бледнея.
Булочник продолжал: «Повторяю опять —
До сих пор я от страха немею.
Змерь является мне темной ночью во сне
И кидается, злобный и гадкий.
Я пытаюсь зажечь Змерем свечку и печь,
Посадить супостата на грядке.
Если подкараулит меня Огогон,
То спасаться, увы, бесполезно.
В тот же миг, когда из лесу кинется он,
Вскрикну я и бесшумно исчезну!»

Приступ восьмой

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

В тревоге, в наперстке искали его,
Ловили годами и вилками,
Ласкали его, полоскали его
Обмылками и ухмылками.

...

Вдруг Боцман воскликнул: «Глядите, Каквас
Взъерошил на дереве перья.
Огнем засверкал его пламенный глаз,
Увидевший в зарослях Змеря!»
Тогда восхищенно воскликнул Бандит:
«Глядите, какая отвага!
Вон Булочник. Он на утесе стоит
Над бездной!» Но дальше ни шага
Не сделал смельчак, потому что во мрак
Его удалая фигура
Рванулась. В провал бедняга упал.
Команда стояла понуро.
Из пропасти крик прозвучал: «Это Змерь!»
Рассеялись грусть и тревога.
Теперь все кричали, все пели теперь,
Но тут раздалось: «Это Ого...»
Молчанье. Потом прозвучали вдогон
Какие-то звуки. Какие?
Одни утверждали, что слышали «...гои!».
Но не соглашались другие.
И Боцман до ночи в наперстке искал
Следы этой битвы, не веря,
Что не обнаружит уступ среди скал,
Где Булочник выследил Змеря.
Когда Змерю он бросился наперерез,
Когда Змеря считал побежденным,
Сам он в то же мгновенье бесшумно исчез.
Змерь, как видите, был Огогоном.

◆

Наши гости

Нуно Браганса, Жоао де Мело

(ПОРТУГАЛИЯ)

Романист Нуно Браганса, член правления Ассоциации португальских писателей, и прозаик, поэт и литературный критик Жоао де Мело в Советский Союз приехали впервые. Наш читатель пока еще не знаком с их произведениями, но у себя на родине оба они пользуются широкой известностью. Оба относят себя к новому, послереволюционному поколению португальских писателей.

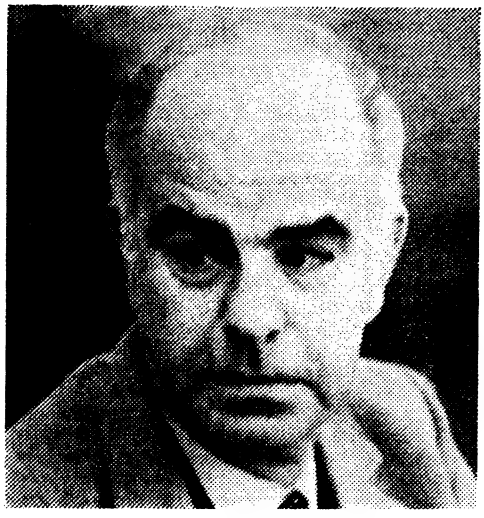
— Это вопрос не возраста, а умонастроения,— подчеркивает Жоао де Мело.

Ни Нуно Браганса, ни Жоао де Мело не считают себя литераторами-профессионалами. Нуно Браганса работает экспертом в министерстве труда, Жоао де Мело был советником по трудовым вопросам в профсоюзе, преподает на филологическом факультете Лиссабонского университета.

— У нас в стране почти нет писателей-профессионалов: невозможно прожить на одни литературные гонорары,— поясняют они.

Писательская судьба Нуно Брагансы сложилась удачно. В его творчестве, пожалуй, не было периода ученичества. Уже первый роман «Ночь и смех», вышедший в свет в 1969 году, принес автору бесспорный успех и произвел, по словам португальского критика Мануэла Гузмао, впечатление «исключительной новизны». С тех пор книга выдержала три издания, но впечатление это сохраняется и сегодня.

«Ночь и смех», собственно, даже и не роман в привычном смысле слова, а триптих, составленный из «панно», не связанных ни общим героем, ни хронологической последовательностью, ни даже единством тональности. Тем не менее при всей усложненности (порой даже, пожалуй, нарочитой) повествовательной манеры Брагансы отчетливо просматривается центральная тема его книги: нравственный климат уже агонизировавшей Португалии до апрельской революции 1974 года. Невыносимое для живой души убожество, косность, лицемерие той поры великолепно переданы через восприятие мальчика — безымянного героя (просто «я») и рассказчика из первого «панно». Читая эти страницы, сатирически изображающие порядки в некоем колледже (типичном для тех времен), куда отдают мальчика, еще яснее понимаешь, почему так упорно боролись — и борются — передовые силы страны за демократизацию и модернизацию образования: ограниченные и жестокие преподаватели («доктора» — не более, не менее!), их абсурднейшие схоластические лекции по «швейцарским обычаям» (социологии), «личным проблемам» (психологии) и совсем уж непонятной «суперструктуральной социабельности», падре, дающий уроки «метафизической тоски» (религии), страшный в своей нелепости суд над провинившимся героем, наконец, бунт учеников, кончающийся «сокрушением» колледжа...



Нуно Браганса

Жоао де Мело

«Смех» Нуно Брагансы, прозвучавший в салазаровской «ночи», был подхвачен тысячами его читателей. Объясняя иносказательность своей первой книги, Нуно Браганса говорит:

— До революции 1974 года нам приходилось писать, постоянно думая о цензуре. Трудно представить, какой вред нанесла она развитию португальской литературы. Давление цензуры заставляло писателей изобретать особые уловки и приемы,

искать какие-то «боковые ходы», прибегать к эзоповскому языку — только бы преодолеть цензурные рогатки и пробиться к читателю. Эта внутренняя несвобода угнетала меня — и вот я решил написать книгу, забыв о цензуре, вопреки цензуре. Так началась работа над романом «Бессонные сутки». Разумеется, издавать подобную книгу мне пришлось бы подпольно, к этому я и готовился. К счастью, меня опередила революция — и роман появился в 1977 году, когда уже не было фашистских цензоров. О чем он? О подпольном сопротивлении против салазаровского режима. В нем рассказывается об одном дне из жизни подпольщика — вернее о 31 часе без сна, отданном работе и борьбе.

— *Хочу добавить,*— говорит Жоао де Мело, — *что «Бессонные сутки» — одно из самых значительных произведений нашей литературы последних лет. И не только потому, что книга посвящена теме антифашистского сопротивления, долгое время бывшей под запретом и поэтому для нас новой. Нуно Браганса сумел гармонически соединить здесь черты традиционной португальской «хорошей прозы» с опытом экспериментального романа. Наша критика (справедливо, мне кажется) причисляет писателя к зачинателям нашей «новой прозы». Важно и то, что эта проза понятна широкому читателю.*

— *В ноябре 1981 года вышел в свет мой третий роман, «Сквер Толстого»,* — продолжает Нуно Браганса.— *Он также затрагивает тему антифашистского подполья. Книга написана от лица центрального персонажа, португальского писателя, живущего в Париже. Анибал (так зовут писателя) глубоко переживает вынужденный отрыв от Португалии. Но что делать, ведь только здесь, в Париже, служа в международном банке, он может заработать на жизнь себе и на образование своим детям, оставшимся там, дома, и только здесь может без помех писать свою книгу о революционном сопротивлении. Здесь он собирается напечатать ее, чтобы затем нелегально переправить в Португалию. Здесь он делает фильм о горькой доле португальских рабочих-эмигрантов, людей без возраста и лица, которых капиталистическая машина использует, чтобы построить такой мир, где как раз для них не найдется места.*

Не очень-то разбираясь в политических течениях внутри португальского сопротивления, Анибал помогает ему как может: добывает для подпольщиков оружие; рискуя попасть в лапы тайной политической полиции, едет в Лиссабон, чтобы договориться о доставке оружия; вывозит за границу секретные документы, разоблачающие действия колониалистов в Африке; выполняет обязанности связного.

Родина всегда в сердце и в мыслях Анибала но в глазах друзей и товарищей по подполью, живущих в Португалии, он постепенно становится «иностранцем», «человеком оттуда» — им кажется, что он в безопасности, так как ему «не случается просыпаться среди ночи в ожидании налета тайной полиции». Это обстоятельство, а также уход любимой женщины рождают в душе Анибала глубокий кризис...

— *Почему я озаглавил роман «Сквер Толстого»?* — отвечает на наш вопрос Нуно Браганса. — *Толстой-писатель мне очень близок. Как никто другой умел он проникнуть в то сплетение встреч и расставаний, из которого складывается жизнь человека. Моя книга тоже цепь разлук и встреч (состоявшихся и несостоявшихся) друзей, подпольщиков, любящих... Завершается книга встречей в сквере Толстого (есть в Париже такой сквер). Сюда, чудом уцелев в автомобильной катастрофе, приходит главный герой, чтобы взглянуть на памятник Толстому — бюст, высеченный из каменной глыбы. Здесь, у подножия памятника, Анибал как бы исповедуется великому писателю и расстается со своими заблуждениями. Он вновь возрождается к жизни, осознавая себя сыном Земли, частицей человечества.*

Путь Жоао де Мело в литературу пролег через войну. В 1971 году его, едва начавшего печататься двадцатидвухлетнего юношу, мобилизовали в санитарные батальоны колониальной армии в Анголе. Он попал на северный фронт в самый разгар военных действий и провел там «два с половиной нескончаемых, тяжких года»... «Самый абсурдный и беспросветный период моей жизни человека и писателя»,— напишет он впоследствии.

Страшный опыт войны вызвал к жизни две книги Жоао де Мело — «Рассказы о сопротивлении» (1975) и «Воспоминания видевшего, как убивают и как умирают» (1977). Если первую сам автор определил как сборник рассказов, «историй», то жанр второй установить труднее. Скорее всего это повествование о буднях солдат колониальных войск — «свидетельство», проникнутое неподдельной гражданской болью.

— *В своих книгах,*— рассказывает он нам, — *я стремился показать войну в Африке в двойном плане: как войну за национальное освобождение африканцев и как процесс освобождения самих португальцев из плена колониалистского сознания.*

И действительно, ему это удалось. Оказавшись участниками бессмысленной бойни, его герои поначалу испытывают лишь отчаяние, страшась «погибнуть в этой душной и влажной тропической ночи или, в лучшем случае, угодить в тюрьму для политзаключенных в Луанде». Кончают же они тем, что осознают свое братство и солидарность с людьми, которые сражаются против них за правое дело по другую сторону линии фронта.

— *Важно, чтобы новое поколение, вступающее в жизнь, не забывало об ужасах войны и фашизма,* — подчеркивает писатель. — *Пока существует фашизм, всякая книга о борьбе с ним современна. Думается, у нынешнего поколения португальцев еще нет необходимой «временной дистанции» чтобы осмыслить пережитую нами войну верно и всесторонне. Тем больше ответственность литераторов. Мы должны писать не то, что нравится критике, а то, что нужно широкому читателю, народу.*

А народ ожидает книг о революции, о нашей теперешней, послереволюционной действительности. Такие произведения уже появляются, но, к сожалению, многие из них довольно спорны. Может быть, после десятилетий цензурных запретов писатели еще не нашли новых форм, не обрели «нового голоса», чтобы рассказать о новой реальности.

— На мой взгляд, такое положение объясняется и сложным характером апрельской революции, — продолжает разговор Нуно Браганса. *— Я бы сказал, что революция была возможностью, которая не реализовалась в полной мере. Из-за недостатка ли воображения, из-за недостатка ли внимания к коллективным усилиям масс — об этом можно дискутировать. Безусловно, однако, то, что народ был готов к самым решительным переменам. А политики, стоявшие у кормила власти, не сумели или не захотели использовать эту революционную энергию. К тому же революция 25 апреля произошла в условиях острого экономического кризиса на Западе — он поразил, конечно, и Португалию. Создалась довольно запутанная ситуация. Не так-то просто в ней разобраться. Однако это не значит, что мы разочаровались в идеалах революции или стали пессимистами. При всех обстоятельствах писатель обязан выполнять свой долг. Ведь художник — связующее звено между современниками и реальностью, в которой они живут. Искусство — это не бегство от действительности, а вторжение, погружение в нее. Согласен, что в нашу эпоху ответственность искусства велика. И в нашей стране тем более. Поясню свою мысль. В эпоху великих географических открытий сложилась португальская колониальная империя. Теперь эта 500-летняя империя рухнула. Португалия вновь очутилась в своих естественных границах, стала просто маленькой европейской страной. Нам нелегко привыкнуть к мысли об «ограниченности». Португальцам предстоит выработать подлинно национальное самосознание взамен имперского, которое им столь долго навязывали. Это процесс огромной важности, он затрагивает душу каждого португальца. Убежден, что мы, деятели искусства, интеллигенция, обязаны в нем участвовать.*

— Видимо, с этим как-то связана еще одна примечательная черта культурной жизни сегодняшней Португалии, — говорит Жоао де Мело. *— Я имею в виду большой интерес к литературе и искусству португалоязычных стран Африки, то есть бывших колоний. Этот интерес частично удовлетворяет журнал «Африка», выходящий одновременно в Португалии и в Африке. Им руководит видный писатель и ученый-африканист Мануэл Феррейра. Он же составитель солидной «Антологии африканской поэзии». Сам я готовлю сейчас двухтомную антологию литературы антиколониальной борьбы пяти африканских стран — экс-колоний Португалии. Думается, эти литературы вступают сейчас в полосу расцвета. За последние годы появилось немало интересных книг. Назову совсем недавний роман Пепетелы «Майомби», посвященный освободительной войне в Анголе, книгу другого ангольца Мануэла душ Сантуша Лимы «Слезы и ветер». Заслуживает внимания и сборник Кошты де Андраде «Поэзия с оружием в руках». Бурно развивается поэзия в Мозамбике, на Островах Зеленого Мыса...*

На II съезд португальских писателей (март 1982 года) мы пригласили африканских коллег, подробно обсуждали с ними самые различные аспекты взаимосвязей и взаимовлияний наших литератур. И единодушно пришли к выводу: необходимо создать новое «культурное пространство», где нашлось бы место для всех — и для африканцев, и для нас. Нельзя повторять ошибки, допущенной когда-то в отношениях с бразильской — тоже португалоязычной — литературой. Наши пути так разошлись, что эта литература в Португалии практически неизвестна. Кстати, хочу напомнить: II съезд португальских писателей принял резолюцию о подготовке конгресса литераторов всех португалоязычных стран.

Встреча наша подходит к концу, и мы задаем гостям традиционный вопрос: над чем они сейчас работают, каковы их творческие планы. Нуно Браганса говорит, что пишет книгу рассказов. Жоао де Мело трудится над автобиографическим романом — о своем детстве, проведенном на Азорских островах. В заключение слово вновь берет Жоао де Мело:

— Нас восхищает работа, которую ведет журнал «Иностранная литература». Она полностью отвечает благородному призванию искусства — устранять языковые и прочие барьеры между народами, облегчать им взаимопонимание. Мы в Португалии также работаем в этом направлении. Теперь, с подписанием соглашения о сотрудничестве между Союзом советских писателей и Ассоциацией португальских писателей, эта деятельность, я уверен, развернется еще шире.

Г. ВЕРЖХОВСКАЯ

■

Среди книг

Издано в СССР

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ В ВЕВЕ

Lettres soviétiques. Dostoïevski et le monde d'aujourd'hui. 1981 N 12.

«Советская литература». Достоевский и современность. 1981, № 12.

Автор публикуемой нами статьи — известный швейцарский франкоязычный писатель Мишель Гёльдлин[1] проживающий в городе Веве, где Федор Михайлович и Анна Григорьевна Достоевские провели лето 1868 года.

Номер журнала «Советская литература», целиком посвященный Ф. М. Достоевскому, который знакомит читателей с его замечательным рассказом «Кроткая» (по-моему, это настоящий маленький шедевр) и множеством других разнообразных и интересных материалов о его творчестве, вовлек меня в мир издавно любимого мною писателя. Каждый век дарит человечеству не больше одного или двух художников такого масштаба. Проходят годы, а всемирное значение Достоевского не убывает, и мы постоянно ощущаем его присутствие в нашей жизни — и как писателя, и как человека.

По прочтении журнала у меня возникло желание самому отправиться на поиски Достоевского. И вот я — уже в который раз в моей жизни — замираю перед домом, где жил великий русский писатель, вчитываюсь в хорошо знакомый текст мемориальной доски, всматриваюсь в окно его комнаты, поднимаюсь на второй этаж и прошу нынешних обитателей разрешить мне осмотреть квартиру изнутри. Исследовав дом, по соседству с которым я родился и живу по сей день, я погрузился в изучение архивов, сохранившихся в старом Веве, и в чтение, а вернее перечитывание, книг самого Достоевского. Но я не историк и не литературовед, я не пишу биографий и научных работ, моя область — это воображение, и вот я представил себе...

Окна квартиры, которую занимали Достоевские летом 1868 г.

[1] Рецензия Н. Разговорова на роман М. Гёльдлина «Ветер умирает в полдень» была опубликована в «ИЛ», 1982, № 3.

23 мая 1868

После полудня грузовой пароход прибыл в Веве. Уже три дня как над этим городком, где обитало тогда четыре тысячи жителей, нависли черные тучи, тяжелый и влажный воздух был удушающе жарок, предгрозовая атмосфера порождала тревогу и беспокойство.

Федор Михайлович и Анна Григорьевна бредут со своим скудным багажом по мощеным улочкам вдоль озера Леман в поисках недорогой гостиницы. Анна украдкой поглядывает на мужа. Его высокая фигура кажется сгорбленной в чересчур свободной и поношенной одежде. Бледное лицо в морщинах, волосы над выпуклым лбом начали редеть, борода поседела. В свои сорок семь лет Федор выглядит стариком — сказывается жизнь, полная мучительных испытаний.

Наконец они входят в маленькую гостиницу на улице Озера, которую Федор приметил в прошлый приезд, когда возвращался после проигрыша в казино. Они снимают здесь комнату — еще одно временное пристанище в их горемычной жизни изгнанников. Разве могли они оставаться в Женеве после смерти маленькой Сони? Они вынуждены были бежать. Бежать из города, где безжалостная смерть унесла их невинное дитя, которое едва успело появиться на свет... Молодая мать страдает не меньше, чем Федор. Ее лицо с крупными чертами грустно, однако она сдерживает слезы, чтобы пощадить мужа и не усугублять его боль.

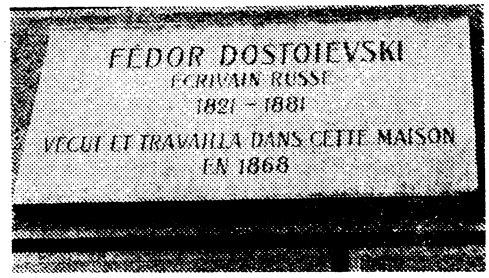
Разразившаяся гроза, созвучная их душевным мукам и бурям, омывает город и освежает воздух. Кровавое солнце, прячущееся на ночь за горы, пробиваясь сквозь тучи, отбрасывает на озеро багровые блики. По узкой улочке громыхает повозка, звякают железные ободья колес, стучат сабо. Федор зажигает керосиновую лампу. Как же он устал!

27 мая

Федор и Анна перебираются в дом № 13 по улице Симплон, в квартирку из двух комнат на втором этаже старинного и красивого дома. В угловой комнате они устраивают спальню, а та, что выходит на улицу Центра, становится кабинетом писателя. Здесь царит тишина. Проникающее в окно утреннее солнце освещает деревянные панели, которыми обшиты толстые стены.

По крайней мере здесь хоть спокойно, думает Достоевский, здесь он сможет закончить роман «Идиот». Анна распоряжается их скудными средствами, приобретая все необходимое в соседних лавках. Она оберегает покой, необходимый Федору Михайловичу для завершения последних глав книги.

Начались дни кропотливого труда. После смерти ребенка Достоевскому доставляют радость лишь работа и прогулки по берегу озера или по нависающей над городом террасе, откуда открывается безмятежно прекрасный пейзаж. Однако эта безмятежная красота не может захватить его полностью: слишком многое его мучает.



Мемориальная доска на доме, где жили Ф. М. и А. Г. Достоевские.

Прежде всего это тревога художника, опасающегося, что он не сможет закончить произведение с той же силой реализма, с которой ему удалось его начать. И Достоевский лихорадочно ищет слова, торопливо исписывает страницу за страницей, перечеркивает, рвет, начинает все снова, стараясь превзойти самого себя. Его подгоняет не только необходимость выслать как можно скорее новые главы Каткову, редактору журнала «Русский вестник», который заплатил ему аванс, им движет законная гордость творца и жизненно важная потребность увидеть свой труд завершенным.

Достоевскому мешают лишь приступы эпилепсии. В те секунды, когда он предчувствует их приближение, ему видится все с необычайной ясностью, а затем, после мучительного забытья, им овладевает отупляющая усталость. Это задерживает работу над книгой, в которую он вкладывает всю свою непоколебимую веру в человека, его мудрость и добросердечие, веру, которую не смогли разрушить все невзгоды, выпавшие на долю писателя: мрачное детство, нелады с отцом, каторга, смерть первой жены, брата и маленькой Сони, постоянная нужда. Но покинув Россию, писатель обрек себя на изгнание, и его здоровье только ухудшилось.

Однако в несчастьях выковывается его характер, а перо приобретает предельную правдивость. Достоевский черпает вдохновение в своем прошлом и в поистине неисчерпаемом источнике — самой жизни. Вот почему столь актуальным остается для всех последующих поколений его творчество, воспринимаемое как своего рода призыв, исходящий из глубины души человека, который верит в добро вопреки всему пережитому злу. Достоевский творит не только для своего времени.

19 августа

Федор Михайлович пишет. Он ведет переписку с друзьями и родственниками. Но главное, он работает над романом, в судьбе героя которого можно угадать удивительно много схожего с его собственной судьбой. Достоевскому неуютно в Веве, но писателю будет неуютно повсюду на протяжении четырех лет странствий, пока он не вернется на родную почву. Однако созданные им в эту пору персонажи отличаются такой

жизненностью и психологической глубиной, что, перешагнув границы и пережив свое время, они станут близки людям всего мира. Достоевский находит путь к сердцу каждого читателя, вопреки предрассудкам, различному образу жизни или мышления. Нас захватывают сложные, преисполненные страстей судьбы его героев, слабых или сильных, и мы проникаемся жалостью и любовью, ненавидим и презираем вместе с ними. Чем мощнее свет, излучаемый гением художника, тем ярче высвечивает он мрачные стороны бытия и человеческие трагедии.

И что может быть важнее для писателя, обреченного на бесконечные муки творчества, чем поиски единственно верного слова, благодаря которому оживет сотворенный им персонаж, притягательный в своем величии или отталкивающий своей низостью? Всеми лучшими чертами, какими обладает сам Федор, он награждает своих духовных собратьев, своих двойников, отражающих разные грани его личности. Всем, чем писатель недоволен в себе, он наделяет отрицательных персонажей.

Жизненный опыт Достоевского настолько богат, что он сторонится людей. Мозг Федора перенасыщен, прошлое переполняет его. Чтобы достичь вершины и создать шедевры, которые будут жить века, требуется не только много страдать, требуется и уединение.

В Веве, где Достоевскому по душе пришелся лишь пейзаж, он все же обрел спокойствие, необходимое для работы. Его не интересовала жизнь города, который полюбился стольким другим писателям, и город с пониманием и уважением воспринял его стремление к одиночеству и не мешал ему залечивать медленно затягивавшиеся раны. Найдя в себе силы не повторить судьбу князя Мышкина, Достоевский уезжает осенью в Милан, а позже возвратится на свою горячо любимую родину. Не дожидаясь, пока облетит листва и снег покроет горы, окаймляющие озеро.

Признавал это сам Федор Михайлович или нет, месяцы, проведенные им в Веве, были периодом затишья в его наполненной бурями жизни. Здесь он мог целиком отдаться работе над произведением, герой которого, несмотря на аристократическое происхождение, отличается редкостной скромностью и простотой и исповедует веру в доброту и человечность вопреки глупым насмешкам и издевкам окружающих.

И те отзвуки, которые нашли в этом величайшем романе Достоевского его проживание в Веве,— разве это не лучшая память городу, также сохранившему воспоминание о русском писателе?

Но не будем забывать, что самый великий роман Достоевского — его собственная жизнь, взывающая к братскому великодушию.

МИШЕЛЬ ГЕЛЬДЛИН

г. Веве,
улица Озера

ПО ТУ СТОРОНУ ДЕРЕВА

Новые голоса. Составители Т. Балашова и М. Ваксмахер. Стихи современных французских поэтов. Переводы с французского под редакцией М. Ваксмахера. Предисловие М. Алигер. Москва, «Прогресс», 1981.

К французской литературе в нашей стране всегда было несколько особое отношение. О прозе и говорить нечего, но увлечение французской поэзией — по количеству и качеству переводов и, главное, по широте и глубине эмоционального отклика — оставляло далеко позади интерес к поэзии других стран. Причем равно горячей любовью пользовались и продолжают пользоваться у нас поэты диаметрально противоположного склада: Шенье и Парни, Беранже и Бодлер, Превер и Элюар. Еще одна черта, выделяющая наше отношение к поэзии Франции,— своевременное появление переводов, отсутствие «момента запаздывания», приводящего порой к нарушению историко-литературной перспективы в переводах из поэзии других стран. Правда, и здесь есть свои лакуны, но, скажем, французский символизм с самого своего возникновения и, кстати, до сих пор был куда лучше известен нашему читателю, чем родственные и близкие по времени неоромантизм и прерафаэлитство в немецкой и английской поэзии.

Видимо, в продолжение традиции «синхронного перевода» был задуман и осуществлен выпуск этой книги — объемистой антологии новейшей французской поэзии, включающей стихи двадцати трех современных поэтов и представляющей сегодняшний день поэтической Франции в двух аспектах: панорамой, широким кругом имен, и крупным планом, поскольку каждому из поэтов отведено больше места, чем это обычно бывает в антологиях. Удачное решение и определенные трудности, которые возникли в ходе работы, не помешали его реализации. Все же на этих трудностях стоит остановиться.

«...Как прочитают эту книгу наши современные любители и ценители поэзии, как они ее поймут и оценят... А ведь они, будущие читатели этой книги, при всей своей безоговорочной любви к поэзии, а может быть, именно благодаря этой любви,— читатели весьма требовательные и взыскательные, воспитанные и даже, если хотите, избалованные замечательной русской поэзией, ее глубиной, значительностью, исповедальностью»,— такими далеко не традиционными — особенно для данного жанра — сомнениями и опасениями предваряет Маргарита Алигер в своем вступительном слове «Поэзия трудного века» поэтический корпус книги. Сомнения эти отнюдь не беспочвенны.

Пути русской и французской поэзии, сестер и задушевных подруг на протяжении всего девятнадцатого века, в двадцатом резко разошлись. В величие Аполлинера мы верим скорее на слово. Сен-Жон Перс известен у нас очень мало. Меж тем именно на опыте этих поэтов (и, пожалуй, на учебе у англоязычных поэтов нашего века) базируется поэтика современных французских стихотворцев. Итак, перед нами позднейшая метаморфоза изначально незнакомого явления.

Но дело даже не в том, что целый ряд явлений и процессов во французской поэзии XX века выпал из поля нашего внимания (преодолеть это призваны дальнейшие публикации), а в том, что многое в ней, давно ставшее общепринятым, может быть ошибочно воспринято как индивидуальные новации того или иного поэта. В свое время Валерия Брюсова, выступившего в роли переводчика «Энеиды», упрекали в том, что он принял расхожие идиомы латинского языка за авторские метафоры Вергилия. Здесь нам грозит нечто прямо противоположное. Поэтому не следует забывать, что авторы, представленные в книге, не изобрели ни верлибра, ни версета, не первыми обратились к технике ассоциативного письма или прибегли к графическим (и полиграфическим) изыскам. Конечно, сама совокупность, сама мозаика использованных приемов достаточно показательны, но не более того. Традицию, пусть и не осознанную нами пока в качестве таковой, нужно постоянно выносить за скобки.

а то,
длинной
расщелиной
каков
черный
пуст
который
не может

передвигаясь
узкой
и не осознавая,
он цветом,
или белый,
или наполнен, он,
отдается, но
сам себя коснуться...

(Жан-Пьер Фай, «А то, передвигаясь...», перевод Г. Русакова)

Подобную демонстрацию поэтического материала «на двух экранах» изобрели еще поэты барокко. Да и в XX веке первым возобновил эту традицию не Фай. Следует, отметив этот формальный прием (и его «четырехэкранное» усложнение — а вот тут уже авторское изобретение Фая), постараться понять, зачем он использован, что именно хочет выразить с его помощью данный поэт. Но на этом пути нас ждут новые трудности.

«Шпион застывает недвижно, чтобы снять план, развратник, чтобы подкараулить женщину, солидные люди останавливаются, чтобы взглянуть, насколько продвинулось вперед новое строительство или снос какого-нибудь значительного здания. Но поэт замирает перед вещами, не заслуживающими внимания солидного человека, так что недоумеваешь, кто он — влюбленный или шпион — и на что именно он смотрит так долго; вперив взгляд в это дерево... Он стоит перед этим деревом, но то, что ему нужно, видимо, находится где-то по ту сторону дерева, ибо он больше не ощущает того, что ощущал раньше, потом, вдруг, снова ощущает, но не может этого постигнуть, проникнуть в глубь своего ощущения ..» (отточия и разрядка мои.— *В. Т.*).

Эти слова Марселя Пруста удивительнейшим образом накладываются на сегодняшнюю ситуацию во французской поэзии. Ментальное созерцание, известное французским лирикам еще со времен Ламартина, становится не только методом, но и предметом поэтического творчества. Стремление «к дереву» (в материальный мир) и «по ту сторону дерева» (в мир идеальный) оказывается равнозначным стремлению «проникнуть в глубь своего ощущения» (в мир субъективный), причем процесс этот по сути един и нерасторжим.

Поэтам, представленным в антологии, сейчас, за немногими исключениями, от тридцати пяти до пятидесяти. Это поколение шестьдесят восьмого! Но пишут они, на первый взгляд, так, словно тогдашние бури над ними не гремели. То есть, конечно же, они пишут именно так, а не иначе, потому что майские события были, бури гремели — и крушение тех надежд было воспринято едва ли не как крушение всех надежд вообще.

О текст лишенный тел равно
и звуков ибо
Для криков был написан: нет
не записать
Вам эту трель послушайте вам это
не услышать
Как слово отзвуком томимо Он очнулся
Как текст он все утратил тот кто
Прошел сквозь смерть

(Мишель Деги, перевод В. Козового)

Поэты, по выражению Сен-Жона Перса, призваны тревожить «больную совесть эпохи». Но делать это можно двояко: прямым публицистическим призывом, гневным разоблачением, едкой сатирой — или тревожной констатацией того, что очередной век в очередной раз «вывихнул сустав». Второй путь — по нему и идут французские поэты — менее бросок, но тоже важен. «Растерянные люди ранимы» — называет книгу своих стихов Ален Ланс, и это тихое напоминание серьезней и весомей иных широковещательных деклараций.

В книге представлена и собственно публицистическая поэзия, но таких образцов (у Ланса, у Ги Белле) сравнительно немного, и они, пожалуй, несколько вторичны по отношению к прежним французским (Арагон, Элюар) и американским (Сэндберг, Хьюз) гражданственным порывам. В справках о поэтах (автор Т. Балашова), включающих элементы литературоведческого и стиховедческого анализа, встречается выражение «философская лирика», но и оно, возможно, не совсем точно. Процесс, описанный в вышеприведенном фрагменте Прустом, обусловливает появление не философской, а суггестивной[1] лирики. Это и есть магистральный жанр французской поэзии наших дней.

Уста пустынные упорно
урчанье речь лишенная корней
О шевеленье слов
всегда похоже на морщины смерти
оно
Колеблется на кромке слухов
Не медлит на порогах ржавых ведрах
на тех рассказах
Где все слова скользят

(Бернар Варгафтиг, перевод А. Парина)

Поэт старшего поколения Пьер Делла Фай (1906) попал в книгу в порядке исключения, поскольку его стихи «проблематикой и стихотворной формой весьма близки поискам молодых поэтов Франции». Думается, однако, что поэт ориентирован на принципиально иное отношение к предмету и задачам творчества. Его стихи из книги «Безумье робота» — своеобразная «науч-

[1] Суггестивный — внушающий определенные мысли, вызывающий какие-либо представления.

но-фантастическая» лирика — взволнованны, скорей даже яростны, и одновременно глубоко исповедальны. Следует также отметить поразительное совпадение поэтических темпераментов Пьера Делла Фая и его русского переводчика — Юнны Мориц.

Если верить воплям всезнающих шарлатанов, миллион стервятников должен был на меня навалиться, защищая законный, свежий, с неба упавший паек. Ходят слухи, что Нобель дает королевские премии новоявленным прометеям. Несмотря на это, вершины пустынны.

(«Сыновья Прометея»)

Эти стихи привычней — и понятней — многих, помещенных в книге, и они должны понравиться нашему читателю. Но чтобы оценить в полной мере более характерные произведения французских поэтов с их холодноватым тоном и не впрямую выраженным смыслом требуются порой немалые — хотя и благодарные — усилия.

Я хотел бы увидеть лесную для меня
печаль,
бесполезное сострадание на твоем
тупоумном
лице и последнее милосердие —
полное
непониманис моего смехотворного
поучения.

(Жан-Поль Гиббер, «Надгробье заезжего мистика», перевод Д. Самойлова)

Как же все-таки отнестись к современной французской поэзии, столь щедро и оригинально нам показанной? Книга «Новые голоса» носит в отечественной литературной ситуации экспериментальный характер — и повальное увлечение экспериментом было бы едва ли не хуже, чем огульное его неприятие. Опыт французских стихотворцев, столь отличный от нашего собственного, необходимо знать и учитывать. «По ту сторону дерева» происходит немало интересного, и — утверждают французские поэты — там происходит главное. Так это или не так, любому из нас нужно решать самому.

ВИКТОР ТОПОРОВ

Издано за рубежом

ЭСТЕТИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Werner Mittenzwei. Exil in der Schweiz. Leipzig, Verlag Philipp Reclam, 1978.
Eike Middell u. a. Exil in den USA. Leipzig, 1979.
Wolfgang Kiessling. Exil in Lateinamerika. Leipzig, 1980.
Ludwig Hoffmann u. a. Exil in der Tschechoslovakei, in Grossbritannien, Skandinavien und Palästina. Leipzig, 1980.
Dieter Schiller u. a. Exil in Frankreich. Leipzig, 1981.
Klaus Hermsdorf, Hugo Fetting, Silvia Schlenstedt. Exil un den Niederlanden und in Spanien. Leipzig, 1981.

Вернер Миттенцвай. Эмиграция в Швейцарии. 1978.
Айке Миддель и др. Эмиграция в США. 1979.
Вольфганг Кислинг. Эмиграция в Латинской Америке. 1980.
Людвиг Гофман и др. Эмиграция в Чехословакии, в Великобритании, Скандинавии и Палестине. 1980.
Дитер Шиллер и др. Эмиграция во Франции. 1981.
Клаус Хермсдорф, Гуго Феттинг, Сильвия Шленштедт. Эмиграция в Нидерландах и в Испании. 1981.

Новый коллективный труд ученых ГДР, посвященный литературе и искусству немецкой антифашистской эмиграции,— издание, единственное в своем роде. Оно привлекает научной солидностью в лучшем смысле слова, обилием и новизной материала, нередко впервые извлеченного из первоисточников; привлекает вместе с тем живостью и общедоступностью изложения. Семь объемистых томов (каждый размером от 400 до 700 страниц), вышедших в издательстве «Филипп Реклам», адресованы не только специалистам, но и широкой публике. Если не все исследование в целом, то отдельные его части читаются буквально «как роман» — в немалой степени благодаря многочисленным архивным текстам. Фрагменты писем, дневников, мемуарных свидетельств воссоздают атмосферу трудных лет, раскрывают с новых сторон пути и судьбы крупных деятелей культуры. Письма Брехта и его друга-сотрудницы Маргарете Штеффин, переписка Арнольда Цвейга с его голландским издателем, письма Бодо Узе друзьям в Европу из США, документы из архива драматурга-экспрессиониста Георга Кайзера — все это и многое другое воспринимается как открытие, представляет острый научный и читательский интерес.

Первый том коллективного исследования, «Эмиграция в СССР» (1978), уже полностью разошелся, готовится его новое, дополненное издание. Об этой книге рассказал на страницах «Иностранной литературы» С. Рожновский (1980, № 12). Обратимся к последующим шести томам.

Вернер Миттенцвай, автор второго тома, «Эмиграция в Швейцарии», и один из руководителей всего труда, пишет в предисловии к своей книге: «Чтобы охватить процесс в целом, я не исходил из великих писательских имен, а выбирал разнообразные судьбы изгнанников, различные формы борьбы в области отдельных искусств. Надо было показать не только то, как возникали в эмиграции произведения мирового литературного уровня, но и то, сколько труда, лишений, хитрости и везенья требовалось подчас для того, чтобы опубликовать одну статью, направленную против фашизма». Все коллективное исследование задумано как вклад в эстетику Сопротивления. Этот термин, который ввел в обращение недавно скончавшийся крупный писатель-

антифашист Петер Вайс, толкуется здесь в широком, недогматическом смысле. Речь идет не об отдельных темах, стилях или художественных приемах, а об антифашистской идейности, проникающей в суть творчества, об убежденности и активной гражданской позиции писателей, композиторов, режиссеров. «Имеется в виду то искусство, которое, находясь под влиянием многообразных традиций и течений, противопоставляло себя бесчеловечности фашизма и призывало людей не сдаваться, а сопротивляться. На этих путях... и происходило дальнейшее развитие немецкого реалистического искусства».

Таковы исходные положения коллективного труда. В нем приняли участие литературоведы, искусствоведы, историки, социологи. Тема «эстетика Сопротивления» объединила их всех. Исследователей интересуют не только творческие результаты работы писателей и художников в эмиграции, но и процесс становления антифашистской литературы и искусства. Интересует, конечно, и тот общественно-политический контекст, в котором развивалась эта деятельность в различных странах.

Для решения этих задач авторам понадобились обстоятельные исторические, социологические экскурсы. В каждом томе показана та историческая ситуация, в которой находилось то или иное государство, куда приехали эмигранты, соотношение политических сил в 30-е и 40-е годы, особенности иммиграционной политики. Перед нами развертывается многоцветная, точно дифференцированная картина положения и судеб немецких антифашистов — во Франции в годы становления и распада Народного фронта, в Чехословакии перед Мюнхеном, в Испании периода национально-революционной войны, в США «эры Рузвельта». Куда бы ни попадали эмигранты из гитлеровской Германии, они силою событий вовлекались в общественную жизнь и идеологическую борьбу, происходившую в каждой данной стране,— их собственная судьба отчасти зависела от хода и исхода этой борьбы.

Существуют широко известные художественные свидетельства о жизни и злоключениях немецких эмигрантов во Франции,— это романы Л. Фейхтвангера («Изгнание»), Э. М. Ремарка («Триумфальная арка»), А. Зегерс («Транзит»). О судьбе изгнанников, оказавшихся в других странах Запада, известно значительно меньше. Факты, собранные и проанализированные в новом коллективном труде, позволяют судить о том, насколько неустойчивым, тревожным, а подчас и трагическим оказывалось положение германских антифашистов почти в любом государстве капиталистического мира. Повсюду они сталкивались с бездушием или недоброжелательством властей, подвергались травле со стороны реакционных сил. В США эмигрантов из Германии, за немногими исключениями, вовсе не впускали. В Швейцарии немецкие беженцы были лишены права на труд, даже в качестве домашней прислуги; нелегко было им получить работу также и в Англии, и в скандинавских странах. Крупный композитор Пауль Дессау, попавший в США, зарабатывал на жизнь в качестве подсобного рабочего на птицеводческой ферме, а философ и публицист Эрнст Блох некоторое время был мойщиком посуды... После начала второй мировой войны эмигранты из Германии были в массовом порядке заключены в лагеря — не только во Франции и Англии, но и в нейтральной Швейцарии. В странах, подвергшихся гитлеровской оккупации, немецкие антифашисты разделили горькую судьбу чехословацких, голландских, норвежских патриотов.

Но исследователи говорят и о фактах другого рода. Передовые рабочие, широкие круги интеллигенции разных стран Европы (а также и прогрессивная общественность США) поддерживали противников гитлеризма — сбором средств, предоставлением жилья и денежных пособий, устными и печатными выступлениями в защиту жертв гитлеровского террора. Самым ярким проявлением такой поддержки стала широкая международная кампания, в результате которой узник концлагеря Зонненбург несгибаемый поборник мира Карл Осецкий был — уже тяжелобольным, почти умирающим — выпущен на свободу.

Особое место среди центров эмиграции заняла Мексика, переживавшая в 30-е и 40-е годы период демократических реформ. Правительство этой страны предоставило право убежища испанским республиканцам, а затем и немецким антифашистам. В 1941 году в Мехико собралась не столь многочисленная, но очень активная, дружная группа немецких деятелей культуры, и в их числе Л. Ренн, А. Зегерс, Э. Э. Киш, Б. Узе. Возник Латиноамериканский комитет «Свободная Германия», журнал «Фрайес Дойчланд», Клуб имени Генриха Гейне, издательство «Эль либро либре» («Свободная книга»), выпустившее, в частности, «Черную книгу», сборник литературных свидетельств о преступлениях нацизма, на испанском и немецком языках. Работа всех этих организаций проходила в тесном содружестве с Национальным комитетом «Свободная Германия», созданным на территории СССР, с головным отрядом немецких антифашистов, находившимся в Москве, и приобрела резонанс далеко за пределами Латинской Америки.

В среде антифашистов-изгнанников был известен афоризм Э. Э. Киша: «Эмиграция — это не состояние, эмиграция — это деятельность». Коллективное исследование, взятое в целом, дает широкую панораму этой деятельности, протекавшей в разных странах и разных формах — от боевых подвигов 11-й Интернациональной бригады в Испании, начальником штаба которой был Людвиг Ренн, до спектаклей по пьесам Брехта в Дании, Швеции, Швейцарии, США. Понятно, что творческая работа немецких антифашистов нередко приходилась не по вкусу хозяевам капиталистического мира. Об этом говорят, например, строки из меморандума некоего чиновника американского иммиграционного ведомства, где обосновывается «необходимость» слежки за композитором Гансом Эйслером: «Вполне возможно, что он коммунист, и, как бы то ни было, популярная коммунистическая песня может породить больше взрывчатой рево-

люционной энергии, чем сто памфлетов или речей».

Авторы коллективного исследования не упрощают реального положения вещей. Литература и искусство немецкой эмиграции — большой комплекс очень неоднородных явлений. Пафос борьбы с фашистским варварством проявлялся у писателей разного идейно-творческого склада на различных уровнях мировоззрения и мастерства с неодинаковой силой, иногда — в усложненных, опосредствованных формах. Но существенно, что все лучшие силы немецкой культуры в этой борьбе участвовали, прямо или косвенно. В. Миттенцвай прав, когда говорит о художественных достоинствах такой, казалось бы, чисто документальной книги, как «Болотные солдаты» В. Лангхоффа, и, с другой стороны, прав, когда отмечает, что Герман Гессе в романе «Игра в бисер» — столь необычном, неоднозначном и по идейному замыслу, и по художественной структуре — в конечном счете «встал на сторону боевого антифашизма».

В книгах об эмиграции в Швейцарии и США есть важные разделы, посвященные философской публицистике: именно здесь наиболее наглядно обнаруживались принципиальные разногласия, развертывалась, подспудно или открыто, идейная борьба среди противников гитлеровского режима. Вопрос о сути фашизма, о его исторических корнях и классовом характере и связанная со всем этим проблематика путей и перспектив Германии — все это было предметом споров. В. Миттенцвай, А. Мидель подвергают критическому анализу буржуазно-либеральные, консервативно-элитарные, иррационалистические концепции фашизма. В. Кисслинг показывает, как передовые публицисты, работавшие в Мексике — А. Абуш, П. Меркер,— отстаивали наперекор тенденциозным буржуазным трактовкам марксистско-ленинское понимание событий германской истории и современности. Стоит добавить: ложным концепциям «буржуазных антифашистов», как и гитлеровскому мифу «немецкой общности», противостояли по сути дела те художественные произведения передовых писателей, где логикой образов раскрывались истоки гитлеризма, социальная действительность фашистской Германии,— книги И. Р. Бехера, А. Зегерс, Б. Брехта, В. Бределя, А. Цвейга, Б. Узе.

Через весь многотомный труд проходит нравственная тема испытания. Множество фактов и свидетельств — обнародованных отчасти впервые — показывают, сколько лишений, опасностей, личных горестей и потерь пришлось перенести антифашистам-эмигрантам и как нелегко им подчас бывало сохранить в самых неблагоприятных условиях ясность взгляда и волю к борьбе.

На Парижском конгрессе писателей в защиту культуры (1935) Анна Зегерс закончила свою речь стихами Мандзони: «Горе тем, кто отверг свое знамя»... Последующие годы показали, что немецкие антифашисты в громадном большинстве выдержали испытание,— людей, отвергших знамя, оказалось не так много. Но такие люди нашлись, коллективное исследование не умалчивает и об этом, не обходит и таких фактов, как постыдное ренегатство Г. Реглера, Э. Глезера. Однако в истории немецкой антифашистской эмиграции были и более сложные случаи, когда писатели заслуженные, высокоодаренные теряли перспективу и поддавались отчаянию. Пример тому — духовная драма Роберта Музиля, который медленно умирал в Швейцарии, в одиночестве и тяжкой бедности. Еще больше, чем материальные лишения, его угнетало ощущение бессмысленности бытия. Он писал за несколько лет до смерти, что не в состоянии продолжать работу над романом «Человек без свойств»: «Мне мешает то, что, по-моему, мир справедливых не намного лучше, чем мир апокалипсического зверства». Подобные же настроения черного пессимизма, полной бесперспективности владели Г. Кайзером, порождая в нем неизлечимый творческий кризис. Он долго не хотел верить в победу Советского Союза над гитлеровской Германией и только в мае 1944 года признал в личном письме: «Вы правы, Россия — это надежда»; но духовные силы писателя были непоправимо подорваны, и он умер вскоре после краха гитлеровского рейха. Исследователи Л. Гофман и К. Трепте внимательно анализируют истоки того тяжелого депрессивного состояния, которое привело к самоубийству талантливого, смелого сатирика-публициста К. Тухольского. В эмиграции он избрал линию поведения, выражавшуюся формулой «без меня». Всякая антифашистская деятельность представлялась ему бесплодной, ему казалось неминуемым, что фашисты завоюют весь мир и что даже Советский Союз не устоит перед натиском «Детердингов всех стран», то есть мирового капитала. Эта идейная позиция стала для Тухольского роковой.

И тут естественно возникают сопоставления по контрасту. Для многих видных мастеров культуры тяжелые годы эмиграции оказались, невзирая ни на что, годами творческого подъема: прежде всего потому, что теперь они как никогда почувствовали, насколько важна и необходима их работа. Об этом свидетельствует, например, в книге «Эмиграция во Франции» специальный экскурс о Генрихе Манне (автор — М. Хан). Дилогия о короле Генрихе IV, созданная Г. Манном во Франции, знаменовала для него как художника важный творческий сдвиг, в его прозе возникли новые мотивы — жизнеутверждающей героики. Почему? На это дают ответ письма Г. Манна и его автобиографические признания: он впервые почувствовал себя «причастным» к практически-политическому действию. Эти годы, говорит исследователь, «принесли Генриху Манну полное и ничем не заменимое подтверждение: он и его работа были приняты и признаны теми, для кого он всегда хотел работать».

Этот пример показателен. При всем разнообразии индивидуальностей и судеб писателей, деятелей искусства, входивших в антифашистское движение, судьбы эти, взятые вместе, дают основание для принципиально существенного вывода. Те мастера культуры, которые в годы изгнания — сразу или не сразу — ощутили себя «причастными» к общему делу исторической важности, сумели в эти горькие годы не только

сохранить жизнестойкость, но и подняться на новую для них ступень реалистического мастерства. Тут возможен длинный перечень имен: не только Генрих Манн, но и Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Арнольд Цвейг, в конечном счете и Герман Гессе, и уж конечно И. Р. Бехер, Б. Брехт, А. Зегерс, Э. Буш, Г. Эйслер. И еще многие другие! Эстетика Сопротивления дала творческие результаты, обогатившие мировую литературу и искусство XX века. Обширный и ценный труд ученых ГДР многократно напоминает нам об этом.

Т. МОТЫЛЕВА

БУДЬ ЩЕДРЫМ

Irwin Shaw. Bread upon the Waters. New York, Delacorte Press, 1981.

Ирвин Шоу. Хлеб по водам. 1981.

Это одиннадцатый роман Ирвина Шоу. Роман писателя известного и не очень молодого — он родился в 1913 году. Этот роман дал повод ряду литературных критиков в США по-новому взглянуть на творчество Шоу в целом. Философски-раздумчивая манера, свойственная книге, позволяет предположить, что Ирвин Шоу во многих отношениях выказывает известную близость своему герою, пятидесятилетнему учителю истории из Нью-Йорка Аллену Стрэнду, который в одном из эпизодов размышляет о том, оставило ли ему неумолимое время хоть что-нибудь, ради чего стоит жить. Стиль Ирвина Шоу отличается простотой и сжатостью, автор точен в диалогах и не злоупотребляет описаниями. Отрывки из дневника героя и введение рассказчика от первого лица создают «передышку для размышления», которая требуется стареющему герою Шоу, пытающемуся разобраться в смысле своего существования.

Аллена Стрэнда, отца троих взрослых детей (у него две дочери Элеонора и Кэролайн и сын Джимми), выбивает из колеи размеренного и привычного существования неожиданное событие, которому суждено сыграть важную роль в жизни Стрэнда и его семьи. Они живут в западной части Манхэттэна, недалеко от Центрального парка. Однажды вечером младшая дочь Стрэнда Кэролайн, способная теннисистка, возвратившись домой после тренировки на корте Центрального парка, приводит с собой незнакомого человека, получившего телесные повреждения. Кэролайн стала свидетельницей попытки ограбления. Трое негритянских подростков напали на этого человека и пытались отнять у него велосипед, но на помощь пришла вооруженная одной лишь теннисной ракеткой Кэролайн. Обратив в бегство злоумышленников, она пригласила пострадавшего зайти к ним домой. Вот так в жизнь Стрэндов вошел Рассел Хейзен. Бескорыстный поступок Кэролайн, забота и внимание Стрэндов, перевязавших раны пострадавшему и пригласивших его поужинать, пробуждают в госте ответную симпатию. Как вскоре выясняется, Хейзен — известный и преуспевающий юрист, старший партнер одной из юридических фирм Уолл-стрита. Он обладает немалым влиянием и хорошим состоянием. Нападение, жертвой которого он стал, помогло ему завязать отношения с представителями «средней американской семьи», где он находит те самые качества — прежде всего теплоту и заботу о ближнем,— которые давно забыты в его среде. Жизнь типичной американской семьи начала 80-х годов и сложное, мучительное существование богатого человека — такова тематика романа «Хлеб по водам».

Центральные персонажи романа — Аллен Стрэнд и Рассел Хейзен. Они играют отведенные им автором роли на подмостках той сцены, название которой — современная американская действительность, и во взаимодействии этих двух людей с современной Америкой и обретает роман свою значительность. Знакомя читателей с семьей Стрэндов, Шоу дает читателям понять, сколь хрупким и непрочным стал институт семьи в США последних лет. Хейзену очень нравится у Стрэндов, и вскоре читатель понимает, в чем тут дело. Хейзен тоже женат, но с женой не живет. У него тоже есть дети, две взрослые дочери, но они живут отдельно, а сын Хейзена умер, приняв слишком сильную дозу героина. Человек, находящийся на вершине своей карьеры, потомок старинной американской семьи, которая уходит корнями в восемнадцатое столетие, выросший в богатстве, обучавшийся в лучших частных школах и университетах, Хейзен тем не менее изведал слишком мало счастья. Вознамерившись сделать свою жизнь, целиком занятую работой, чуть более радостной, он начинает осыпать благодеяниями семью Стрэндов. Прежде всего он приглашает их провести субботу и воскресенье в своем загородном доме. Личный шофер Хейзена привозит Стрэндов в этот особняк, где их ждут прекрасная еда, прекрасные комнаты и прекрасное обслуживание. Хейзен не только предоставляет Стрэндам право пользоваться всеми удобствами роскошного поместья, где есть и свой корт и свой пляж — в двух шагах от дома Атлантический океан,— но он знакомит их со своими влиятельными друзьями, которые оказываются также полезными для детей Стрэнда.

«Полезный», впрочем, слово весьма двусмысленное в данном случае, ибо щедрость Хейзена довольно скоро приводит к неожиданным последствиям. Если читатель еще не успел убедиться в этом на собственном опыте, то из романа он узнает, что с помощью денег и власти нельзя купить счастье. В жизнь Стрэндов деньги вносят осложнения, о которых они и понятия не имели в прежнем, простом и бесхитростном, существовании. Да и у самого Хейзена не хватает времени, чтобы наслаждаться богатством,— что типично для большинства состоятельных американцев.

Поначалу Стрэнды испытывают благодарность за те щедроты, которыми их осыпает Хейзен. Более всего выигрывают дети Стрэндов, так что ни Аллен, ни его жена

Лесли не возражают против планов, которые строит для их детей Хейзен, хотя в глубине души они и вызывают у них сомнение. Кто может возразить, когда говорят, что на деньги можно купить все, кроме душевного покоя (нам, американцам, это известно лучше, чем кому бы то ни было). И есть еще кое-что, перед чем деньги бессильны,— это смерть. От нее буквально в двух шагах оказался Стрэнд, когда, попав в неожиданный шторм, чуть было не утонул в Атлантическом океане, а потом в результате перенапряжения и испуга получил сильнейший сердечный приступ. Проходит много времени, прежде чем Стрэнд окончательно поправляется — сначала в больнице, а потом в загородном особняке Хейзена.

Мы снова встречаемся с Алленом и Лесли во второй части романа в номере отеля «Крийон» на площади Согласия в Париже,— путешествие, которое стало возможным опять-таки благодаря Хейзену. Он должен был поехать во Францию по делам и уговорил Стрэндов составить ему компанию. Все это необычно и удивительно, но очень скоро Стрэндам приходится косвенным образом расплачиваться за полученное удовольствие. Хотя к Стрэндам Хейзен обращен, так сказать, солнечной стороной, в его жизни — и личной, и профессиональной — есть и темные стороны, и эта тень рано или поздно должна упасть и на Стрэндов. Осматривая замки Луары, Хейзен и его спутники посещают город Тур, где во время обеда в гостинице разыгрывается неприятная сцена: неожиданно в ресторане появляется супруга Хейзена, которая так ненавидит своего мужа, что умышленно устраивает скандал, чтобы поставит его в неловкое и унизительное положение. Когда позже Хейзен приходит в номер к Стрэнду и рассказывает ему о своей несчастливой семейной жизни, тот понимает, что необходимость разделить душевную драму Хейзена и есть плата за роскошные отели, дорогие обеды, заграничную поездку и за все прочие подарки, которыми так щедро оделял его семью Хейзен. Вскоре оказывается, что на всех подарках Хейзена и на его расположении к Стрэндам лежит своего рода роковая печать. Возникает ощущение, что автор хочет предупредить читателя: будьте осторожны, когда вам предлагают то, чего вы, как вы сами в глубине души считаете, не заслужили. Рано или поздно вам придется за это расплачиваться.

Из-за недавнего сердечного приступа Стрэнду необходимо беречь свое здоровье в дальнейшем, и Хейзен уговаривает его бросить преподавание в государственной системе образования. Действительно, работа эта трудная, но Стрэнд к ней привык. Хейзен устраивает Стрэнда преподавателем истории в престижную мужскую частную школу в Данбери, штат Коннектикут, примерно в 100 милях от Нью-Йорка. Стрэнд принимает предложение, хотя и не уверен, понравится ли ему и Лесли, всю жизнь прожившим в большом городе, работать в маленьком городке новой Англии. Вскоре выясняется, что их опасения не были напрасны. Особенно неуютно Лесли: опытная пианистка, у которой в Нью-Йорке было много учеников, она чувствует себя совершенно не на месте в Данбери. Да и Аллену здесь не по себе: ему трудно освоиться в элитарной среде «высших классов». Непривычно также жить с учениками под одной крышей (пусть и в отдельной квартире). Кроме того, семьи Стрэндов как единого целого теперь больше нет. Старшая дочь Элеонора выходит замуж за молодого человека из Лас-Вегаса, штат Невада, даже не сообщив об этом родителям. У Джимми — работа в Нью-Йорке и роман с женщиной лет на пятнадцать старше его. Кэролайн, как отличная спортсменка, получила стипендию для обучения в колледже где-то в Аризоне, но самое печальное для Стрэнда, что его жена Лесли решила начать карьеру художницы в Париже. Все это в той или иной степени является последствием дружбы с Хейзеном. Деньги и власть, безусловно, способствуют исполнению многих желаний, однако расплачиваться за них приходится очень дорогой ценой. Что-то самое важное страдает и в конечном итоге оказывается на грани уничтожения. Вот она — оборотная сторона медали. В конце романа перед читателем неизбежно возникает вопрос: что же хорошего сделал для этой семьи Хейзен? Более того, хочется спросить, а что же хорошего сделал Хейзен для себя, помогли ли ему его честолюбие, целеустремленность, стремление навязывать свою волю другим? Темное начало в Хейзене, которое временами явственно ощущал Стрэнд в пьяных откровениях друга,— цинизм, холодное манипулирование подчиненными, наконец, безразличие к членам своей семьи — в конце концов врывается в его профессиональную жизнь. Его подозревают в служебных злоупотреблениях, в торговле секретной информацией, его деятельность становится объектом расследования ФБР и министерства юстиции. Его карьера как крупнейшего юриста с международной репутацией рушится. В полном отчаянии он совершает самоубийство на пустынном шоссе неподалеку от загородного дома.

Новый роман Ирвина Шоу интересен во многих отношениях. Прежде всего писатель умеет держать читателя в напряжении. Однако Шоу славится не только умением сплетать увлекательную интригу, но и мастерством психологической характеристики. Ни в одном из его героев нет «липы», если воспользоваться любимым словечком сэлинджеровского Холдена Колфилда. Хейзен — человек неприкаянный, который никак не может обрести душевного покоя. Его стихия — власть, и совершенно неважно, в каких целях — благих или сомнительных — он ее употребляет. Ясно одно: применяя власть, он слишком далеко зашел и в своей деятельности законника — и поэтому споткнулся. Если люди не соглашаются делать то, что навязывает им Хейзен, тем хуже для них. Именно так сложились, видимо, его отношения с близкими.

В глубине души Хейзен и сам превосходно понимает, что на деньги не купишь ни дружбы, ни любви, тем не менее упорно надеется на их силу. Это только приводит к неудачам, и среди наиболее

очевидных неудач — тщетная попытка Хейзена вмешаться в жизнь юного пуэрториканца Хесуса Ромеро. Ромеро отличается яркими способностями, и Стрэнд просит Хейзена помочь ему выбраться из быта нью-йоркских трущоб. Но все благие намерения идут прахом, ибо как ученик Ромеро чувствует себя в Данбери еще более неуютно, чем Стрэнд как учитель. После того как Ромеро наносит удар ножом соученику, его исключают из школы. Наличие таких персонажей, как Ромеро и его товарищ по комнате негр Роллинс — добрый и отзывчивый юноша,— придают роману дополнительное измерение. Стремление помочь Ромеро характеризует с лучшей стороны всех тех, кто пытается помочь мальчику. Однако Шоу ясно дает понять, что проблема неимущих в Америке далеко не проста, и не предлагает легких решений. Очевидно одно — денег и благих намерений недостаточно.

В то время как Хейзен остается несколько загадочным и не раскрывшимся до конца персонажем, Аллен Стрэнд — один из самых симпатичных героев. Разумеется, он весьма далек от идеала, но это хороший и вполне достойный человек. Он любит жену, детей, любит трудного, но способного ученика Хесуса Ромеро. Любит свою профессию учителя истории и чувствует, что это его призвание. Он способен на дружбу — прекрасное, благородное качество. Недаром Хейзен, не страдающий от недостатка друзей, выбирает именно Стрэнда в качестве своеобразного исповедника. Он завидует не только прекрасным отношениям Стрэнда с членами семьи, но и его честности, его неприязни к стяжательству и коррупции, его скромности и непритязательности.

Правдивы и убедительны и второстепенные персонажи романа: дети Стрэнда, его жена, друзья Хейзена, его слуги, Хесус Ромеро, Роллинс, другие ученики и учителя школы Данбери.

Центральные герои романа — Стрэнд, Хейзен, Ромеро — живут и действуют в современной Америке, которая, как и люди в романе, изображена точно и со знанием дела. Америка — гигантский конгломерат добра и зла, и Шоу исследует их взаимодействие. Проблем много — это и недоверие молодежи к существующим моральным ценностям, это и сложность взаимоотношений между поколениями отцов и детей (поколение дедов в романе отсутствует), особенно в вопросах нравственности, это и стремление решать споры насильственным путем (как поступил Ромеро, ударив ножом соученика), это и нарастание эгоцентризма и гедонизма среди старых и малых, любовь к роскоши, к деньгам, стремление к успеху любой ценой.

Что и говорить — приметы быта и проблемы, затронутые в романе, типично американские. Но в то же время это роман о природе человека, об условиях человеческого существования в наше время. Распадаются семьи, дети оказываются предоставлены сами себе, каждый по-своему добивается самовыражения, люди болеют, стареют. Где почерпнуть душевные силы, чтобы противостоять неумолимому бегу времени? У Хейзена таких сил не оказывается, Стрэнд как историк, видит чуть больше, философски взирая на мир. В распадающемся обществе среди распадающихся человеческих жизней он видит спасение в добросовестном выполнении профессиональных обязанностей. Он по-прежнему получает удовольствие от своей работы и именно в ней ищет спасение от горестей и разочарований. В романе ничего не говорится о религии. Похоже, что для Шоу она мертва.

Тем не менее эпиграф к роману взят из Ветхого Завета, а часть эпиграфа стала заглавием: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Екклесиаст, II:I). Что означают эти строки? В романе Шоу они получают такое истолкование: будь щедрым, в жизни рискуй, не бойся творить добро. И Шоу показывает таких людей. Хейзен старается отплатить за доброту, проявленную Стрэндами по отношению к нему, пострадавшему. Он и Стрэнд принимают участие в судьбе Ромеро. Негритянская семья Роллинсов дает приют Ромеро, когда его выпускают из тюрьмы. Кэролайн, получившая по завещанию Хейзена его особняк на побережье, превращает его в летний дом отдыха для неимущих детей Нью-Йорка.

Неизвестно, увидишь ли ты плоды дел своих, увидят ли их твои близкие, жена, дети, не в этом суть. Не сдавайся. В мире, где слишком многое суета сует, мы все же должны делать моральный выбор. В финале книги нет ни горечи, ни отчаяния. Стрэнд надеется, что жена вернется к нему из Парижа: ведь разрыв не был окончательным. Младшая дочь с ним, в Нью-Йорке. Она вернулась из Аризоны домой, и не исключено, что другие дети последуют ее примеру и восстановят контакт с отцом и хотя бы изредка будут с ним встречаться. Хейзена больше нет, но Стрэнд сохранит память о нем, как о подлинном друге. Он любил Хесуса Ромеро, и тот чувствовал это и по-своему любил своего учителя. Все, может быть, действительно суета и томление духа, как сказано в другом месте у Екклесиаста, но любовь — тот самый наш хлеб насущный, который мы снова и снова будем находить, а значит, снова и снова будем отпускать его по водам и ради нашего собственного блага, и ради блага других людей.

ИОАКИМ БЭР

г. Гринсборо

СЛОВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВСЕМ

Tonino Guerra. Il Miele. Rimini, Maggioli editore, 1981.

Тонино Гуэрра. Мед. 1981.

Эту книгу Альберто Моравиа, Итало Кальвино, Федерико Феллини, Мария Корти и Клаудио Марабини назвали в числе трех лучших книг, изданных в Италии в 1981 году. Об этой

книге писали Наталия Гинзбург («...Разговаривая сам с собой», Гуэрра «говорит слова, предназначенные всем, и в этих словах отражается человеческое бытие»), Энцо Сичилиано («...Между образами и их словесным выражением нет разрыва, нет дистанции»), Микеланджело Антониони («Это прекрасная книга, и я рекомендую ее не только любителям поэзии... но каждому, кто ищет в чтении правду, выраженную словами, какие мы произносим и слышим изо дня в день»).

Читательски книга воспринимается как цикл стихотворений, но автор определил ее жанр иначе — поэма. И настоятельно подчеркнул сознательность своего выбора, подчеркнул тем, что части произведения, словно бы движимый полемическим задором, назвал — вслед за Данте, Ариосто, Тассо — песнями.

Итак, поэма. Поэма, добавим, где связь между частями-песнями совершенно свободна, пунктирна, и одни и те же мотивы, одни и те же действующие лица с трогательным постоянством вновь и вновь проявляют себя. Эта композиционная раскованность, эти подобия пробелов между эпизодами, между фрагментами сближают поэму, если говорить об ее построении, с повестями Гуэрры — «Равновесие», «Параллельный человек», «Птицы», с его кинодраматургией (вспомним, что авторитет Гуэрры как сценариста измеряется его участием в фильмах Феллини, Антониони, Рози).

От поэтического сборника «Волы», куда вошла вся или почти вся предшествующая стихотворная продукция Гуэрры, поэму «Мед» отделяют без малого десять лет. Десять лет и несколько книг прозы, не говоря уже о сценариях таких знаменитых картин, как «Амаркорд» или «Христос остановился в Эболи». Время и работа в других жанрах подогревали вкус к поэзии — может быть, этим объясняется включение ряда стихотворений в прозаическую, в общем-то, книгу «Пыльная буря» (1978). Время все настойчивее возвращало Гуэрру к истокам его поэзии, на родину, в край детства и юности, связанных с областью Романья, а еще точнее — с городком Сантарканджело. И по-прежнему поэт не мыслил своих стихов иначе как на диалекте романьоло, наречии предков, продолжая писать прозу и сценарии на общелитературном итальянском языке.

Лирическое «я» в поэме «Мед» не назойливо, оно с первых же строк подкупает своей естественностью, непринужденностью, чуждое какой бы то ни было экзальтации, негромкое, располагающее. Поэт пишет о родном местечке в Апеннинах и о его жителях — бывших и нынешних («От прежних двух тысяч двухсот нас осталось девять»...)

Отношение лирического героя к людям, к подробностям жизни, меняющейся для них, увы, не к лучшему, неторопливый лад повествования подтверждают тот «отчаянный реализм» Тонино Гуэрры, который отметил некогда в его ранних стихах Пьер Паоло Пазолини:

> Я вскочил на ходу в поезд — мне
> было семьдесят лет
> и четыре дня. Я понял, что невозможно
> оставаться в городе, где стреляют
> и на улицах ставят подножку.
> И вот я здесь, в родном местечке,
> у брата[1].

Уничтожающая характеристика большого города семидесятых годов уместилась в одной стихотворной строке, а дальше — тихое захолустье, краски и запахи детства, веселые и печальные воспоминания, неизменная точка отсчета на особой шкале ценностей.

С каким участием, с какой душевной болью пишет поэт об эмигрантах из родного Сантарканджело, и грустная улыбка его иронии не принижает их, а лишь подчеркивает ребяческую наивность людей, которые и Италии-то не видели толком, и вдруг сразу «Америка, Австралия, Бразилия, // где сумасшедший Фафин ходил на охоту с ножом // и убил ягуара, подумав, что это кошка».

Годы вдали от родного местечка не заглушили тоски по нему в тех, кто в разное время подался в чужие края. И хотя от Рима, где живет поэт, до Сантарканджело всего полдня пути, как это много порой, как затягиваются на недели, на месяцы сборы в дорогу, и тем счастливее наконец встреча с домом — да, с домом, потому что именно этим словом человек называет землю, с которой связан корнями! Всего-навсего полдня пути, чтобы почувствовать себя в земном раю, где

> чистый воздух, вода бежит по канавам.
> Никаких машин, и собаки разлеглись
> среди улиц

В посвящении к поэме читаем: «Моей матери, моему отцу, моей бабушке, моему деду, прадедам и всем тем, кто говорил исключительно на диалекте». Диалект (в данном случае — романьоло) не знает литературных штампов, и стихи на нем звучат свежо, в резкости для слуха есть какая-то природная основательность, первозданность, изначальность. Перевод на итальянский печатается тут же, он принадлежит автору, став как бы параллельным произведением — не калькой, нет, а самоценным литературным фактом.

В лирическом герое Гуэрры говорит блудный сын, когда он с ностальгической нежностью предается воспоминаниям — ну хотя бы таким:

> На мостик свечей, когда-то столь
> знаменитый,
> ходило много народу, люди просили
> защиты
> для солдат на войне, просили счастья
> в любви,
> выздоровленья, молодости, немного
> денег...

Если прошлое не поросло для лирического героя быльем, он во многом обязан этим брату, хранителю родного очага. Фигура брата — медлительного, немногословного — центральная в поэме, живая ветвь на генеалогическом древе.

> Бывает, он станет посреди комнаты
> и, прищурясь, уставится в угол,
> и вдруг запоет, перевирая слова,
> ну точно как наш отец.

[1] Здесь и далее переводы стихов принадлежат автору статьи.

Временами лирическое «я» поэта растворяется в образе брата, и когда этот единый уже персонаж снова раздваивается, у читателя возникает двойственное отношение к патриархальной действительности городка в Апеннинах, смешанное чувство безысходности и надежды

В поэме есть одно отступление от общей канвы — как бы вставная стихотворная новелла об армянском поэте XVIII века Саят-Нове, эпизод или легенда, услышанная автором во время путешествий по нашей стране и перекликающаяся с красочными фрагментами «Пыльной бури», в посвящении к которой Тонино Гуэрра писал о своей благодарности «России с ее светящимся снегом и Узбекистану, где в сентябре снежный хлопок белеет в руках сборщиц». Строки об армянском поэте рассказывают, как Саят-Нова спас библиотеку древнего монастыря — бесценные книги, пострадавшие от воды: он разложил их на крышах монастырских построек и ждал терпеливо солнца, ждал, когда священные фолианты «подадут признаки жизни».

И однажды утром страницы
зашелестели,
дуновению ветра покорны.
казалось, пчелы залетели на кровли,
и он заплакал — ведь книги
заговорили.

Волшебством поэзии Тонино Гуэрра воскрешает идиллический мир итальянской провинции, который, конечно же, воспринимается как монотонно-будничный малочисленными его обитателями. Будничный — и уходящий, обреченный. Патриархальный мир добра, все неувереннее противостоящий злу в обличии современного города — в частности, тому великому злу, что ставит под сомнение само существование нашей несовершенной планеты. И поэт рисует это зло уже восторжествовавшим, чтобы сказать о нем сколь можно резче, беспощаднее.

Вода, и огонь, и горы пепла,
и кости под слоем пепла —
бедная наша планета.
Где зеленые листья трава, горох,
пальцы женщин, что его лущили?
Где гитара и розы, собаки и кошки,
изгороди и камни на меже,
поющие рты, календари, и реки,
и груди, полные молока? Где сказки,
если погасшие свечи не излучают
света?

К счастью, заключительная песнь поэмы не обрывается на этой апокалипсической ноте. После самых безнадежных вопросов: «А где я сам? И такой-то, где он?» — после картины затонувшей Венеции — кладбища белых костей на дне моря, поэт возвращает к жизни человека, «который изобрел все: колесо, часы, цифры и флаги на улицах», человека, от которого зависит будущее земли, наше будущее.

Е. СОЛОНОВИЧ

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ЛАУРЕАТЫ ДИМИТРОВСКОЙ ПРЕМИИ

В этом году, когда весь мир отмечал столетие со дня рождения великого сына болгарского народа Георгия Димитрова, премии его имени были удостоены один из старейших критиков страны Георги Цанев за книги «Страницы истории болгарской литературы», «Исторический роман в болгарской литературе» и «На литературные темы», прозаик Генчо Стоев за повесть «Цена золота», переведенную в Советском Союзе и ряде других стран, и писательница Вера Мутафчиева, известная советскому читателю по роману «Дело Джема», за сценарий фильма «Хан Аспарух» (см. «ИЛ», 1981, № 10).

«Изучить прошлое — значит предугадать будущее»,— сказал в своем интервью, опубликованном в журнале «Септември», Георги Цанев. Эти слова выражают смысл не только деятельности его самого — человека, который на протяжении многих десятилетий, начиная с 20-х годов и до сегодняшнего дня, активно и плодотворно работает в болгарской критике, но и творчества двух других лауреатов.

Повесть Генчо Стоева, единодушно признанная одним из лучших произведений современной болгарской литературы, воссоздает наиболее яркое событие в национально - освободитель н о й борьбе народа — Апрельское восстание 1876 года, а сценарий Веры Мутафчиевой по ее книге «Предсказанное Пагане» лег в основу фильма, посвященного созданию болгарского государства. Картина с большим успехом демонстрировалась в кинотеатрах страны в прошлом году и получила высокую оценку критики и общественности.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ОНИ НИКОГДА НЕ УСЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА

В новой радиопьесе известного английского драматурга Гарольда Пинтера «Голоса семьи» три действующих лица — Юноша, Женщина, Мужчина, каждый из которых ведет монолог, обращенный «в никуда». Юноша поначалу рассказывает о своей жизни в большом городе, где ему все очень нравится: пестрая, веселая толпа, много хорошеньких девушек, много развлечений, а главное — «никому нет ни до кого дела». И хотя монолог Юноши обращен к Женщине-матери, та его не слышит, она в отчаянии, потому что ее несовершеннолетний сын бросил своих родителей, не дает о себе знать. Никто даже не знает, жив ли он. «Дорогой мой! — горько плачет она.— Где же ты? Почему молчишь?.. Но если ты жив, ты чудовище. Умирая, отец проклял тебя...»

Разлука для героев оказывается непосильной, отец умирает, мать не умеет и не хочет терпеть одиночества, сын, вкусив «радости» большого города, однако, чувствует, что там к нему относятся как к изгою. Заканчивается пьеса заверениями сына, что «он собрался в обратный путь домой», и вопросом матери: «Последнее, что я хочу тебя спросить: как ты думаешь, слово «любовь» имеет какой-нибудь смысл?» Но на этот вопрос она тоже не услышит ответа, потому что «возвращение домой» — путь бесконечно долгий. Преодолеть его дано не каждому, а только тому, для кого слово «любовь» имеет смысл.

Пьеса получила высокую оценку английской критики,

транслировалась по радио, была издана отдельной книжкой и включена в сборник пьес Пинтера, вышедший недавно в Лондоне.

ВЕНГРИЯ

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ СОВЕСТИ

«Анна Йокаи — сегодня одна из самых популярных писательниц Венгрии», — говорится в рецензии на страницах газеты «Непсабадшаг» в связи с выходом ее нового романа «Лестница Иакова». Секреты этой популярности автор рецензии Иштван Фенё видит в постоянном поиске писательницей истины.

Критик Тамаш Надор отметил в газете «Мадьяр немзет», что Анна Йокаи хорошо знает: писатель — это человек, от взгляда которого ничто не должно ускользать. Отсюда острота ее произведений, которая делает их не только популярными, но и очень своевременными.

Новый роман Анны Йокаи рассказывает о большой любви, супружестве и его крахе. Герои — уже не юная пара, а люди, оставившие свои прежние семьи, но они так и не сумели построить новую семью, им не хватило душевного благородства и ответственности перед своими детьми от прежнего брака.

«В семье, микроячейке общества, со всей силой может проявиться и подлинный гуманизм, и совершенное отсутствие его, считает Анна Йокаи, и с ней нельзя не согласиться»,— пишет Фенё.

Используя для выражения своей идеи художественный прием параллелизма, она прибегает к библейской легенде о лестнице Иакова. Эта лестница символизирует в романе возможность человека и подниматься вверх — совершенствоваться, и опускаться вниз — деградировать. Все зависит от внутреннего голоса — Совести. Камертоном же для этого внутреннего голоса являются нормы социалистической этики. «Гармония приходит только в победе над дисгармонией»— в этой оптимистической интонации романа, вопреки его трагическим коллизиям, сила писательской мысли, пронизывающей произведение.

ГДР

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

Очередной, 19-й фестиваль пролетарского искусства состоялся в городе Нёйбранденбург. Как всегда, в нем приняли участие и профессиональные и народные коллективы, писатели, художники, артисты.

Более 200 программ было показано на фестивале, открывшемся политическим ревю по мотивам поэмы «Без крова» известного писателя XIX века Фрица Рёйтера.

Свое искусство показали народные театры, танцевальные и хоровые ансамбли, в том числе армейские. Были открыты выставки изобразительного искусства, где демонстрировались работы самодеятельных художников и графиков. На книжном базаре были представлены книги крупнейших писателей Германской Демократической Республики.

Перед читателями выступили Герман Кант, Рут Вернер, Гельмут Заковский, Ян Копловиц. Они читали отрывки из новых книг, рассказывали о своем творчестве. Выступления писателей вызвали живую реакцию аудитории, интересные дискуссии.

К фестивалю было приурочено присуждение премий Объединения свободных немецких профсоюзов. Премии получили писатели Вальтер Баумерт и Карл Мундшток, коллектив телевизионной постановки «Чёртов круг» (по пьесе Гедды Циннер), народные театры, кружки, ряд художников и графиков. Присуждены премии и журналистам, а также работникам радио и телевидения.

Плакат Герхарда Фойгта, получивший первую премию на конкурсе, объявленном Организацией Объединенных наций.

Надпись на плакате: «Вторая чрезвычайная сессия по разоружению».

Май 1982.

(Журнал «Бильденде Кунст»)

ГРЕЦИЯ

«ПАЛЕСТИНСКАЯ ПОЭЗИЯ»

В Афинах вышла книга «Палестинская поэзия». В нее вошли стихотворения известных палестинских поэтов Махмуда Дервиша, Самиха Касема и Тауфика аз-Зайяда. Подстрочные переводы стихов на греческий язык выполнены палестинскими студентами, обучающимися в Греции, стихотворное переложение — видными греческими поэтами.

Книга вызвала широкий отклик в кругах прогрессивной интеллигенции Греции. Ведущие греческие газеты выступили с рецензиями на нее.

ИНДИЯ

«ЕЕ ЗОВУТ УМРАО-ДЖАН»

Индийский кинематограф все чаще обращается к классическому литературному наследию. Фильм «Ее зовут Умрао-джан» является экранизацией одноименного романа классика литературы урду Мирзы Русвы (в русском переводе роман называется «Танцовщица»).

Созданный в конце прошлого века роман повествует о нелегкой судьбе похищенной и проданной в притон девочки, которая, несмотря на тяжелейшие условия, становится одной из образованнейших женщин своего времени и замечательной поэтессой. Как отмечает пресса, режиссер-постановщик фильма Музаффар Али очень точно воспроизвел картины городской жизни конца прошлого века. Большой удачей режиссера является выбор на роль Умраоджан очень известной и популярной актрисы Рекхи, которую она, по единодушному мнению рецензентов, исполнила с блеском.

На снимке: исполнители главных ролей в фильме «Ее зовут Умрао-джан» Рекха и Фарук Шейх.

ИНДОНЕЗИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ?

Отсутствие материальной помощи со стороны правительства — одна из причин исчезновения «серьезных» литературных журналов в Индонезии. После того как прекратилось издание журналов «Черпен» (в 1967 г.) и «Састра» (в 1969 г.), в стране осталось лишь два ежемесячных литературных журнала, отдававших почти все свои страницы отечественным поэтам, прозаикам и критикам, а именно «Будайя Джайя» и «Хорисон». Однако «Будайя Джайя» в последнее время выходит уже с годовым опозданием, и, по словам одного из членов редколлегии журнала — известного поэта Рамадана Картахадимаджи, дни этого издания сочтены. «Остается один лишь «Хорисон», существование которого целиком зависит от частных благотворителей. «Если бы не они, журнал не мог бы регулярно выходить в свет»,— с горечью констатируется в редакционной статье «Хорисона».

ИРЛАНДИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭДНЫ О'БРАЙЕН

Свой творческий путь Эдна О'Брайен начала с того, что рассказала о своем детстве. И сейчас, став всемирно известной писательницей, в новом сборнике рассказов «Возвращение», недавно вышедшем в лондонском издательстве «Уайденфелд энд Николсон», она вновь обратилась к миру своего детства.

По сообщению рецензента литературного приложения к «Таймс», в сборник вошло девять рассказов, часть которых печаталась ранее на страницах журнала «Нью-йоркер». Хотя рассказы его сюжетно не связаны, их объединяет в одно целое образ ребенка — маленькой девочки, дочери фермера, выросшей в глуши, где, как пишет Эдна О'Брайен, «ничего не происходит, кроме пахоты, сева, сенокоса, сбора урожая... где женщины никогда не пользуются косметикой, и баночки с кремом в местной аптеке высыхают, потому что на них нет ровным счетом никакого спроса».

Рецензент с особым одобрением отзывается о колоритном языке Эдны О'Брайен. Стилистическое богатство ее прозы создается в немалой степени благодаря тому, что писательница широко вводит в свои произведения гэльские слова, выражения, ушедшие из современного языка, пытается даже сохранить интонацию живой ирландской разговорной речи.

В известной степени, продолжает рецензент, Эдна О' Брайен предложила читателю новый вид прозы — остраненной, лишенной того «напряженного лиризма», что чаще всего характеризовал ее автобиографические книги. Остраненность создается благодаря тому, что происходящее воспринимается в двух временных пластах — детском и взрослом. Ребенок, чуждый осмысления событий, лишь фиксирует происходящее. Взрослый, то есть тот, кем стал ребенок, иногда вмешивается в повествование и комментирует изменения в судьбах героев.

Лейтмотив всех рассказов — уход, прощание. Ребенок знает, что рано или поздно наступит время, когда он уйдет, спасется бегством из среды, «в которой никто никого не любит». Правда, продолжает рецензент, он если и не знает, то чувствует, что наступит время, когда он вернется к своим истокам, потому что никогда не сможет изжить в себе связь с миром детства. Эта книга о детстве — самая недетская книга Эдны О'Брайен.

КАНАДА

ПАТРИАРХ КАНАДСКОЙ ПОЭЗИИ

В крупнейшем издательстве страны «Макклеланд энд Стюарт» вышло «Собрание стихотворений» одного из старейших современных поэтов Канады Фрэнсиса Р. Скотта (род. в 1899 г.). В этот том вошли стихотворения из всех его наиболее значительных сборников, вышедших за полувековой период. Начальный этап творчества Скотта был связан с «монреальской группой», участники которой провозгласили своей целью воплотить в поэзии национальную самобытность канадской действительности. В ранних своих стихах, написанных не без влияния американского модернизма, Скотт обращался к «вечным» проблемам мироздания. Его пейзажная лирика, воспевавшая суровую и прекрасную природу Канады, проникнута пантеистическим восторгом перед бесконечной красотой бытия. В 30-е годы в его поэзии появляются социальные мотивы.

Творческое кредо Скотта, пишет еженедельник «Маклинз», сформулировано им еще в 1942 году, когда в одной из статей поэт писал, что поэзия должна являться «синтезом лирики и дидактики, сочетать наглядную, впечатляющую образность с социально-критическим пафосом». На протяжении многих десятилетий, подчеркивает журнал, поэт оставался верен этой программе.

КУБА

«ЛЮБОВЬ В ТЕНИ И НА СОЛНЦЕ»

По данным Кубинского института книги, бестселлером 1982 года стал новый роман Мануэля Кофиньо Лопеса «Любовь в тени и на солнце», вышедший в издательстве «Летрас кубанас». Это третье крупное произведение кубинского писателя (в «Иностранной литературе» № 1, 2 за 1973 г. печатался его роман «Последняя женщина и близкий бой»).

«На первый взгляд,— отмечает рецензент журнала «Боэмия»,— роман «Любовь в тени и на солнце» может показаться еще одной книгой о любви». Действительно, в центре повествования — отношения Магды и Маркоса, история их любви, которая и служит связующим звеном всех описываемых событий. Но при внимательном чтении перед нами раскрываются и другие сюжетные линии, которые придают книге глубину и значительность.

Каждый из героев Кофиньо представляет тот или иной слой кубинского общества. Магда — вся в прошлом, как и другие персонажи романа, с которыми ее связывала судьба до встречи с Маркосом. Мы видим людей, которые в изменившихся общественных условиях делают попытки затормозить процесс преобразования страны, помешать новому. Отец Магды — до революции состоятельный владелец игорных заведений — тоскует по прошедшим временам. Он все еще считает себя «сильным человеком» и в послереволюционной Кубе пытается отстоять свои интересы и привилегии. Под стать ему и его окружение. Среди этих людей Магда начинает чувствовать свое одиночество. Встреча с Маркосом преображает Магду, заставляет ее порвать с прошлым. Она становится полноправным участником происходящих на Кубе преобразований.

Маркос — директор крупного предприятия. Жизнь своего героя Кофиньо показывает на широком фоне общественных и политических событий. В образах Маркоса, Лидии, Сальмерона, Кампоса Кофиньо представляет сознательных тружеников, составляющих движущую силу нынешних революционных преобразований на острове.

С точки зрения содержания, пишет рецензент «Боэмии», новый роман Кофиньо представляется несомненной удачей. От истории отдельных людей автор переходит к истории кубинского общества. Тема романа — революция в действии. Его сюжет и персонажи связаны с революционной новью кубинского народа. В ней автор черпает свое вдохновение.

В рецензии отмечается, что сюжетные линии рома-

на не завершены. Тем самым автор словно дает читателю возможность самому сделать окончательный вывод.

МАЛАЙЗИЯ

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Недавно исполнилось 25 лет государственному Институту языка и литературы (Куала-Лумпур), где трудится в настоящее время несколько сотен сотрудников. Одна из основных функций этого уникального в масштабах Юго-Восточной Азии учреждения — способствовать развитию литературы на малайском языке, провозглашенном национальным языком весьма пестрой в этническом отношении Малайзии. Институт организует писательские конференции, семинары и коллоквиумы, дает литературные консультации, играет руководящую роль в проведении различных литературных конкурсов и в присуждении государственных премий по литературе, осуществляет издательскую деятельность.

На его счету — приблизительно четвертая часть изданных в стране художественных произведений на малайском языке и более сотни книг по литературоведению. Институт выпускает также ряд периодических изданий, в том числе выходящий более десяти лет «Деван састра» — единственный литературный журнал Малайзии. Функционируют филиалы института в Сабахе и Сараваке на острове Калимантан (Борнео). Серебряный юбилей института был ознаменован созданием фонда творческой помощи, которая ежегодно будет оказываться молодым (не старше сорока лет) писателям по рекомендации института.

МАРОККО

«ОДЕРЖИМЫЙ РОЗАМИ»

Сирийский журнал «Аль Марифа» опубликовал рецензию на сборник рассказов марокканского писателя Мухаммеда Шукри «Одержимый розами», написанную критиком Ибрахимом Халилем. (Автор озаглавил ее «Между голодом, сексом и протестом».)

Мухаммед Шукри — писатель-самоучка, прошедший трудную школу жизни. Как сообщает И. Халиль, Шукри родился в маленькой деревушке Бени Шикр на севере Марокко. В раннем детстве он приехал со своим отцом в г. Танжер — крупный средиземноморский порт, где отец был арестован по обвинению в дезертирстве — он самовольно покинул марокканский корпус, воевавший в составе армии Франко против республиканцев во время гражданской войны в Испании.

Оставшись без отца, Мухаммед вынужден был с малых лет сам зарабатывать себе на жизнь. Он был чистильщиком обуви, продавцом овощей и газет, работал в кафе и ресторанах, служил гидом, исполнял песни в ночных клубах. Впервые он познакомился с грамотой, когда ему уже было девятнадцать лет. Научившись читать и писать, Шукри предпринял первые попытки сочинять рассказы. Однако вначале его постигла неудача. Из-за нервного расстройства он был вынужден провести несколько месяцев в больнице. Оправившись после болезни, Шукри написал свой первый рассказ «Насилие на берегу», который был опубликован ливанским журналом «Аль-Адаб» в 1966 году. Редактор журнала, известный ливанский писатель Сухейль Идрис, прислал начинающему автору письмо, в котором ободрял его и советовал писать и дальше в избранной им манере.

Особенность творчества М. Шукри, как отмечает марокканский писатель и критик Баррада в предисловии к его сборнику «Одержимый розами», в том, что у него «вещи предшествуют словам, жизнь предшествует воображению... он всюду исходит из личного опыта».

В своих рассказах Шукри показывает изнанку Танжера, который рекламные проспекты называют «Меккой для туристов». Он показывает город не с фасада, а ведет читателя по его старинным узким улочкам, рынкам, грязным убогим кварталам бедноты. И Танжер, который вначале видится только как город ослепительной красоты и кричащей роскоши, предстает как город «вопиющих классовых противоречий, вопиющего распутства, вопиющей нищеты».

Сборник «Одержимый розами» и другие произведения Шукри были встречены по-разному. С одной стороны, их приветствовали многие молодые писатели и представители интеллигенции Марокко, критики Франции и Испании. (Во Франции недавно вышел сборник рассказов Шукри «Голый хлеб».) С другой, на них обрушили свой гнев литературные староверы, обвиняя автора в «отступничестве, субъективизме, экзистенциализме», в искажении правды.

Автор рецензии считает эти обвинения безосновательными. По его словам, то, что Мухаммед Шукри пишет о голоде, о протесте против социальной несправедливости, можно встретить в произведениях большинства писателей стран Магриба и Арабского Востока. Новое в рассказах марокканского писателя — это, по его мнению, их особая поэтическая выразительность.

МЕКСИКА

Хосефина Лаваль, известный мексиканский искусствовед, опубликовала на страницах журнала «Ла Каора» свою последнюю работу, посвященную танцу-драме мексиканских индейцев. На протяжении веков вплоть до наших дней, пишет Хосефина Лаваль, танец продолжает быть популярным в жизни индейских племен Мексики. Посредством танца индеец обращался к добрым и отгонял злых духов, в танце желали охотнику удачной охоты, а воину — победы над врагом. Танец не только отражал жизнь, но и был важнейшим звеном в формировании самосознания индейцев.

На снимке: сцена из спектакля индейской труппы из мексиканского штата Оахака.

(Журнал «Ла Кабра»)

ПОЛЬША

«КНИГА, КОТОРАЯ ПОТРЯСАЕТ»

В Государственном издательском институте (ПИВ) вышла в свет «Блокадная книга» Александра Адамовича и Даниила Гранина в переводе Веры Беньковской. «Книга, которая потрясает» — так озаглавил рецензию на нее в «Трибуна люду» Войцех Кицинский.

«Сейчас, когда передо мной лежит она в польском переводе,— пишет он,— я понимаю, что такие книги перечитывать не нужно, настолько они врезаются в память своей чистотой, простотой формы и поражающим содержанием...» «Блокадная книга» — это эпопея борьбы с голодом, холодом, борьбы за человечность; чтобы суметь пережить все и остаться людьми, нужно было обладать величайшей си-

лой духа, какой обладали ленинградцы, продолжает рецензент, если и были случаи, когда кто-то не выдерживал и проявлял слабость, то это были единицы. Ленинградцы самоотверженно работали на оборону, они боролись за биение жизни в городе.

«Блокадная книга» написана на основании сотен тысяч фактов, сохранившихся в памяти людей. Адамович и Гранин создали из этих фактов панно, поражающее своей выразительностью, они показали испытания, пережитые в конкретное время, в конкретном обществе, в конкретных обстоятельствах, казалось бы, создали историческое панно, но «Блокадная книга» будет звучать во все времена так же, как «Герника» Пабло Пикассо».

ВЫСПЯНСКИЙ — ВЕЧНО ЖИВОЙ

Театр Повшехны в Лодзи поставил спектакль по пьесе Станислава Выспянского «Свадьба». Режиссер спектакля — Матей Зенон Бордович.

Рецензент газеты «Трибуна люду» пишет: «Что за магическая сила заключена в этой пьесе, если она волнует уже столько поколений и звучит так, будто написана именно для нас вчера!».

Несчетное число раз поднимался занавес после премьеры, зал гремел аплодисментами, и в этом заслуга режиссера Матея Зенона Бордовича, который нашел очень интересное решение спектакля. «В нем нет полутонов, Бордович безжалостно атакует нашу совесть, строфы Выспянского звучат гневно и страстно». Жаль, отмечает рецензент, что лиризм Выспянского несколько приглушен.

В этом спектакле нет главных героев. Это спектакль в полном смысле этого слова коллективный, он является свидетельством того, что актеры театра с честью выполнили свой общественный долг.

Другая постановка «Свадьбы» состоялась в Калише, в Театре им. Богуславского в интересной постановке Романы Прухницкой. Эту постановку рецензент «Трибуны люду» назвал «значительной и серьезной». На XXII Калишских театральных встречах этому спектаклю была присуждена первая премия.

РУМЫНИЯ

УРОКИ ПРОШЛОГО

Высоко оценен румынской литературной прессой новый роман писательницы Джорджеты Хородинкэ «Лунатики солнца». Книга повествует о трудных годах в истории Румынии — времени подчинения ее гитлеровскому диктату. Как отмечает рецензент журнала «Ромыния литерарэ» Дана Думитриу, автор правдиво передает атмосферу, царившую в румынском обществе довоенных лет, в этом мире коррупции, предательства и насилия.

В центре внимания Дж. Хородинкэ — судьбы молодых людей, переживающих сложный период духовного становления. Герои романа попадают под влияние изуверской пропаганды фашистских идеологов, «ловко использующих в своих целях кризис переходного возраста». С тонким мастерством показывает писательница последствия «развращающей идеологии, которая, используя жизнелюбие молодости, подстрекает ее к культу насилия». Чрезмерная идеализация жизни, обостренный интерес к своему «я», жажда активных поступков в условиях фашизма оборачиваются для молодых героев романа нравственной трагедией.

По мнению Даны Думитриу, книга Дж. Хородинкэ исключительно актуальна, она предостерегает об опасности недооценки тех губительных последствий, к которым привело тлетворное влияние фашистских идей.

На снимке: сцена из спектакля по пьесе Станислава Выспянского «Свадьба» Калишского театра им. Богуславского.

(Газета «Трибуна люду»)

СИРИЯ

КНИГА ОБ АЛИ ОКЛИ АРСАНЕ

В Дамаске вышла книга известного сирийского критика и театроведа Аднана Бен Зирриля под названием «Театр Али Окли Арсана».

В книге исследуется творчество крупного сирийского писателя-драматурга, председателя Союза арабских писателей Сирии Али Арсана.

ТАИЛАНД

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Уже в третий раз в столице Таиланда Бангкоке пяти литераторам — по одному от каждой из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии,— вручаются литературные премии Юго-Восточной Азии. Комитет по присуждению премий состоит из членов таиландского ПЕН-клуба и Союза тайских писателей. На сей раз королева Таиланда вручила премии филиппинскому новеллисту Грегорио Брильянтесу, индонезийскому поэту и эссеисту Гунавану Мухаммаду, малайзийскому прозаику Абдулле Хуссейну, сингапурскому романисту Вонг Менг Вуну и тайскому литератору Асири Таммачоту.

ТУНИС

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «АЛЬ-ХАЯТ АС-САКАФИЙЯ»

Орган министерства культуры Туниса журнал «Аль-Хаят ас-Сакафийя» («Культурная жизнь») посвятил специальный номер тунисскому писателю Махмуду аль-Масади, недавно удостоенному литературной премии президента Бургибы — высшей награды, присуждаемой писателям страны.

Махмуд аль-Масади (род. в 1911 г.) — старейший тунисский писатель. Его перу принадлежат философская пьеса «Плотина», повести-притчи «Рождение забвения», «Абу-Хурейра рассказывал...» и другие произведения, получившие высокую оценку не только в Тунисе, но и в других странах.

В специальном номере «Аль-Хаят ас-Сакафийя» публикуются статьи тунисских критиков, в которых они рассказывают о жизненном пути аль-Масади и анализируют его произведения.

«ОТ БАБ СУИКИ ДО МАНХЭТТЕНА»

Журнал «ИБЛА» сообщает о выходе в свет книги воспоминаний крупного тунисского государственного деятеля и дипломата Рашида Дриса, озаглавленной им «От Баб Суики до Манхэттена» (Баб Суика — старинный квартал в г. Тунисе).

Как пишет обозреватель журнала, «современные тунисцы, публикующие свои мемуары, представляют собой еще довольно редкое явление... Тем с большим интересом были встречены в стране воспоминания маститого дипломата».

Рашид Дрис (род. в 1917 г.) был активным участником национально-освободительного движения в Тунисе. В 1946 году французские колониальные власти вынесли ему смертный приговор. После провозглашения независимости страны он занимал ответственные посты в правящей партии Нео-Дустур и в правительстве. Затем был назначен послом в Вашингтон, а позднее — представителем Туниса в ООН.

Книга Р. Дриса, не будучи автобиографией, рассказывает о многих важных событиях, свидетелем которых был автор. Ее можно сравнить, по словам обозревателя «ИБЛА», со старинным жанром «рихля» — рассказами арабских путешественников.

Фильм режиссера Яакко Пакасвирта «Печать зверя» раскрывает всю бесчеловечность и бесперспективность второй мировой войны, развязанной фашистской Германией.
На снимке: кадр из фильма.

(Кинобюллетень)

культурной общественности Финляндии.

Свой первый театральный сезон (от которого в немалой степени зависит будущее театра) «Дром» открывает пока только одним спектаклем — постановкой пьесы Вейко Бальтсара «Черная плеть».

Спектакль, о котором восторженно пишет Ю. Энкель, во всем необычен для западного зрителя. Трудно пересказать содержание пьесы, это сцены из жизни цыган, рассказ об их самобытной культуре, которой грозит вырождение.

От всей прогрессивной финской общественности, заключает рецензент, зависит, будет ли поддержано это интересное начинание, будет ли сохранена самобытная культура этого «национального и социального меньшинства», станет ли создание театра событием не только культурного, но и социального значения.

ФИНЛЯНДИЯ

ВТОРОЙ В МИРЕ

Недавно в Хельсинки начал свой первый театральный сезон уникальный театр — второй в мире цыганский театр «Дром». Позади годы напряженной работы, мучительных поисков репертуара, исполнителей, помещений для репетиций и выступлений. С января 1981 года в Высшей театральной школе финской столицы обучались двенадцать будущих актеров нового театра. Рождение театра не было бы возможным, отмечает рецензент газеты «Ню тид» Юханна Энкель, если бы не всесторонняя поддержка

ФРАНЦИЯ

«И СНОВА АНТИГОНА»

Антигоне уже минуло две с половиной тысячи лет. Но та, которую деспот Креонт приказал замуровать заживо, и по сей день продолжает свою жизнь на сцене. В ней видели свою современницу и древнегреческий драматург Софокл, и француз Ануй, чья Антигона в 1944 году сражалась с нацистами. А недавно на сцене «Театр дю Рон-Пуэн» в Париже состоялась премьера: известный актер и режиссер Жан-Луи Барро поставил спектакль «И снова Антигона» по пьесе писателя Пьера Буржада. По просьбе Барро Буржад частично сделал новый перевод пьесы Софокла и придал ей современное звучание. Так, например, он ввел в пьесу новое действующее лицо — журналиста, берущего интервью у тирана. И, как замечает французская газета «Эко», роль прессы в этой сцене показана отнюдь не с лучшей стороны.

В пьесе Пьера Буржада Креонт — глава государственной милиции. Он стремится к единоличной власти, утверждая, что это и есть «порядок в государстве». И Полиник, брат Антигоны, восставший против тирании, казнен и не предан погребению, в назидание остальным, не желающим признать такой «порядок». По замыслу режиссера, Креонт не только своими действиями, но и чисто внешне должен напоминать зрителям Гитлера третьего рейха.

Декорации к спектаклю, созданные самим Барро, усиливают его современное звучание. Так, на экране в глубине сцены во время представления демонстрируются кадры, снятые в нацистских концлагерях и в сегодняшнем Чили, в истекающем кровью Сальвадоре и во время разгона полицейскими демонстраций в Западной Европе. Но, несмотря на современную интерпретацию пьесы, Пьер Буржад и Ж.-Л. Барро очень бережно отнеслись к первоисточнику — трагедии Софокла.

Роль Антигоны проникновенно исполнила Майя Симон, роль Креонта — Мишель Лондаль. Сам же прославленный Барро появляется на сцене лишь на мгновение: он — один из тех, кому поручено рыть могилу Антигоне. Но и эту эпизодическую роль он сыграл блестяще.

По единодушному мнению французских критиков, Жану-Луи Барро удалось создать спектакль, явившийся большим событием в театральной жизни страны.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ МАРСЕЛЯ ПРУСТА

Одна из наиболее авторитетных литературных премий Франции — премия имени Марселя Пруста. Ее присуждает жюри, в состав которого входят такие известные литераторы, как Жан-Луи Кюртис, Робер Сабатье, Роже Гренье и другие.

В нынешнем году премией награжден поэт, прозаик и литературный критик Ален Боске за роман «Ребенок, которым ты был». По мнению французских критиков, в этом романе писатель продемонстрировал удивительную способность восхищаться окружающим, свойственную мировосприятию ребенка.

ИТОГ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ТРУДА

Известный французский поэт и романист, член Гонкуровской Академии Робер Сабатье в течение 30 лет работает над созданием «Истории французской поэзии». Вышло уже девять объемистых томов (600—650 стр. в каждом). Два из них, опубликованные весной 1982 года издательством «Альбен Мишель», посвящены поэзии XX века. Писатель работает сейчас над последним, десятым томом, о поэзии 60—80-х годов XX века.

Автор стремится дать наиболее полную картину каждой поэтической эпохи, восстанавливает давно забытые имена и литературные школы, подробно характеризует значительные явления в поэзии. Книга воссоздает эпоху и дает яркое представление о личности и особенностях стиля каждого поэта.

В беседе с корреспондентом газеты «Монд» Робер Сабатье сказал: «Я написал этот труд для того, чтобы привлечь внимание широких масс читателей к великому искусству, которым несправедливо пренебрегают. Моя книга должна побуждать к чтению стихов».

В этом году исполняется шестьдесят лет со дня рождения Жерара Филипа. Он умер в зените славы в 1959 году в возрасте тридцати семи лет. «Для миллионов почитателей его таланта,— пишет газета «Юманите»,— Жерар Филип является воплощением юного романтического героя, для последующих поколений он всегда будет символом молодости». «Гением эмоций» называл его Жан Вилар. За свою недолгую жизнь Жерар Филип создал много ярких образов, которые вошли в историю театра и кино.

На снимке: Жерар Филип в фильме Рене Клемана «Мосье Рипуа».

(Газета «Юманите»)

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора). **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 04.08. 82. Подписано в печать 13.09.82. А 08328. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 26,81.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1—400 000 экз.) Зак. 2703.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Р. Лхамсурэн (МНР). Утренний привет

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394